



НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

12

1990

ДЕКАБРЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

Общественный совет: **А. АДАМОВИЧ, Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН, И. ГЕРАСИМОВ, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Вяч. КОНДРАТЬЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, Р. САГДЕЕВ, А. САЛЫНСКИЙ, Л. САРАСКИНА, Вад. СОКОЛОВ, В. ТИХОНОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.**

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ПО СТРАНИЦАМ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

Главный редактор А. А. АНАНЬЕВ.

Редакционная коллегия: И. Н. БАРМЕТОВА (зав. отд. поэзии), Н. Д. КРЮЧКОВА (зав. отд. прозы), В. М. ЛИТВИНОВ (зав. отд. критики), Н. К. ЛОШКАРЕВА (первый заместитель главного редактора), В. Н. МАЛУХИН (заместитель главного редактора), И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь).

Технический редактор С. И. Суровцева.

Сдано в набор 09.11.90. Подписано к печати 27.11.90. Формат 70×108 1/16.
Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24.
Тираж 335 000 экз. Заказ № 3018. Цена 90 коп.

Адрес редакции: 125872 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44. отдела прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

© «Октябрь», 1990.

Новые имена

Олег ПОСТНОВ

ПЕСОЧНОЕ ВРЕМЯ

Когда общество больно, от человека, если он хочет остаться здоров, требуются огромные усилия воли, характера, всей личности.

Сергей Абрамович Галич был уже в раннем детстве слабым и очень впечатлительным ребенком, и этим можно до некоторой степени объяснить то ужасное (и бессмысленное, как все ужасное) стечение обстоятельств, в которое он в конце концов попал на середине своей жизни.

Существовали, конечно, и другие причины, из которых главные были три: во-первых, книги, во-вторых, картины и, в-третьих, то, что на одну часть — по отцу — С. А. был еврей; это обстоятельство не требует разъяснений, тогда как, напротив, два первых в них нуждаются.

Книги в жизни С. А. заняли то место, которое обычно они и занимают в жизни ребенка из интеллигентной читающей семьи, где к тому же есть разнообразная библиотека. Паустовский однажды сказал, что человек узнает о мире на девять десятых из книг. Это, может быть, верно, но верно и другое: именно на столько же не узнает он из них о самом себе. Вопреки расхожему мнению книги только мешают человеку узнать себя, особенно с детских лет. Увлекшись раз чтением, С. А. вскоре уже приучился легко переживать чужие жизни и сносить выдуманные невзгоды — с тем только, чтобы самого его не беспокоили на диване в столовой, где он привык читать лежа. От такого чтения глаза его уже к двенадцати годам ослабли так, что потребовались очки.

Отец С. А., Абрам Соломонович Галич, был художник. Он поздно женился и был старше своего сына на тридцать шесть лет. За эти тридцать шесть лет он успел добиться немалого на своем поприще, а к тому времени, когда С. А. вырос, уже был лауреатом различных премий и слыл за человека состоятельного; но в этом же заключалась и вторая будущая беда С. А.

Отец С. А. не был по своей натуре борцом; он плавал неглубоко и никогда — против течения. При всем том он не был и глуп, даже совсем напротив, и потому понимал свое настоящее положение. В сущности, он был несчастный человек. В кругу близких ему людей он изредка рассказывал о том странном времени, когда им, то есть ему и его тогдашним товарищам, вдруг было объявлено, что их учителя, почтенные старцы, не заслуживают вовсе того уважения, с которым к ним до сих пор относились, что «пережитки прошлого слишком сильны в них, тогда как вы, молодежь, полны сил и энтузиазма (это слово тогда очень любили), да, энтузиазма, и именно на вас лежит почетное право и даже обязанность создать искусство нового времени». «Тогда-то, — рассказывал Абрам Соломонович, — нам вдруг дали дорогу, зеленую улицу, выставляли везде, печатали даже в журналах, а ведь нам было двадцать — что там! — восемнадцать, семнадцать лет!» В этом, правда, очень умеренном смысле он считал себя тоже жертвой.

С. А. в детстве не любил картин своего отца. Это были все какие-то скучные, даже отталкивающие по сочетанию красок изображения незнакомых людей с плоскими лицами в простой одежде, но с орденом где-нибудь у сердца, людей, которых С. А. никогда не видел в доме, таких, к

каким никогда не ходили они с отцом в гости,— словом, людей другого мира, похожего на тот, из которого говорят по радио. Отцовские пейзажи — рощи и поля — тоже ему не нравились.

Но как-то уже в самом детстве С. А. почувствовал в потайном уголке своей полусонной еще души, что говорить об этом отцу не следует; что это то, о чем не нужно говорить даже себе. Отец никогда не вывешивал своих картин на стены, держал их всегда в мастерской, а туда не обязательно было заглядывать.

Зато огромное удовольствие получал С. А. от листания художественных альбомов. Когда ему исполнилось четырнадцать лет, он стал отыскивать и долго рассматривал изображения голых женщин в этих альбомах. Что-то внутри у него сжималось, во рту появлялся тягуче-сладостный вкус, а в груди и животе щекотало словно маленьким пушистым хвостом; хотелось закрыть глаза и перевести дыхание. Вместе с тем, исподволь, в нем воспиталось и художественное чутье.

В школе, как и обычно для детей его круга, у него не все было ладно. Он едва успевал по алгебре и физике, и в конце седьмого класса отец нанял ему репетитора. Репетитором взялся быть студент со скверным запахом изо рта, и, таким образом, алгебра стоила С. А. больше, чем его отцу, хотя тот платил студенту по пять рублей в час. «Это какой-то таксист, а не репетитор»,— сказал отец однажды кому-то, но все же С. А. чуть не остался на второй год из-за алгебры. На этот раз отец спас его окончательно разговором с директором. С. А. дожидался отца внизу, в коридоре школы, и все смотрел на желтую крашеную стену; отец вышел от директора и, сказав С. А.: «Ну, дружок, ты был на волоске»,— повел его домой. Уже был давно вечер дождливого весеннего дня. С. А. тогда очень запомнил и понял, как это: быть на волоске.

До этого времени семья Галичей жила в столице. Так как их квартира и студия Абрама Соломоновича помещались в одном из старинных домов центра, то С. А. преимущественно и знал центр; окраины казались ему уже как бы другим городом. Он не мог представить себя живущим там или в каком-нибудь любом другом месте, кроме центра, однако три года спустя — С. А. тогда только что окончил наконец школу и поступил на первый курс искусствоведческого отделения — в жизни их семьи совершилась огромная и несчастная перемена, странно вдруг исказившая судьбу С. А. Произошло это так:

Уже давно минуло самое черное для страны, хотя и выгодное для отца С. А. время (о своей выгоде сам он говорил всегда как бы в кавычках, с улыбкой печали). Жар политической весны проник в разные углы освобожденного общества, и в том числе в мир искусств. Как-то сразу появились разные течения, уже не один только Репин был на флаге, признавали, например, и Врубеля, несмотря на весь его символистический сиреневый туман, а главное, кроме прошлого, открылось заграничное настоящее: авангардизм, модернизм, кубизм и вообще все то, в чем Россия когда-то была первой, а теперь стала последней,— все это шло теперь из-за рубежа. Где-то, чуть ли не в Пассаже, спешно объявили выставку н о в ы х, н а ш и х, м о л о д ы х художников,— и вот Абрам Соломонович, который в глубине души был не только умен, но и честен (причем это без всякой иронии),— Абрам Соломонович тут решился тряхнуть стариною. «Уж не совсем же я и Чартков! — говорил он, посмеиваясь, домочадцам.— Конечно, кавалеры орденов кому хочешь руку испортят... Но да посмотрим!» Он работал несколько недель. Итог был удивительный. На полотне Абрама Соломоновича причудливым образом смешались все те новшества, которых он прежде себе не позволял, с тем, что он писал и раньше, поданном, однако, теперь уже в совершенно ином ракурсе. Картина изображала коровницу, какую-то бабку-доярку. Однако эта бабка вся была написана перекрещивающимися квадратами, четырехугольниками, треугольниками и кругами. Огромная, даже страшная бабка давила воображение. В сознании зрителя тотчас возникал весь образ этого ужасного и откровенного в своем безобразии тела, этой почти машины из мяса и костей, пригодной лишь на то, чтобы работать, есть и рожать. Отталкивающая цветовая гамма — та самая, что и прежде,— здесь еще усугубляла эффект. Но главным в картине (находка, которой Абрам Соломонович тайно и явно гордился) были глаза бабы: отуманенные плотской глупостью, воловьи, пугающие в своем реально лоснящемся блеске глаза смотрели на зрителя так, что хотелось отвернуться...

— А? Как вам моя волоокая красотка? — спрашивал Абрам Соломонович у оторопелых домашних приятелей, призванных в качестве судей, и наслаждался их замешательством. В этой картине, как он знал и сам, было много правды — пусть даже и не без уступок моде; в тот же месяц она была принята по желанию Абрама Соломоновича в число картин для будущей выставки. Абрам Соломонович предвкушал заслуженный грсм и триумф.

И гром грянул, но не триумфальный гром литавр. Как ни был научен жизнью Абрам Соломонович, все же в новых для него условиях он не сумел сориентироваться правильно — а может быть (и скорее всего), раз в жизни не захотел. Намеренно или нет, но он забыл о тех бывших своих соратниках, которым прошлое дало лавры, а будущее не сулило ничего, кроме забвения и позора. Между тем они были людьми тонкими и находчивыми на свой лад и вовсе не собирались так уж просто исчезнуть. Они не стали и мелочиться. В день открытия выставки вдруг выразило желание посетить ее одно в а ж н о е л и ц о — столь важное, что выше него был уже один только Бог (причем даже и это официально отрицалось). Все тотчас приготовилось к его приезду — и вот оно прибыло само.

Нельзя утаить, что важное лицо крепко подпоили и науськали перед посещением выставки. Оно уже, кажется, заранее кипело и недобро румянилось, ступая по лестнице. В первом же зале попалась ему на глаза «Доярка» Абрама Соломоновича.

Лицо кричало минут пятнадцать. Оно бегало по залам в сопровождении холеных отутюженных д р у г и х лиц, топало ногами, брызгало и обещало показать всем такую м а т ь, которой никто из присутствующих никогда не видел. За тем оно и уехало. С треском, в один миг выставка закрылась.

Абрам Соломонович не присутствовал сам при посещении выставки лицом. Он побледнел полчаса спустя, у себя в кабинете, с телефонной трубкой у уха. Потом бледность его прошла, он стал так спокоен, как обычно, и так же спокойно сообщил жене и сыну, что через неделю он намерен покинуть столицу навсегда: всей семьей они перебираются отсюда в другое место. Справедливости ради скажем, что Абрама Соломоновича никто не гнал: он уехал сам, и не за границу, а только за Урал, по собственной воле и осмотрительности. И он не ошибся: его оставили в покое.

Абрам Соломонович и прежде умел устраивать свои дела. Теперь, на новом месте, он тоже легко нашел все нужные ему связи и уже очень скоро получил отличную квартиру, скромную, но постоянную работу художника-оформителя в местном журнале, а благодаря репутации опального живописца стал в городе очень уважаемым и нужным человеком, с существованием которого считались.

Город — конечно, совсем неказистый, самый уездный и даже названием заявлявший о себе как о «дыре»,— обладал все-таки важными достоинствами. Абрам Соломонович, как видно, все рассчитал, не забыв, разумеется, и своего сына. С. А., бывший столичный студент, стал обычным студентом, но тоже искусствоведческого отделения местного университета. А между тем по сю сторону Урала ни в одном другом вузе такого отделения больше не было. Мало того: Абрам Соломонович со своим знанием жизни смотрел и вперед. Научно-исследовательский институт, располагавший, помимо прочего, сектором советской живописи и графики, спустя четыре года оказался вполне готов принять в свои казенные недра новоиспеченного искусствоведа Галича-младшего.

Сам Абрам Соломонович сносил свое добровольное изгнание стоически, невозмутимо пригубляя яд из цезаревой чаши. Теперь он охотнее, чем когда-нибудь, смеялся и разговаривал с женой и сыном. Он говорил им, что все случившееся с ним справедливо. Что если он, Абрам Соломонович Галич, принял лавры от того, кто потопил страну в крови, то неизбежно возмездие от Освободителя. «Потому что о н действительно освободитель. Он может быть глуп, пьян, необразован, беспринципен, но он не кровопийца. И пусть даже только одну т е н ь кровопийцы он все ж таки заклеймил! А я и так имею больше, чем заслуживаю».

Теперь Абрам Соломонович почти уже не писал. По утрам за чаем, расправляя плечи и улыбаясь, он говорил, что впервые имеет право не работать (халтурка в журнале не в счет). И однажды, без улыбки уже подводя итог, окончил: «Он — подлинный освободитель: он освободил и меня. Если бы я был русский, я бы напился».

Но отношение юного С. А. ко всем обрушившимся событиям было совершенно иное. Самому ему казалось, что он думает об отце, но если бы он проследил не только то, как он думает, но, главное, что именно, то он бы легко увидел, что мысли его были только о самом себе. Сеть чувств и настроений, сложившаяся в его душе за годы его детства и прочно связанная узами ассоциаций с тем миром, в котором он жил, то есть с центром столицы, теперь разорвалась, и ничто не мешало жизни в упор смотреть на С. А. своим хмурым непреклонным взглядом. Желтые крашеные стены теперь мерещились ему повсюду. Он чувствовал себя, как рыба на песке, которую еще и присыпало песком. Мир его рухнул — и вместе с ним распалось прежнее отношение С. А. к отцу.

Раньше отец (и отчасти мать) составляли для С. А. вершину его мира. Даже сам не отдавая себе в этом отчета, он привык считать их верховными существами по крайней мере той области мира, которая была отведена жизнью для одного него. А теперь он видел перед собой только остроносого и остроскулого старика с тонкими сухими пальцами, с хитрой незлой усмешкой на тонких губах, а рядом с ним бесцветную пожилую женщину, как всегда, ласково смотревшую на сына, но такую же бессильную, как теперь и отец. И это означало и показывало въяве, что кто-то другой управляет жизнью, в том числе и судьбой С. А., а этот другой был беспощаден и совершенно необъясним. Случайная повестка из военкомата (там не хватило фотографий для дела С. А.) повергла С. А. в трепетный ужас. Вдруг с небывалой для него усидчивостью принялся он за учебу: ему представилось, что его могут исключить из института и забрать в армию. Первый курс он окончил отлично и получил повышенную стипендию. Он слегка успокоился.

Но в отношении к отцу произошел уже навеки перелом. Вся система жизни предстала перед С. А. иначе, чем раньше, и он почти неожиданно для себя узнал, что то место, которое отведено ему в этой системе, есть чуть ли не самое уязвимое из всех возможных. Безо всякого еще толчка снаружи С. А. вдруг всею кожей своей осознал собственную национальность.

По окончании первого курса, летом, С. А. занялся впервые в жизни любовью. Ему было девятнадцать лет. О женитьбе он не думал и даже специально старался не думать. Отец достал им путевки на юг, а после юга весь роман окончился быстро легким и безболезненным разрывом. С. А. был доволен и в то же время разочарован. Рассматривая в детстве на диване те картинки в альбомах, он ожидал большего. В остальные четыре года студенчества он повторил эксперимент еще несколько раз. Но то, чего не было вначале, не случилось и потом. Как-то невольно, словно бы само собой, С. А. научился извлекать из женщин, кроме удовольствия, пользу и уже трезвым взглядом смотрел на них, зная, чего не следует от них ждать и что все-таки получить можно. Женитьба, раньше его пугавшая, теперь показалась вполне своевременной.

Между тем страх его не проходил. Однажды схватив в цепкие кольца все отростки его души и сказав ему на ухо все слова о его отце, о его национальности, об армии и, главное, о том, как зыбко всё в этом мире, однажды только намекнув ему о пропасти, которая всегда у него под ногой, страх обратился после того в привычку и не исчез, а стал лишь так незаметен, как наручники у давнего заключенного. Но даже голос у С. А. с тех пор переменился. Во взгляде его теперь часто мелькало подозрение, а в отношении к старшим, особенно тем, от кого зависело что-нибудь, например, к преподавателям, явилась глубокая и серьезная уважительность, такая, что С. А. и сам не знал, уважает ли он их на самом деле или только боится. Идя на экзамен, он всегда раздумывал: не юдофоб ли экзаменующий профессор? — и по любой мелочи с ужасом заключал, что да, юдофоб. Но так как он уже сам не знал, уважает ли он и этого профессора, то как-то в душе не был уверен заодно уже в том, что тот не прав, будучи юдофобом...

Так же, как в людях, стал он запутываться и в смысле и содержании книг. Те ясные принципы, которые находил он раньше в книгах и в которых никогда не сомневался, теперь перестали ему казаться такими уж ясными, стоило только их приложить к самому себе. С. А. был, как уже говорилось, с детства очень неплохо начитан и кроме общеизвестного, как, например, «Шинель», «Бедные люди» или «Смерть Ивана Ильича», он знал и изыски, булгаковскую «Дьяволиаду» и «Крестовых сестер» Ремизова. Впрочем, Булгаков тогда как раз только что впервые вошел в моду и его узнали сразу многие. А с другой стороны, принцип, согласно которому человек человеку бревно, С. А. и сам, без Ремизова, усвоил прочно, даже слишком прочно. Он знал кое-что и из западных литератур. «Песочный человек» Гофмана и еще больше «Метаморфоза» Кафки поразили его в свой черед — первый в детстве, вторая — в юности. Но вот именно теперь, к окончанию университета, С. А. начал переставать понимать то, что находил в них тогда. Прежде всего он вдруг усомнился, действительно ли эти хрестоматийные произведения, признанные всеми и принятые за образцы, являются такими уж великими, а люди, их писавшие, такими уж замечательными, как то твердит об этом вся в один голос ЖЗЛ. То есть, разумеется, если бы С. А. спросили его мнение, к примеру, на экзамене, он бы не усомнился. Но про себя он всякий раз со странным чувством делал усилие выяснить, в чем причина величия всех этих книг и людей. Ему мерещился обман. Он, как ему думалось — или, вернее, думалось в нем, потому что это был ненамеренный процесс,— он ведь прекрасно видел, что знаменитых авторов превозносят, скажем, за любовь к людям (тут и гуманизм Толстого, и демократизм Гоголя), тогда как на деле этим писателям наплевать было на людей и только сами себя они интересовали. Это было видно из тех же их биографий. Гоголь, скажем, был эгоист и беспощадный насмешник в жизни, а значит ведь писал потому только, что так красиво получалось, и вовсе над Акакием Акакиевичем не плакал; Некрасов, положим, плакал, так как был слезлив, а потом оплаканных крестьян еще лучше просаживал спьяну в карты, Толстой спекулировал в Бессарабии землями и проч., и проч., примеры сплошь и повсюду. И все же они — великие, удостоенные лавров, хотя все их слова — ложь, а сами они такие же, как и все, как, скажем, он, С. А., может быть, и талантливые, но тогда это еще несправедливей; главное здесь было то, что и принципы, ими основанные, тоже были ложью. Существовали, конечно, еще и другие авторы, у которых не было поместий, денег, власти, а они утверждали те же принципы. Но в отношении их С. А. находил в себе такое же чувство, потому что у них ведь оставался — всегда — их талант, то есть причина следовать принципам, пусть даже наперекор жизни. Тогда как С. А. пытался, конечно, писать в свое время и стихи, и даже повесть и учился рисовать, но — нет, он не отказывал себе в таланте, просто ради этого страдать он тоже был не согласен. Другими словами, С. А. принял и признал, чуть-чуть только себе в этом не до конца сознаваясь, что люди делятся на (допустим) соловьев и воробьев и что он (допустим) воробей. Он только не принимал того, что соловьи, будучи соловьями, смеют придумывать правила для всех да еще им же и не следовать по своей воле. И постепенно, продолжая в этом духе, он перестал быть уверен и в том, что и сами по себе эти книги так уж хороши безусловно. Удача, внешние причины, вообще судьба (стало ему казаться) чаще всего все и определяют. А оттого, убеждался он, еще бессмысленнее ходить жизни наперекор. За всем этим, разумеется, желтой стеной стоял в нем страх.

Впервые совершенно иначе стал он смотреть на картины отца. То есть он не то чтобы действительно на них смотрел — с некоторых пор отец посворачивал в трубки свои холсты и хранил их где-то без всякого почитания,— но, вызывая все их в памяти и тем превращая как бы в одну смешанную или обобщенную картину, С. А. больше уже не чувствовал в ней фальши, а, наоборот, уверялся все глубже и глубже, что тут-то именно и есть вся правда, которая, как теперь он понимал, состоит в отсутствии лжи. Одно слышанное когда-то сочетание слов наполнилось для С. А. новым, очень живым и необходимым смыслом: «Так в наше время писать уже нельзя»,— сказал кто-то о старых мастерах, тех, что С. А. любил в детстве, и теперь он сам до последних корней своего существа понимал смысл этого категорического императива: «нельзя» — это звучало как

запрещение смерти, как условие для права жить, и С. А. даже сам однажды, перелистывая альбом Веласкеса, пробормотал про себя: «Эти мертвецы хотят и нас сделать покойниками». С этих пор максимализм стал ему чужд. Он усматривал недостатки в общепризнанных шедеврах либо объяснял сами шедевры тем, что «тогда было другое время», но главное, даже видя их совершенство, тем более понимал, что жизнь на самом деле такова, как рисовал его отец, а не какой-нибудь Коро или Брейгель; он хорошо еще помнил свои детские мечты о голых женщинах и свою первую действительную связь.

И вполне очевидно, чем более нравилось ему искусство отца, тем более сам отец, такой, каким он стал, делался ему ненавистней и непонятней. В С. А. однажды возникла и теперь вместе с ним из года в год росла обида на отца. Если жизнь была такой, какой сам Абрам Соломонович рисовал ее чуть не двадцать лет, то он как отец был кругом виноват перед своим сыном. Деньги, талант, положение в обществе, защищенность — все это были те вещи, которые определяют каждому его ступень на лестнице жизни. И тогда как же смел Абрам Соломонович, пусть даже и преуспевающий еврей, произвести на свет жалкого полукровку, а потом еще и отказаться от всего, чего достиг, от самого своего преуспеяния, то есть окончательно выбросить С. А. голым в мир? Этой подлости отца С. А. не мог по-настоящему ни понять, ни простить. Он на самом деле очень любил отца, как любил и читать, как любил листать те альбомы, но теперь он и эту свою любовь готов был счесть ошибкой и избавился бы от нее, если б мог. Но он не мог.

Согласно представлениям некоторых теософов, святость и чистота, заложенные в каждом человеке от рождения, обыкновенно иссякают к двадцати годам; это, разумеется, лишь интеллектуальный вариант древней веры в то, что умершие младенцы приобщаются к чину Ангельскому. Однако и статистика уверяет, что именно на этот возраст — двадцать — двадцать пять лет — приходится наибольшее число случаев умалишения, душевных и духовных травм, переломов, пересмотров и других катаклизмов сознания. Как бы там ни было, как раз в 23 года все, начавшее зреть в С. А. после катастрофы на модернистской выставке, достигло своего оформления и ясности. Несколько событий, последовавших одно за другим, оттенили собою этот рубеж.

Прежде всего С. А. закончил университет. И вдруг выяснилось, что его подозрения насчет беспомощности и социальной дряхлости отца имеют под собой некоторую реальную основу. Сектор советской живописи и графики, куда Абрам Соломонович прочил сотрудником своего отпрыска, неожиданно оказался лишен свободных ставок. С. А. забегал. Он звонил своим профессорам, которых боялся и раньше, и еще больше теперь, он клянчил у университетских администраторов, смотревших на него с презрительным удивлением, он совсем переменился в лице и потерял сон. Впервые ему пекло глаза и качало голову от ночного бессмысленного бодрствования, и несколько мыслей или слов — вернее всего, словесных обломков — металось в мозгу, словно стайка серых рыб. Отец не нашел ничего лучше, как пристроить его корректором в местную газетенку. Год прошел так. С. А. еще живее, еще материальнее ощутил, что его понимание действительности было глубоко верно. Потом все образовалось: кого-то из сотрудников сектора проводили на пенсию, ставка освободилась, и С. А. стал лаборантом и вместе с тем заочным аспирантом. Карьера его наметилась довольно реальным пунктиром. Несколько месяцев спустя он женился.

Произошло это почти случайно. Вдруг безо всякой инициативы со стороны самого С. А. возобновилась одна из прежних, еще институтских, его связей — правда, не первая. С. А. поддался, тем более что не видел в этом уже никакой опасности и был даже рад, поскольку так или иначе, рано или поздно вопрос с браком следовало решать. А между тем с окончанием университета, как видел С. А., у него значительно сократился круг знакомств и, главное, самих возможностей знакомиться. Очевидно, что будущую его жену толкнуло к новой близости то же соображение. Взвесив все, С. А. нашел такую партию подходящей: он знал, чего ждать, и исполнением этих умеренных ожиданий готов был удовлетвориться. Это, впрочем, не помешало ему посоветоваться с отцом, долго колебаться, ходить по дому с нахмуренным лбом и даже, неизвестно зачем, представить невесту своему научному руководителю, у которого он потом тоже (уже наедине) испросил совета.

Научный руководитель его был человек неглупый, но в то же время простодушно верящий в собственную значительность. Он был и удивлен, и польщен. С. А. продвинулся вверх внутри его сердца, хотя и задал ему загадку: руководитель решительно не мог взять в толк, зачем тот испрашивает его совета. Он, впрочем, не сказал ни да, ни нет, а только благосклонно покивал как бы *в целом*, чем С. А. остался очень доволен: он того и ждал. Хуже вышло с отцом.

С некоторых пор Абрам Соломонович тоже переменился в отношении к сыну; вернее, отношение его стало сложным. С. А. хвалил теперь и вслух — хотя, правда, вяло и тихо, но зато неизменно — старые картины отца; а Абрам Соломонович, весело и уверенно те же картины ругая, все-таки не мог где-то в самой тайной щелочке своей души немного не радоваться этим похвалам. Ему доставляло невинное удовольствие опровергать тут своего сына, умаляя себя... И при всем том Абрам Соломонович тайно чувствовал, что его сын стал ему чужой и что помимо этих разговоров о картинах говорить им друг с другом не о чем. В какой-то миг Абрам Соломонович вдруг стал подозрителен без всяких внешних поводов: он заподозрил (опять где-то в глубине себя), что его сын подлец — или трус... Он, конечно, себе не сознался. Но это все вместе определило особую интонацию Абрама Соломоновича в разговорах с С. А. Он стал говорить с ним иронически или (чаще) грустно-иронически; и эта грусть позволяла ему изредка оставлять иронию и ласкать словами сына, которого он все же любил. Однако слишком уж большая сыновья покорность и предупредительность в вопросе женитьбы ему не понравились. «Я не пойму что-то: ты ее любишь?!» — спросил Абрам Соломонович, болезненно нахмуриваясь. С. А., по обыкновению, ответил не вполне внятным бормотанием, в котором «видишь, ли отец...», «а кроме того», «и с другой стороны» вперемежку с покряхтыванием и покашливанием следовали без всякой внутренней связи, так что Абрам Соломонович нахмурился еще больше и сказал, что С. А. может рассчитывать на его поддержку в смысле денег и устройства квартиры. Он и действительно занялся квартирой. Свою, вместительную и очень удобную, пользуясь связями, он поменял на две, расположенные, правда, в разных концах города, но обе тоже вместительные и удобные. В результате с первого же дня самостоятельной жизни С. А. отделился от старших, став «сам большой» и хозяин в доме...

Не прошло и года, как в городской больнице внезапно в какие-нибудь три дня умерла его мать. С. А. был потрясен, но еще более его был потрясен и раздавлен этой смертью Абрам Соломонович. Что же касается С. А., то, оказавшись перед стеной смерти, он вспомнил все те ужасные рассказы о людях, которые не могли смириться с общей неизбежностью: ему особенно представлялись в ночь перед похоронами те, что ели у могилы землю... Он сам не чувствовал отчаяния или боли, скорее это было похоже на удушье. Пока его мать была жива, С. А. не очень замечал ее и еще реже о ней думал; теперь он не находил в себе, что делать и даже что чувствовать.

Потом жизнь вернулась в свое русло. Она стала еще более обыкновенной и незаметной после смерти матери — может быть, оттого, что Абрам Соломонович сразу постарел, замкнулся и отдалился сам в себя от всех и от С. А. с его семьей. Для С. А. время вдруг полетело удивительно быстро и легко. Он хаживал два дня в неделю на службу (это называлось — «присутственные дни», общепринятые для всех гуманитарных институтов), писал статьи о живописи пятидесятых годов, дома изредка ссорился с женой, занимался бытом и как-то уже через шесть лет совместной с ней жизни стал ожидать от нее ребенка. К тому времени он защитился, давно обрел статус научного сотрудника и перестал чувствовать пропасть под ногами. Одно ночное происшествие неожиданно указало ему на его ошибку.

Он писал ночью. Жена, на четвертом уже месяце, спала, и лицо ее было утомлено и, как у всех беременных, обескровлено. С. А., боясь, что свет лампы, и так слабый от плотного кругового абажура, может быть, мешает ей, накрыл лампу еще жениным цветным халатом. По комнате

распространился угрюмый полумрак с разноцветными пятнами на стенах, и С. А. писал в этом полумраке еще с полчаса, выходя изредка курить на балкон (стояла нехолодная осень). Наконец, его стало клонить к столу дремой. Он погасил лампу и в темноте, при отсветах фонарей с улицы, лег и тотчас уснул. К середине ночи во сне к нему явилась мать. При жизни он никогда не разговаривал с нею ни о чем, что выходило бы за круг домашних дел, и теперь тоже, забывшись сном и говоря как с живой, спросил что-то незначительное. Но лицо матери было строго, и он увидел, что на шее ее на тонком снурке поблескивал крест. «Я не знал, что ты христианка», — сказал С. А. «И ты должен креститься, — отвечала она ему, наклонив голову. — Ты долго не был у меня: сходи. Лампу же свою выбрось». «Да, мам, обязательно, конечно», — сказал С. А., который во сне все понял так хорошо, как это и бывает во сне, — и тотчас проснулся, все позабыв... «Да... да что мне снилось-то? — стал вспоминать он, лежа во тьме. — Да, мать приходила...» Странная тоска стеснила его. Он поспешно сел, прислушался к дыханию жены, затем опустил ноги с кровати и, подойдя к столу, включил опять лампу. Секунду он стоял, тупо глядя на страницы рукописи, в беспорядке укрывавшие стол; потом побрел на кухню, решив принять что-нибудь от сердца. Сердце было больно у него уже не первый год, и он слыхал, что кошмары мерещатся перед приступом. Но он едва успел найти капли: в спальне зашуршало и затрещало что-то недомашним плохим треском, и, вбежав к себе, он увидел охваченный огнем и искрами халат и абажур лампы. Он погасил их, выхватив шнур из розетки и кинув на стол одеяло. Потом включил верхний свет и повалился на кровать рядом с перепуганной проснувшейся женой: у него начался сердечный приступ.

Крестился он тайком, на той же неделе, и после, в одиночестве приехав на кладбище, стал на колени перед материной могилою и поклонился, осенив себя знамением. В Бога он поверил легко, даже не задумавшись, что верит. Он отвел двум бумажным в пластмассовой рамке иконам место на стеллаже за дверью так, чтоб с порога не было видно, но в церковь не ходил почти никогда, боясь, что узнают на службе.

На службе между тем дела его шли в гору. Он участвовал в коллективной монографии «Гуманизм в советской живописи 30—60-х гг.», ему был увеличен оклад, и спрашивали его, не подыщет ли он себе тему для второй диссертации. Он по-прежнему аккуратно являлся на службу в понедельник и четверг, пил чай и листал журналы и альбомы.

По воскресеньям С. А. с женой (а теперь, когда она была беременна, один) навещал Абрама Соломоновича. Тот тоже иногда выбирался к ним, без связи с календарем, и, разглядев раз иконы на стеллаже сына, сказал только: «А, да ты, как покойница...» — и задумался о ней. Он вовсе сдал за эти годы. Ему стало тяжело ходить, клонило в сон днем, а ночью он подолгу лежал в темноте, не закрывая глаз. Приезжая в гости, он говорил мало. О картинах больше не вспоминалось, но он прилежно прочитывал все то, что выпускал в свет в разных искусствоведческих сборниках С. А., и иногда просматривал соседние статьи его коллег.

Два события совершились следом друг за другом: у С. А. родился сын, а через несколько месяцев начальник сектора советской живописи и графики внезапно уволился по поводу перевода в столицу. Для сектора и для С. А. это был нежданный и тяжкий удар. Поломалась вся та сложная, хитрая цепь отношений, которая связывает всякий сектор, определяя каждому место и его роль. С. А. усомнился было, что делать: он не был старшим в секторе, но мог быть по положению, и кроме того, тут в его пользу было то, что он был молод (ему только что зимой исполнилось тридцать). За всеми корками своего г л у б о к о г о уважения к старшим, того уважения, которое было даже искренно, С. А. был и тщеславен. Это тщеславие было тем сильней, чем сильней было чинопочитание, — и вполне законно: чин на других С. А. любил вчуже и так же готов был полюбить на себе. Собственно, он в простоте души даже и не верил в нетщеславных людей, как не верил бы в людей без сердца или желудка; это было естественно — хотеть себе то, в чем поклонялся другим. Да и при всем том страх нового начальника придал ему решимости: С. А. затрусил по кабинетам.

Вновь удивленные директор и замдиректора воззрились на уважительного С. А.: теперь уж он не просил впрямую, он лишь подводил к мысли. Зато дома, у себя на кухне, он громко и храбро говорил, что думал: он думал стать завсектором. Абрам Соломонович подвернулся тут в такую минуту. «Что ж, отец, — спросил С. А., снижая все-таки голос до обычного невнятного, — что ж, может быть... ну хоть теперь, может быть, поможешь?» Он потупился. «Ты говорил в дирекции?» — спросил в свой черед неуверенно Абрам Соломонович. «Да ведь... идиоты! — сказал С. А. — Нет, наверно, нельзя. Мне нельзя...» — закончил он сокрушенно: он, разумеется, имел в виду, что он еврей.

Абрам Соломонович из разных слов С. А. и прошлых некоторых событий знал, что С. А. мучится этим, и знал его обиду. Он тоже теперь потупился. Затем сказал с некоторой как будто бы прежней твердостью: «Хорошо, я позвоню». И С. А., подняв глаза, уже с улыбкой и в самом деле чувствуя так, как говорил, сказал ему: «Нет, если тебе это неприятно, ты этого не делай, отец». Абрам Соломонович положил ему ладонь на руку и слегка сжал, и они промолчали несколько минут.

Но ничего не помогло: во главу поставили старшего в секторе, и С. А. остался подчиненным. Он ужасно волновался, пока решалось все, но и после окончательного уже решения С. А. не стал спокоен. Снова его мучила бессонница. Была новая осень, и, лежа без сна и перебирая обрывки дневных слов, С. А. пробовал тщетно уснуть; ничего не помогало, и тогда он начинал молиться. Но и молитва не давала ему покоя. И ее слова тоже разрывались и принимались кружиться в голове, между тем как за окном проступал среди деревьев рассвет, который С. А. чувствовал даже с закрытыми глазами. Иногда ночью, встав, С. А. зажигал свечу перед иконами на стеллаже и после, легши, смотрел на огонь. От этого ему удалось два раза уснуть, и свеча стала ритуалом.

Между тем на работе все теперь становилось чем дальше, тем хуже. Новый начальник, специалист более в графике, чем в живописи, стал переориентировать сектор. Графику С. А. знал дурно, заниматься ею не хотел, но и не заявлял открыто собственной темы. Интриговал он отчаянно — и тем ниже кланялся новому заведующему, говоря за спиной его уже прямые оскорбления, особенно дома, у себя на кухне. Иначе чем идиотом он его теперь не звал. Но и прежнее искреннее уважение все же продолжало гнездиться в нем, в разрыв с собственным его настоящим взглядом, так как и оно тоже было настоящим. Ругая начальника, он не лгал, но и хваля в глаза и даже превознося, не лгал ни капли; напротив, в нем при этом даже стеснялось все внутри от особенного, щекочущего удовольствия хвалить, и голос набирал силу.

С. А. не пытался понять, что происходит у него внутри. Даже простая мысль о раздвоенности, которая всегда витает в воздухе и служит универсальным объяснителем чуть не для всех аномалий духа, не приходила ему в сознание. И ему было не до того: два присутственных дня странным образом стали набирать вдруг силу. Теперь С. А. уже с воскресного утра начинал думать о понедельнике и так же всю среду проводил в предчувствии четверга. Успокаивался он лишь заболев и уйдя на бюллетень: он в последнее время что-то стал часто болеть. Одолевали его простуды, к которым тотчас прицепливались боль в сердце и кашель; ему ставили астму и велели бросить курить. И все же главный его недуг, бессонница, на время болезни оставлял его. По утрам С. А. чувствовал легкость в голове и радость от мысли, что день начавшийся принадлежит ему.

Кроме того, дома у С. А. было все хорошо в сравнении с работой. После рождения сына, которому было дано имя Виталий (нейтральное в национальном смысле и еще подкрепленное русским отчеством), равнодушные отношения между С. А. и его женой стали теплеть. И, что было еще важнее, теперь С. А. чувствовал, что и отец его стал ему ближе. Он боялся, что многим уже обидел отца и не вовсе прав перед ним, особенно после крещения. Но Абрам Соломонович тогда же вскоре привез С. А. большой бронзовый вычеканенный крест, оставшийся от матери, и отдал его на полку с иконами. И чем старше становился внук, тем чаще приезжал Абрам Соломонович к сыну. Он пристально и молча выслушивал те служебные обиды, на которые жаловался С. А. у себя на кухне, и тут тоже чувствовал С. А., что отец не противится больше его словам.

В последнее время С. А. снова принялся читать, уже без мысли найти решение вопросам, а лишь для удовольствия, следуя настроению. Абрам

Соломонович в течение этих лет читал мало, но постоянно и не так, как С. А.: он строго отбирал книги и прочитывал их с медлительным вниманием. Теперь, последние года два, он читал Толстого — романы и поздние статьи. Утомляясь переездом от своей квартиры до квартиры С. А., он стал чаще оставаться ночевать у сына и иногда задерживался и на несколько дней. С. А. это было приятно. Снова, как прежде, Абрам Соломонович выходил утром на кухню к чаю, иногда в халате или в майке. Его тело все еще сохраняло видимость силы и подвижности, и только лицо, старчески-одутловатое, утратив тонкость черт, сделалось невыразительно, словно угасло.

Иногда, тоже как прежде, Абрам Соломонович принимался говорить, только тише и сдержанней и уже не касаясь намеренно себя или других. Он говорил, что люди придают слишком мало значения обыкновенным вещам. Бывают привычки, общие для всех, например — семья; о ней почти не думают или думают между прочим, как о чем-нибудь очевидном, а между тем не видят ее смысла. Может быть, и прав был Уайльд, говорил Абрам Соломонович, считая, что семья, брак убивают индивидуальность. Человек действительно растворяется в своей жене и своих детях. Это так, но зато семья враждебна его самости, его ячеству. Она его вынуждает видеть, что не он один на свете и не весь свет для него. Если бы не семья, то и все общество было бы войною всех против всех, однако нельзя всю жизнь только лишь воевать. Помимо войны, необходим мир, нужно уметь любить других и самому жить в любви. Кроме семьи, этому негде научиться. И, может быть, у нас, в России, семья еще особенно важна.

У нас, русских, продолжал он думать и говорить (он теперь думал так), есть эта черта отношения к своему как своему, родному: у нас никого не исключают до конца из этого круга родственности, и даже жестокость у нас семейная. У нас нет прав, все наши законы — фикция в сравнении с этим чувством семейной тоже справедливости, у нас все еще наказывают и прощают, а не казнят или милуют. У нас поэтому нельзя ни в чем создать и администрацию: официальная видимость тотчас подменяется какой-то домашней, свойской сутью...

— Конечно, от этого злоупотребления, — заключал он печально. — Но бороться с этим нельзя, это все равно, что с собственной душой. Может быть, мы дики... и потому-то и важна семья: она все заменяет и заменит.

Он уставал и останавливался, а С. А., слушая его, кивал уважительно или иногда слегка, тоже очень уважительно спорил. Но в общем, даже не вникая глубоко в смысл слов, С. А. был согласен с Абрамом Соломоновичем, с его тоном и с тем общим ласковым чувством, которое заключалось в его словах. Старая ненависть к нему еще обостряла теперь ощущение любви в С. А., и он явственно видел, как смыкаются воедино в его душе две части, спрятанные им в понятие «отец».

Но бюллетень закрывался, Абрам Соломонович уезжал к себе, и снова начинались беспокойства для С. А. Он снова интриговал, снова мучился бессонницей, и опять летели годы незаметно, тем незаметней, чем трудней доставалась С. А. жизнь.

Он написал большую статью, посвященную советской графике послевоенных лет. В ночь перед обсуждением он не спал вовсе. Обсуждение на секторе составляло форму приема к печати, и именно здесь, в этом звене, обретали официальный вес все личные секторские отношения. С. А. боялся, что его провалят. «Но почему же, Господи, — думал он лежа, — почему мы ссоримся? Почему вечно какие-то глупые недовольства друг другом, когда каждый из нас и так... обречен? — Это выговорилось в нем словно само собой. Он вспомнил о вечной пропасти под ногами. — Это гнусно, — стал думать дальше С. А., — это подталкивание к краю, с деловым видом, без жалости. Или даже с жалостью. Почему нельзя... не подталкивать?» О собственных интригах он тут позабыл.

На кухне с утра он был бледен и не смотрел на жену. Она вдруг поднялась, вышла в комнату и вернулась минуту спустя, держа перед собой что-то на ладони и смущенно улыбаясь.

— Помнишь? — сказала она. — Я его таскала в университет на экзамены. Чтоб не провалиться.

Она поставила на стол возле чашки маленького костяного слоника. Спустя полчаса С. А. ушел на работу с слоником в кармане. Перед этим он постоял по обыкновению с минуту перед стеллажом. Статья была принята, и слоник перекочевал на полку с иконами.

С. А. не чувствовал в этом противоречия. Он не думал и не старался объяснить что-либо себе. Все это — крест, иконы, свеча в металлической пробке из-под вермута и теперь слоник — сочеталось в его душе прихотливым образом. Все они так же, как старая заповедь — «так теперь нельзя» — были временной отменой приговора, они разрешали жить, закрыв смерти ход. И С. А. не пытался философствовать. Бог был для него — великий главный начальник, венчавший стройную пирамиду субординации, по которой С. А. карабкался от самого основания, с самой юности, почти с детства, — и дополз до старшего научного сотрудника; ниже основания пирамиды была смерть.

Прошло еще около года. Была зима — самое наступление декабря, когда во всем и особенно в пушистых больших снежинках чувствуется близость Рождества. В жизни С. А. с осени наступило затишье: он даже спал покойно по ночам, а в секторе в присутственные дни ощущал беззаботность и свободу. Внезапное совпадение двух обстоятельств, на вид отдаленных и независимых, все всколыхнуло в нем.

К началу января в институте был запланирован годовой отчет. Вдруг выяснилось, что у С. А. недостает полутора печатных листов до выполнения плана. Он уже давно вошел в новую тему, хоть и не смирился с ней, — ему труднее было писать по ней, чем по старой, — а теперь, кстати же, от него ожидалась статья в очередной сборник. С. А. было предложено поспешить со статьей до окончания года. И тотчас вслед за тем, на следующий присутственный день, в секторе началось давно таившееся под начальничьим спудом и наконец пущенное в ход дело по изгнанию с работы некоего преклонных лет коллеги, члена сектора, тоже старшего научного сотрудника, которого было решено удалить на пенсию.

За годы службы в институте С. А. пережил несколько повальных сокращений, миновавших его фактически, но глубоко потрясших в душе. Он видел, как разверзалась пропасть под ногами у тех, кто еще вчера был уверен во многом, в том числе и в завтрашнем дне, — и даже не смел вообразить, что это может случиться с ним тоже. И вот теперь, как раз когда не все у него было ладно и не хватало полутора листов, пропасть распахнулась совсем рядом, под соседним столом...

Возвратясь с работы, С. А. в молчании отужинал и тотчас, уйдя в кабинет, сел за статью. Писал он всегда на желто-серых листах для вторых экземпляров, крупными неровными буквами, кое-как складывавшимися в строку. Теперь буквы получались у него крупней и неряшливей, и в первый же вечер С. А. исписал ими стопу бумаги; однако когда на следующий день с утра он перепечатал написанное, с трудом набралось из всей стопы семь страничек сырого текста. С деловитым отчаянием С. А. опять сел к столу. До следующего присутственного дня он почти не отдыхал, но дело не двинулось. И тотчас вообразилось С. А., что, если он не закончит статью в срок, его выгонят в этот же отчет заодно с престарелым коллегой...

На работе все шло своим чередом. Несчастный удаляемый член сновал по инстанциям, думая спастись. С. А. следил за ним со страхом и не смел заговорить под взглядами других. Наконец, явился на стене приказ, и коллега перестал показываться. Вздрагивающим голосом С. А. предложил собрать денег и сделать ему подарок. Это, впрочем, следовало само собой: администрация института и сама обеспокоилась организацией проводов на заслуженный отдых. Декабрь меж тем подходил к концу. В один из последних дней перед Новым годом в секторе было решено провести обсуждение статей для сборника.

С. А. не спал ночь. К утру у него было двадцать восемь страниц, не считая сносок, и более ни строки он в себе не находил и не способен был найти; его тошнило от графики. Он встал из-за стола и впервые за этот месяц раскричался на кухне. Снова называл он начальника идиотом и сволочью, причитал, почему же он, С. А., не настоял на собственной теме, и вдруг, как-то разом решившись, остановился и сказал, что, если статью его провалят, он пойдет к директору. В тот же миг он с ужасом почувствовал, что в самом деле пойдет.

Директора С. А. боялся. То был вежливый, склонный к улыбке человек с равнодушным взглядом, и С. А. знал, что этот взгляд допускает всё. Он знал, кроме того, что ради выгоды С. А. директор не шевельнет пальцем и что добиться чего-нибудь от него не легче, чем пройти по улице в гололед, ни разу не поскользнувшись. Но и главное было не в этом; главно было то, что С. А. его боялся.

Новая ночь наступила: уже последняя перед присутственным днем. С вечера С. А. уснул, но проснулся задолго до наступления утра и, стараясь не будить жену, перевертывался с одного боку на другой и все както находил себя лежащим ничком, лицом в подушку, в позе, в которой никогда, уже заведомо, не мог бы уснуть... В девять он позвонил в сектор и попросил лаборантку зайти к нему за статьей, чтобы все успели прочесть ее: обсуждение было назначено на вторую половину дня.

До обеда он не ходил на работу. Он еще пытался временами уснуть, пил таблетки от сердца и смотрел в окно. Была редкая для декабря оттепель. По-весеннему сырое небо и сырой же, рыхлый внизу снег выглядели чем-то одним, общим, замыкающим мир в уютный теплый шар. И когда С. А. вышел на улицу, воздух тоже показался ему небывало густым, влажным. Он закашлялся.

На работе в первый же миг поразило его то, что к приходу его все уже были на местах. Кивая всем, прошел он к своему столу, и обсуждение тотчас началось. В первые минуты С. А. был внимателен и почти спокоен. Положив перед собою лист, он записывал кое-что из того, что говорилось вокруг, и сам готовился выступить. Прежде обсудили чужие, несекторские статьи — но вот дошел черед и до него; он стал записывать замечания. Однако это уже давалось ему с трудом: вдруг почудилось ему, что тон, которым произносились замечания, был сам предумышлен, не случаен, что те, кто его ругал, пожалуй, сговорились заранее и теперь спешили выложить все то, о чем условились. С. А. поднял взгляд от записей и поглядел вокруг. Все сидели потупившись, как и он только что перед тем, но и это показалось ему чрезвычайно важным и угрожающим. И тут он ощутил дрожь. Превозмогая себя, дослушал он выступления, уже слабо, лишь краем ума понимая, о чем шла речь. Наконец наступила тишина: все ждали его ответа. Когда С. А. заговорил, он вначале сам удивился, как тих и покоен его голос.

— Я должен благодарить всех, — так начал он, — за то внимание, которое... было уделено моей статье. — Он перевел дух и продолжал, вслушиваясь в слова: — Те замечания, которые были тут сделаны, замечания справедливые и глубокие, я, без сомнений, приму к сведению и сейчас же, сегодня же, не откладывая, все, что можно, исправлю и переделаю, это так. Но мне хотелось бы, кроме того, задать один вопрос, который давно меня беспокоит: он относится ко всем. Вот какой вопрос: почему у нас всегда так радуются — вот именно, радуются — чужим неудачам? Откуда эта радость? — Он оглядел всех. — Что за торжество, когда у человека что-нибудь плохо? Вот недавно, как все мы знаем, в нашем секторе выгнали на пенсию сотрудника... Не перебивайте меня! — вдруг вскрикнул он, увидев, что заведующий поднял глаза и сделал было движение. — Я никому не мешал говорить и теперь хочу тоже все сказать... Именно выгнали! И все этому обрадовались. И вот я не понимаю: что это за торжество? Когда каждый знает, что тоже состарится, что выкинут и его?! — Не замечая, сам собой, С. А. возвысил голос и говорил уже громко, маша рукой. — Что же это за отношение друг к другу? Почему мы все время хотим кого-то утопить? Почему мы не можем позволить другим жить так, как им надо? Почему нам нужно обязательно нажиться... на чужих костях?! А я, — С. А. вдруг вскочил, — я лучше пусть останусь без куска хлеба, чем буду грабить других! Да, я десять лет всем кланялся... Но участвовать во всем этом не согласен!

Он схватил зачем-то со стола свой лист, скомкал его и бросился к двери. На ходу он еще приметил, что все так и сидят, потупя глаза, и снова понял, что это не случайно. Он оказался в коридоре. Ноги его дрожали, он чувствовал, что вспотел, но думал лишь об одном: «Теперь — теперь к директору!» Он пошел на лестницу.

Это был черный, боковой ход, предусмотренный здесь на случай пожара. Тут по углам стояли огнетушители, и тут же было место для курильщиков. Обычно здесь все курили; С. А. боялся, что он встретит когонибудь, но лестница была пуста, и С. А., пройдя спешно две или три ступени, споткнулся. Страшно стучало у него в затылке и сдавливало виски, и от этого мысли его вдруг тоже сделались стиснуты и неявны. «Директор... — твердил он. — Да... но у себя ли директор?» Этот вопрос остановил его. «Господи, Господи, — забормотал С. А., цепляясь за перила, — нельзя... наверно, нельзя... мне нельзя... Сволочи! Ох, господи!..» Он попробовал закурить (он так и не бросил курить, несмотря на астму), но сладкий удушливый дым стал в горле. Выдохнув его, он отшвырнул сигарету и секунду стоял молча, не думая. Потом повернул назад.

Он вошел в сектор тяжким шагом и сел у стола. И тотчас снова страх и отчаяние качнулись в нем. Он темно огляделся.

— У вас это не выйдет, — выговорил он уже неожиданно для себя и сразу закричал: — Не выйдет! Я десять лет пресмыкался! Думаете, я ничего не могу? Я сын Галича! Да! Он вам не позволит! Я не кто-нибудь! Попробуйте только, вы узна́ете!.. Вам не позволит никто! — Весь день, с самого утра, ему пекло бессонницей глаза, но теперь он чувствовал, что они горят так, словно ему бросили в лицо песок и уже ничего не видно. Вскинув руки, закрыл он лицо ладонями и продолжал кричать. «Глаза, глаза!» — твердило что-то в нем, но он кричал другое и только зажимал глаза руками — и опомнился и увидел все только тогда, когда вдруг почувствовал, что пьет из стакана холодную невкусную воду, схватившись зубами за стекло.

...Его вели домой под руки, натянув кое-как на него пальто, утешая и успокаивая его. Неловкая, кособокая его фигура, покачиваясь на ходу, плыла между всеми, и он смотрел на всех, не понимая, что́ ему говорят. Но это и не нужно было: он видел, что все прошло, что его прощают и принимают и что в глазах тех, кто глядит на него и ведет, нет зла, а только жалость, та, с которой никто, кроме матери, никогда прежде не глядел на него. Было тепло. Совсем мокрый снег хрустел под ногами, и, вслушиваясь в этот хруст и глубоко дыша, С. А. чувствовал, что лишь полжизни его прошло, и предстоит вторая половина, и что ему достанет сил прожить и ее, принимая все так, как есть, ибо ничего изменить уже невозможно.

г. Новосибирск

Алексей АНДРЕЕВ

ЛЮБКА

В сущности, зовут ее Любовь Петровна. Но кто об этом знает? Разве что механик Авдеич — тихий, сутулый старичок, почти всю жизнь оттрубивший в этом цехе и перевидавший на своем убийственно длинном веку столько самых разных залетных баб — и крикливых, и добрых, и скромных, и наглых, и толстых, и тощих; блондинок, брюнеток, шатенок и пр., пр., что в самую пору было спятить, пойти в монастырь, удариться в блуд (тем более что некоторые и сейчас не против — лишь бы прописал, старый пень, на жилплощадь), ан нет, устоял, видать, жена не дала, говорят — мегера, под землей все видит, фиг скроешь, коль согрешишь, и под каблуком своим чуть ли не сорок второго размера так держит, что дай бог каждой суметь; устоял, продержался и ни разу повода не давал — тут, уж точно, никаких сомнений, от стольких глаз (и каких!) такого не скроешь, если что — сразу бы стало известно и рассказывалось до скончания лет или работы; не давал и давать не собирался, для чего и узнавал у новеньких имя-отчество и звал всех исключительно так, не иначе, хоть Матрену с ее таранным басом — тоже почти живой реликт

по стажу, — хоть самую что ни на есть размладенческую пигалицу, с горшка только снятую — и к станку. Всех. И Любку тоже. Чем ввергал ее (как и многих других, к тому пока не привыкших) в смятение и некий испуг, и обычному-то человеку присущий, потому как все под Богом ходим (власть ведь — она и есть власть, кто знает, что ей там в голову вдруг втемяшиться может), а уж если с паспортом не в порядке, с пропиской вопрос и вообще на птичьих правах — лимита, что ж вы хотите, — то и подавно. Но это попервоначалу только, с непривычки и от общей нервности, а потом все привыкали. Привыкла и Любка, внимание обращать перестала, — в конце-то концов что с него взять, женой прибабахнутого, обилием баб вечно испуганного, — пусть зовет, как ему больше нравится, все же не по-матерному, а по паспорту, с родным отчеством, почти с уважением, да и не одну тебя так, а всех — не обидно. Правда, неудобство одно есть — не сразу врубаешься, долго думать приходится, вспоминать, к кому это он так официально; но разве, если уж честно подумать, это неудобство по сравнению со всем остальным? Даже смешно. И потом неудобство-то больше не ей, а самому Авдеичу, он обращается, ему надо, вот пусть и ждет, когда она отзовется. А ей что, над ней не каплет.

А вообще-то отзывается она на Любку. И сама, когда представляется, то не Любой, не Любашей, не Любовью, конечно, и не Любовь Петровной тем более себя называет, а тоже Любкой. Коротко, понятно и без затей.

Лет Любке недавно стукнуло аж двадцать пять. Четвертак, круглая дата. Еще чуть-чуть, и пора на покой. Во всяком случае, именно так кажется Любке, да и не ей одной. Спросите у всякой, такой же или помоложе, каждая вторая ответит — где двадцать пять, там и тридцать, а после тридцати жизнь, можно считать, уже и кончена. Особенно если одна кукуешь.

А Любка была одна. Не в том смысле, что родни у нее никакой не было, — была, куда ж ей деться, и даже немало, правда все больше по деревням и селам, городских же — только сестра в Саратове да племянник двоюродный в Караганде, ну и она еще дуриком в Москву пробилась и старалась особенно о себе не напоминать — на кой ей это; а в том смысле, что замуж Любка к своим двадцати пяти так и не вышла. Хотела, как же без этого, но не удалось. Случались разные претенденты, вдруг начинавшие ч а с т и т ь, водить в кино и навещать чуть ли не каждый вечер, благо в общежитии с этим было легко, да и соседки Любке попались вполне покладистые, но едва Любка принималась строить совместные планы, как претенденты подозрительно быстро отваливались. И не москвичи ведь какие-нибудь — с теми все ясно, им своих выше крыши, пусть он самый даже препаршивенький, расплюгавенький, — и все равно выбирает, гоголем ходит: та ему не так, эта не эдак, и вообще, дескать, чего ради спозаранку запрягаться, когда можно так гулять? В загс всегда успеется. Нет, не они, а свой же брат, лимитчик. Что и обидно.

В конце концов Любка смирилась, махнула рукой и строить совместные планы перестала. Какие уж тут, к черту, планы, поняла она, когда такого товара вокруг — видимо-невидимо. И помоложе есть, и посимпатичнее, не то что лежалый или б/у, ан все равно глухо. Вон и москвички даже — примарафетятся, прифрантятся и тоже на ловлю личного счастья гурьбой высыпают, локтями друг друга отпихивая. Потому как на всех не хватает. Дефицит. А немосквички? А из разных глубинок необъятной нашей страны?

Нет, на своего брата-лимитчика надежда, конечно, кое-какая была. Но небольшая. И не у Любки. Мужики ведь, они и есть мужики: как ночь переспать, так с кем угодно, особенно если по пьяному делу; можно и слово ласковое сказать, и пообещать что-нибудь эдакое, а как только дело начинает к женитьбе идти — тут стоп, гаси свет, начинается большой выпендреж. Эта рожей не подходит, та — характером, и это только покрупному, а сколько еще мелочей набрать можно? А тут еще переизбыток москвичек и реальный соблазн зацепиться, сразу отхватить и прописку, и квартиру, и Бог знает что еще. Какая уж тут Любка, у которой роковое это слово «лимит» разве что на лбу не написано, да и то неизвестно, может, и есть, просто самой не видно? И как ты ни старайся, ни одевайся, марафет ни наводи, чтобы все было точь-в-точь, один к одному, все равно сразу видно, кто ты такая есть. Не проведешь. Любка, во всяком случае, се-

бе подобных издалека отличает. И непонятно как, а сразу видно — вон идет, голубушка, вид делает из последних сил, будто всю жизнь здесь прожила и папа с мамой тоже. И знает сама, что непохоже, а пыжится. Смешно. Просто плакать хочется. Но Любка не плакала, нет. Девки в общежитии — те да, заливались частенько, ревели в голос скопом и поодиночке по конченой своей жизни, по мечтам своим глупым, по молодости, по женихам, по детям в ы ч и щ е н н ы м, а то и так просто, от общей тоски. А Любка нет, не могла. Характер не тот.

А характером Любка пошла в отца. Во всяком случае, так уверяла ее мать, потому что сама-то Любка отца своего ни разу в жизни не видела. Еще до ее рождения он однажды сорвался из деревни на заработки для своих четырех уже народившихся ртов и с той поры канул бесследно на необъятной территории страны то ли в ее северной, то ли восточной части. Мать ждала его долго, тянула на себе детей, — хорошо еще старшей было пятнадцать и она могла помогать, — плакала, проклинала, грозилась, как только вернется, прибить, жаловалась участковому, но заявление писать наотрез отказалась, объяснив соседкам, что дело это семейное, личное и тревожить власть по таким пустякам она не хочет, на самом же деле просто убоялась, а потом плюнула и пригрела в доме давно уже никому не нужного, жившего в развалюхе на отшибе скотника Василия. Чем и повесила на шею себе новый хомут. Василию и так-то было лет пятьдесят, а по виду и того больше, но фамилии его, кроме председателя и участкового, никто не знал, и не потому, что не было, а просто никто не интересовался. Корней местных он не имел, в деревне появился где-то после войны, занял развалюху деда Матвея — тот незадолго перед появлением Василия помер, а сарай его кому нужен, даже скотину держать срамно, — понемногу прижился, пошел в колхоз, одно время даже был бригадиром — недолго, правда, месяца два, потому как орать не умел и ругался плохо, неубедительно. Работник он был безотказный, но работал так себе, с ленцой, быстро уставал, погружался в какие-то свои мысли и мог стоять часами, покуда кто-нибудь не толкнет или не обложит, после чего опять немного чего-то делал и вновь застывал. В конце концов, помаявшись по всяким работам, попал Василий в скотники, за коровами выгребать, — там и застрял, потому что другой какой пользы от него не было, а здесь хоть и при ерундовом, а все-таки деле.

Зачем его мать в дом привела — Любке и тогда и сейчас понятно не было. Разве что с обиды или так, для порядка, чтоб кто-то дышал под боком. Толку от него в хозяйстве было чуть — где-то подлатать, подправить на скорую руку, да и то матери потом часто переделывать приходилось, а он все больше шатался по двору или лежал. Детей он делать, слава Богу, уже не умел, да и мог ли когда — сомнительно, умел лишь слюняво тетешкать чужих детей — и на том спасибо. Выпить любил, но и это делал как-то плохо, несерьезно, не как другие — с гульбой, песнями, братским мордобоем, а все больше один, тишком; быстро косел, начинал плакать и вскоре валился спать. С Любкой у него отношения сложились сразу нейтральные: она его презирала, он ее побаивался, в итоге оба старались друг друга не замечать. Поначалу он, правда, пытался подкатываться к ней со своими нежностями, но встретил такой отпор, что быстро сник и переключился на Любкиных братьев и сестер. Те, впрочем, за члена семьи тоже особо его не держали — смотрели как на что-то временное, но в целом относились терпимее Любки, а Колька — Любкин брат, на два года старше — даже за что-то его уважал, по крайней мере слушался.

Вообще Любкины братья и сестры были мало чем похожи друг на друга, росли сами по себе, каждый по отдельности, а едины, пожалуй, были только в одном — в горячем желании смыться из Богом забытой родной деревни поскорее, при первой же возможности, чтобы не месить грязь круглый год и не латать вечные дыры во благо неизвестно кому. Подрастая, они так и делали — уезжали кто на центральную усадьбу, где было не намного, но все же получше, а кто и еще дальше. Последней уехала Любка. Сначала в райцентр, затем в Подмосковье — дояркой в совхоз, а со временем, прочитав в один из столичных наездов завлекательный призыв обувной фабрики, перебралась и в Москву. Где и жила без малого уже пять лет.

И жила в общем-то неплохо. А чего жаловаться — работа нормальная, восьмичасовая, выматываешься, конечно, — ну а кому легко; зарпла-

та умеренная, но, ведь сколько ни получай, все равно хватать не будет; крыша, слава богу, над головой есть, а что в общежитии, так не навечно же, дойдет дело и до своего угла; короче, ни о чем Любка не сожалела, возвращаться обратно не помышляла, не для того в Москву пробивалась, и, даже когда соседки по комнате затевали разговор о родных местах (впрочем, делали они это не слишком часто), Любка участия не принимала — неинтересно ей было, и все.

Только вот личная жизнь у нее как-то не складывалась. На работе с этим было глухо — сплошняком одни бабы плюс престарелый Авдеич. А вне работы — пока до общежития доберешься, пока отмоешься, переоденешься — глядишь, уже и день прошел. Только выходные с праздниками и остаются. Сперва-то она каждый день, несмотря ни на что, бегала — то в кино, то на дискотеку, а то и просто пройтись с подружками, громко смеясь и глазами стреляя, дожидаясь, когда подойдут и снимут. И снимали, чего ж не снять, когда само в руки плывет. А дальше в действие вступал неизвестно кем, когда и где, но раз и навсегда заведенный сценарий, конец которого был так же стремительно прост, как и его начало. Иногда начало и конец укладывались в один недолгий вечер, и, наверное, то был не самый худший вариант, так как никаких других последствий, кроме тяжелой головы и желания поскорее лечь спать, чтобы на следующее утро подняться и ничего не помнить, он не приносил; несколько чаще между началом и концом успевала втиснуться ночь, и этот вариант уже был похуже, так как весь следующий день проходил будто в тумане, время замедлялось, руки теряли привычную быстроту, а мысли злыми молоточками барабанили в черепную коробку изнутри, вызывая ощущение полной пустоты; реже между концом и началом пролегала неделя, после которой Любке требовалось как минимум еще столько же времени, чтобы хоть немного прийти в себя, и совсем редко — всего-то раза три — конец оттягивался на месяц или что-то около того, — и этот вариант был самым гнусным из всех. Тем не менее ничего, как-то Любка выкарабкивалась, вот только чем дальше, тем выходило это у нее все труднее и труднее, и давала она себе клятвы — одну страшнее другой, — что кончено, хватит, сколько можно, это был последний, самый последний раз, и больше ни-ни, больше она ни на что не купится, теперь ее ничем не проведешь, однако проходило время и все начиналось сначала. И даже последний случай хоть Любку и напугал, но, по сути, в жизни ее ничего не изменил.

А случай этот произошел у Любки с одним парнем — то ли Ревкатом его звали, то ли Рефкатом, — точнее Любка имя его так и не узнала, — в паспорт она к нему не заглядывала, а на слух толком не разберешь, поэтому называла она его то так, то эдак, постоянно путаясь, запинаясь и боясь спросить: вдруг обидится. Познакомилась она с Рефкатом у Вадима из строительного, к которому однажды затащила ее подруга Нинка, теперь уж бывшая, да и тогда не больно близкая, близких у Любки вообще не было. Нинка с Вадимом гуляла давно, на каждом углу хвалилась, какой он щедрый, обходительный, страсть как умелый в постельных делах, и с гордостью демонстрировала обручальное кольцо девятьсот какой-то пробы, которое он ей подарил, клятвенно обещая жениться при первой же возможности. Нинка обещаниям верила, радостно ждала, а если вдруг слышала какие-либо сомнения по поводу его авансов, то сразу, с пол-оборота лезла корябать скептику морду.

У Любки в то время в личной жизни как раз образовалась очередная пауза, несколько подзатянувшаяся из-за аборта и всяких других причин; она злилась, перестала следить за собой, молча скрипела зубами по ночам и уже понимала, что пора бы и выкарабкиваться, но никак не могла себя переломить. Да и кандидатуры подходящей под рукой не было, а искать так, вслепую, почему-то сильно не хотелось. Тут-то и взяла ее в оборот Нинка, жизнерадостной натуре которой надоело это бесконечное отпевание, нытье; решительно сдернула с койки, заставила приодеться, самолично навела марафет и потащила к Вадиму. Любка упиралась, но в меру.

Вадим тоже жил в общаге, но не ютился, как прочие, а благодаря каким-то делам с комендантом один занимал комнату на троих. В комнате этой, по Нинкиным рассказам, всегда было весело, постоянно крутились какие-то люди — знакомые и родственники Вадима; некоторые из них появлялись и тут же исчезали, другие жили по нескольку дней, третьи навещали регулярно и были для Нинки почти как свои, даже выполняли ее маленькие заказы, по-родственному. И в тот раз Вадим был не один. Из-за стола вместе с ним поднялся еще какой-то парень — небольшого роста, с усиками, чем-то похожий на одного артиста из индийского фильма про любовь. Какого именно — Любка вспомнить не смогла, хотя и честно пыталась, но сходство заметила сразу. И еще отметила, что парень тихий, вроде скромный.

На столе, в окружении нехитрой закуси — даров близлежащего универсама, стояло вино, шампанское, початый коньяк. По всему было видно, что начали недавно. Девушек сразу усадили, открыли шампанское, и понеслось. Вадим довольно быстро окосел, начал откровенно лапать Нинку. Нинка громко смеялась, игриво била его по рукам и с притворным возмущением одергивала юбку, когда та задиралась до самых трусов.

Рефкат (или Ревкат, хотя какая разница?) пил мало, на плоские шуточки Вадима вежливо хмыкал, сам молчал, смотрел все больше на стол и лишь иногда вскользь поглядывал на Любку. Любке такое поведение было в новинку, и хотя поначалу Рефкат ей не особо приглянулся (хоть и на артиста похож, да все равно не в ее вкусе — мелковат), постепенно она стала оттаивать, смотреть на него с симпатией и даже пытаться разговорить.

Вскоре Вадим включил магнитофон, они немного подрыгались, затем пошла медленная музыка. Нинка, тяжело дыша, повисла с закрытыми глазами на Вадиме, тот, подрулив к стене, выключил свет, и сразу Любка ощутила, что движения Рефката, до этого мягкие, предупредительно-обволакивающие, обрели вдруг какую-то жесткую целенаправленность. Она непроизвольно напряглась, но в следующую секунду пол из-под ее ног внезапно куда-то исчез, все качнулось, и Любка плавно опустилась на кровать. «Не такой уж он и скромник», — еще успела отметить Любка...

На следующий день, возвращаясь с работы, она не сразу заметила Рефката. А заметив — удивилась. От вчерашнего вечера у нее остались очень смутные ощущения, и то, что вечер этот может иметь продолжение, для нее было несколько неожиданно.

Рефкат сидел на скамейке у общежития, и, хотя смотрел он куда-то прямо перед собой, Любка сразу поняла, что ждет он не Нинку, а ее. Когда Любка подошла к скамейке вплотную, Рефкат взглянул на нее ничего не выражающим взглядом и, не вставая, молча кивнул. Любка потопталась и села рядом. С полчаса они сидели на скамейке, иногда обмениваясь ничего не значащими фразами, затем Любка поднялась, сходила в свою комнату переодеться, а когда вышла обратно, у Рефката уже торчала из кармана куртки бутылка коньяка. Еще немного посидев, они дождались ухода Любкиных соседок и пошли к ней.

В последующие дни программа практически не менялась. Пару раз они сходили в кино, причем инициатором была Любка, а Рефкат нехотя соглашался, один раз он сводил ее в кафе, а в остальные вечера они просто сидели на скамейке у подъезда Любкиного общежития, дожидаясь, когда можно будет пойти к ней. Благо соседки ее работали в другую смену. Один раз Рефкат попытался затащить Любку к Вадиму, но та уперлась. Уж больно противно было вспоминать хруст соседних пружин и громкие Нинкины стоны. Впрочем, Рефкат особенно и не настаивал.

А потом Рефкат исчез. За день до этого он неожиданно повел Любку в ресторан, причем не какой-нибудь там, стоящий на отшибе и днем без всякиу усилий превращающийся в заурядную столовку, а самый настоящий, с золоченым швейцаром у тяжелых дверей, прилизанными, нагловато-подобострастными официантами, разряженной публикой, оркестром и кажущимся необъятным из-за переливчатого полумрака баром. Перед входом в ресторан, увидев довольно большую толпу жаждущих туда попасть людей, Любка несколько оробела, пока Рефкат вел какие-то таинственные переговоры с неприступным швейцаром за стеклом, — робость эта постепенно усиливалась, но, очутившись внутри за отдельным столиком, Любка быстро освоилась, начала с интересом оглядываться по сторонам, и, хотя уверенности ей это не прибавило, вскоре она уже вела себя так, будто посещение подобных мест было для нее делом давно привычным и даже в чем-то немного поднадоевшим. Рефкат был, как всегда, невозмутим, щедро подливал Любке шампанское, сам пил немного, больше налегал на еду и

тоже бросал взгляды по сторонам, но очень быстро, почти незаметно и как-то вскользь. Иногда Любка пыталась вытащить его потанцевать, но Рефкат отказывался, говорил, что рано, еще не уходим, успеем. Пару раз он куда-то ненадолго отлучался, один раз (во всяком случае, Любке так показалось) перебросился, проходя мимо, несколькими словами с молодым парнем, сидящим вместе с девушкой практически у самого выхода из зала, а все остальное время сидел напротив Любки, слушал ее болтовню, изредка кивал и ронял какие-то замечания.

Обозревая в очередной раз зал, Любка вдруг обратила внимание на двух только что вошедших мужчин и, приглядевшись, с удивлением узнала в одном из них Вадима. Она хотела было привстать, чтобы помахать ему рукой, но взгляд Рефката и негромкий звук, который он издал, ее остановили. Игнорируя вопрошающий взгляд Любки, Рефкат плеснул в бокалы шампанского, они молча выпили и, когда Вадим со своим спутником заняли дальний столик в углу, пошли танцевать. Танцуя, Любка то и дело ловила быстрые взгляды Рефката, направленные в тот угол, где расположился Вадим. Ее так и подмывало спросить, что все это значит, но она не решалась. Что-то удерживало. После нескольких танцев они вернулись за столик, и вскоре Любка увидела, как Вадим прощается со своим знакомым и идет к выходу. Когда он скрылся за дверью, Рефкат подозвал официанта. На улице он усадил Любку в такси, сказал, что позже обязательно будет у нее, и куда-то исчез. Любка прождала его до глубокой ночи, но Рефкат так и не появился.

А на следующий день спозаранку прибежала Нинка. Быстро оглядев комнату, она села к Любке на кровать и с ходу начала спрашивать о Рефкате. Заподозрив что-то неладное, Любка отвечала уклончиво и делала вид, что очень хочет спать. Спать ей и вправду хотелось, так как всю ночь она пролежала, не закрывая глаз, с надеждой прислушиваясь к происходящему на улице и в общежитии. Нинку ее ответы, казалось, удовлетворили, она встала, прошлась по комнате, зачем-то потрогала Любкино выходное платье, со вчерашнего вечера так и оставшееся на стуле, похвалила его, подошла к окну и уже оттуда небрежно сказала, что вообще-то она зашла просто так, поболтать, и заодно прихватить с собой Рефката, который еще позавчера обещал Вадиму, что сегодня утром будет у него. Но, видимо, они разминулись, и Рефкат наверняка уже там, так что она пошла.

Услышав, что Рефкат сейчас должен быть у Вадима, Любка вскочила и начала одеваться.

Рефката у Вадима не было. Зато сидел тот парень, с которым Вадим встречался в ресторане и которого Любка еще вчера мысленно обозвала Штырем из-за высокого роста и какой-то неестественной худобы. Узнала его Любка не сразу, так как лицо у него было все в ссадинах и кровоподтеках, а из-под низко надвинутой кепки выглядывал бинт.

— Ну? — с нетерпением спросил Вадим, едва они вошли в комнату.

— Нет. — Нинка покачала головой.

— А где? — Вадим обошел их и плотно закрыл дверь, щелкнув замком.

— Не говорит.

— Сука! — Штырь резко поднялся.

— Подожди, — остановил его Вадим.

Нинка что-то ему прошептала и с безразличным видом уселась на диван.

— Садись. — Вадим показал Любке на отдельно стоящий стул.

— Нет, я пойду. — Любка шагнула к двери.

— Садись, — повторил Вадим с такой интонацией, что Любка вздрогнула и подчинилась.

— Скажи нам, Люба, где сейчас Рефкат? — Вадим взял другой стул и уселся напротив.

— Не знаю. — От тона Вадима и такого обращения к ней по имени Любке сделалось страшно. И в то же время она вдруг отчетливо поняла, что Рефкату и ей грозит какая-то опасность и от ее поведения сейчас зависит многое.

— А где вы с ним сегодня должны встречаться?

— Не знаю, — повторила Любка, стараясь ничем не выказывать свой страх.

— Ну зачем же так, Люба? — с укором сказал Вадим. — Я же знаю, что сегодня вы должны встретиться. Мы, — он бросил взгляд на Штыря, — тоже хотим с ним повидаться. Чтобы ему помочь. Ты же хочешь, чтобы ему помогли?

— Да, — Любка кивнула. — А в чем?

— В очень важном деле. Но, чтобы мы ему помогли, ты должна нам сказать, где и когда вы сегодня должны встречаться.

— Нигде. — Любка пожала плечами и, увидев, как передернулось лицо Вадима, быстро пояснила: — Мы с ним на сегодня не договаривались.

— Врет, сука! — зло рявкнул за Любкиной спиной Штырь.

— Ну зачем ей врать? Она же понимает, что мы Рефкату друзья. Понимаешь?

Любка молча кивнула.

— Понимает. — Вадим пристально смотрел ей прямо в глаза. — Просто они договорились не на сегодня, а на завтра. Да?

Любка отрицательно покачала головой.

— Странно. — Вадим сделал многозначительную паузу и повторил: — Очень странно. А мне говорили, что вы встречаетесь каждый день.

— Встречались, — тихо поправила его Любка.

— А что так? — с сочувствием спросил Вадим.

— Да... — Любка махнула рукой и уже почти было собралась с духом еще раз попытаться уйти, как вдруг Вадим резко подался вперед и совсем другим, жестким тоном спросил: — Где вы вчера были?

— У меня, — быстро ответила Любка.

— Все время?

— Да.

— Врешь. Вечером тебя в общежитии не было.

— Мы гуляли. — Любка спиной почувствовала, как Штырь встал.

— Где?

— На улице.

— А девки сказали, что ты вчера в ресторане была, — подала голос Нинка.

— Врут! — Любка вскочила со стула, и тут же сильный удар сзади повалил ее на пол.

Били ее долго. Сначала они еще спрашивали, где Рефкат, а потом, поняв, что она этого не знает или не скажет, били уже просто так. Особенно старался Штырь — он суетился вокруг Любки, забегал с разных сторон и со смачными выдохами вгонял кулаки и кроссовки в ее сжавшееся от боли и ужаса тело. Вадим бил реже, с ленцой, зато расчетливо, выцеливая острым носком модного ботинка самые уязвимые места. Любка пыталась кричать, но вылетавшие из ее горла звуки только усиливали их возбуждение.

Потом они устали, а может, и надоело, скучно стало, неинтересно, — сели к столу, молча, отходя, стали выпивать, закусывать. Нинка им что-то рассказывала, громко смеялась, заглушая Любкины стоны, и Вадим со Штырем тоже постепенно начали похохатывать, а Любка так и лежала на полу, ничего не соображая, не желая и не в силах подняться... Ей казалось, что она большая кукла с розовым бантом и голубыми глазами, кукла, которую как-то в детстве, проснувшись, она вдруг обнаружила у своей кровати, и обомлела, и зажмурилась, думая, что это сон, и боясь проснуться, и опять открыла глаза, и неуверенно протянула руку, и дотронулась, все еще не веря, что такое может быть, и жадно схватила, принялась рассматривать: не кукла, а настоящее чудо, в существование которого невозможно поверить, пока не увидишь сама, пока не потрогаешь эти блестящие волосы, заплетенные в две косички, это красивое платьице с кружевами и карманчиком, какого ты никогда в своей жизни не имела и даже не знаешь, как можно такое носить, эти башмачки с серебряными пряжками, этот бант, эти голубые глаза с огромными ресницами, послушно закрывающиеся и открывающиеся вновь, это... А, да что там говорить! Это сейчас такой куклой Любку нипочем не удивишь, — просто пройдет мимо и не заметит: тоже мне, дефицит какой, — а тогда... тогда она никак не могла прийти в себя от внезапно свалившегося на нее счастья, долго ее трогала, баюкала, с замиранием сердца прислушиваясь к протяжному, почти настоящему «ма-ма», расстегивала и опять застегивала платьице, снимала башмачки, гладила волосы и любовалась, любовалась... Любовалась до тех пор, пока

чья-то рука осторожно не погладила ее по голове и голос отчима заискивающе не произнес: «Нравится? Это тебе». И все кончилось. Любка отшатнулась, прижав к себе куклу, вскочила с кровати, возмущенно посмотрела на отчима, не позволявшего себе раньше ничего подобного, и уже что-то привычно злое готово было сорваться с ее языка, как вдруг она осознала, что это сокровище, это неподдельное чудо, которое она держала в руках, — подарок его, этого... отчима. И такая обида захлестнула ее сердце, чувство такой несправедливости, предательства (кого? чего?), что Любка закричала, бросила куклу на пол и принялась ожесточенно ее топтать, выкрикивая при этом все самые страшные и бессмысленные ругательства, которым успела научиться за свою короткую жизнь... И вот теперь, лежа на полу, она в полубеспамятстве видела себя именно этой, вдрызг ею когда-то растоптанной куклой. И ей казалось, что вот сейчас, да, да, именно сейчас, непременно должен подойти кто-то большой и сильный, нагнуться, поднять ее с пола, бережно прижать к себе и баюкать, баюкать до тех пор, пока боль не отпустит и она не сможет тихо, благодарно прошептать «ма-ма».

Очнулась она оттого, что рядом опять появился Штырь. Каким-то звериным чутьем Любка почувствовала, что он стоит над нею и смотрит. Она шевельнулась, пытаясь сжаться в комок, защитить от новых ударов голову и живот, но Штырь всхрюкнул, рывком перевернул ее на спину и навалился сверху...

Как она очутилась у себя в общежитии — Любка помнила плохо. Кажется, сначала она долго пыталась спихнуть с себя сразу заснувшего Штыря, а тот ворочался, сквозь сон матерился и никак не хотел сползать, потом с какой-то маниакальной настойчивостью приводила в порядок одежду и, почти ничего не видя, все искала на полу разлетевшиеся пуговицы — и не находила, затем была улица, на которой она больше стояла, привалившись к столбу или дереву, чем шла, сквер с ободранной скамейкой, с которой так трудно было встать, и, наконец, — отдельным фрагментом, вблизи — выщербленные ступени подъезда.

На следующее утро, проснувшись, Любка осторожно ощупала свое тело, отзывающееся болью на каждое прикосновение, оглядела себя в зеркале и поплелась в травмопункт. Молодой врач с явным недоверием выслушал ее рассказ о том, как она мыла окно и случайно упала, но лишних вопросов задавать не стал и справку выдал.

Через неделю Любка вышла на работу, в тот же вечер подстерегла неподалеку от общежития Нинку и с молчаливым остервенением била ее до тех пор, пока та не рухнула на землю и не начала пронзительно выть. Некоторое время после этого Любка старалась одна в комнате не оставаться, возвращалась домой только в компании и на всякий случай таскала в сумке завернутый в тряпку хозяйственный нож, который вынимала только на ночь, чтобы положить тут же, рядом, на тумбочку. Продолжала она это делать и тогда, когда прошел слух, будто Вадима арестовали по подозрению в торговле наркотиками, и только после суда, на который Любка не пошла (но все подробности которого узнала из пересказов), она перестала таскать с собой нож, возвратив его на место, к посуде. Пару раз она еще сталкивалась в общежитии с Нинкой, причем обе при этом старались друг друга не замечать, но потом Нинка куда-то исчезла и жизнь Любкина постепенно закрутилась по-старому. Иногда, правда, накатывало — и азартные выдохи Штыря, и мерзлые, чуть навыкате, как у рыбы ледяной, глаза Вадима, и уверенные руки Рефката, и разломанная большая кукла, тихо сипящая «ма-ма», — но со временем все реже, реже, и в конце концов как-то незаметно забылось и это.

Так она и живет. Утром в толпе — на работу: обычная кофта, обычные джинсы, фигура — полный стандарт (не какой-нибудь там, а свой, отечественный, на молоке да картошке вскормленный, монгольской и бог знает какой еще кровью размешанный), лицо — тоже (плюс-минус не считается), на руки лучше не смотреть — не бумажки ведь перекладывает, какой ни есть, а пролетарий; сверху химия — мелким завитком, ниже — тени, румяна, помада и пр., вплоть до облупившегося педикюра на чуть косолапящих, р а з н о ш е н н ы х ногах; одним словом, и не красавица, и не уродка, а так, серединка на половинку, мелькнет — не запомнишь, не вглядевшись — не отличишь. Вечером, тоже в толпе — домой: троллейбус, очереди, магазины. Иногда — в кино, чаще телевизор, если не сломан, — не в комнате ведь и не личный, а в красном уголке — каждый крутит, как ему вздумается; а еще чаще — так просто, на кровати, изучая в тысячный раз потолок под истошно гомонящее радио. Одна из многих. И все вроде нормально, все путем, как и у остальных, — не всех, конечно, но большинства. А что в личной жизни непруха, так еще не вечер, время есть, да и сразу все никогда не бывает. Вот получит прописку постоянную, дадут комнату — свою, отдельную, — сразу дело двинется. А если что, вдруг приспичит, так и одной родить можно — вообще никаких проблем, дело нехитрое. Да и зачем он, муж этот, в сущности говоря, нужен? Только так если, для порядка. Чтобы не приставали. А вообще-то одна морока. Видела, знает. Нагляделась достаточно. Так что, может, оно и к лучшему? Может, оно и правильно? Вон их сколько — таких же. И ничего ведь, живут. Многие даже довольны. И Любка в принципе тоже довольна. Так, иногда только — редко, совсем редко, когда поздний вечер или ночь, в комнате никого нет, и мертвый зрачок луны заливает холодом стены, пол, всасывается в люминесцентную щель под дверью; когда за окном тишина, а в распахнутую настежь форточку вместе с запахом листвы, или мороза, или талого снега ветер заносит еще что-то — казалось, давно забытое, далекое, ненужное, — да, в такие минуты бывает, вдруг нахлынет на Любку — помутнение? злость? тоска? — и вытолкнет из кровати, подведет к окну, заставит его открыть, свеситься, глубоко вздохнуть, глянуть вверх, на знакомые с детства звезды, и по сторонам, и вниз долгим взглядом — все молча, без слез, с неподвижным, пустым лицом — и стоять так минуту, десять... замерев и почти не дыша, только изредка вздрагивая всем телом; стоять, перегибаясь все больше и больше, вминая в подоконник живот; стоять, стоять и... резко распрямиться, сплюнуть, шепнуть пару ласковых, закрыть окно и вновь бухнуться на кровать — все равно ведь второй этаж да и на работу рано вставать.

А зовут ее все-таки Любовь Петровна. Только кто об этом знает? Да и кому все это интересно?..

Ирина ПОЛЯНСКАЯ

ВСЕ ЯБЛОКИ, ВСЕ ЗОЛОТЫЕ ШАРЫ...

Что делать, писала Надя, когда жизнь прет на тебя косяком, когда кажется, что ты забралась в чужой огород и невидимый в темноте хозяин спустил на тебя всех своих псов... и еще сравнение: висело над тобою облако ненастное и вот разрослось до того, что не стало видно ни единой звезды небесной, и когда оно наконец прорвалось, из него хлынули проливные беды, которые нет времени достойно описать, можно только зафиксировать первыми попавшимися метафорами, сложить в них, как в цветочный горшок, семена и ожидать у моря погоды. Ма, стучит в ухо младшая дочь Лиза, воспитательница сказала, что тебе лень зашить мои рваные колготки. Так и сказала? Да. Я уже зашивала, но у всего на свете есть срок годности: у колготок, у мамы, у ее почки, которая болит, у терпения. Мама, веско молвил старший сын, Сергей, ты подписала письмо экологов и из-за него нам не дают квартиру. Сережа, а кто заступится за нашу общую квартиру, за́ небо над головой? Ну, мам, опять начинаешь... Пусть бы другие, у которых есть квартиры, подписывали, вечно тебе больше всех надо. Да, мне надо больше всех, мне надо, чтобы всем, а не только нам с вами, было хорошо, всем, и соседу Коле, и уборщице Тасе. Тасе и так хорошо, она как зальет шары, так и завоет в голос: «Ой ха-а-рашо, ой, ха-а-рашо!» Мама, вступает в разговор уже средняя. Оля, а почему ты тете Лене сказала, что у нас есть яблоки, нет у нас ни одного яблочка, ни самого вот такусенько-

го, ты бы честно и сказала: нет у нас, тетя Лена, яблок, а ты говоришь: спасибо, Лена, у нас есть яблоки. Я так и говорю, дурочка, потому что тетя Лена за свои яблоки запрашивает большую цену, она хочет, чтобы я сказала, что ее муж умеет писать хорошие стихи, а этого я сказать не могу: в нем дара Божьего — как у нас яблок. Так ты и без того врешь, мама, говоришь, что у нас есть яблоки, а у нас их нет, нет. Тут в разговор вмешивается Гена, муж: стоп, ребята, разберем-ка эту нравственную проблему — какое вранье лучше. Дети, давайте разберемся. Давай, па, раз уж нет яблок. Что лучше — сказать неправду и получить за нее яблоки или сказать неправду и ничего за это не получить. Они стали разбираться, а Надя все писала и писала приблизительно такой текст:

Пришла Таня, подруга по, так сказать, цеху, маленькая, круглая, румяная, каждую свою публикацию выхаживает вот этими уверенными, крепенькими ногами, и сам черт ей не брат, когда она смотрит на редактора, якобы чего-то не понимая, а он (она) смотрит на Таню, не понимая, как это Таня может чего-то не понимать, что н у ж н о понимать, и все так запутывается с обеих сторон, что из этой путаницы в результате, словно месяц из тумана, выходит очередной Танин рассказ на страницах родного журнала, и тогда Таня, щедрая, с гонорара приносит Наде снедь: где-то в сторонке на столе выкладывает масло, сыр, мясо, яблоко, яблоко, еще яблоко и еще. Надя становится за ее спиной и на каждый выложенный гостинец выплевывает: пасибо, пасибо, еще раз пасибо и еще. Таня смущается: ну ладно, прекрати. Нет, почему это прекрати, пасибо, благодарствую, мой друг, низкий тебе поклон, дай Бог здоровьичка. В воздухе разлито облако благодарности, легкие забивает как угольная пыль, разъедает печень и желчный пузырь, стискивает больную почку, уже нет сил лепетать пасибо, а оно, как воздух изо рта утопленницы, пузырьками выходит непроизвольной злобой, жесткой обидой, задавленной гордостью — пасибо. Гена, муж, дергает Надю за рукав: что за тон, с Таней-то за что так? И, правда, не за что. Таня это делает из лучших побуждений, у нее самой лишнего нет, как у прочих, которые приносят гостинец в качестве платы за отнимаемое время или от сытости душевной, чтоб душа еще насытилась состраданием, и это им подай, сострадание. Они приносят яблоки, но сами их и сжирают, пожирают Надю, ее большое пасибо. Они дарят томик Мандельштама, чтобы прочитать с Надиных помертвевших губ пасибо. Дают кофтенку, из которой выросли их дети, а сами облачаются в мантию Надиной вечной благодарности, у нее уже пасибо, как кровь у крепко побитого человека, выступает из-под ногтей и из ушей течет, а они все не могут насытиться ее пасибо.

Да что я, с ума схожу, что ли, откуда этот слог, рвущийся под тяжестью неправедной обиды? Что делаешь, жизнь, зачем выкручиваешь меня, как мокрое белье, уже и слез нет, а ты все выжимаешь меня и выжимаешь!

Как говорит Валера, друг, так сказать, по цеху: каждому Христу по кресту, догоним и перевыполним. Валера стилист, набоковец, одна повесть лучше другой, но вот беда; весь он, словно головой в колодец, летит в своих героев, весь в них оказывается и проявляется, потому герои эти такие паскудные, все под себя гребут, и чужой стиль тоже. Валера приносит — сало. Мать ему из деревни посылает, а Валера сало не жрет. Пасибо, что сам не жрешь. Ну что пишешь, спрашивает Валера, и заранее бледнеет. Пишу. Еще больше бледнеет. И хорошо пишешь? Я иначе не умею. Совсем белый стал. Дай почитать! На! Унесли на носилках.

Еще один пишущий друг приходит учить жизни — Веня: дескать, ты не умеешь радоваться, а Бог говорит: «Уныние есть величайший грех». Бог говорит это тем, кто живет, как ты, Веня, в двухкомнатной кооперативной квартире со всеми удобствами, а не в бараке, как мы. Ага, не в бараке, как вы! — радостно подхватывает Веня. А что бы делала в двухкомнатной, о чем писала б? Тут у тебя такие типусы по общей кухне бродят, дядя Коля, например, в бутылки мочится, лень ему дойти до скворечника, а потом все это дело вытряхнет и тут же идет сдавать посуду, материал так и лезет в руки, сочинять ничего не надо, живешь среди действительности в ее чистом, беспримесном виде. И вообще плевать я хотел на кооператив, будем как птицы небесные, продолжает Веня с высоты поднебесной своего четырнадцатого этажа кооператива, и действительно плюет косточки засахаренной вишни с балкона прохожим на голову, и бросает вниз окурки, и все эти бытовые мелочи его жизни проскальзывают в Венины творения, его проза дышит наплевательством, он пишет прозу ироничную, как бы усмехающуюся в усы, точно за этой иронией что-то такое стоит, некая глубинная боль, тоска по глубокому смыслу жизни. Его нарядная фраза зевает и потягивается, поигрывает накачанными мышцами, поднимая тополиный пух.

Муж Гена наконец закончил разбирать с детьми нравственную проблему и взял в руки три странички, отпечатанные Надей на машинке.

— Ты чего сегодня такая злая? — дочитав, удивленно спросил он.

— Я не только сегодня. Надоело пасибо говорить.

— Давай разберемся.

Ага, теперь будет с нею разбираться. Обожает разбираться, ему что, окопался сторожем и пишет свою фантастику, и ему, как товарищу по цеху, не скажешь: подумай о детях, нам хронически не хватает денег, поскольку он, как товарищ по цеху, возразит, что наши дети — это наши творения.

— Друзья называются! Рвут, как псы, мои дымящиеся внутренности и жрут, жрут, все смотрят, что бы с меня сжулить,— час моего времени, мои метафоры, мою общую кухню для своих сочинений!

— Это все я уже понял, Надя. Нет, серьезно, что произошло, в чем действительная причина твоего настроения?

Вот истинная причина: проза жизни загнала в угол поэзию жизни. Проза жизни наматывает кишки на кулак и отовсюду, даже из того закутка, где, казалось бы, час тому назад стояла поэзия, грозит кулаком.

А где она стояла, поэзия, в каком уголке, в чем она провинилась, за что ее поставили в угол?

Двадцать лет куда-то укатилось, личные Надины 7300 дней свалились в общую вечность, но, иногда глубоко задумавшись, уйдя мыслями в прошлое, она их узнает по мерцанию, когда смотрит в эту яму, они там еще дышат, еще живые, хотя каждый прожитый день накрывает минувшее новой порцией праха. Каждый день тогда был как алмазная капля дождя, который уже прошел, но еще слышно, как в нарастающей тишине каплет с крыш. От каждого прожитого мига исходит свечение, каждая минута смотрит невестой. Всякий прожитый день зарыт впрок как клад, до востребования, без нанесения на карту, определения по звездам, которые схлынут с неба, как елочная мишура, когда на восточной стороне города построят нефтехимкомбинат, а на западной цемгигант.

Вчера вечером все эти клады сами собою раскрылись и вместо былых рос и звезд из них посыпались кости мертвецов.

Вот как это произошло.

Надя не знала, что Воробьев приехал, никто ей не сказал, сволочи-друзья решили сделать ей сюрприз. Уже все однокурсники были в сборе, когда она пришла, и Воробушек открыл ей дверь. Они его нарочно послали открывать и нарочно не сказали, кто звонит в дверь, а звонила Надя всегда одним длинным нахальным звонком, как любимица публики. Воробушек поперся открывать, должно быть, долго выбирался из-за стола, потому что Наде уже надоело держать палец на кнопке, все общество сыпануло в коридор за ним, любопытствовали, как произойдет встреча двадцать лет спустя. Он открыл дверь и спросил: «Вам кого?» Он был почти такой же, как прежде. Он спросил ее, былую возлюбленную, с которой когда-то было такое забытье, что сердце начинало стучать даже в кончиках пальцев: «Вам кого?» Называл ее «девчонка» и «светлая». Она была старой, как обугленное дерево, полуживая руина самой себя, и когда Воробушек спросил: «Вам кого?»,— однокурсники вдруг поняли, что они натворили, и по одному, как со скучного концерта, стали стесненно просачиваться в комнату. Воробушек терпеливо ждал ответа, а Надя бросилась вниз. Она бы жизни не пожалела, если б можно было в эту минуту умыть лицо в мерцающих молодых днях, как в живой воде, и провести хоть час с ним за общим разговором, в чужой квартире.

Вот, Гена, истинная причина.

Но события разворачивались дальше.

Стояла морозная ночь, и деревья аллеи, по которой, рыдая, шла Надя, до мельчайших подробностей были объяты инеем. И было так тихо

впереди, позади и над нею, словно под землей, и когда из-за поворота появилась фигура, это было странно, точно неподвижность зимы переполнилась сама собою и поплыла. Иней, как судорога, прошелся по кустарнику. Две фигуры сближались, и Надя узнала свою школьную учительницу, которая когда-то так выделяла ее из других, познакомила с поэзией Блока и Пастернака и учила ее писать прозу, но не такую, какую Надя теперь выбрасывает из себя толчками, чтобы не захлебнуться прозой жизни, а другую, эдакую романтическую вьюгу слов. По мере их сближения учительница услышала, как Надя рыдает, а Надя услышала, что та тоже тихо плачет, ноет, как ребенок. Учительница, узнав Надю, перестала лить свои тихие слезы и спросила, отчего Надя рыдает. Надя хотела уже ей рассказать все-все про Воробушка, про Гену, который работает сторожем, про детей, которых часто нечем бывает кормить, про то, что не дают квартиру, но почему-то сдержалась и, смахнув свои слезы, задала встречный вопрос: «Что у вас случилось?»

Учительница отерла лицо носовым платочком, вынутым из варежки.

— Сегодня вечером я стояла у окна, не зажигая света, и слушала по радио «Грезы любви». Слушала, слушала и вдруг увидела себя в зеркале — помните, у меня небольшое зеркальце висит на ручке оконной рамы. В темноте я увидела себя молодой, а над зеркалом левее и выше висела молодая звезда, и она, как сердце, сжималась, все так же, как сорок лет назад, то же зеркало, то же лицо, та же звезда в небе. А внизу от детского сада тянулась дорожка в снегу, по ней никто не шел, от нее отбивались, словно ветка, вели куда-то в сторону отдельные маленькие следы, я так хорошо их видела. И я подумала: Боже, как нестерпимо хороша жизнь, как больно уходить от нее такими маленькими, мерцающими в темноте шагами, и еще подумала: никто в целом мире, ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем, не видел, не видит и не увидит эту дорожку в снегу с такой нежностью, как вижу ее сейчас я, и на кого я покину и ее, и зеркало, и мелодию Листа, и эту звезду — на какую вечность?..

Владимир БАРВЕНКО

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНЬЕ

К вечеру кузнец Никита Полудный почувствовал в груди жар. Весь день он привычно ковал всякую всячину, необходимую в хозяйстве, которую не продавали в сельмаге, а если и продавали, то была она совсем не такая, как из-под рук Никиты. Души, наверное, в ней не хватало.

Он сбросил серый дерматиновый фартук, мелко израненный окалиной, как картечью, и вышел из кузни во двор.

Стоял апрель, и солнце двигалось к горизонту долго. Но в том месте, где оно должно было погаснуть, уже пролилась бледно-розовая заря. Хата Никиты была на бугре, у самого въезда в деревню, у неширокой, изрядно побитой каменки. И кузню, и саманную хату ставил дед Никиты, а может, даже и прадед. Для кузни, как ни говори, место удобное. Лошадей прежде в хуторах была уйма — все, считай, на конной тяге, и телег, и бедарок мимо бегало много. Так что предкам и ему, Никите, работы хватало — успевай только подковы гнуть да пришлепывать на копыта. Потом табуны крепко поредели, но жизнь уже выносила кузнеца Никиту Полудного на финишную прямую, и он мало-помалу потерял вкус к прежнему делу, зато хозяйскую ковку постиг сердцем, и всякая теперь мелочь под его молоточком и пела, и плясала в лад. И заказы, слава Богу, были и от своих, и от соседних хуторян.

Хата Никиты Полудного вросла в бугор с самого края, а деревня покатилась дальше вниз, и он с младенческих лет видел эти густо поросшие садами дворы с проплешинами огородов, широкое озеро с черной водой, бурые за ним луга и редкий перелесок.

В каждое время по-разному выглядел этот пейзаж, но чаще все-таки радовал, чем печалил. Сейчас все еще кругом было серо, пустынно, только кое-где низины чистым изумрудом оплескала травка, но между тем светло и просторно, и оттого на душе кузнеца прозрачно. Так всегда бывает в этих краях весной по первому ласковому теплу. Маковка церквушки, подрумяненная зарей и как бы отсеченная от земли, парила тихо и покойно. Церквушка та была бросовая еще с юности кузнеца Никиты, с тех самых пор, когда жизнь в хуторах пенилась, драчливо делилась по пролетарской справедливости. Давно это было, а помнится хорошо...

Кузнец вдохнул полные легкие чуть влажного, сладко пахнувшего весенними испарениями воздуха, вдохнул с удовольствием, но грудь его ничуть не выстудилась, стало в ней еще жарче, теснее. И тогда он подумал, что пришла к нему смерть, но не столько испугался, сколько удивился. Пожил-то на свете Никита Полудный немало, и смерть ему не раз приходилось видеть и в годы войны, и в годы мира. Да так, бывало, близко косой своей поблескивала, что, казалось, уж и не миновать ее. Ан нет, миновала. А теперь вот пришла за ним, и стоит напротив, и дышит ему в лицо так буднично и так нахально, как пьяная девка.

Кузнец расстегнул ворот рубахи, потер прохладной рукой грудь, хотел было сесть тут же, у дверей, на завалинку, но раздумал. Он сказал себе: «Пора»,— и вернулся опять в кузню. Постоял, собираясь с мыслями, поглядел на горн, на печь, на разбросанный вокруг наковальни инструмент: молоты и молоточки, длинные, как гусиные шеи, щипцы, ломики, на груды всяческого металла у стен, задохнулся опять тяжелым зольным духом, и стало ему так тоскливо, так одиноко, хоть волком вой. Жена кузнеца уехала к сыну в город нянчить внуков, пятилеток-близняшек Петруху и Павлика, потому что невестка отправилась в командировку в Москву, а детки вдруг приболели,— болели-то они всегда дуэтом. Большой человек была невестка. А сын его, Егор, так — ни уму, ни сердцу. Блаженный какой-то, вроде и не пьющий, а радости мало. Хилой уродился, поздний, поди. Думал, мечтал Никита: в науку пойдет сын, ежели силушкой отцовской бог обделил. И то верно, башковитый Егорка рос, из книжек не вылазил. В институт в городе поступил, на инженера выучился, а производство ни с того, ни с сего бросил, заныл, завредничал: и то ему не так и другое. В какой-то конторе прозябает, ни денег нет, ни надежды. Вот первенец был, Гришка, тот его копия. Кувалдой в двенадцать лет махать начал и не то чтобы по принуждению — в охотку. Утонул Гришка в весенней полынье, собаку спасая. Собаку спас, а сам утонул.

Никита прошел в край кузни, где у стенки были сложены и по-хозяйски перемазаны мазутом листы кровельной жести, давний припасок, аккуратно, по одному, разгреб их и освободил из неволи полутораметровый, тускло поблескивающий нержавеющей сталью крест.

Он вытащил его из кузни, поставил рядом с дверью, протер добросовестно ветошью глянцевые его закруглины, и те звонко заблестели в закатном солнечном сиянии. Что говорить, от души он крест сработал.

Потом Никита собрал в Егоркин ранец инструмент, большие гвозди и скобы, принес из сарая моток пеньковой веревки. Мельком глянул на себя в осколок зеркала на стене и гребенкой расчесал седые длинные, почти до плеч, жесткие волосы. Надел поверх рубахи теплую, из овечьей шкуры, безрукавку — прохладно еще вечером, набросил на одно плечо веревку, иа другое крест взвалил и, подхватив ранец, шагнул за калитку.

Никита Полудный шел по деревне спокойно, уверенно. Он зиал, куда ему идти.

Крест сдавливал плечо, но не тяжелил, нет, только в груди жгло, теснило по-прежнему.

А деревня уже наполнялась привычной предвечерней суетой. Мимо, обдавая гарью, прогромыхал трактор Федьки Остапенко с прицепом, груженным комбикормом. Заметил Никита, как в кабинке жуликовато оглянулся на него мордастый, вечно хмельной Федька, сын Антипа, который в прошлом году «сгорел» от рака печени. А с Антипом они корешевали в молодости, но дружны-то особенно и не были. Антип смолоду

был забурунный, скандальный, в стакан заглядывать начал рано да так, чтобы непременно с мордобоем. А потом, сколько помнит его Никита, уже взрослым, семейным, все Клавку свою по деревне гонял. Из ревности, а чаще так, по-пустому. Троих пацанов народил Антип, и все такие же оказались, как и он,— мордастые, колченогие и задиристые. К бражке стали привыкать сызмальства, а к работе — без душевной охоты, так бы шаликом-валиком, день до вечера. Зато украсть в колхозе и на бутылку сменять — первым делом.

Убила Антипа болезнь, а если в прицел смотреть, так погиб он от жизни своей собачьей. Только и осталось от него доброе в памяти у Никиты, как в сорок третьем весной встретились они на узловой станции Лихая, столкнулись на тесном перроне нос к носу. Он, Никита, после госпиталя часть свою догонял, а потрепанную дивизию Остапенко на переформирование отводили. Обнялись, всплакнули по-земляцки. Чего уж...

Шел Никита по родной деревне и глядел на нее с чувством досады и сожаления. С людьми здоровался, как всегда, почтительно, во весь голос, а голос у него был сильный, и сам он был человек рослый, величавый, но внимания на изумленные взгляды хуторян не обращал. О своем думал. А люди смотрели ему вслед и плечами пожимали: куда прет-то с крестом, на вечер глядючи, от погоста долой? Уж не к старухе ли Давыдовой, которая вторую неделю помирает да все никак не помрет?

А думал Никита вот о чем. Прожил он в деревне, считай, всю жизнь, а жизнь вокруг лучше не стала. Ну, детсад построили, кафе-стекляшку, ну, вот клуб с горем пополам отремонтировали, а в основе своей все осталось по-прежнему. Убогость сплошная. Колхоз «Светлый путь», сколько помнит его кузнец, всегда на ладан дышал, все лямку беспросветную тянул. Председатели приходили и уходили — много их сверху, председателей-то, выбирали, а толку мало. Себе только и успевали светлый путь к коммунизму проложить. Кругом, правда, исправно воровали, а если бы не воровали, то вообще б по миру пошли. Хотя дело не в этом. Гаже народец стал, злее, завистливее. Растерял душу. Чужой труд, радость чужую осудят, осмеют, вот и его ушлым, хитрованом кличут меж собой — это потому что друзей-пьянчуг не водит, и работает, как вол, и живет на свои, и счет той копейке знает. Молодежь из деревни уходит, а те, которые остаются, на бражку от тоски да душевной скуки слетаются, как мухи на навоз. Вон скотника Генки Ухарева сын какой уж год у стекляшки стоит и всем кланяется. Тела много и годков достаточно, а лицо младенца. В венах, поди, отцова брага волнуется.

Тут Никита, заприметив у дверей кафе хуторского дурачка Яшку Ухарева, вспомнил, как лет пять назад новый председатель Гапонов премировал его, кузнеца Никиту Полудного, тридцатью целковыми за труд на благо колхоза. Из какого такого фонда Гапонов деньги выискал — Бог весть, но это была единственная за всю жизнь премия, которую получил кузнец, и вовсе не за какое-то там особое задание, а просто за хороший труд и честную жизнь. Смело тогда, душевно взял Гапонов, и вера в народе появилась, и люди вроде как просветлели,— наш-то народ всегда ценил ласку и всегда был готов платить за нее дорого. Только не вровень с кем-то там в районе пошел председатель Гапонов — попробовали было помитинговать крестьяне, отстоять человека да лишь рассердили начальство. Стало оно там наверху топать ножками и угрожать карами небесными. И присмирели враз люди, а он, Никита, да еще пара-тройка мужиков — не в счет. Один в поле не воин. Обидно.

Так вот, вышел тогда из клуба с тридцатью рублями в кармане Никита Полудный, мужики, ясное дело, тут как тут — те, кто премию получил, но больше тех, кто не получил, собрались в круг, совещаются, как полезнее деньги эти истратить. И выходило по всему, что выпивки не миновать, такой уж порядок заведен, к тому же вечер располагал — чистый, майский, накануне праздника Победы. Жена Никиты нечаянно под руку подвернулась, счастливая, гордая за мужа,— отстегнул он ей червончик на платочек, на память, и пошел с мужиками в кафе. Там по случаю всех майских праздников заведующая Елизавета Васильевна Колдунова, интересная женщина, много спиртного добра навезла. И тут увидел Никита у самого входа в кафе Яшку, сынка скотника Ухарева. Был он тогда еще худ тельцем, жалок, глаза голубенькие сочились чистыми

слезами. И жутко Никите стало. Это сейчас Яшкины глаза омутнели, как бутылочное стекло, а тогда будто бы разум в них теплился. Остановился Никита, хотел мальца по головке его льняной погладить, а он вдруг кланяться начал. Часто-часто. Кто-то из мужиков смешок выпустил, а Никите спазм горло перехватил, и совестно стало, и больно.

— Пряников хочешь? — спросил мальчика Никита.

— Хоцу, хоцу, дя.

Купил Никита пряников, растолкал ему по карманам, наказал:

— Ешь и никому не давай.

Постоял, посмотрел, как Яшка примеривается грызть пряник, мусолит его в грязных пальцах, вытер испарину на лбу, вздохнул жадно и открыл стеклянную дверь. А мужики уже столы сдвинули, уже хлопотали с бутылками, и красавица Лиза сама им прислуживала. Прошел мимо столов Никита к буфету и купил на оставшиеся от премии деньги целый картонный ящик пряников. И подался с тем ящиком в школу-интернат, к директору Андрею Петровичу Кубыкину, Ефима Кубыкина внуку. Он, Андрюшка, только что институт окончил педагогический, и вот вернулся в родную деревню учителем, и интернат сразу принял. Стал в нем хороший порядок наводить характером своим напористым, еще дедовым. Бухнул Никита ящик на стол удивленному Андрюхе и сказал:

— Здесь пряники. Раздай всем поровну. Это моя премия.

— Бусделано, Никита Архипович,— споро ответил Андрей Кубыкин, тараща, впрочем, в изумлении и без того крупные свои карие глаза.— А чего сказать-то, Никита Архипович?

— А чего хочешь. Зачем слова?

— Без слов нельзя,— не согласился директор.— Со словами оно полезнее. Воспитательный факт. Так и скажу, что от ветеранов войны и труда Никиты Архиповича Полудного, кузнеца нашего колхозного. А то ребятишек много из разных хуторов, пускай знают, какой вы человек. Ну и как положено: от большевика к празднику приближающемуся — дню Победы.

— Ну-ну. Только какой я большевик?!

— Не скромничайте. А то я не знаю, как вы с дедом моим комсомолом в деревне заправляли в тридцатые.

— Э...э, давно это было.— Махнул рукой Никита и шагнул к двери.

Вышел он на школьный порог, и здесь его и достала сердечная боль. Так же вот, как и сейчас, запалило в груди, и вскорости вытек из этого пожара тонкий огненный ручеек — и прямиком к сердцу. Но не испугался тогда Никита — в первый-то раз, а в первый раз не страшно. Только крепко задумался. На здоровье, поди, никогда не жаловался, махал себе молоточком и махал. На войне тоже Бог миловал. Зацепило как-то осколочным, но не очень тяжело. И вообще хворал редко. Здоровый был организм.

Спустился с порожков в пришкольный садик, тут от молоденькой листвы покой шел хороший и прохлада, посмотрел, как ребятишки, вконец разбуженные весной, снуют в своих играх непоседливыми стрижами, подождал, пока боль утихнет, а утихла она быстро и начисто, и двинул к себе домой. Вот тут-то по пути и встретилась ему деревенская церквушка.

Совсем ново глянул на нее Никита. Десятки лет ходил мимо нее и внимания не обращал, а тут вдруг остановился, как от окрика. Стояла церковь и смотрела на него в упор своими темными омутками окон — сирота сиротой. По пояс, поди, травой заросла — лебедой, да репейником, да конским щавелем, а с тылу плотной колючей ратью дереза напирает. Валит нахально со всех сторон ядреный сухостой, насквозь прошитый стеблями новой, молодой травы,— вон и паперть широкую едва ли не всю укрыл. Никита и не понял, как завернул на церковный дворик, ноги будто сами вынесли.

Вблизи и вовсе задышала на него церквушка откровенной тоской. И пахло здесь дурно: оплесневелым запахом гнилого дерева — от развалившихся в колоколенке сходен и тухлым птичьим пометом нашедших пристанище под стрехою, равнодушно воркующих горлиц. И показалось Никите, что в зарослях дерезы, там, где кусты бегло, как бы в легком испуге, осыпаны свежей бархатистой зеленью, мелькнуло белое личико Дуняшки Харитоновой.

— Эй, Никитка, ты ушком-то к стенке прилепись. Послушай, там ангелы на гармониках играют.

— Нет там никаких ангелов. Батюшка церкву закрыл и ангелов всех выпустил.

— А ты послушай, глупый Никитка. Играют ангелы-то, играют...

И он прижался к шершавой стене, как и тогда в детстве, но ничего не услышал, кроме ударов собственного сердца. А тогда, кажется, что-то слышал. И стало Никите очень обидно, что ничего он так и не услышал.

Глянул Никита на пудовый амбарный замок на оржавевшей двери и пошел от церкви прочь...

Пять годков пробежало с тех пор легко, как один день. И не то чтобы забыл Никита свою последнюю встречу с церквушкой — чего забывать-то ее, вышел во двор — и вон куполок плывет в небесах, всегда весточка,— а как бы прижил встречу ту делами да заботами. А забот и хлопот, слава Богу, у Никиты всегда было по горло, успевай только кипеть. И жизнь в эти пять лет вышла фактически без хвори, как бывало в лихие годы. Ну не без того, конечно, прижимала раз-другой поясница, так на нее управа — ядреный перцовый пластырь, что невестушка дорогая припасла ему с избытком. А вот сердце по-прежнему стучало, как молодая жеребица копытами. Видно, повременила судьба, и было отчего, если все остальное она у Никиты отняла, а то, что оставила, вроде как и не его уже было. Судьба дает ведь только то, чего мы не больно просим, а уж отобрать всегда найдет то, чем дорожим крепко.

А тут вдруг сон Никите привиделся недавно, по этой уже весне, когда отовсюду сходили снега и солнце нарядно, как свадебный пирог, выпекало землю, споро выгоняло из нее пахучие талые воды, и ночи падали густые, звездные, какие-то совершенно трагические. И приснилась кузнецу деревенская церковь. Только не нынешняя, мертвая, а та, живая, из детства, когда и мать еще жила на свете — первая деревенская красавица, когда и отец был, и сестренка Настюшка, когда многие еще близкие его ходили по земле. Оказались они с отцом и с матушкой в церкви на служении — под Пасху ли, под Троицу, об этом во сне не сказывали, да и не про то речь. В церкви хорошо пахло ладаном; честное слово, он чуял этот далекий аромат, и от изобилия свеч и белых, поглощенных смиренным служением лиц все как будто плыло у него перед глазами. Дивное волшебство разливалось вокруг, и он всему изумлялся и ничего не понимал. Ну почему, например, на ликах святых, звонко просветленных свечами, не было привычной тоски и душевной муки, а лишь ласка и надежда? А где-то там, далеко, в глубине церкви у самого иконостаса, тихо говорил, почти шептал что-то батюшка, увенчанный тяжелой золотистой ризой, и словно из ризы той исходила музыка. Она легко поднималась, как бы возносилась к куполу, и Никитка, задрав голову, видел ее, музыку эту, превращенную там, наверху, в золотисто искрящиеся частицы. И тут он заметил рядом Дуняшку, она заглядывала ему в глаза и победно улыбалась:

— Я ж тебе говорила, глупый Никитка, играют ангелы на гармониках, играют...

Очнулся Никита от тупой боли в левом боку. И сразу понял, что сон этот, полный давней очаровательной яви, и есть главный сигнал. Но и тогда страха не испытал, лишь недоумение и тревогу. Что-то другое, серьезнее страха смерти и пока непостижимое, опечалило его. Совесть вроде чиста, а душе зацепиться не за что. Разве что опытом своим земным да исподволь от предков идущих чувством угадывал он порушенную связь. Потому, наверное, и металась душа, и искала чего-то.

Он тогда осторожно, чтобы не будить жену, не пугать ее своей хворью, вышел во двор и долго стоял в весенней ночи, любуясь чистым звездным пожаром. И вспомнилось ему, как очень давно, вот такой же тихой ночью ранней весны, они с Ефимом Кубыкиным и еще тремя комсомольскими активистами ходили снимать с церковного купола крест. Церковь уже тогда была пуста, изгоняли отовсюду пролетарии мироедов и попов, ретиво сотрясая воздух разными мандатами и постановлениями, в которых были их правота, их отчаяние и последняя надежда. Кто же тогда думал, что обернется это глупостью величайшей,— можно обмануть себя, но природу невозможно. А ведь не пошли ж тогда белым днем

крест стягивать — заплевали бы им сельчане глаза. И то верно, батюшка уехал, но это не значит, что дух из святилища вышел. Батюшка хоть и ближе к Богу, но такой же человек из плоти и крови. А церквушка, радостью и слезами предков омытая, с образами на стенах и при кресте остается. Значит, сохраняется равновесие земное.

Настырный был Ефим Кубыкин, и силы и напора в нем, поди, побольше Никитовых было. Забрался на колоколенку, а оттуда веревку с крюком метнул, заарканил крест, рванул, и шмякнулась оземь железина с глухим стоном.

Не сразу, впрочем, старики узнали, что дух из церкви вон вышел, потому, наверное, и перекипели мало-помалу, втихую, что не видели, да и не больно тогда открывать рты разрешали. Смирились. А из церквушки поперву склад дровяной устроили, потом склад зерновой, потом еще под какие-то колхозные нужды пускали стены, а затем и вовсе загадили и такую вот загаженную бросили — амбарным замком прикрыли для очистки совести. Крест тот церковный пастух Афоня Малахов матери своей на могилку встрекнул вместо подгнившего деревянного. А колокол, кажется, до самой войны болтался...

Повспоминал про то про давнее Никита, и решение пришло простое и ясное, а боль сердечная убралась сама собой. Вот на тех днях и изготовил Полудный крест церковный, изваял с удовольствием — из хорошего металла, из чистейшего нержавеющего прута. Дачнику одному, большому в городе чину, ставил он как-то забор и вензеля из этой нержавейки выкручивал, чтоб веками они блестели хозяину в радость. От тех прутков и осталось маленько. Хватило. А делал крест украдкой от старухи, черт-те чего может подумать — сроду-то дива такого печального не ковал. И признаться совестно перед ней было, верно, отговаривать начнет, сердиться. Не срамись, мол, перед народом. Позабыл, поди, как знамением себя покрывать. Оттого крестик и припрятал. А после дела неотложные захлестнули и не оставили времени посадить на куполок обнову. Теперь-то уж временить некогда.

Кузнец ступил на церковный дворик, сбросил у колоколенки веревку, ранец опустил в хрусткий сухостой, а крест прислонил к стене.

Походил по-хозяйски по двору, в колокольне пугнул ленивых горлиц и начал примериваться, как ему лучше забраться на купол.

Он всегда считал, что колоколенка теснит церковную стену, как бы плечом ее подпирает. Так что из середки ее по сходням можно добраться доверху, а оттуда перебраться на купол, закрепиться скобами и так мало-помалу, по-пластунски до заветного пятачка на макушке. А крест уже снизу подтянуть веревкой.

В колоколенке от бревенчатых сходен осталось одно воспоминание, горе, а не сходни, но да Бог с ними, подняться наверх по бровке, наверное, можно. Но беда как раз в том, что колокольня от церковной стены отходила на добрых два метра и прыгать сверху на покатый купол никакого резона не выходило. Это уж совершенно точно. «А пулять-то тогда крюк Ефимке было трудно»,— подумал он. Так что как ни кумекал, как ни рассчитывал Никита, а без лестницы не обойтись. «И немалая лестница здесь необходима, чтобы ее и в колокольне использовать, а затем сверху мостком на купол перебросить»,— размышлял он.

Никита аж расстроился от такой неудачи. Теперь надо возвращаться домой за лестницей, а солнце вот-вот оплавит горизонт, и зачадят по деревне сумерки. В потемках-то можно лишь худое дело творить, а благое надобно при полном свете, обстоятельно и с душевным смыслом. Что и говорить, времени в обрез, сердце не отпускает, притерпелся чуть. Еще не хватало окочуриться, и не поймешь, значит, сам себя до конца, не восстановишь порушенную с предками связь и для сельчан останешься глупцом и загадкой с этой затеей. Негоже, однако.

Странное дело, церковь всегда была на видном месте, считай, в центре села, а народу мимо нее в этот людный хороший час ходило мало. Лишь Надька Пятибратова телочку свою прогнала да малец один, кажется, Семена Стрижакова внук, протопал, с ним, с кузнецом, поздоровался вежливо, но без внимания. Шибко занятые ныне дети. Нет никому

дела, чем там дед Никита у церкви занимается. Может, это и хорошо, но досадно.

И пошел Никита к ближайшему двору за лестницей.

А жил в том дворе Василий Петрович Хворостов. Когда-то в далеком прошлом Хворостов был его друг и товарищ, а потом просто односельчанин, с которым теперь можно было случайно схлестнуться в крепком разговоре возле правления, но, впрочем, безо всякой обиды, и даже остаться довольным. В недавние еще времена Василий Петрович работал председателем сельского Совета, но позицию его Никита не разгадал. Худого вроде ни на кого не держал, но и душу распахивал не каждому. Ему, Никите, пару раз отворял незадолго до перевыборов, почти у пенсии. Раньше-то, видно, некогда было, а кривить душой не хотелось, потому как кривить душой с Полудным опасно, он сгоряча в эту кривизну может и физиономию твою вставить, в аккурат подгонит. Нет, не постиг он Ваську Хворостова и, наверное, нужды особой не испытывал. Жизнь прожили вместе одной колхозной заботой, а вышло каждый сам по себе. Жизнь-то наша в борьбе за кусок хлеба всякого обкатает на свой лад, не до объятий. Жаль, конечно.

Так подумывал о Хворостове Никита, пока к нему шел, пока барабанил в металлическую калитку, дразня черного хрипатого волкодава по кличке Жук.

Открыла ему Варвара Федоровна, жена Хворостова, статная белолицая женщина с большими серыми глазами. Годами она была моложе Василия, и поперву он крепко сомневался на этот счет. Варьку он привез из города, лет с десяток спустя уже после войны, познакомился с нею на молочном заводе — там она в конторе работала. Помнит ее Никита — молоденькую, с сочной косой на груди. Первую-то жинку Василий похоронил вскорости после демобилизации с фронта. Хворала она туберкулезом. Дитенок от нее остался — сын, Володька. В войсках нынче служит, большим офицером. А в Варьке-то зря сомневался Василий. Оказалась она хозяйкой чистой, приветливой, и хуторские ее зауважали. От нее у Василия две дочки нашлось — Нюся и Полина. Здесь, в деревне, проживают с мужьями и детьми.

— Здорово, дед Никита, проходи,— пригласила Варвара Хворостова и широко распахнула калитку, на собаку прикрикнула: — Да цыц ты, окаянный.

— Доброго здоровья, хозяйка. По делу я.

— На место, Жук, ишь расходился. Я те дам сейчас! — пригрозила Варвара собаке, и та лениво, как бы обидевшись, тявкнула, припала на передние лапы и стала внимательно разглядывать нового человека.— По какому ж такому делу? К Василию, что ли? Так он закуту для скота на задах городит.— Варвара Федоровна провела Никиту палисадником к дому.— Заходи в дом пока, отдохни. Я пойду его кликну.

Хворостов — высокий, худощавый, с длинным лицом, крепко поеденным морщинами, но сохранявшим еще моложавое выражение. Глаза маленькие, подвижные, потерявшие цвет, какие-то птичьи, и взгляд цепкий и лукавый.

Он протянул Никите тонкую белую руку.

— Здорово, Никита Архипович. Каким таким ветром?

— Да тут, понимаешь, Василий, дельце у меня толковое, лестница позарез нужна.

— А чего ты такой бледный, Никита? Как бы и не в себе,— внимательно заглядывал в его лицо Хворостов.— Уж не болеешь ли?

— Некогда нам хворать. Так что-то,— уворачиваясь от его взгляда, ответил кузнец.

Жена Василия еще минуту потолкалась возле мужиков и, поняв, что не нужна, пошла в дом. Хворостов бросил ей вслед:

— Приготовь, мать, что-нибудь. Повечеряем.

Он увлек Никиту на завалинку, что рядом с крылечком, и, застегивая пуговицы старого армейского ватника, сыновнего, должно быть, сказал:

— Тоже чего-то знобит.— И без всякого перехода прибавил: — Внука, наверное, в Афганистан загребут. Вчера письмо от невестки пришло. Говорит, сам запросился. Рапорт начальнику училища подал. Беда!

— А Володька как на это смотрит? — спросил Никита.

— Пес его знает! Но просить он никого не будет. Это я б в ноги упал.— Василий снял фуражку, почесал плешивый затылок, вернул на место; тоскливо взглянул на Никиту.— Пацану погоны лейтенанта наденут — и вперед. Необстрелянный — пропадет. Сколько их там пропадает. Какой год воюют, и ни хрена края не видно. Говорили-то, временно.

Помолчали, подумали каждый о своем.

— Чего у тебя, лестницы нет? — спросил Хворостов.

— Есть, отчего же нет? Да далече она. Тут я решил на церкву нашу крестик поставить, а то стоит, ей-Богу, как беспризорная,— честно признался кузнец.

Василий Петрович окинул Никиту недоуменным взглядом.

— А на кой леший это тебе нужно? К ней дорогу все одно все забыли. И потом, дело это не простое, а я думаю, политическое.

— Так уж сразу и политическое! — криво усмехнулся Никита — ему начинал не нравиться этот разговор.— Я ж душевно.

— Душевно — это когда образок в углу в хате висит. А тут политический аспект.

— Какой там еще аспект? — не понял Никита.

— Натуральный. За это в нашей жизни можно и загреметь. Так что, если хочешь лестницу, бери, но я про это не слышал. Не советчик я тебе в таком деле. Да и никто в деревне не отважится тебе помочь. Парашу выносить не очень, знаешь, охота.

— Да ты не бойся, Василий. Я на себя возьму.

— Возьмешь, возьмешь, много, поди, на себя брали,— покачал головой Хворостов в такт какой-то своей мысли.— Думал, значит, думал и решил Бога нам возвратить. И пришел со мной советоваться, как будто не знаешь, что я сорок лет без малого в партии состою.

— То-то, что состоишь. А кругом на земле столько погани развелось,— катнув желваками, занервничал Никита.— Стыдно за людей.

— А ты меня не кори, апостол Павел нашелся. Я крест с церкви не сдергивал, если уж на то,— кольнул давним Хворостов.— А живу, как хочу, согласно своего плана и расписания. Я тоже не слепой и вижу кое-что.— Он секанул ладонью воздух и сказал кому-то в сторону: — Только хватит. Был активист-пропагандист Васька Хворостов — и нет его. Он нынче нейтралитет держит. Крепкий нейтралитет — такая его главная линия.

— Ну-ну... Нейтралитет, по-моему, ты завсегда держал.

— Чего там «Ну-ну»! — передразнил Никиту Василий Петрович и вскочил как ужаленный, видно, хватил его за живое Никита.— Я в корень, глубже тебя смотрю. И вот что я тебе скажу: Ефим Кубыкин крест этот с церкви сковырнул, так великой он был веры человек и погиб с этой верой в сорок первом. И счастливее нас с тобой оказался. Не мучили его сомнения, понимаешь? Ты счас на церковь полезешь, и первым участковый наш Серега Махонин на мотоциклетке желтой примчится. Он тебя оттуда стащит и протокол нацарапает. Кто тебе давал право крест ставить? Документ предъяви. И будешь ты у него в долговой яме, пока жив. Он со всей деревни сливки снимает, потому что все в дерьме повязли. За махониными власть всегда была.

— Ладно, не пугай. Видел я таких махониных! — Никита встал, обрывая разговор.— Где лестница?

— За хатой, к полатям приставлена. Где ж ей еще быть? — глухо ответил Хворостов и нехотя пошел вперед.

Лестница была в аккурат та, которая нужна.

— Давай помогу из двора хоть вынести,— предложил Хворостов.

— Я сам...

Никита поволок лестницу к выходу, а Василий Петрович все своего свирепого Жука успокаивал. Вынес кузнец лестницу и, прикрывая калитку, сказал Хворостову с неуважением:

— Ты в корень жизни смотрел, а надо бы в свою душу. Нейтралитет! Поганец ты такой же, как многие счас.

— А я на тебя не обижаюсь, Никита,— перехватив рукоять калитки, отозвался Хворостов, и в глазах его шевельнулось что-то похожее на

жалость к кузнецу.— Может, ты и прав, поганец я и есть. Если хочешь, я тебя очень понимаю. Только опоздал ты, получается.

Никита слушал Василия, прилаживая из середки к плечу лестницу, уравновешивая тяжесть. И лицо его было спокойно. Как вдруг взглянул на Хворостова прямо, в упор, и, блеснув бодрой, из молодости, улыбкой, сказал:

— С душой-то оно никогда не поздно. Крест людям нужен, как памятка, откуда родом мы.— И пошел от Василия прочь.

Что-то Хворостов уловил в его улыбке тревожное.

— Эй, погоди, Никита, постой! — крикнул он вслед кузнецу.— Ты это брось, живи, не помирай... Оставайся лучше, повечеряем. Потерпит крест твой.

— Не-а, не потерпит,— все так же улыбаясь, обернулся Никита.

— Я зла не держу... Ты ж меня знаешь, Никита...

Хворостов еще долго смотрел вслед уходящему человеку и закрыл калитку лишь тогда, когда увидел, как уцепился за край лестницы в жалкой попытке помочь Никите невесть откуда взявшийся Яшка-убогий.

г. Шахты Ростовской обл.

Александр ФИЛИМОНОВ

ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Стоило Глебову подумать о поездке всей компанией за город, на лоно природы, как эта мысль сразу захватила его. Почему-то появилась уверенность, что у него с Верой все решится именно там, на природе, когда ее муж Степа, выпив лишнего, заснет и все другие тоже заснут, а у костра останутся только Вера и Глебов — совсем трезвый, ну, может быть, лишь слегка пьяный; он сумеет не опьянеть, чтобы сохранить ясность ума, лицо его не будет пьяно-глуповатым, и голос — очень важно, что голос его приобретет тот оттенок, который сам Глебов считает проникновенным. Небольшая доза коньяку на свежем воздухе придаст его голосу проникновенность, его глазам — умный, возбужденный блеск, а самому Глебову — немного нужной смелости, ровно столько, чтобы Вера не приняла ее за нахальство, за уверенность Глебова в своих на нее правах, потому что шесть лет назад — очень давно — Глебов был у нее первым. Они останутся у костра одни, потому что Степа, как всегда, выпьет слишком много и заснет там, где его настигнет сон, а остальные тоже заснут, получив свою долю впечатлений от вылазки за город. Так обычно и бывает: стоит всем выпить как следует, и каждый становится сам по себе, все разбредаются по углам, ничей уход не бывает замечен, а на следующий день трудно вспомнить, чем закончилась вечеринка, начавшаяся так весело и осмысленно. В последнее время в их компании это стало привычным.

Разговор у костра с Верой Глебов представил себе мгновенно, но не сам разговор, а его зрительный образ; он словно увидел себя, что-то говорящего ей, только не мог разобрать слов; Вера отвечала коротко, скорее всего не очень убежденно возражала Глебову, но его речь была, как сама правда,— ясной и чистой, это увиделось все враз, подобно вспышке, и Глебов наяву представил, как будет смотреть на него Вера, и как он будет шутить над собой, и сколько грусти вложит в свою улыбку под пристальным взглядом Веры. Степа будет храпеть и булькать во сне, самого его не окажется в поле зрения, но для Веры этого храпа будет достаточно, чтобы представить Степину нелепую позу, бессмысленное спящее лицо, некрасиво открытый рот и даже струйку слюны на щеке, и тогда Вера особенно остро почувствует разницу между Степой и умным, добрым Глебовым.

В их компании Степа был, как ни странно, самым старым приятелем Глебова, еще с пятого класса; когда Глебов отдыхал в пионерском лагере, он познакомился там со Степой. Глебову Степа не очень понравился, но природа отношений между пацанами в пионерском лагере вполне оправдывала их кратковременную, как думал Глебов, дружбу. Однако Степа стал считать себя другом Глебова навек, он крепко присосался к Глебову, это была типичная Степина черта — присасываться. Степа звонил Глебову домой, доставал билеты в кино, приходил в гости в самый неподходящий момент; ему ни разу не пришло в голову задуматься, отчего сам Глебов ему никогда не звонит и в кино не приглашает. Порой Глебова раздражала Степина навязчивость, но прервать отношения со Степой он не мог, было в Степином поведении нечто такое, отчего язык не поворачивался сказать ему: уходи.

Их компания — Глебов, Сонин, Лена, Вера, Светлана — образовалась давно. С Сониным Глебов познакомился в институте, Лена была девушкой Сонина, а Вера и Светлана — подругами Лены. Они собирались почти каждый вечер то у одного, то у другого, они любили подчеркивать, что вместе их сводит не заурядное влечение полов, но нечто большее, нечто духовное. Себя они считали интеллектуальной компанией: Сонин и Глебов разбирались в современной музыке и во всем понемногу, Светлана была художницей и всех их рисовала, она их всех рисовала почему-то обнаженными, и в этом виделось необыкновенное. Лена просто во всем соглашалась с Сониным, и ее духовный мир не ставился под сомнение, а Вера умела варить кофе и знала много странных стихов, умея при этом сохранить естественность и простоту в общении с остальными. У всех были друзья на стороне, но все эти друзья со временем как бы отошли на второй план. Как-то раз Степа, несмотря на все увертки Глебова, увязался с ним в *его* компанию — кажется, они отмечали Восьмое марта — да так и присосался к ним; он не чувствовал себя лишним там и даже похвалил Глебова однажды за то, что Глебов наконец-то догадался ввести его, Степу, в их круг, ведь теперь их стало трое на трое. Глебова передернуло, но возразить Степе он не смог. Эту же мысль Степа потом высказал всем, наверное, он был убежден, что ему благодарны: своим присутствием он установил равновесие полов; разговоры разговорами, но жизнь есть жизнь, и так уж заведено, что всякие посиделки есть не что иное, как способ найти себе друга или подругу. Он всех раздражал, этот Степа, о нем за глаза говорили с возмущением, но прямо не говорили ничего — время было упущено, и появилось что-то такое, что мешало сказать Степе прямо: ты здесь не нужен. Потом к нему привыкли, он стал удобным объектом для насмешечек и шуточек, которые все, кроме него, понимали.

Глебов и Вера сошлись легко, потом их близость, как решил Глебов, стала им не нужна и они легко расстались, не перестав, однако, встречаться — ведь они были друзьями. В их неудавшейся любви никто не был виноват, это понимали все — просто так получилось. А года через два Вера вышла замуж за Степу, и вместе с удивлением Глебов почувствовал тогда облегчение, с него словно снимались остатки ощущаемой вины за совершенный грех, за нарушение стиля их сообщества. Само собой, теперь все с легкой руки Степы, не устававшего твердить о том, что Глебов и Светлана должны пожениться, ждали этого. Глебову и самому стало казаться, что так и будет; Светлана нарисовала картину — она и Глебов, обнаженные, взявшись за руки, летят почему-то к звездам, эту картину Глебов повесил у себя над кроватью. Но предложения Светлане делать не торопился, словно ждал откуда-то извне толчка, который поставил бы все на свое место и сделал бы события естественными хотя бы в глазах Глебова. Но толчка не было. Однажды дома, глядя на себя и Светлану, летящих по темному синему небу к звездам, Глебов подумал: при чем здесь звезды? Картина сразу показалась ему пошлой, и он снял ее со стены, уже твердо зная, что никогда не женится на Светлане. И хотя он снова чувствовал вину, на этот раз уже перед Светланой — ходить в компанию не перестал, потому что больше податься ему было некуда. Он понимал, что привязан к своей компании прочно, что разрыв в случае чего окажется катастрофой, но привязанность не пугала его. Все было очень привычно, устойчиво и мило.

Все было привычно и устойчиво до недавнего времени, когда Глебов

понял, что любит Веру; она приснилась ему такой, какой была шесть лет назад, он желал ее во сне, как не желал никогда, но во сне она отказала ему, и после ее отказа Глебов вспомнил ее всю — каждую ее родинку, каждую мельчайшую линию ее тела — как же это могло ему надоесть тогда? — и вместе с воспоминанием пришла пронзительная тоска, Глебову стало жутко, он умолял Веру, он стоял перед ней на коленях, чего в жизни с ним ни разу не случалось, и во сне он отчетливо осознавал, какое великое блаженство — просто поцеловать ей руку, только прикоснуться губами к ее руке, но Вера и этого не позволила сделать ему; тогда он проснулся. Проснувшись, Глебов попробовал забыть этот сон, но невольно думал о нем весь день, а вечером, придя в их компанию, увидел Веру и понял, как непреодолима почти до физического ощущения любовь к ней; он сел в углу, где была тень, и смотрел на Веру, которая в этот вечер была особенно оживленной. Глебов смотрел на нее и был уверен, что не женился до сих пор потому, что любил все эти годы только ее, и привязывает его к их компании лишь любовь к ней, и только с ней, с Верой, возможна его дальнейшая жизнь. Ему было тревожно и сладко глядеть, как она двигается, ест, пьет, смеется. А рядом с ней сидел Степа и разыгрывал свой обычный спектакль: играл человека, жадного до выпивки, это был его юмор; со временем роль пьяницы все больше удавалась Степе, он выглядел ничтожеством рядом с Верой, его можно было бы не замечать, если бы время от времени он не хватал Веру за руку, не шептал ей что-то на ухо; тогда Глебову представлялись его ласки — тупые и бесчувственные, как он сам, его дыхание, смешанное с кислым перегаром; Глебов будто сам ощущал себя Верой, и ему становилось жалко ее, и жалость была еще острее, когда Глебов с уверенностью думал о том, что Вера вышла замуж за Степу потому, что любила только его, Глебова.

С тех пор встречи с Верой стали для Глебова мучительно необходимы. Отчего-то Вера принялась называть его по фамилии — Глебов, больше его так не называл никто; «Может быть, она почувствовала?» — думал Глебов. День проходил за днем, а он никак не мог решиться поговорить с Верой, объяснить ей все. Да и как все это выглядело бы? Больше всего Глебова страшила обыденность обстановки их встреч, он боялся, что Вера не поймет его любви; в условиях их компании разговор с Верой мог состояться только украдкой, на кухне, например, а это, по мнению Глебова, не только оскорбляло его любовь, но и самой Вере могло внушить подозрения. Тогда Глебов придумал вылазку за город.

Всем понравилась его идея, в особенном восторге был Степа, его восторг вернул Глебову спокойствие и надежду. Степа, как всегда, ничего не понимал. Сонины объявили, что они всегда «за», хотя Глебов не припоминал, чтобы они были когда-нибудь «за». Просто Сонин был хорошим другом и любил Глебова. Светлана же в последнее время переживала разрыв с одним художником, поэтому согласилась ехать, чтобы развеяться. Ехать решили в пятницу вечером. Погода стояла хорошая. Глебов сбегал на автовокзал и купил шесть билетов до села, название которого ему понравилось: Сосновка.

Когда они вошли в лес и крайние домики села стали пропадать за деревьями, Глебов нагнулся и поднял с земли затейливо изогнутый сучок.

— Смотрите,— сказал он,— похоже на птицу.

Глебов знал, каким ему надо быть сегодня — странным: когда они вышли из автобуса, Вера сказала ему: «Какой ты сегодня странный, Глебов». Она поглядела на него чуть внимательнее, чем обычно, как ему почудилось, он подумал: пора, и ответил ей долгим грустным взглядом, потом в глазах у него защипало, и он отвел взгляд. «Кажется, кажется»,— думал Глебов. Она сама подсказала ему. Стали спорить, в какую сторону пойти, тогда Глебов, ни с кем не советуясь, показал — куда, и они послушно пошли за ним, словно признавали в нем главного. Потом в лесу, когда Глебов нашел похожий на птицу сучок, Вера сказала ему: «Посади ее на дерево», и он совершенно серьезно приладил свою находку на ветку дерева. Сегодня он был странный. Шли весело. Светлана с Леной подшучивали над Сониным, который для смеха надел старую пляжную панаму, всю в дырках, и выглядел в ней смешно. Степа нес большой рюкзак, из которого — конечно же! — изредка слышалось позвякивание бутылок. Эти звуки смешили Степу, вернее, радовали его, и каждый раз, услышав бутылочный звяк из рюкзака, он говорил какую-нибудь глупость, вроде «горючего лишь бы хватило», или «не разбить бы», или еще что-нибудь в этом роде. «Мы сейчас как первобытные люди, ага?» — радостно спрашивал Степа всех сразу, приглашая посмеяться вместе с ним. Глебов тоже смеялся, пока не понял, что смеется громче всех, и Вера, да и Сонин, кажется, заметили это. Тогда он перестал обращать внимание на Степину болтовню.

Дорога из города до Сосновки заняла всего час, поэтому было еще светло, когда они, выбрав место для лагеря, остановились и стали устраиваться. У них были две палатки, одна побольше, другая поменьше; как будут располагаться на ночлег — об этом никто не думал, да это и не интересовало никого, кроме Глебова. Он надеялся, что Степа все-таки напьется. Мужчины ставили палатки, а дамы накрывали на стол, опять было звякание бутылок, и Степа всякий раз кричал, чтобы не разбили. Неужели она не видит, думал Глебов, должна же она понимать, что Степа даже не мужик, он всего лишь плохой клоун, над которым всю жизнь смеются из-за его глупости. Почему такая девушка, как Вера, вышла замуж за такого никчемного парня, неужели выйти замуж за кого угодно было главным для нее? Нет, утешал себя Глебов, Вера не такая, здесь все гораздо сложнее, сегодня я скажу ей, скажу. Он не знал еще, что скажет Вере, но хотел, чтобы скорее наступил вечер. Он стал торопить с ужином, невольно подыгрывая Степе в его алкоголическом рвении, но спохватился: что я делаю? Он испугался — вдруг Вера подумает о нем и Степе — «они»; он и Степа — «они», некое сообщество любителей выпить. Глебов растерялся: как же он, до этого такой внимательный к каждому пустяку, к каждой мелочи, впал в Степин игривый тон? Он почувствовал злость к Степе за то, что сам только что стал Степой, пусть внешне, пусть ненадолго, но все-таки стал.

Как он нас лепит по своему подобию, подумал Глебов, как же получилось, что мы смеемся иногда даже его глупостям, как получилось, что он стал для нас своим парнем? А если Вера уйдет ко мне, неужто Сонин посочувствует Степе? Наваждение какое-то. А если Вера его любит? Пусть это дико, пусть в это не верится, но ведь это ему, Глебову, не верится, а для Веры Степа, может быть, самый нормальный человек, подумал Глебов и ощутил свою беспомощность перед Степой, но слишком явной казалась нелепость таких опасений после всего, что передумал Глебов за последнее время. Надо быть мужчиной, настоящим мужчиной, абсолютно непохожим на Степу. От мужей жены уходят к мужчинам. «Вот кем я должен быть — мужчиной,— подумал Глебов. — Не томным воздыхателем, а мужчиной, сильной личностью, разве я не такой на самом деле?» Степа все суетился вокруг бутылок, и Глебов неожиданно почувствовал, как внутри будто потеплело. Вера сразу все поймет, она оценит, она ведь умница, все понимает, да, да.

Наконец сели ужинать, и Степа зубами, страшно оскалившись, срывал капроновую пробку с бутылки своего любимого дешевого портвейна, он изображал нетерпение, но что-то уж слишком натурально изображал; Глебов долго смотрел на него, пока не заметил краем глаза, что Вера следит за его долгим, пристальным взглядом на Степу, тогда он выждал еще несколько мгновений и улыбнулся, как бы про себя, чуть презрительно, ему самому понравилась его улыбка; Глебов перевел взгляд на Веру, твердо выдержал его, она опустила глаза, и Глебов, внутренне ликуя: «Кажется, да, да!» — почувствовал к себе и к Вере нежность, нежную благодарность.

От Степиного вина Глебов отказался, наполнил, как и хотел, свой стакан коньяком, и пригубливал его время от времени, и этим противостоял Степиным бесконечным тостам, Степиному желанию непременно выпивать хором и хором закусывать, желанию превратить такой необычный, по сути дела, вечер в заурядную вечеринку. Глебов сказал, что они сделали ошибку, взяв с собой так много бутылок. «Ведь не ради же того, чтобы напиться, мы сюда ехали»,— сказал он. «А как же на природе-то не выпить?» — моментально отреагировал Степа, но остальные промолчали, и Глебову показалось, что все поняли — они действительно ехали сюда не для того, чтобы выпить; Глебову показалось, что все — и Вера! — поняли, что их приезд сюда означает нечто большее, чем просто

вылазка на природу в компании друзей. Глебов хотел, чтобы всем передалось его возвышенное настроение, ведь не зря же он считает их своими друзьями уже шесть лет, пусть они почувствуют, пусть Вера почувствует! А Степа все пил и пьянел, пьянел, не замечая того, что Вера неприязненно на него поглядывает. Вера, однако, ничего Степе не говорила, и Глебов это отметил для себя, он был трезв и наблюдателен.

Когда начало темнеть, развели костер и сели вокруг. Потом пьяный Степа неверными шагами ушел в палатку, что поменьше, наверное, он ее для себя заранее приметил, и скоро стало слышно, как он храпит там. Сонины извинились и удалились в другую палатку, сказав, что сейчас вернутся, это был их стиль — слегка бравировать своей близостью; время было позднее, и Глебов знал, что они не вернутся к костру. Вера, казалось, не собирается идти в палатку к мужу, впрочем, Глебов этого и ожидал. Они сидели втроем — Светлана, Вера и Глебов, разговаривали. Потом Светлана задремала, свернувшись калачиком на расстеленной куртке Глебова, и Глебов с Верой остались одни.

Они молчали; Вера ворошила палочкой угольки в костре, а Глебов смотрел на нее и никак не мог построить в уме фразу, первую фразу для особого разговора. Вера спросила его о чем-то, он ответил невпопад.

— Что ты какой сегодня, Глебов? — спросила она.

— Я? — удивился Глебов. — Какой?

Какой это я, подумал он, а каким должен быть настоящий мужчина, если он по-настоящему любит женщину?

— Я всегда такой был, — сказал Глебов.

— Нет, Глебов, — серьезно сказала Вера, — ты не помнишь, какой ты был раньше.

— Я тоже думал, что не помню, — сказал Глебов, глядя Вере в глаза, — но, оказывается, помню.

Я люблю тебя, хотел сказать Глебов, но сказал совсем не то, что хотел.

— Хорошо здесь, — сказал Глебов.

— Да, — согласилась Вера.

И тут в маленькой палатке стихло храпение, послышалась возня, и оттуда вылез Степа.

И Глебов, словно мальчишка, застигнутый за подглядыванием, почувствовал жгучий стыд. «Вдруг он слышал?» — подумал он, и его передернуло от отвращения — этот не должен был слышать интонаций глебовского голоса, специально предназначенных для Веры. Степа, охая и кряхтя, подполз на четвереньках к костру и сел.

— Почему не спим? — спросил он, и Глебова обдало кислым сивушным духом.

— Не спится что-то, — ответил Глебов и не узнал своего голоса.

«Ммммммм», — промычал Степа, прикуривая от жаркой головни и морща лицо от жара. Пока он курил, никто не сказал ни слова. Вера ни на кого не смотрела.

— Вер, пойдем, — вдруг проговорил Степа, бросая окурок в костер. Куда еще, недовольно подумал Глебов, и понял — куда, и внезапно осознанная неизбежность, неотвратимость чего-то страшного сковала его всего, он не мог пошевелиться.

— Пойдем, Вер, — повторил Степа, взял Веру за руку, и окаменевший Глебов увидел, как Вера посмотрела на него, и ему почудилась просьба в ее взгляде, но беспощадная естественность происходящего — ведь Степа был мужем! — придавила Глебова к земле и не позволила сделать ничего; ошеломленный Глебов подумал: ничего тут не сделаешь; то ли он действительно был уверен, что не сможет ничего изменить, то ли успокаивал себя, потому что ему стало так больно, что терпеть не было сил.

Степа увел молчавшую Веру в палатку, и через некоторое время старавшийся ничего не слышать Глебов услышал, как чиркнула молния на брюках, расстегиваемая твердой рукой, и потом он еще услышал и вцепился зубами в руку, чтобы не слышать; Вера в палатке коротко застонала, тоненько и жалобно, и Глебов узнал этот стон; тогда он заткнул уши. Он вспомнил вдруг, как всегда похвалялся своей мужской силой Степа, и вспомнил, как сам он к этой силе одобрительно относился, и горло перехватило от гадливости и еще от жалости к себе. Он долго сидел, закрыв ладонями уши, сильно сдавив голову, стараясь причинить себе

боль, и причинил, и терпел ее, пока мог, потом — ему казалось, что прошло очень много времени — разжал ладони, осторожно и медленно, готовый опять зажать уши. Было тихо.

Глебов сидел, боясь подумать о себе, он тупо глядел на догорающий костер. Проснулась Светлана, она поднялась и, протирая заспанные глаза, потянулась; она ничего не слышала. Заметив Светлану, Глебов сразу вспомнил, что она когда-то хотела стать его женой, ему захотелось рассказать ей все, сейчас Светлана показалась ему самым лучшим другом, которому можно все рассказать. Она улыбнулась Глебову.

— Светка, Светка, — зашептал Глебов, придвигаясь к ней, — послушай, Светка, ты пойми только...

— Не надо, Саша, — сказала Светлана.

— Ну почему, почему? — спросил ничего не понимающий Глебов, ему хотелось, чтобы она выслушала его.

— Ничего не надо, — сказала она, — этого мне от тебя не надо.

— А чего же тебе надо? — спросил Глебов; вопрос вышел грубым, потому что он, кажется, понял ее.

— Не знаю я, — без выражения, как-то бесцветно ответила она, потом лицо ее скривилось, словно она собиралась заплакать, но слез не получилось, и Светлана, неловко улыбнувшись, мол, пошутили и хватит, поднялась и ушла в большую палатку, где спали Сонины.

Не сказала ведь она: мне, Глебов, от тебя ничего не нужно, думал Глебов, значит, что-то между нами всегда может быть. А как же Вера? Да, да, Вера, она ведь... Глебову стало тоскливо, захотелось утешить себя. Одним разом больше, одним меньше — какая разница, старался успокоиться Глебов, и странно: это получалось, и он уже не с прежней тоской думал о Вере, и наконец ему стало казаться, что еще не все потеряно, ведь завтра будет длинный день и можно будет все поправить, он сможет стать мужчиной и найдет в себе силы для объяснения с Верой. Глебов даже решил рассказать Вере, как ему было плохо, когда Степа увел ее в палатку. Может быть, даже рассказать, как он все слышал. Глебов был убежден, что Вера посочувствует ему. Он еще долго сидел у костра, почти потухшего; начало светать, ему стало холодно, и он пошел в палатку. Сонины крепко спали слева от входа, тесно прижавшись друг к другу; справа спала Светлана, Глебов улегся рядом и стал засыпать, но неожиданно почувствовал ее руку — она гладила его, и, сам не зная зачем, Глебов обнял Светлану и, с облегчением перестав думать о плохом, начал расстегивать пуговицы на Светланиной рубашке, это выходило у него — он сознавал — немного снисходительно, потому что от Светланы шел еле слышный мутноватый запах вина.

Когда Глебов проснулся, он увидел, что лежит в палатке один, палатка была освещена солнцем, и по цвету солнечных пятен, проступавших сквозь брезент, он понял, что проспал долго. Снаружи доносились голоса, говорили Сонины и Светлана, ни Веры, ни Степы слышно не было. Вчерашнее Глебов вспомнил сразу — и Степу, вылезшего из палатки к костру, и Светлану, которая закрывала себе рот ладонью, чтобы не разбудить Сониных; все вместе, вспомнившись, родило в нем неясность и желание разобраться; думать о Вере было тяжело, но вчера еще была Светлана, и это как-то уменьшало его вчерашнюю боль, уравновешивало ее, непонятно только, нужно ли ему это равновесие, ведь он — Глебов ясно чувствовал — любит Веру, и даже, может быть, прочнее, сильнее, чем до вчерашнего дня; но воспоминание о Светлане приносило ему спокойствие, с этим воспоминанием он любил Веру без страдания, без тоски, это было неожиданно приятно, делало его любовь другой, новой, и такая любовь нравилась Глебову. Ему не хотелось думать, как он станет разговаривать со Светланой, все должно утрястись само собой, а главное — Вера. Сегодня он непременно скажет ей. Полежав еще немного, успокоенный Глебов вылез из палатки, стараясь не повторять вчерашних Степиных движений, чтобы не вспоминать ничего. Светлана и Сонины сидели возле расстеленного на траве одеяла с остатками вчерашнего ужина и завтракали. Он присоединился к ним.

Светлана взъерошила ему волосы, и Глебов рассердился на нее — она не должна была ничего афишировать. Но она и не собиралась — она просто стряхнула приставший к волосам Глебова сухой листочек. Вера

еще спит, сказали Глебову, а Степа, оказывается, ушел в деревню за мясом, а когда вернется — они будут делать шашлык.

— А вы хоть умеете? — спросил Глебов.

— Степка сказал, что Вера сделает,— ответил Сонин.

Ну, конечно, он ей скажет — и она сделает, подумал Глебов, желание мужа для нее закон. Глебов словно обрел право сердиться на Веру, но рассердиться не успел: в этот момент Вера вышла из палатки, такая же, как всегда, она улыбнулась всем сразу, здороваясь, и Глебов не увидел в ней никаких перемен, будто прошедшая ночь ничем особенным для нее не была. Значит, действительно, ничего страшного не произошло, подумал Глебов, и ему стало легко — он почувствовал, что хотя любит Веру по-прежнему, но уже освободился от зависимости. В конце концов пусть она принимает его таким, какой он есть, ведь видит же она, насколько Глебов лучше Степы. А если ей больше нравится Степа, то она недостойна любви Глебова. Да, недостойна, и все же Глебов любит ее и сегодня сделает ей предложение, а может быть, завтра, когда приедут в город. Он даже умилился немного, думая о том, как протянет Вере руку помощи, предложит ей лучшую жизнь рядом с собой; в том, что Вера уйдет к нему, он почти не сомневался.

Он разговаривал с Верой чуть покровительственно, ведь Светлана сидела рядом, и Вера должна была это понимать. Пусть она думает: не Глебов струсил вчера, а она сама выбрала законного мужа.

Как хорошо было им сидеть на лесной полянке, слушать, как шелестят под ветром листья, вот этот шелест, оказывается, и есть та самая тишина, к которой стремятся сейчас городские люди. Хорошо было сидеть. Они разговаривали. О том, как прекрасно было бы поселиться в деревне, ведь истинно русский человек всегда хранит в сердце любовь к сельской жизни, к тишине и простору, даже к тяжелой работе. Не надо, не надо про работу, что-то незаметно у нас любви к работе. Да мы что, не работаем? Работаем, работаем. В городе жить трудно, а в деревне скучно, вы вспомните в этой Сосновке клуб. Да, клуб потрясающий. Отсюда недостаток культуры. Вообще культуры, не говоря уже о русской культуре. Отсюда и деревня в последнее время перестала быть истинно русской. В конце концов все сходились в одном: жить надо по возможности в городе, но вот природа — это, конечно, вещь. Почаще надо на природе бывать.

— Мы все, знаете, кто? Мы испорченные,— вдруг сказала до этого помалкивавшая Вера.

— Это почему это? — спросил Сонин, он любил всяческие острые положения в спорах и спросил с интересом. Но Вера не спорила, она говорила, ни к кому не обращаясь, вроде бы ее прорвало.

— Ну как вы не понимаете,— говорила Вера,— ведь мы никем стали, никем. Ведь мы почему деревню не любим? Да потому, что там работать надо, а не так, как мы,— в своих конторах штаны протираем. Ведь мы ничего, ни-че-го не умеем! Ни одежду сшить, ни ребенка вырастить, как надо. Гвоздь, гвоздь не умеем в стену забить! — Вера говорила все громче. — Раньше, когда человек женился, то сам себе дом строил, а мы в очередях на квартиры стоим, детей не рожаем, потому что пеленки негде сушить! — Она почти кричала.

— Ну, мать, ты даешь,— сказал Сонин,— нельзя так подходить, каждому свое, как говорится...

— Да что ты говоришь?! — закричала Вера, она была будто не в себе. — А ты хоть понимаешь, что вы, мужики, даже мужиками-то перестали быть! Языками поболтать да выпить — вот и все ваше дело. Ни одного мужчины среди вас! На руки свои посмотрите — что вы можете-то этими руками? С бабы платье снять, и то, если она не против только, да бутылку в пять стаканов поровну разлить! И еще чуть ли не гордитесь этим!

— А мне мой муж, между прочим, и таким нравится,— Лена пыталась смягчить разговор, потому что уж слишком непривычный тон был у Веры, никто никогда не слышал от нее такого. Она откровенно издевалась. «Зачем она так о б о м н е?» — подумал Глебов, стараясь не глядеть на Веру.

— О чем базар-вокзал? — донесся вдруг откуда-то издалека бодрый Степин голос.

«Вот тебе твой мужчина»,— подумал Глебов. Вера сразу замолчала, будто наткнувшись на что-то, и все молчали и глядели в ту сторону, откуда послышался этот голос. Там, за деревьями, приближаясь, мелькал Степа, можно было разглядеть у него на загривке что-то белое, несомое им, как мешок. Степа наконец вышел к палаткам и бережно снял с плеч белого барашка со связанными ногами, аккуратно положил его на траву и уже лежащего похлопал ладонью по курчавому боку; барашек дернул ногами.

— Ой, какая прелесть! — закричала Светлана.

Она подбежала к барашку и стала его усиленно гладить: связали маленького нехорошие дяди, связали бедненького. Сонины тоже выразили восхищение. Степа улыбался, как человек, привычно доставивший всем радость. Барашка развязали, поставили на ноги и привязали к колышку, который Степа вбил в землю тут же. Барашек стоял, встряхивая куцым хвостиком, белый, на зеленой травке, потом как-то по-детски, неуклюже, отпрыгнул в сторону, но веревка не пустила его, и он снова замер, наклонив голову, и вздрагивал. Все смеялись, кроме Веры и Глебова. Глебов смотрел на Степу, на Сониных — они смеялись. Светлана чесала барашка за ухом, и он мотал головой, Вера смотрела и молчала.

— Всего сороковничек! — возбужденно говорил Степа.— А? Гулять так гулять! Ну? Бабка продала. Хотела пятьдесят, но я уговорил. Не разоримся! — Степа был счастлив.

— Шашлычок, значит? — вдруг спросил Глебов, чувствуя, как поднимается в нем злость; он так произнес слово «шашлычок», что все поняли, и Светлана выпустила барашкино ухо, и Сонины перестали улыбаться. Вера молчала.

— Ты что, Степа, совсем дурак, да? — спросил Глебов; голос его дрожал.— Зачем ты его принес живого? Кто его резать будет?

Он спросил и испугался, что Степа ответит ему: ты и будешь, хотя Степа и не мог такого сказать, но Глебов все равно боялся. Он представил себе, как ткнет барашка ножом,— это казалось таким нереальным, тем невозможнее, чем яснее представлял себе Глебов, как воткнется под белую шерстку нож, преодолевая сопротивление плоти, как откроются бараньи глаза от невыносимой боли, и от этого станут мучительно похожи на человеческие, как на руку брызнет кровь, горячая, живая, влажная; все это было невозможно. Почему все молчат? Глебов оглядел компанию. Все молчали.

— Знаешь, Степа,— сказал Глебов сквозь стиснутые зубы,— отнеси-ка ты его обратно.

— Да вы что все на меня? — спросил Степа, так, будто ничего не понимал. — Я же хотел, как лучше чтобы... Не понесу обратно. Бабка засмеет.

— Да, нести обратно, в общем-то... — неопределенно протянул Сонин.

— Мы же шашлык хотели,— удивленно сказала Лена.

— Шашлык! — зло передразнил Глебов. — А кто, кто его резать будет? Жребий бросим? Лично я отказываюсь. С детства не люблю резать баранов.

— Ну ты интересно рассуждаешь... — начал Сонин.

— ......! — вдруг грязно выругалась Вера. До этого она молча смотрела на происходящее, и Глебов совсем о ней забыл, выпустил из виду. Спор сразу прекратился — так подействовало; никто не говорил ничего, момент наступил какой-то бессмысленный. Вера громко заплакала.

— Никто, никто... — едва выговорила она сквозь слезы,— жалко вам... эх вы... обратно нести жалко... и не можете... умненькие все такие... Гле-бов! — закричала она.— Что же ты молчишь? Ну ты-то почему так?

Глебов не хотел понимать, чего она хочет от него, слишком не хотел, он желал только одного — чтобы Вера от него отвязалась или обратилась к кому-нибудь другому, хоть к Степе, что ли, ведь он ее муж, пусть с него и спрашивает, думал Глебов, почему она ко мне-то обращается? Он опустил голову и старался ни на кого не смотреть. При чем тут я, почему я, думал он. Все в нем протестовало против Веры.

А Вера снова выругалась со всхлипом и схватила с расстеленного одеяла большой складной нож с бритвенным лезвием, это был Степин нож. Все стояли, никто не шевелился. «Может, она сама...» — неясно подумал Глебов, а Вера, подбежав к барашку — он испуганно отпрыгнул

от нее,— схватилась за веревку и вырвала колышек из земли, сильно дернув. Тут неожиданно вмешался Степа.

Он стоял от Веры дальше всех, но не побежал, а прыгнул к ней. В его прыжке были хищная точность, мгновенность, мощь; Глебову показалось, что Степа сейчас собьет Веру с ног, но прыжок закончился на удивление мягко и плавно; Степа ни в коем случае не толкнул Веру, но в мгновение ока сумел как-то очень осторожно отобрать нож у нее, злой, закоченевшей, у другой руки мягко отнял веревку с барашком и при этом улыбался ей, обнимал одной рукой, поглаживал, бормотал что-то успокаивающее, и Глебов видел, как доверчиво прижалась к Степиной груди Вера; потом Степа все так же, очень мягко, подтолкнул Веру к Сониным.

— Выпить, выпить ей дайте,— проговорил он и быстро потащил барашка подальше, за деревья.

Вскоре там, куда они удалились, послышалась возня, потом стало тихо, и Степин голос позвал:

— Ну, идите помогать, что ли.

Вера направилась к палатке, но идти не смогла — покачнулась. Светлана с Леной поддержали ее, обняли за плечи и повели в палатку. Сонин деловито совал Светлане бутылку коньяка, которую вчера не распили. Потом он посмотрел на стоящего в оцепенении Глебова.

— Пошли, поможем ему,— сказал виноватым голосом Сонин, и они пошли туда, за деревья. Барашек уже лежал спокойно и был выпачкан в красном. Степа стоял над ним на коленях и примеривался, в руке его Глебов увидел тот самый нож, и от вида ножа ему на несколько секунд стало страшно, но страх быстро прошел, и Глебов даже попытался улыбнуться. Степа поглядел на них.

— Во, моя баба дает! — сказал он, и Глебов не понял, чего больше в его словах — осуждения или одобрения.

Втроем они кое-как ободрали барашка и разделали его, и он сразу стал мясом, просто мясом, теплым и мягким. Глебов только попросил, чтобы убрали голову куда-нибудь,— глаза у барашка были открыты. Степа отрезал голову и бросил ее в кусты. Ничего страшного не было. Глебову даже не стало противно, и он подумал: «Я тоже смог бы». Ему уже казалось, что он смог бы все сделать не хуже Степы. Он сам вызвался разрезать ободранную тушку на части, чтобы они видели — он не боится.

Потом делали шашлыки. Вера не вышла из палатки — она спала, выпив стакан коньяку. Сначала у них ничего не получалось — мясо было как резиновое, но потом приноровились, и пошло на лад, дело оказалось в том, что для шашлыков нужен был не огонь, а жар от углей, открытие принадлежало Глебову, и он был горд этим.

Вера не вышла к столу, они сели без нее и здорово выпили под Степины тосты, пили все разом и сразу начинали закусывать теплой, сочной бараниной. Светлана вновь была девушкой Глебова, как и год назад, и это было ему приятно.

Потом наступил вечер и разожгли костер, снова выпивали и снова закусывали. Глебов хвалил предусмотрительного Степу за то, что тот догадался захватить побольше спиртного, а то было бы скучно.

— Вот ты говорил: не пить,— с трудом выговаривал Степа, беря дружеской рукой Глебова за плечо и дыша на него запахом вина и пищи. — А если не пить, то что же тогда делать?

— Да я это шутил,— смеялся Глебов,— шутка!

Когда все разбрелись по палаткам — Степа ушел к Вере, которая так и не появилась,— Глебов и Светлана остались у костра, и у Глебова было такое ощущение, что у них со Светланой давно уже что-то началось. Этой ночью они снова были вместе, и Глебов думал: хорошо, что Вера не выходила из палатки весь день, а то у него бы испортилось настроение.

Назавтра уезжали. До автобуса шли молча, а в автобусе понемногу развеселились, разговорились. Только Глебов не перекинулся с Верой ни словом.

Когда приехали в город, Глебов решил пойти в гости к Светлане — она приглашала. Все распрощались и разошлись в разные стороны, до следующего раза. Вера со Степой уходили, и Глебов, посмотрев им вслед, все вспомнил и подумал: а если бы я не позволил тогда Степе, то Вера была бы сейчас со мной. И хотя он уже не любил Веру, все же в первый момент ему стало очень жаль, что он не сделал этого.

Виктор ЕЛИСЕЕВ

РАЗНИЦА ВО ВРЕМЕНИ

Геологи прилетели в Домодедово под вечер; денег на такси ни у кого не было, и до города добирались на электричке. Сафонова и Ситнин незаметно, как им казалось, отстали от своих и сели в соседний вагон. Помогая Сафоновой стащить с плеч рюкзак, Ситнин увидел ее тонкую шею, не тронутую летним загаром, и едва не заплакал от жалости и любви. Давно уже наступила осень, в Хабаровском крае временами шел снег и за ночь крыши палаток провисали под его тяжестью, а в протоках замерзала вода, но только теперь Ситнин отчетливо осознал: лето кончилось. Он забросил тяжелые рюкзаки на багажную полку, хотя они никому не мешали — вагон был пуст. Поезд тронулся; Сафонова села у окна, Ситнин рядом с ней, она положила голову ему на плечо и, как ни боролась со сном, понимая, что им осталось провести вместе последние часы и минуты, все-таки нечаянно уснула — там, где они работали все лето, уже царила глубокая ночь, и сказывалась разница во времени. Включили свет; вагон был плохо освещен, но сразу показалось, что за окнами непроглядная темень, и Ситнин поверх головы Сафоновой видел в оконном стекле только свое отражение. Ему хотелось курить, но для того чтобы выйти в тамбур, пришлось бы разбудить Людмилу, и он, зная, как она вымоталась за последние дни, сидел, стараясь не шевелиться, а вскоре и сам заснул под стук вагонных колес.

Ближе к Москве вагон постепенно начал заполняться вечерними пассажирами. Напротив геологов села женщина в кожаном черном пальто. Она долго смотрела на спящих; вдруг на глазах у нее появились слезы, и она их быстро смахнула безымянным пальцем правой руки, на котором не было обручального кольца. Если бы ей сказали, что эти двое не очень-то уж и счастливы, что у него семья, а она по ночам плачет от тоски и отчаяния, и если бы у этой женщины, случайной попутчицы Ситнина и Сафоновой, спросили: «Вы согласны быть на месте той, что сейчас так безмятежно спит на мужском плече?» — она бы ответила, не колеблясь: «Да», не сомневаясь: «Да», не раздумывая ни секунды: «Да, да, да!»

Они договорились еще в самолете: он не поедет ее провожать. Когда спустились в метро, Ситнин снова начал уговаривать Сафонову, но она твердо ответила: «Нет», и Ситнин, хорошо зная цену этому ее слову, молча кивнул. Они поцеловались, когда подошел поезд, Сафонова шагнула в вагон и развернулась, стараясь не задевать рюкзаком пассажиров, лицом к Ситнину. Двери вагона сомкнулись; оба стояли, под тяжестью рюкзаков наклонившись вперед, навстречу друг другу, и Сафонова могла бы вытянуть руку и дотронуться до Ситнина, если бы их не разделяло стекло с надписью «Не прислоняться». Они разлучались ненадолго, всего лишь на воскресенье, но оба понимали, что расстаются не просто до понедельника, когда вновь встретятся в подвалах экспедиции, а прощаются с прекрасным, благословенным летом, таким мучительно долгим для многих и так быстро пролетевшим для них. Поезд скрылся в туннеле; Ситнин остался стоять на платформе в недоумении: почему он должен расстаться с женщиной, которая в отличие от его жены не умеет готовить, шить, вязать, но ближе которой у него нет никого на свете? Ответ заключался в слове «должен», и Ситнин давно это знал, но ничто не могло примирить его с этим безжалостным однозначным ответом.

Сафонова осталась стоять у дверей. Вдруг вспомнилось: «Долгие проводы — лишние слезы». Проводы вышли недолгие, и слез, слава богу, не было. Сойдя на «Таганской», Сафонова перешла на радиус. Кончался субботний вечер, народу ехало много, но ей повезло: она успела занять место. Над нею возвышался широкоплечий парень — судя по облику, один из тех сотен тысяч, что заполонили Москву за последние годы. Он предпринял попытку познакомиться, Сафонова подняла голову и посмотрела на него в

упор — не всякий бывалый бич выдерживал этот взгляд — и ловелас стушевался, деланно заскучал и неожиданно вышел на «Пролетарской». Здесь все по-прежнему, думала Сафонова, здесь ничего не изменилось, да и с какой стати что-то должно измениться? Изменилась она сама, теперь она не смотрела на москвичей с таким жадным любопытством, как в первые приезды с поля. Семьи возвращались из гостей, измученные дети спали на коленях у родителей; Сафонова вспомнила племянницу и невольно улыбнулась. Марина, имея перед глазами печальный, по ее мнению, пример в лице старшей сестры, еще учась в институте, женила на себе однокурсника. Сестра помыкала им, а он любил свою Мариночку и безропотно сносил все, но, когда на кухне Андрей снимал очки и, протирая стекла, задумчиво глядел в окно, Сафоновой иногда казалось, будто он все понимает: Марина вышла за него без настоящей любви, а просто для того, чтобы числиться замужем, и ничего уже нельзя исправить, потому что родилась дочь, потому что... Возможно, это были всего лишь ее домыслы и Андрей был счастлив вполне — во всяком случае, в своем понимании счастья, но почему же она все чаще замечала грусть в его добрых глазах? Андрей и Марина работали в НИИ; как молодые специалисты, оба получали поровну, что давало Марине повод за глаза пренебрежительно отзываться о муже: «Наш кормилец». «Откуда в тебе эта непорядочность?» — не выдержала однажды Сафонова. «Не тебе говорить о порядочности! — взбеленилась Марина. — У тебя роман с женатым мужиком!» Ссора происходила на кухне в присутствии матери. «Это правда, Люся?» — спросила она. «Да, мама, — жестко ответила Сафонова. — Только это не роман, как здесь изволили выразиться, — мы любим друг друга». «Любви все возрасты покорны», — ухмыльнулась Марина. «Замолчи! — крикнула мать. — Как ты можешь?..» Сафонова ушла в свою комнату. Она лежала в темноте с открытыми глазами. В комнату вошла мать, присела рядом и провела ладонью по лицу дочери — глаза были мокрыми от слез. «Это мы с отцом виноваты: тряслись над ней, пылинки сдували, а теперь ей подавай все — и все сразу». «Еще только март! — в отчаянии думала Сафонова. — Господи, поскорей бы в поле!» «Он хороший человек?» — неожиданно спросила мать. «Да, мама, очень хороший». «Ну что ж... — мать вздохнула. — Будет ребенок — вырастим». «Спасибо, мама». «Ты только не плачь, ладно?» «Ладно», — улыбнулась Сафонова в темноте.

...Поезд вырвался из туннеля. Сафонова увидела знакомые огни автозавода, а после «Текстильщиков» взвалила рюкзак на спину — ей помогла пожилая женщина. Сафонова поблагодарила ее улыбкой и стала пробираться к выходу. Выйдя из метро, она призадумалась на распутье, как ей идти: темными закоулками или по освещенным улицам? Первый путь был короче, и Сафонова пошла дворами, вспоминая, как ходила в маршруты со студенточкой МГУ — та поначалу отчаянно трусила и держала в руках заряженную ракетницу, а Сафонова посвистывала время от времени, полагая, что таким образом отпугивает медведей. Ракетница пригодилась только раз за все лето, когда они заблудились в темноте. Была низкая облачность, и накрапывал дождь; не дожидаясь контрольного срока, Сафонова на всякий случай выстрелила, и лагерь тотчас же отозвался пальбою из карабинов. Какая была простая и ясная жизнь!..

Подходя к своему дому, Сафонова подняла голову — ни в одном из четырех окон квартиры Сафоновых не горел свет. Она приложила руку к нагрудному карману «энцефалитки», проверяя, на месте ли ключ. Во дворе никого не было, на скамейке перед подъездом не сидели, закончив безвозмездное свое дежурство, старушки. Сафонова медленно поднялась по лестнице на четвертый этаж, открыла замок ключом, предусмотрительно захваченным из дома четыре месяца назад, в прихожей сбросила рюкзак на пол, прошла на кухню и включила свет. На столе лежала записка: «Люсенька! Мы все на даче. Еда в холодильнике. Целую, мама». Внизу Машка подрисовала забавного человечка, и Сафонова, глядя на детский рисунок, чувствовала, как оттаивает ее душа.

В ванной она оставила открытой дверь, чтобы услышать звонок телефона, задернула розовую полиэтиленовую шторку и долго, с наслаждением мылась под душем — горячие струи ды, лей, сколько душе угодно, сказка, мечта, пропади они пропадом, вечные бабьи мытарства в условиях поля!.. На кухне она сушила феном отросшие за лето волосы, а телефон все молчал. На холодильнике лежала коробка «Столичных»; Сафонова закурила, подумав с благодарностью об Андрее. Зазвонил телефон, Сафонова схватила трубку и крикнула: «Да!» Услышав дыхание Ситнина, она сказала ему: «Я приехала», — и положила трубку. «Мне скоро тридцать, — думала Сафонова, докуривая сигарету, — а счастья все нет...» В своей комнате она постелила постель, открыла форточку и легла. Она думала о Ситнине — о том, как он тащился со своим рюкзачищем через весь город, а про то, как он приехал домой, она старалась не думать, но это плохо ей удавалось. Сафонова встала, сунула ноги в шлепанцы, надела халат и пошла на кухню. Включив транзисторный приемник, она сидела в темноте и слушала новости: Афганистан, Сальвадор, Никарагуа, Карпов — Каспаров — ничья, а в конце передали прогноз погоды на воскресенье: в Москве 17 — 19 градусов, без осадков. Надо ехать на дачу, решила Сафонова, иначе дома я сойду с ума. Воскресная электричка, зелено-желтые пейзажи осеннего Подмосковья, переполненный автобус и полчаса пешком, сначала мимо воинской части, потом через колхозное поле и полусонную деревеньку; дачный поселок, мать и Марина работают на грядках, отец и Андрей занимаются яблонями или смородиной, а Машка помогает всем сразу. Я открываю калитку, здрасьте, я приехала, явилась не запылилась, наше вам с кисточкой, дорогие папа и мама, — ах, как вы гордились мной, когда я поступила в университет, ваша дочь, социальное происхождение — из рабочих, ваш свет в окошке, ваша боль... ну да ладно, об этом как-нибудь после, пустяки, дело житейское, как говорит Карлсон, который живет на крыше, — Мария Андреевна издает радостный вопль и сломя голову летит мне навстречу! Что бы ей привезти? На «Ждановской», что ли, купить шоколадку, ей можно, никаких у нее диатезов, здоровая девка, в маму... Ах ты господи, а у меня денег практически ни копейки, надо поискать в комнате у родителей. Сафонова вышла в прихожую и вернулась, услышав телефонный звонок. Шел второй час по московскому времени, и вряд ли это звонил Ситнин, но у нее перехватило дыхание. Звонила Рахманова: «Я так рвалась домой, а мои на даче!» «Мои тоже», — ответила ей Сафонова, чтобы хоть что-то сказать. «Сравнила!» — возмутилась Верка. Сафонова промолчала, простив подруге бестактность, — в конце сезона та совсем уже извелась. Детский сад закрывали на лето, четырехлетний сын жил на даче то с одними родственниками, то с другими, а Веркин муж, которого так и звали в экспедиции — «Веркин муж», раз в неделю привозил на себе продукты. «Я тебя не разбудила?» — спохватилась Верка. «Нет, слава богу. Ложись-ка ты спать, старуха. Сама виновата, надо было дать телеграмму». «Да какую же телеграмму-то, Люська! А вдруг где нелетная погода, мы сидим балдеем, а дома сходят с ума!» «Твоя правда, матушка, — согласилась Сафонова. — Ну возьми какую-нибудь занудливую книжку, заснешь на второй странице, а повезет, так на первой». «Легко тебе говорить...» «Ты невыносима! — психанула Сафонова. — Бери такси и приезжай ко мне!» «Да куда ж я ночью-то! Прямо как эта...» «Ну тогда спи. Спокойной ночи!» «Ты прости меня, дуру... — Верка всхлипнула. — Какого черта нас понесло в геологию...» «Ну что ты... — расстроилась Сафонова. — А хочешь, я к тебе приеду? Сейчас найду деньги и приеду». «Ты молодец, Люська! Ладно, я иду спать. Спокойной ночи!» «Спокойной ночи. Все будет хорошо, подруга!»

Деньги хранились в нижнем ящике серванта. Сафонова взяла пять рублей — хватит на все про все — и вернулась на кухню. В доме напротив светилось единственное окно. Кто-то вышел на балкон и закурил. Сафонова стояла в темноте и смотрела на человека, лицо которого слабо озарялось в моменты затяжек. Болдырев, вспомнила она, один из тех, кто «умеет жить», но живет почему-то скучно. За несколько месяцев до отъезда в какую-то капстрану он женился на девушке из Воронежа, с которой познакомился в Сочи, а теперь она строит из себя бонтонную даму и говорит нараспев: «У нас в Евро-о-опе...» Что же это ему не спится? Дом — полная чаша, сын ходит в спецшколу, под окнами «Жигули», а вот поди ж ты... А ведь могла я быть на месте мадам Болдыревой, звал он меня замуж, гарантировал золотые горы, да только зачем они, золотые, если есть настоящие горы, где вольно дышится, где чувствуешь, что сердце вот-вот разорвется от счастья и верится, что никогда не умрешь?!.

Балкон опустел. Кажется, я не уберeглась, спокойно подумала Сафо-

нова. Что же, если это действительно так, я оставлю ребенка. Никому не в тягость, никому не назло — просто у меня будет ребенок от любимого человека. Я буду маяться, как все наши бабы, все лето буду тосковать по своему сыну или по своей дочери, а осенью буду рваться домой... Или — прощай геология? В конторе отсиживать от звонка до звонка? Нет, не смогу! Надо что-то придумать, надо так сделать, чтобы существовали ясли, детские сады для детей геологов, а еще лучше, если бы все это было как одно целое, все жили бы вместе, старшие заботились бы о младших, и чтобы работали там хорошие воспитатели — и тогда мы будем спокойны за наших детей. Вот что надо сделать сейчас: написать письмо министру геологии СССР. Сафонова заметалась по кухне, прошла в свою комнату, включила настольную лампу, нашла лист бумаги и карандаш, села за письменный стол, вывела первую строчку: «Уважаемый товарищ министр!» — и заплакала.

Она снова сидела на кухне и курила в темноте, потом ушла в комнату, легла в холодную постель и долго не могла согреться, а когда согрелась, усталость наконец-то взяла свое. «Из дальних странствий возвратясь...» — вспомнила она, засыпая.— Откуда это — Пушкин? Грибоедов?..»

Ей приснился лагерь на Чумиканже. Середина лета; внизу, возле посадочной площадки для вертолетов, дымится сигнальный костер, хотя белые, выгоревшие на солнце палатки прекрасно видны с высоты. Долгожданный вертолет садится, опадают лопасти винта, к вертолету бегут люди — письма, посылки, понятное дело,— и только двое стоят на склоне сопки и никуда не торопятся. «Ты плакала во сне»,— ласково говорит ей Ситнин. «Это от счастья»,— с улыбкой отвечает она. «Странно...— задумчиво произносит Ситнин.— Если б мы были счастливы, разве б мы плакали по ночам?» «Это от счастья,— терпеливо повторяет она.— Ты не мучайся, все будет хорошо». «Оттого я, родная, и мучаюсь, что всем не может быть хорошо. Это, наверное, невозможно». «Это возможно,— мягко возражает она.— Мне бы только набраться мужества и сделать решительный шаг. Мне бы только набраться мужества...»

А вертолет тем временем поднимается в небо и летит, слегка накренившись, по дуге над распадком, и, когда он скрывается за перевалом, еще долго слышится его размеренный рокот, но постепенно он затихает, и теперь только слышно, как внизу монотонно журчит ручей, невидимый в зарослях, а над головами поскрипывают высокие стройные сосны, и эта спокойная, не бередящая душу музыка настолько привычна слуху, что кажется, будто над миром воцарилась торжественная тишина.

Елена СЕРДЮК

СИНЕКУРА

Генерал в отставке Савченко Георгий Николаевич служил — с сохранением пенсии — в университете, заместителем декана по административно-хозяйственной части. Завхозом, проще говоря. Хотя нет, завхозом назывался молодой человек Василий, разболтанный и вороватый, подчинявшийся Георгию Николаевичу. Представительная должность самого Савченко была отчасти синекурой, потому что хозяйство у филологов было скудное — ломающиеся стулья, исчезающий мел, растрепанные грамматические таблицы и портреты классиков. Все интересное — ну, к примеру, электрики, автобусный парк и пожарная охрана — было централизовано и из-под контроля Савченко ушло. Вот у физиков, химиков, даже у географов хозяйство было богатое, но им заправляли свои молодцы — не Георгию Николаевичу чета. А что он — шестьдесят лет, почки больные, под глазами отеки, да еще и темные круги. Из-за черных блестящих глаз, обведенных синеватой тенью, и жесткой щеточки усов его нередко принимали за грузина,— бывают, и правда, такие печальные грузины со следами былой красоты. И наш Савченко, хоть никакой и не грузин, был когда-то красавцем. Особенно в военной форме. Особенно в полковничьей, а потом в генеральской. И все-таки его выпихнули в отставку, и тут Савченко обнаружил, что бывшим сослуживцам он не нужен, семья прекрасно обходится и без него, взрослые дети его не очень любят — как и он их,— а главное, не уважают. И дают понять, что не за что, хотя приличия соблюдают. Одни внуки — Катька и Вовка — деда любили, но уж никак не за то, что он был когда-то генералом. И Георгий Николаевич пошел работать, выбрав себе ответственную и хотя бы по названию руководящую должность.

Руководил он главным образом тощим Василием, который по штатскому невежеству своему, плохо подчинялся железной руке Савченко, а главное, занимался какими-то махинациями со списанием якобы перегоревших лампочек и выплатой двойной ставки полотерам — тьфу, сказать противно. Василий сновал по факультету в синем сатиновом халате, неуловимый, как призрак, и так быстро появлялся и исчезал, что никто с ним даже не здоровался. Но люди умные понимали, что Георгий Николаевич к делишкам Василия никакого отношения не имеет, что он на голову — нет, неизмеримо — выше презренного завхоза. Савченко уважали и профессора (в науке это все равно, что генералы), и академики (это маршалы). Проработав много лет на филфаке, Савченко незаметно для себя стал переносить свои мерки обратно: полковник — значит доцент, а он в таком случае профессор в отставке. Ничего, звучит.

Беда только, что настоящие профессора, любезно улыбаясь и пожимая руку Георгию Николаевичу, при этом наплевательски относились ко всем мероприятиям по гражданской обороне, которую он возглавлял в масштабах факультета. Впервые получив в свои руки это подразделение, Георгий Николаевич преисполнился честолюбивых планов. Кое-что ему удалось сделать — оформить надлежащим образом помещения, развесить планы эвакуации и занять две аудитории под комнату боевой славы и кабинет гражданской обороны. В двери были вставлены замки, а ключи хранились у Савченко. Но аудиторий не хватало; за ключами то и дело прибегали просители, и Савченко вынужден был давать; а в этом году, с разрешения декана, с них сделаны были копии и переданы в учебную часть. Значит, теперь кто хочет, тот в любое время и откроет, и еще забудет запереть, а там экспонаты. Георгию Николаевичу прибавилось заботы каждый вечер проверять кабинеты, и он действительно несколько раз нашел их незапертыми, но экспонаты не пропали. А недавно, как ему пересказал с ухмылочкой всезнающий Василий, доцент Чернышева (полковница, так сказать) отказалась в этих аудиториях читать. «Я,— говорит,— не могу рассуждать о Чосере среди противогазов. И студенты отвлекаются». Надо же! Да в случае чего о вашем Чосере никто и не вспомнит! А вот противогазы даже очень пригодятся. На все это имеются четкие инструкции. Но когда Георгий Николаевич пытался представить тебе «случай чего» — а он был человек с воображением,— то воображения не хватало, чтобы вписать в общую картину еще и противогазы. С другой стороны, Савченко твердо знал, что инструкции надо соблюдать без всякого воображения. Не в том он был возрасте, чтобы рубить сук, на котором сидел, причем сидел в полном одиночестве. На факультете никто его деятельности не принимал всерьез, все от него отмахивались. Все были слишком заняты — кто Чосером, кто Бэконом, кто критическим реализмом XIX века (об этом Савченко узнавал из объявлений, вывешенных около каждой кафедры, и недоумевал, как это можно в официальном учреждении заниматься такими нежизненными проблемами да еще получать за это чины и звания). И вот Георгий Николаевич решил надавить на коллектив филологов сторонним авторитетом. Он пригласил лектора из Академии военных наук, генерала авиации Дементьева И. Д., для прочтения преподавателям и сотрудникам факультета лекции о современном состоянии и насущных задачах сил гражданской обороны.

К лекции Георгий Николаевич подготовился заблаговременно, то есть приложил все усилия, чтобы обеспечить явку слушателей. Это можно было сделать только путем туманной угрозы, и Савченко в текст повестки, кото-

рую он разослал по всем кафедрам, включил фразу: «Регистрация явившихся с 15.10 до 15.30». В день лекции он заранее предусмотрел, чтобы в большую аудиторию амфитеатром была открыта только одна дверь — вход снизу, а выход наверх был бы закрыт. Проверив все это, он поспешил к главному подъезду встречать лектора, который с военной пунктуальностью прибыл на служебной «Волге» с шофером ровно за двадцать минут до начала. Савченко длинно представился и повел генерала Дементьева в свой кабинет на пятый этаж, незаметно разглядывая его по пути, что было совсем нетрудно, так как Дементьев смотрел все время куда-то в сторону. Приняв от него в кабинете шинель и фуражку, Георгий Николаевич окончательно убедился в том, что генерал авиации Дементьев, как и он сам, бодрый старик. Лысая голова его была нежно-розового цвета, и все лицо тоже — видно, Дементьев в молодости был блондином. Смотревшие мимо глаза в белесых коротких ресницах были голубые, а на руках темнели старческие коричневые пятна. Савченко был разочарован возрастом генерала и усмотрел в этом смутный укор себе: человек старше него, а ни в какой не в отставке. Дементьев сел в предложенное ему кресло, курить отказался и, нахмурив безволосые дуги бровей, постучал пальцами по полированному столу.

— Вы, значит, в танковых войсках служили. Так, так. Сколько будет слушателей?

Савченко смешался.

— Личный состав у нас... Аудитория на двести человек... Но не все свободны от занятий. Специфика нашей работы, знаете ли. Скользящий график. Лекции, студенты.— Савченко всегда в разговоре с военными безотчетно причислял себя к университетским деятелям, и наоборот. Но сейчас он ощутил некоторую неловкость и, чтобы загладить ее, снисходительно добавил: — Народ культурный. Но в военном отношении слабоваты. Хотелось бы в доступной форме...

— Микрофон, я надеюсь, в порядке? — сухо спросил Дементьев.— М-да. Пора идти.

Савченко вместе с лектором на лифте спустились на второй этаж и направились к нужной аудитории. У дверей ее толкались филфаковцы в тщетных попытках куда-нибудь записаться и удрать, но записаться было некуда, обещанную регистрацию никто не вел. Устроив лектора на трибуне, Савченко вернулся к двери и сказал сурово:

— Проходите, товарищи. Лекция начинается. Регистрация будет по окончании.

В результате группа, вздыхавшая перед дверью, оказалась в аудитории, и народу получилось не так уж мало. Представляя Дементьева слушателям, Савченко зорко оглядел присутствующих. Да, количество удовлетворительное. Но командный состав отсутствовал. Пришли в основном те, кому в данный момент было что-то нужно от начальства — добиться прибавки к зарплате, или получить ученое звание, или загладить какие-нибудь проступки. Таких людей набралось довольно много, а те, кому ничего не было нужно — это и был цвет факультета,— не пришли.

Георгий Николаевич сел в первый ряд и стал слушать. Лектор пообещал доложить аудитории новейшие сведения, и лекция спокойно потекла по своему бетонированному руслу. Были в ней и «определенные круги», и «мощность взрыва в гигатоннах», и «стратегия упреждающего удара». Но смысла Савченко что-то не улавливал. Он посмотрел назад и вверх — все пристойно и тихо занимались чтением книг, сочинением статей, глядели в окна. Посмотрел и Савченко, но апрельский свет улицы был по контрасту слишком ярким, и рядом с каждым темным предметом неприятно маячил его светлый силуэт. «Никто не слушает.— подумал Савченко.— Вроде неорганизованные люди, но по отношению к посторонним единодушны. Не замечают. Не знают, какая за ним сила. А вот хороша была бы доцент Чернышева со своим Чосером на кафедре в Академии военных наук».— И он представил себе Чернышеву (она, кстати, не пришла) с седыми локонами и в цыганской шали, читающей лекцию военным. Нелепая была картина, да и невозможная. «А вот Дементьев у нас возможен. Вот он перед нами. Но мы его не замечаем. Он здесь нереален. А я? — вдруг остро подумал Савченко.— С кем тут я? Ведь не признают ни те, ни другие. А между ними —

пустота. Казалось бы, должна быть жизнь, как и везде, а на самом деле — вакуум. И я — в нем». Эта мысль испугала его. Ведь Георгий Николаевич не был искателем нирваны, а был обыкновенным человеком. В его образных представлениях что-то сложно повернулось, он понял, что эти две армии... два роя... две группы никогда не соединятся и даже не столкнутся, потому что пути их лежат в разных плоскостях, а он никакой не эмиссар и не парламентарий... непонятно кто.

Он опять посмотрел в окно, и окно снова ослепило его. С пятнами и полосами в глазах он вернул взгляд внутрь помещения и стал рассматривать мундир Дементьева, который как раз подошел к доске и начал чертить на ней какие-то схемы со стрелками. Да, только военным могло прийти в голову нашить на брюки цвета хаки двойной голубой лампас. «И это пожилой человек»,— с неожиданным для самого себя осуждением подумал Савченко. Сам-то он сидел в строгом синем костюме, белой рубашке и галстуке в мелкую синюю искру. Вообще здесь, в окружении скромных штатских одеяний, было особенно заметно, что военный мундир — это яркий параноидальный бред на тему костюма. Мания преследования представлена в нем защитным цветом, а противоречащая ей мания величия фальшивым блеском пуговиц, погон и аксельбанта. Дементьев вернулся на трибуну и продолжил говорить; Савченко с болезненно острым любопытством стал рассматривать его лицо. Смотреть там было особенно не на что; светлые глаза часто смаргивали, посередине находился короткий восковой носик, от которого взгляд так долго спускался по ровному месту вниз, что уже начинал бунтовать, требуя разнообразия, но находил только тонкие впалые губы и пустынный выступ подбородка. Видимо, и молодой лейтенант Дементьев не был красавцем, но зато, должно быть, отлично смотрелся в строю, и на нем никогда не задерживался ничей придирчивый взгляд. Сколько же ступеней понадобилось перешагнуть незаметному Ивану Дементьеву, сколько трудов приложить, прежде чем стать тем, чем он стал сейчас! Но долженствующий появиться в этом месте размышлений Савченко пиетет к генералу Дементьеву так и не появился. Оратор тем временем решил напутствовать преподавателей филфака и доложил, как, по его мнению, они должны воспитывать молодежь. «Мы, ветераны,— сказал генерал Дементьев,— росли в атмосфере острой ненависти ко всему чуждому. И она себя оправдала. А кое-кому из нынешней молодежи — в основном-то она у нас правильная, боевая,— но кое-кому лень или не с руки ненавидеть своих идейных противников. Мы с вами должны крепить это чувство».

«Мы с вами,— иронически подумал Савченко,— должны крепить ненависть» — нет, здесь это не пройдет. Но, оглянувшись боязливо на зал, он понял, что это прошло. Как и все остальное, мимо ушей. Никто из присутствующих не снизошел даже до того, чтобы подтрунивать про себя над лектором,— один Савченко, оказывается, как мальчишка, этим занимался, и когда он это осознал, у него покраснели уши.

Раздались умеренные, приличествующие случаю аплодисменты, и лектору передали записку с вопросом, из которой явствовало, что филологи зачитываются научной статьей генерала Дементьева о лазерных пучках, опубликованной в каком-то диковинном журнале. Оратор обстоятельно, но без всякой признательности ответил на записку, и Савченко с обидой почувствовал, что его старания пропали даром. Публика мигом исчезла из аудитории, и Георгий Николаевич с неискренними изъявлениями благодарности повел Дементьева одеваться к себе в кабинет, и там предложил ему чайку. Посмотрев на свои сложные часы, генерал авиации согласился. Чай был уже сервирован Василием в стаканах с серебряными подстаканниками и с сахаром в дорожной упаковке. На столе в корзинке стояло печенье — спартанский крекер «Здоровье», к которому, предполагалось, никто не притронется; никто и не притронулся. Разговор не клеился; гость быстро выпил чай и поднялся, официально поблагодарив Савченко и глядя попрежнему мимо него.

Посадив Дементьева в машину, Георгий Николаевич, расстроенный, шел обратно. Чувство непричастности ко всему происходящему, само по себе спокойное и нестрашное, а некоторыми даже очень ценимое, пугало его своей новизной. Савченко смотрел на окружающее словно через толстую стену аквариума. Деловитые студенты, нахмуренные гардеробщицы за

барьером, буфетчица, вытирающая тряпкой круглые столики,— все они двигались замедленно и немо. Так же замедленно открывалась перед ним и дверь кабинета, где Василий в синем халате, ворча, медленно убирал со стола. Карманы его оттопыривались. «Что я вам, уборщица, что ли?» — бубнил Василий, но смысл его слов не дошел до Савченко. «А ну-ка, Василий,— сказал чужим голосом Георгий Николаевич,— сбегай на кафедру германской филологии, принеси мне книжку Чосера». Слова были тоже не его, но Василий, ие удивляясь, сказал «Счас» и выплыл из кабинета.

Савченко уселся в свое кресло и потверже оперся локтями о полированную поверхность стола, с удовлетворением отмечая реальность соприкосновения. «Ничего,— подумал он.— Обойдется. Зарплату-то я здесь получаю». Мысль о зарплате оказалась веским доводом в пользу действительного существования Савченко. А мысль о генеральской пенсии он затолкал быстро куда-то поглубже. Перед ним на столе лежала связка ключей; он взял ее и ощутил металлический холод и вес в ладони. «Оружие в руках всегда успокаивает,— подумалось ему.— Как пистолет. Вернее, как кастет». Генерал в отставке Савченко никогда прежде не держал в руках этого воровского оружия, но сейчас даже забыл устыдиться, что ему в голову пришел кастет. Он умел только нападать и защищаться и сейчас защищался, чем мог, хотя не знал точно, от чего. Вошел Василий и со словами «Что я вам, библиотекарь, что ли?» протянул ему томик в кожаном переплете с золотым тиснением. Савченко, не выпуская ключей из рук, взял книгу и раскрыл наугад. Нет, читать это было невозможно, как он и предполагал. Но, закрыв томик, он помедлил отдавать его Василию и положил перед собой. Золото на переплете было настоящее, и книжка неожиданно преобразила скучный стол и весь кабинет Савченко. «И пусть лежит»,— подумал Георгий Николаевич и отпустил Василия домой. Помигав, зажглись плафоны дневного света. Связка ключей в руке нагрелась и перестала напоминать оружие.

Евг. ПЕРЕМЫШЛЕВ

Я ОПУЩУСЬ НА ДНО МОРСКОЕ...

Как все-таки невнятна смыслу душа любого, но среднего, человека, не Психея, но — Псиша, девочка-подросток, не откликающаяся на зов посторонних, будто не слышит, стесненная сама собой: прозрачный от солнца космос летнего дня в процессе становления, который есть процесс осознания самого себя. И тем более непонятна та же девочка, но с негритянскими тугими губами — душа черного человека, бредущего под вечереющим московским небом.

Что ищет душа черного человека?..

Об этом я, российский литератор нынешнего поколения, донятый собственными заботами и мятущийся от своих специфических сомнений, отличных разительно от забот и сомнений прочего нынешнего поколения, имею понятие самое слабое; будучи искренним, вовсе никакого.

Оно, конечно, можно было бы выдать за действительность некие домыслы, наалогизировать невесть чего, однако стоит ли в конце-то концов?

Так и условимся с читателем: все действия, имеющие место в данном рассказе, носят статус возможности, но не необходимости, а единственная реальность тут есть реальность психологии автора.

...Когда сверху, чуть повыше невнятных на периферии зрения крыш, расплывается розово-вишневый, перетекающий в багровый закат, как неестественно тоскует тогда все человеческое естество.

Багрец, багрянец, даже семантически, а не только посредством визуальной метафоры связанный с пожаром, слоился в небесах, существовавших по вечереющему холоду вполне доказуемо: они были не столь высоко, сколь отодвинуты вдаль, и — приблизься, приподымись на цыпочки или же подпрыгни, как ребенок в низком проеме школьного коридора, и достанешь до них, шлепнешь по небесам, будто ладошкой по потолку: темные пятна вокруг оголенных крон и сами деревья с выжженной из них весенним цветением, летним солнцем и осенними холодами силой, скрюченные и звенящие надрывно от сквозняков — словно к школьному потолку ученической детской слюной приклеены обгоревшие спички. Это поздняя и холодная осень, не пахнущая уже ничем, когда распад и тление ее завершены.

Негр шел в предвечернем сумраке, обуянный вневременной тоской. Что ж, тоска непонимания и недоумения ладит из человека дитя, пораженное ученической незащищенностью перед любым, старшим его. Псиша томится, не желая вырастать, в боязни взросления.

Негр шел, а вокруг стояла Россия, в самом именовании которой присутствовали непроявленные ужас и агностицизм. Слегка интерпретируя означенное: негр шел в предвечернем сумраке по московским улицам, оказавшись в России не абы как, но приведенный необходимостью познания, его завораживал этический феномен славянской души.

Сын Великого Вождя, а ныне — Президента одной из африканских стран, негр с блеском окончил отделение славянской филологии Оксфорда или Гарварда, или какого-либо другого университета, но напрочь не мог понять главного — смысла этой российской словесности, созданной столь легким, неизощренным, но непроницаемым для напряженного ума слогом.

Вот написанная июньским ямбом поэма о том, как река смыла до основания тогдашнюю государственную столицу, что (через символику воды) можно объяснить немецкой психоаналитической школой. Но о чем эта поэма? Вот роман-табакерка, где полусумасшедший студент с недоедания вообразил себя Наполеоном и зачем-то убил, даже не с целью наживы, старушку (что, впрочем, можно отчасти объяснить немецкой психоаналитической школой). Или — другой роман, пространнейший, престраннейшее создание, где жена уходит от обеспеченного мужа, ломая семью, руша счастье собственного ребенка, однажды обратив внимание на уши мужа, разглядев, а позже почему-то кончает с собой (что, впрочем, отчасти, конечно, возможно объяснить немецкой психоаналитической школой).

Нет, готовые объяснения стройно укладывались в системы трактовок только при слушании лекций, но с книгой, наедине — тогда нечто внутри подтачивало, не давая покоя поверить окончательно, что, вероятно, не в том суть, а когда он приехал в Россию, то убедился — никакой трактовке не подвластно. Загадка именно и заключалась в том, что вне какой-либо психоаналитической подосновы жена здесь может бросить мужа лишь из-за формы ушных раковин, студент порубит в крупу старушку, а вода слижет все. Негр не ведал понятия и чувствовал: он столкнулся с чем-то сугубо самобытным.

Не стану искать объяснения этому и я, скажу только, что не последнее место занимает здесь внушающий суеверный трепет русский фатализм. Кто нас поймет? Только сам русский человек, который пляшет на торжествах с пьяным самоотвержением и сосредоточенностью, будто исполняя миссию.

Нота бене: в общежитии, где проживал негр, среди вавилонского смешения языков федеративных и малых автономных республик, среди вавилонского же блуда, жили также по праву дружественности военизированные, благоприобретенные вьетнамцы. И в пересечении плоскостей интересов, когда ненависть бурлит в пору любви, вьетнамцы стали глухой притчей во языцех коверкающих русское наречие всех, вплоть до азиатов, ибо их невзлюбили, не перенося за то, что они жарили на общежитской кухне родную, расейскую, соленую до слез селедку, вкушаемую из веку гладко, с луком. Но очень любили вьетнамцы жареную селедку, буквально запеченную на сковородке без масла до темно-коричневой хрустящей корочки.

Вьетнамцы прямо слюной исходили, разделывая эту селедку. Один калил сковородку на огне — брызгал на нее водой, измеряя, прикидывая на глаз, чтобы видеть характер степени, до которой нагрелся прибор. Сначала шарики воды с шипением просто катались по сковородке. Позже, в пору, когда металл совсем уж раскалялся, практически до красноты и

малиновости, пунцовея, вода с сильнейшим шипом, трепыханьем мгновенно исчезала.

А пока доводилась «до ума» сковорода, второй егозил над сельдью, разделывая, будто раздевая. Он столь страшно обращался с ней, что многие и многие приходили смотреть из интереса, а его словно одолевал некий стыд интимности словно он ее действительно взаправду раздевал, хотя овладеть и овладевая в конце концов.

Лежит селедка, отливая сизым, легированным боком своим. Как вдруг над ней воспаряют желтенькие маленькие ручонки с плоскими ногтями в белых разводах.

Ручки расправят сельдь по газете «Советский спорт», любовно погладят. И неожиданно — вдруг — ножом по ней, хоп, хоп, голову наотрез, зацепят за тонкую, задравшуюся кожицу, срывают с тихим треском. Беззащитная, расползающаяся, палевая, интимно-телесная молока либо икра выплывают из живота, обнажается мягкое, незащищенное и скользкое селедочное тельце.

А ручонки все парят, все витают.

Потом подхватят расформированную в себе сельдь ножом, хлопнут на черную, липкую, как покрытую черноземом, от обжига сковороду. И жарят без масла, без ничего. От ежедневной готовки вдоль всего этажа стоит тяжелый, навязчивый чад, коричневый, от которого кружится голова и подступает тошнота.

Но главное, иное же — наша селедка, родимая, что же вы, не можете, что ли, есть ее по-людски, с маслом, с луком, с картошкой, не можете? Тогда не замай! Нашенское, не иное! За что вьетнамцам и мстили. Ежеутренне, в шесть, когда радио, взмывая духовно, транслирует все нарастающий гимн, соседи будили вьетнамцев и заставляли слушать, стоя по стойке «смирно», обращая встречу нового, свежего дня в торжественный ритуал. Сначала вьетнамцы противились, крича спросонья: «Циго тебе надя, русица?», но потом, постепенно, привыкли и сами взбадривались без четверти шесть.

Может быть, дело и кончилось, незаметно продолжаясь, как знать? Ко всему привыкает человек, но однажды, когда истязатели после ночного загула проспали, вьетнамцы заявили в ректорате, что наши студенты манкируют гражданским долгом, наплевательски... Все раскрылось, а по окончании скандала вьетнамцев стали донимать еще сильней. Они же только крутили маленькими и плоскими желтыми личиками, недоумевая: «Зя цто?».

Где правда, где ложь, как распределена правота в случившемся? Она только в системе случайных сцеплений, взлетов и падений, воспринимаемых как должное. А будто бы, казалось,— то вьетнамцы, у которых полМосквы родственников и знакомых. Кажется: как тут негр? Негров в России множество издавна, и российский национальный гений рожден черным и курчавым. Но... а что же «но»? И в родной Африке не всякий слышал про страну, управляемую Великим Вождем. И есть ли вовсе такая часть света — Африка? спрошу я серьезно. Кто ее знает... Из моих знакомых никто и никогда не бывал там.

Во всяком случае, приехав, чтобы понять затаенный смысл чужой культуры, негр прикоснулся еще одной грани русской сути — за познание чего-либо необходимо нешуточно страдать, даже если познаешь цену картофеля. Негр бродил по предзимним холодам, сперва закоченевая, потом окоченевая и окончательно коченея. А вечерний город во внезапном освещении и темнотах представлялся ему не более как комиксом. Он видел московитов, страдающих от стужи не меньше приезжих. Движения их были порывисты, косны, а в клубах пара, которые они выдыхали, витали вписанные накрепко односложные и двусложные реплики: «ух ты», «ох ты», «мля», «твою так» (или «этак»), «слышь». Городские птицы вызывали у негра уважение тем, что не боялись холодов и не страдали от вероятного менингита. Покамест обыкновенно темнело, и тучи, забагровевшие, подсвеченные не то солнцем, не то луной, не то ими обоими, уходили, и небо от холода сворачивалось, как в откровении Иоанна.

Затем наступала весна или осень, как ныне.

И негр шел, тонул в звуках и запахах города. Там, где он шел теперь, не было почти светящихся реклам, пылающих ярко витрин магазинов, куда вхож не всякий, но происходит столпотворение избранных,— все так, хотя район находился в десяти минутах ходьбы от Кремля, например. Но тут столица открыток и рекламных буклетов, смешивая в себе и древность, и бравый новый мир, отступала назад, давая место городу, завешанному плакатами «Осторожно, окрашено!» на доме, не крытом краской столетие, или «Не допускайте детей на стройплощадку без сопровождения взрослых!» на аварийном заборе.

Тут имел место уже другой город. Тут находилась даже не Россия, а Русь, остатки ее, темной, холодной и таинственной от лесов и голубых озер, в которых по неизъяснимой собственной воле тонули целые города (чего не можно объяснить даже немецкой психоаналитической школе).

И, казалось бы, в старом районе подобного перечисленному не существовало, какие леса и каковые озера! Но дух-то, неизъяснимый, непонятный покуда, остался. Всякий знает, что, по старым поверьям, души не умирают, они переселяются в деревья, высаживаемые пионерами на субботниках, в камни, остающиеся от строек века, в звезды, сияющие в небесах, но особо неприкаянные души ходят так, без пристанища. И сейчас где-то, может быть, в самой что ни на есть близи, бродят духи России, познание которых и определяет цель нелепого прибытия сюда жаждущего разумения негра.

Тут стоят низкие, самое высокое в три этажа, дома со слепенькими окошками, с дверями, лоснящимися липкой и пыльной краской. Окна первых этажей распялены зеркальными, гранеными стеклами, толстые фаски которых сняты на скос, плавно, от чего происходит впечатление, будто за стеклами налита зеленоватая вода, что стекла аквариумные, а медлительные от возраста жители домов движутся в двухмерности стекла обреченно, как рыбы.

Льнут к окнам изнутри на подоконниках фикусы, кактусы, еще какие-то незнаемые русскому уму, но милые сердцу цветы в горшках кирпичного цвета, под горшки же подставлены выщербленные, пожелтевшие общепитовские тарелки.

Это не приезжий, интересующийся негр видит — это я вижу! Я, проживший в сих вихляниях улиц большую часть своей малосознательной жизни. Я, который гулял по скверикам ребенком, в ярком детском возрасте шпанил, бегал колбасой в отрочестве. И, слава тебе, Господи, живу сейчас. А потому я знаю обо всем здесь больше, чем иные, и, уж конечно, больше, чем негр, бредущий под сгущающимися сумерками. Ему-то, негру, город представляется таинственным и непонятным.

Дальше, дальше в сгущающуюся синеющую темноту.

Он проходил мимо подворотни, когда кто-то вдруг потянул за рукав.

— Хенде хох и руки вверх! — заорал кто-то.— Приникни к нам, друг. Третьим будешь? — спросили.

Негр зашел в неизвестность, предварительно убрав в плечи голову: вдруг станут бить? Там, за углом, стояли две непонятные, расплывчатые личности. Плащики не плащики на них или пальто, руки в карманах.

— У,— вымолвила одна из личностей, разглядев шагнувшего.— Нигер черный. Можжа, прынц ыхний? Небось, конвой сзади шефство несет — лягавые со скрипящими портупеями или двое в штатском с военной выправкой на слонах едут.

Второй, к которому апеллировали, махнул рукой сокрушенно и возразил несколько матерно:

— ... ..., а у тебя глаз нету? Или ты дальтоник, негра не разглядел в темноте? А, ладно,— вдруг сник,— хоть кого, а то больше пайщиков не предвидится.— И обратился к негру: — Про кооперирование слыхали? СЭВ, ООН... Водка пить все вместе? — вопросил он, коверкая язык, ладя под иностранное.

Негр не понял, зачем тот ломает речь, как вообще не понимал, почему большинство говоривших с ним делали так, что становились вовсе не внятны. И, коверкая слова:

— Пить,— сказал он в лад,— но литтл-литтл, фор запах, а дурости и так хватает...

— Пять рублей? Понимать? Ферштеешь? Рупь... Ну, ваш доллар. Пять долларов и ни цента более,— затараторил громко, но без особой надежды человек.

Негр протянул десять рублей.

— Сдачи не надо, — сказал он. — И добавил строго: — Лучше упешься до усеру, — так сказал с медальным, недвижным профилем Сына Великого Вождя и Президента, почти не разжимая губ от торжественности и собственного достоинства.

— Ух ты, ну и нигер! И по-нашенскому шпарит. И не жадный. — Один покрутил головой. — Ща усе будет. — И нырнул в темноту.

Из горлышка, тем паче водку, негр пить не умел, а потому обильный поток лился у него по подбородку и шее, за воротник.

— Сколько добра переводит, — качал головой один, сокрушаясь. — Был бы наш — врезать бы промеж гляделок, и сами бы допили.

Постепенно негр стал различать их, но, однако, главной приметой стало наличие костыля у того, злого, который сиял орденской колодкой и которого второй звал Оловянным, по непонятной причине сам быв называем по имени голландского философа — Спинозой хреновым, без присовокупления имени Барух, он же Бенедикт.

Они были так неестественны и странны, что негр не мог понять ни языка их, ни движений, ни действий как неподвластных рассудку.

— Между прочим, — говорил Спиноза, — первым про летчиков в отческой литературе накрапал Мих Юрьевич Лермонтов, когда еще и названия «летчик» не было, в одном из одноименных стихотворений: и вы, мундиры голубые, — писал классик...

— Какие мундиры! — перебивал Оловянный. — У них голубые-то погоны! У бортов-то... И вы, говорит, погоны голубые... Так надо правильнее.

— Дурак одноногий, — возражал опять-таки Спиноза, — а как тогда дальнейшее? Быть может, за стеной Кавказа сокроюсь! Понял? понял? как «сокроюсь», а? Через Кавказ-то он самолетом и мог только перемахнуть. На лошадях долго тогда было ехать, а он быстро хотел сокрыться. Спешил очень. Во!

Негр сознавал и смысл слов, и всех фраз по отдельности, а вот движение мысли, цель ее были ему вовсе затаены, и он было спросил что-то, уже не коверкая язык, на благоприобретенном русском, но они как бы и не обратили ни на что внимания, а только Спиноза хренов, интеллигентишка изрек торжественно:

— Ты Россию вовек не поймешь, не обижайся. Чтобы ее понять, матушку нашу немытую, небритую, необходимо обладать всемирненькой отзывчивостью, по Федр Михалычу. У меня-то она есть, даже у него (указание на Оловянного), дурака, и у него капельку есть, а у тебя, милашка, покамест нема безвозвратно.

Впрочем, отсутствие глубоконациональной отзывчивости у негра не помешало брать несколько раз негритянские деньги и покупать необходимое. Оловянный, хоть и с костылем, хоть и калека, но, когда был посылаем в магазин, по времени получалось то ж на то ж — ему давали без очереди, а он орудовал инвалидной книжкой в адрес особо кричащих.

Они пили и закусывали заскорузлым, тронутым черствинкой плавленым сырком, напомнившим негру почему-то его жизнь на берегу теплого африканского озера, млечный запах материнский и ее шершавые ладони.

Позднее его стали подначивать затариться на вечер и на случай стратегического броска. Крепкого больше не давали, сколько ни моли, так как было уже внушительно поздно. Дверь магазина закрючили изнутри, снаружи же болтался для пущей важности вполне декоративный замок громоздких габаритов. Путем сложных манипуляций и проникновения с тылу удалось достать много пыльных, грубого стекла «огнетушителей».

Перед глазами негра все плыло, то удаляясь, то приближаясь к самым зрачкам. И дворик, еле различимый в темноте, и стена каменной кладки, из какого-то окна освещенная желтым мочеподобным светом. Неожиданно пришла имеющая неизвестные истоки, но вполне твердая мысль: все слова, даже слово «жить», несут широкую семантическую ауру, все, кроме слова «выжить». К чему это, было непонятно.

Оловянный становился с каждым глотком мрачнее, мрачнее, а Спиноза, утрачивая глубокомыслие, напротив, делался фривольнее, наседал на негра с вопросами.

— Слышь, слышь, давно уж хотел спросить, да вот все некого. Такой интимный, понимашь, вопрос. Токо ты ответь, не менжуйся. Токо без обиды, лады? Скажи без обиды, скажи? У вашинских все причиндалы тоже черные? А? Ну, скажи, — все канючил он. — Во, менжуешься, Менжинский. Я уж так узнать хотел. Даже в туалетник на Красной площади бегал, приглядывался. Не повезло, твою мать, не видал.

Негр плохо понимал, что ему говорят, слова распадались, рушились, он что-то порывался ответить на английском языке, совал в руки деньги, а когда пытался говорить на русском, то с трудом, чему не сыщешь определения.

Отдельные слова долетали до него.

— Можжа, к Маруське поедем? Горючего захватим да и поедем, ток так, ля, с пол-оборота.

— А етого ли возьмем-то?

— А че, ля, возьмем, он много места не займет, зато с бабками, если к водилам бежать, а Маруська-то подарочку обрадуется! А вот сюрприз-то получится!

Негр почувствовал, как его взяли под руки, куда-то поволокли. Он шел, спотыкаясь, спотыкались его сопровождающие, раздавались междометия и сопутствующие шумы.

Очнулся он слегка в ярко освещенном трамвае. Нестерпимо острый, но неживой свет бил в глаза. Вагон мотало, он гремел, визжал колесами на поворотах, касса позвякивала, из-под пантографа вылетали бенгальскими огнями пучки искр, зависали в темноте и гасли внезапно.

Потом путешествующие покинули трамвай и повлеклись по какой-то темной улице. Долго шли, свернули в подъезд, долго подымались на лифте, путая этажи. Долго звонили в дверь, а им долго не открывали.

Дверь распахнула полненькая, розовенькая женщина, всплеснула руками, притворно заохала, вглядываясь в полумрак лестничной клетки.

— Смотри-ка, кто пришел, — сказала Маруська, нехотя как-то отступая от двери, давая им пройти. — С чего бы это? Никак в Африке стая негров сдохла! — И осеклась, увидев, разглядев наконец, отступила в темноту прихожей, пропуская.

Гости ввалились в квартиру.

— Да тише вы, — строго вполголоса приструнила их Маруська. — Там, — качнула головой в сторону прикрытой двери в глубине коридора, — ребенок спит.

— А может, мужик? — засмеялся Оловянный. — А то чего так долго не открывала?

Они уселись за стол на кухне, притворили плотно стеклянную дверь и начали с яростной радостью пить привезенное. Маруська громко хохотала, полы куцего ситцевого халатика то расходились, то снова запахивались.

Негр на секунду прикрыл глаза, чтобы они немного отдохнули от света, и провалился в темноту. А когда открыл их, глаза, опять, за столом не было ни Маруськи, ни Оловянного, а Спиноза спокойно попивал вино и предложил радушно:

— Давай выпьем, пока они придут.

Они снова пили. Потом вернулись ушедшие, и они пили уже все вместе. Маруська все поглядывала на негра, что-то говорила, обращаясь к нему, подмигивала, хохотала. И он не помнил, то ли пил, то ли не пил.

Но стало подкатывать душной волной к горлу. Он сдерживался, однако заметили, засунули его в туалет, где он долго и муторно блевал и, наконец, отошел чуть-чуть, встал, держась руками за стены. Все плыло, медленно проплывало перед глазами. Теплый воздух обхватывал, облеплял. С боку на бок, медленно-медленно мучительно качались, плыли стены.

Негр вышел из туалета и осторожно, держась за стену, двинулся обратным путем на кухню. Увидел дверь, толкнул и остановился недоумевая, куда он попал, что тут. Только в глазах отпечаталось: в комнате на полу лежал зеленоватый палас, в серванте блистали чашечки, тарелочки, белела среди них веточка коралла, отражалась в стекле серванта полуприту-шенная трехрожковая люстра.

Возле постели, стоя на одной ноге, Спиноза засовывал вторую ногу в штанину, а на постели, голая, лежала, раскинувшись, Маруська, белея, розовея, чернея.

— О! — обернулся на звук скрипнувшей двери Спиноза. — Тоже охота? А, Маруська, смотри, — чем не жених? Хочешь, Маруська?

— Да, — сонно, расслабленно выдохнула женщина. — Хочу. Ну, иди сюда, иди, — и с каждым словом все более осознанно, будто трезвея.

— А я посмотрю, — застегивая рубашку, сказал Спиноза. — Не хотел правду говорить, так я сам увижу.

— Ну, иди, иди сюда, — с придыханием, тихо, как можно тише, еще тише шептала женщина. — Миленький...

И негр будто ухнул с головой в теплое озеро. А потом он лежал рядом с ней, ничего не сознавая. Поиски главного, интерес к нему ушли куда-то на второй план, и выступило действительно главное, главнее чему не было и не может быть. Только видения шли перед его глазами.

Сошлись и беззвучно поплыли, поплыли перед взором: неулыбающийся, едкий ирландский печальник, черный декан Свифт, написавший историю о безнадежной, а потому трагической и возвышенной приязни Гулливера и лилипутки, впрочем, не без влияния, вероятно, идей возвышающего смысл жизни Николая Кузанского, а также сочинения «О множественности миров» Джордано Бруно; проплыли, перепутавшись между собой, сухие старушечьи лики Петрарки и Данте в женских колпаках; проплыли благообразный Ибсен и всклокоченный Стриндберг, крошечный русский Чехов, старомодный, будто автомобиль «ретро», блестя фарами пенсне; проплыли ницшевские загнанные в подлобье глазки и обвисшие, как мокрые усы; проплыл невнятный господин, производящий впечатление трагической неустроенности, кто-то вроде Д. Г. Лоуренса; проплыли дикие, возбужденные и бородатые русские Щедрин, Толстой и Достоевский, сцепившись руками; проплыл Шопенгауэр, и печальный доктор Фрейд, безнадежное, меланхоличное учение которого можно объяснить по Фрейду, проплыл. И Гераклит, прозванный Темным, в вечном обновлении застигнутый тоской по ушедшему невозвратно прошлому.

Негр возвратился на кухню другим. Другие же возвратились на кухню прежними. Но он изменился.

Любить — искать продолжение себя, хоть в каком-никаком, противоположном, инаком даже, воплощении, и прикипеть, найдя, прилепиться к себе — другому, некоему, неизвестному еще, находя каждый раз все более и более знакомое, значащее в этой неизвестности.

Так любящий обыкновенно проходит все стадии, которые до него миновала мировая религия: от инакого, неантропоморфного порою, от обожествления недвижного бревна, обмазанного кровью и медом, до вочеловечения и до самоотвержения даже в конце концов.

— Хошь, мы тебя за него замуж отдадим? — спрашивал Спиноза раскрасневшуюся Маруську. — Хошь?

— Да на черта он мне нужен, ваш черномазый-то!

Разговор шел при негре, но как бы и без него. А он только завороженно смотрел на женщину, сидевшую за столом.

Но вдруг Оловянный очнулся от забытья, стукнул со всей силы кулаком по столу, схватил, выжрал стакан портвешка.

— Тише ты! — шикнула на него Маруська.

— Ты мне рот не затыкай!

— Я тебе счас врежу, скотина ты пьяная. Я предупреждала, что рядом дите спит, — говорила Маруська полунегромким речитативом.

— А зачем они, духи, Сашку убили? — завыл нечеловечески Оловянный. — Зачем Володьку? А знашь, как они в горах первую и третью роты положили, напалмом пожгли, а? Не знашь, сука!

— Да что ты от него хочешь, это ж не он. Не понимаешь, что ли, что это негр, не душман твой?

Спиноза тоже ринулся было успокаивать. Но Оловянный уже вскочил из-за стола, обогнул его, припадая на костыль, подскочил к негру. И резко внедрил ребро свободной ладони в одну из бытийственных точек телесной организации. Не успев воскликнуть, негр упал, теряя последнее сознание, незамутненное. Маруська метнулась, не давая, отталкивая бьющего.

Он очнулся.

— Давай, я тебя умою. — И услышал легкое журчание воды, почувствовал на лице мягкую, добрую и легкую ладонь. Его умывали.

Оловянный пытался было проникнуть и продолжить, но Маруська цыкнула на него:

— Отзынь! И так человеку плохо.

— Уж и вправду за этого черного замуж захотела? Когда там, в горах, наши ребята пачками дохнут!

— А это не твое дело собачье, ты за свою войну деньги получал. А у меня свой интерес. Может, я тоже хочу по Африке разгуливать или где по Парижу, не все с вами — дураками — водку-то жрать. Только бы он захотел, согласился, миленький, меня такую за себя взять и увезти отсюда к чертовой матери. Глаза бы мои на вас не глядели. Может, я тоже человек, а?

— Какой ты человек! Заткнись... халява общая!

Маруська била мужика жестоко, целенаправлено и размеренно: сперва прошлась по лицу кулаками, потом выбила из рук костыль, а коленкой ударила в пах, отчего Оловянный, не удержав равновесия, сразу свалился, а когда тот упал, помесила еще немного нагими ногами для порядка и для душевного успокоения.

— Ты что, ты что, психованная! — через больные всхлипы орал мужик. — Хватит, хватит, прошу...

— Не ори! — орала ему в ответ Маруська. — Рядом ребенок спит.

«Какая она самостоятельная, — думал негр, так же лежа на полу, наблюдая сцену снизу и сбоку, — может себя защитить. И какая она сильная...» Его обуревали мысли и все то горячее, что в лед холодило периферию тела, и все то холодное, что заставляло сердце горячо сжиматься и екать. Он ощущал рядом с собой нечто важное, не понимая, что именно. Женщина есть арена для сражений мужчин, она оселок, оттачивающий мужчину.

И да приидет любовь, дабы оправдать наше не-счастье, посредственное наше воспитание и мелкую подлость наших поступков, порожденную нашим не-счастьем и скрываемую посредственным нашим воспитанием. Замечу, что любовь и приходит обыкновенно в юности, когда перед вышеизложенным наиболее беззащитна душа. И юность каждого ломится от таких любовей. И нет ничего насыщенней, печальнее и безысходней первой любви.

Юный негр лежал, тяжело очухиваясь, на полу возле дивана, у ног защищавшей его своим присутствием Маруськи. Он видел перед собой широкие розовые Маруськины колени. Пухлую белую руку ее, лежавшую на коленях. Синенькую жилку под кожей, синенькую жилку, пульсирующую крошечным родничком.

И в полнозначной темноте его души, в этом кромешном, безглазом космосе, не освещенном дотоле даже каплей света, вдруг ярким пятном, пылающей радужной луною зажглось отмеченное веснушками, усыпанное чешуйками черной непрочной туши светлое лицо русской женщины по имени Маруська.

Итак вот, глядя на ее тяжелые надежные колени, и туда, где пуговица халата расстегнулась, на резкий, неожиданный ромб белого женского живота, он запел негромкую, непонятную нам великую песню инициации, песню, под которую подростки уходили в чащобы волшебного леса, чтобы вернуться мужчинами или не вернуться совсем, что — он понял — все необходимо стерпеть, все снести, порою даже смирив гордость Сына Великого Вождя и Президента, чтобы только добраться до этого белого теплого живота, продукта долгой и загадочной культуры, необъяснимой, добраться, как все покоривший, как достойный, и властвовать им уже безраздельно. Как объяснить по Фрейду это теплое и мягкое вздымание белого живота и эту невозможную радость, способную переделать мир? Во что переделать? Во все остальное.

Голос забирался ввысь, символизируя восхождение и победу, голос падал, тонически изображая поражение, голос вибрировал, будто это было сомнением, он хрипел, подчиненный страсти, и...

...и это не я пою, это — негр поет на незнаемом языке, в котором я не вем смысла, даже не разбираю границ слов, только одни интонации, что противоположны, отличны от бедной, жестяной интонации русских лю-

бовных песен, где главное и не слова даже, а нечто, не дешифрованное глаголом, единое зерно самосознания, пробившееся различными растениями — рябиной и чертополохом от общего корня. И отсюда образ инициации от века принимал в русском самосознании формы либо ностальгические, отмеченные высокой трагедийностью, либо — самозабвенно ернические, балаганные от космических:

Я опущусь на дно морское,
Я подымусь под облака,
Я все отдам тебе земное,
Лишь только ты люби меня...

до подлого порою, но — чаще — похабно-веселенького треньбреньканья:

Ах, Настасья, ох, Настасья,
Отворяй-ка ворота,
Отворяй-ка ворота,
Принимай-ка молодца...

А негр все пел свою песню торжества и поражения врага и, уже допевая почти, вдруг неожиданно понял на излете художества, что он слаб, что, какую бы он песню ни спел, ему никогда недостанет сил получить эту женщину себе во власть, пока ей не заблагорассудится самой подчиниться чему-то, как судьбе, и так же, вполне случайно для себя, он приподнялся на коленях, упал лицом, прижался к мягкому, теплому животу ее. И заплакал.

— Ну что ты? Что ты! Миленький!.. Не надо.

Маруська погладила его по черным вьющимся, словно пружинным, волосам.

— Душевная все же баба,— сказал Оловянный, сидя на полу.— Ну, даже злость на нее нельзя долго держать! — Слов этих никто не слышал, ибо, как всякая болтовня, они прозвучали втуне и пропали, не оставив следа. Сопоставление слов и дел всевременно выходило не в пользу слов. Какие слова, когда люди заняты делом: Спиноза курил, Оловянный говорил глубокомысленности, негр плакал, а Маруська гладила его по голове, посильно утешая:

— Ну не плачь! Да успокойся ты, Господи... Ну, хочешь, апельсинчика почищу?

И от этих слов негр зарыдал еще сильней, плотно прижавшись мокрым лицом к ее голубому халату в белых с желтым ромашках.

Рада ПОЛИЩУК

ПУСТО-ПУСТО

Жизнь не удалась. Это нужно было признать со всей неопровержимостью.

Сегодня ему исполнилось сорок. И хоть по утверждению некоторых философов возраст — категория относительная, это не может служить ему утешением. Ибо никаких достижений, кроме фактического приближения к этому рубежу, у него нет.

Жизнь когда-то по недомыслию была подарена ему его родителями, исчерпавшими свою любовь так быстро, что они не успели даже понять, что же это такое. Лишь чувство долга перед ребенком удерживало их всю жизнь рядом, при этом дух каждого подкрепляла сладкая мысль, что он добровольная жертва, принесенная на алтарь сыновнего счастливого будущего.

Его жизнь шла своим чередом, никак не завися от его усилий, желаний и возможностей, и по чьей-то вине или случайно разминулась со счастьем, предначертанным ему родительской самоотверженностью. Ее неспешное и безостановочное движение он не только осознавал, но и имел возможность постоянно наблюдать. Стоило выглянуть в окно комнаты, в которой просиживал он за маленьким письменным столом по девять часов, включая обеденный перерыв, ежедневно, кроме, разумеется, суббот, воскресений и праздников. Впрочем, за долгие годы все это слилось для него в один ничем не примечательный будний день.

Пейзаж за окном был прост и однозначен: угол соседнего корпуса, водосточная труба и большие квадратные электрические часы. Да еще старая рябина в глубине двора, которая одна лишь напоминала о смене времен года, так как стрелки часов, непрестанно описывая один и тот же круг, не давали ни малейшего представления о том, какой нынче день, год или век.

Часы бесстыдно и неотрывно глазели в окно, и он постоянно ощущал этот нацеленный на него взгляд. И слышал короткий, как стон, звук, сопровождавший очередное перемещение стрелок. Часы словно сожалели о своей горькой и ответственной миссии — уносить в прошлое каждую минуту бытия.

А сегодня часы вдруг остановились. Такого на его памяти не случалось ни разу.

С утра он проснулся, снедаемый тревожным беспокойством. В этом, правда, не было ничего необычного. Он не любил утра, и всякий раз, просыпаясь, испытывал безотчетный страх перед неотвратимостью нового дня, который ему предстояло прожить. Обычно ему удавалось заглушить страх привычной размеренностью и незыблемостью утреннего распорядка. Он как бы убаюкивал его этим однообразием: так было вчера, так есть сегодня, так будет завтра...

Но сегодняшняя тревога была острой, жгучей, она прорывалась сквозь не слишком прочную защитную броню, заставляя сердце беспокойно вздрагивать.

Он не избавился от этого гнетущего ощущения ни в толчее и сутолоке общественного транспорта, ни в безлюдном скверике напротив проходной, где он, невзирая на погоду, совершал ежедневную утреннюю прогулку, ни в своем укромном, скрытом от любопытных глаз уголке за шкафом, напротив окна.

Пришел он по обыкновению раньше всех и застал у себя на столе поздравительную открытку со стихами. Стихи ему не понравились, их ерническая интонация задела его. Ему хотелось торжественного и даже возвышенного слога, и это несоответствие лишь усугубило и без того дурное настроение.

Он с раздражением бросил открытку в ящик стола и стал напряженно рассматривать рисунок обоев, которыми была заклеена задняя стенка шкафа. Рисунок был знаком до мелочей и просчитан по всем мыслимым направлениям; пять светлых полос с семью темными медальонами по вертикали и четыре темных полосы по пять медальонов по горизонтали, итого пятьдесят пять медальонов, в каждом по три розы, итого сто шестьдесят пять роз по семь лепестков в каждой и т. д.

Он сидел и считал, умножал и складывал и снова умножал. Эта привычка была у него с детства: боясь расплакаться прилюдно, он начинал считать все, что попадалось на глаза, перемножая и складывая совершенно несовместимые предметы: одушевленные и неодушевленные, неподвижные и движущиеся, мелкие, едва различимые, и не умещающиеся в поле зрения.

Его никто никогда не видел плачущим, и тем не менее все считали плаксой. Эта унижающая его достоинство слава неслышно шла за ним по пятам. И даже став взрослым мужчиной, крайне сдержанным во внешних проявлениях чувств, он знал, что она не оставила его.

Как больно это задевало его! Ну откуда кто-нибудь мог знать, как трепещет от сострадания, отвращения или бессильной злобы его душа, если ни один мускул не дрогнет на его лице: Уж к чему, к чему, а к этому он ценой неимоверных усилий приучил себя с детства, равно боясь как насмешек, так и снисходительной жалости окружающих.

Мышцы его лица пребывали в постоянном напряжении, почти до судороги, образуя гримасу угрюмого неудовольствия. Улыбка давалась ему с трудом, а смеяться он вообще не умел. Вернее, отучил себя, потому что

смех у него всегда сопровождался слезами, что служило поводом для ненавистных острот.

Порой ему казалось, что он навсегда остался маленьким мальчиком, бесконечно одиноким, никем не понятым, находящимся в постоянном страхе оказаться мишенью для безобидных шуток или гнусного издевательства. Из чего родился этот страх, он не помнит. Во всяком случае, на его долю выпадало не больше обид, чем на всякого ребенка в обычном детском сообществе. Разве что боялся он не только за себя, но и за другого и, не умея заступиться, лишь вдвойне и втройне страдал: и за обиженного, и за обидчика, и за себя, несмелого.

Он рос избалованным ребенком, слабым, болезненным, единственным, не просто любимым — обожаемым всем взрослым составом семьи. При этом каждый считал его своей собственностью, игрушкой для себя. Никто всерьез не учитывал его желания, настроения, устремления и нисколько не заботился о том, что из него должен вырасти мужчина, а не изнеженный слюнтяй. И он, не зная, как иначе противостоять, все больше запирался в себе, отдаляясь дальше и дальше от них, пока не сделался недосягаем для их любви. Когда они, спохватившись, поняли это, было поздно. Образцовый сын и внук, неизменно вежливый, корректный и предупредительный, он был пугающе непонятен, словно за обыденностью его поступков таился какой-то иной смысл, узнать который им не дано.

Он чувствовал, что они тяготятся его присутствием. Мать то и дело вскидывает голову и бросает на него быстрый и цепкий взгляд. Взгляд этот полон сомнения, горечи и даже затаенной обиды: мой ли это сын, теплый, нежный, податливый комочек с мягкими ручонками и легкими завитушками на тонкой шейке? Как, когда он превратился в этого угрюмого, рано располневшего и полысевшего мужчину? Куда исчез сладковато-молочный запах его кожи, и почему ей так трудно заговорить с ним, подыскать нужные, подходящие слова, ведь они так хорошо понимали друг друга без слов.

Занятая своими сомнениями мать не видела, что он более чем снисходителен к ней, что является признаком несомненного расположения. Что-то тревожно роднило их, его, сегодняшнего, и мать, ту, далекую, таинственную, погруженную в себя, в свою грусть, ему неведомую, но манящую, им до сих пор не разгаданную и оттого, быть может, влекущую его и сейчас. Он тоже помнит резкий, волнующий запах ее духов и длинную белую шею, которую она подставляла·ему для поспешного, всегда на бегу, объятия. Мать из-за его болезненности не работала, пока он был маленьким, и, стало быть, всегда была рядом, а он почему-то помнит ее ускользающей и свое вечное и недостижимое стремление к ней.

Отец — другое дело, стопроцентный сангвиник, шумный, неугомонный, неуживчивый, но отходчивый и добродушный. Он крушил тишину и полутьму, царившие в доме в его отсутствие, раздергивал шторы, распахивал окна, включал разом всю звуковоспроизводящую аппаратуру, хватал в охапку сына и мял, тискал его, с наслаждением, не замечая, как жмется тот, неловко, но упрямо пытаясь увернуться, и как раздраженно и испуганно пятится от него жена, прикрывая руками то глаза, то уши.

Отец оглушал и ослеплял их своим вторжением в полудремотное царство, разрушая какую-то внутреннюю согласованность матери с сыном.

Он не знал, за что мать не любила отца, он только болезненно ощущал это неприятным щекочущим холодком внутри. И долго-долго не мог избавиться от этого ощущения. И так и не сумел понять, кто из них больше виноват в этом взаимном отторжении, неприятии, нежелании смириться, приспособиться, уступить. Не поняв, он не смог сделать выбор между ними и равно отдалился и от матери, биологическую близость, схожесть с которой чувствовал каждым движением души и инстинктивно сознавал опасность сделаться ее рабом, и от отца, в котором все нравилось ему, на которого хотел бы он быть похожим. Хотел бы — да не мог.

Может быть, с этого и началось и никогда не оставляло его хроническое разочарование в самом себе. Как бы ни поступал он в разных обстоятельствах, что бы ни делал, каких бы ни добивался успехов, пусть малых, но вполне заслуженных — ничто было ему не в радость, ничто не удовлетворяло и лишь порождало желание скорее забыть и начать все сначала.

Впрочем, этот его вечный поиск был ведом ему одному, внешне в его жизни все было весьма устойчиво: вкусы, привычки, привязанности, место работы, маршруты прогулок и отдыха, круг чтения. Так что со стороны казалось, что он идет заранее проложенным курсом, строго по стрелке компаса, без девиаций и рыскания.

Меж тем он был полон планов и прожектов, без конца намечая и мысленно отрабатывая головокружительные виражи, пируэты и другие рискованные трюки. Он мечтал удивить и даже шокировать окружающих какой-нибудь неожиданной выходкой. Он знал, он чувствовал, что способен на это, только следовало выждать наиболее подходящий момент для вящего успеха.

И он ждал. Сначала поступления в вуз, выбранный без всякого интереса, по территориальному признаку, потому что все равно на время. Затем успешного окончания и удачного распределения, просто так, из тщеславия. Затем отрабатывал положенные три года, попусту не растрачивая свои способности, коим предстояло расцвести на другой ниве. Затем проработал в привычном режиме еще несколько лет, опасаясь сделать ошибочный шаг. Действовать надо было наверняка.

За это время он изучил некоторые европейские языки и современные языки программирования, сдал кандидатский минимум и поступил в аспирантуру, получил права на вождение автомобиля, которого у него не было, и принялся за японский язык. На работе все темы, которые он скрупулезно и тщательно прорабатывал в поисках наилучшего решения, на определенном этапе отбирали у него и передавали другому. При этом темы тут же становились перспективными, а новые исполнители преуспевающими. Его же успехи были более чем скромными: к тридцати годам его повысили в должности и прибавили пятнадцать рублей к зарплате. Он натянуто улыбался и сквозь улыбку цедил: «Для меня все это мелко. Чепуха, да и только. У меня другие цели». Он так часто повторял это, что порой самого одолевали сомнения, а слушатели, которых поначалу его заявление интриговало, потом забавляло, наконец, вовсе потеряли к нему интерес. Всем было ясно, что он обыкновенный неудачник.

И только он сам, страдая от насмешливых взглядов и недвусмысленных намеков, никак не желал смириться с тем, что этот стол и этот шкаф, и стонущие часы за окном — его пожизненный удел с одним из двух печальных исходов: пенсией по старости или фотографией в казенной рамке на кирпичной стене.

Не хочет он ни того, ни другого! Но ведь не избежать — он это понимает. Он просто еще не готов. Он жизнь свою отметить должен чем-то значительным, чтоб след остался глубокий, неисчезающий. Чтоб смыслом наполнился каждый прожитый день. Ему оставалось совсем немного — сделать свой выбор, сконцентрировать все усилия и добиться желаемой цели.

Вот только цель, подобно миражу, то замаячит перед ним, обретая реальные очертания, так что он уже почти узнает ее и готов кричать от радости: «Эврика! Нашел!», то растает, как сосулька весной. И он снова возвращается к нулевой отметке, и все начинается сызнова.

Так и стоит он много лет, как витязь на перепутье: «Направо пойдешь — счастье найдешь, налево — жизнь потеряешь» Страшно. Шепнул бы кто на ухо, хоть намекнул — где ждет удача. Уж он бы сил не пожалел, весь выложился бы без остатка.

Но неоткуда ему ждать подсказки. Никто его мук не понимает. Один лишь раз, выполняя предсмертный бабушкин наказ, совершил он необдуманный поступок. И некоторое время пребывал в весьма приподнятом состоянии духа, в предвкушении великих перемен. Ему тогда показалось, что бабушкин наказ — вещий. Оттого, наверное, что она вдруг высказала вслух то, сокровенное, о чем думал он, мучительно пытаясь скрыть от себя самого эти мысли, пугавшие его своей дерзостью.

А мысли были самые житейские. И услышав, как просто бабушка говорит об этом, он уже не мог понять, чего боялся и почему до сих пор не попытался что-либо изменить. Лучшие годы, быть может, прошли в бездействии и маниакально-навязчивых раздумьях о том, что жить надо отдельно от родителей, иначе никогда не дышать ему свободно и самостоятельно, опутанному вовремя не перерезанной пуповиной.

Бабушке трудно было говорить. Она медленно и тихо выдыхала ему в ухо слово за словом, перемежая их сиплым, прерывистым дыханием. Этот шепот и это страшное дыхание в гулкой тишине ночного подъезда, отражаясь от стен и перекрытий, зловещим набатом гудели у него в ушах. Лифт не работал, он нес бабушку на руках к машине «Скорой помощи», ожидавшей у подъезда. И не сразу догадался, что она умерла.

Последняя воля умершего — закон, гласит народная мудрость. Быть может, поэтому с несвойственной ему решимостью он неотложно принялся претворять в жизнь бабушкин завет. На первых порах везение сопутствовало ему, и он был окрылен.

Ему удалось попасть в готовый уже кооператив с красивым названием «Эдельвейс». Большой бело-розовый дом стоял в излучине Москвы-реки и напоминал еще не спущенный на воду многопалубный лайнер.

Ему все нравилось здесь. Беззащитные и трогательные в своей уязвимости прутики-саженцы, высаженные вокруг дома, он видел могучими липами, в тени которых будет, спустя годы, гулять со своими внуками. Грохот передвигаемой мебели, брань и смех, стук молотков, треск дрели сливались в праздничную какофонию новоселья. И он, ревностный любитель тишины и покоя, от души наслаждался ею. По жеребьевке ему достался не первый и не последний, а седьмой этаж в среднем подъезде, уютная и спокойная, надежно защищенная со всех строн берлога.

Словом, удача буквально преследовала его.

И когда девушка, с которой он случайно познакомился в многочасовой очереди на прописку, согласилась пойти к нему в гости, он ошалел от радости, от собственной смелости и от чего-то еще, что влекло и страшило его своей неизведанностью.

Девушка, в отличие от него, была весьма искушенной, он испытал ни с чем не сравнимое блаженство, восторг нечаянной любви переполнял его. Он решил, что женится на ней, несмотря на шокирующую циничность ее поведения. Ее естественность и раскованность граничили с профессионализмом. Он не знал, как ведут себя в таких случаях другие девушки, но ее бесстыдство восхищало его и настораживало. Она ходила голая по залитой солнцем комнате, ничуть не смущаясь его присутствия, но и не красуясь перед ним. Она его вовсе не замечала — ела, курила, звонила по телефону.

Когда же он попытался заговорить с ней о том, что пережил за эту ночь, о чем думал сейчас, она уставилась на него немигающими от удивления прекрасными глазами и долго так смотрела, молча, словно разглядывая какую-то диковину.

— Ты что, сдурел? — спросила она наконец нежным, певучим голосом.— Переспал один раз и влюбился? Жениться надумал? Да у меня вчера настроение плохое было, я со своим парнем поссорилась. А ты подумал, что я в тебя влюбилась? Ха-ха-ха! (Засверкали белые, влажные зубки.) Ха-ха-ха! Не могу! Ты же старый и лысый и ничего не можешь. Думал квартирой завлечь, что ли? Ой, не могу, ха-ха!

Она не спеша оделась, долго и самозабвенно наводила марафет и ушла, не взглянув на него.

Это короткое происшествие повергло его в глубочайшее уныние, тошнотворная слабость и апатия овладели им. И в довершение всего на него навалилась бессонница. Никогда раньше не знал он, что это такое, засыпал довольно быстро и спал крепко. Хотя на пороге сна его, как услужливая сиделка обычно поджидала тревога. Он успевал чего-то испугаться, о чем-то побеспокоиться, погрустить, посожалеть, ощутить свою бесприютность и уязвимость. С тем и засыпал. Тревожность перетекала в сны, черно-белые и почти всегда безрадостные. Кошмары опутывали его по ночам, и во сне он часто кричал.

Теперь он вообще не спал, и это была невыносимая мука. Безысходная тоска разрывала душу. Мысль в поисках хоть какого-нибудь утешения беспорядочно перескакивала с одного на другое, но все было одинаково безотрадно. Он ничего не добился в жизни, не совершил ни одного сколь-нибудь значительного поступка, никому не помог, никого не спас от беды. И главное — никому не был нужен. Исчезни он сегодня, ни для кого это не явилось бы невосполнимой утратой.

Ни одной родной души у него не было. И теперь уж не будет. Он никогда больше не осмелится заговорить с какой-нибудь незнакомкой. Раньше с интересом и любопытством разглядывая их, красивых, нежных, удивительных, он взволнованно думал о том, что одна из них предназначена ему. И неважно, что он ее еще не узнал, в самом ожидании встречи с ней было что-то непередаваемо прекрасное.

Теперь он понял, как был смешон и наивен со своими романтическими грезами. Он стар, нелеп и никому не интересен. Все вершится по каким-то иным законам, в которых он, грамотей, оказался несведущ.

Да он и не хотел жить по этим законам. У него свои идеалы, и он будет им верен, даже если это фантазия, несбыточная мечта.

Со временем ему полегчало. Восстановился сон и весь размеренный жизненный ритм без сбоев и срывов. Наверное, можно было бы считать, что перенесенное им потрясение прошло бесследно, если бы не одна маленькая деталь: он потерял всякий интерес к своей новой квартире.

Время от времени он заезжал туда, чтобы удостовериться, что все в порядке, заглянуть в почтовый ящик, почитать информацию на доске объявлений кооператива. Он своевременно оплачивал все счета, посещал собрания и даже ходил на субботники. И делал это так же добросовестно и машинально, как привык выполнять все свои обязанности, не испытывая при этом ни увлеченности, ни удовлетворения.

Сущей нелепостью казалась ему теперь вся эта затея с квартирой. Он равнодушно смотрел на нераспакованный холодильник ЗИЛ, счастливо доставшийся ему по случаю, на не подключенный к антенне новый цветной телевизор самой современной марки, на серую плюшевую обивку дивана и кресел и дымчатые обои с тонким рисунком, изысканностью тона и безукоризненным сочетанием которых гордился, на прочие мелочи, тщательно продуманные и скомпонованные. Смотрел и не верил, что еще совсем недавно вся эта мишура вдохновляла и радовала его, никогда, никакому делу не отдавался он с такой страстью и упоением, как обустройству своей квартиры.

Теперь покрытое пылью, как пеплом забвения, источавшее нежилой запах, заброшенное и неприветливое, все это было чужим и абсолютно ненужным.

Жил он у родителей, практически не общаясь с ними, как квартирант. Они ни о чем не спрашивали его, привыкшие к определенному набору услуг, которые он оказывал им, добровольно взяв на себя большой круг домашних обязанностей. Лишь изредка заговаривали с ним об обмене или предлагали сдать квартиру на время кому-нибудь из знакомых. Он неопределенно пожимал плечами, и разговор не возобновлялся до поры.

Он и сам, без всякого, впрочем, энтузиазма, думал о том, что надо бы что-то предпринимать. Глупо было платить деньги, и немалые, за пустующую квартиру. Но дальше этих ленивых мыслей дело не шло. Слишком хлопотным и бесперспективным виделся ему любой путь из сложившейся ситуации.

«Будь, что будет»,— вяло думал он, боясь признаться самому себе, что втайне все же надеется на какие-то положительные перемены. Может, все же он случайно встретит женщину немолодую, пережившую, как и он, горькое разочарование, которая сумеет оценить все его достоинства, скрытые от беспечного, скользящего по поверхности взгляда.

Он не собирался искать, проявлять инициативу, он занимал пассивную и неявную выжидательную позицию.

И вот как-то вечером он помог выйти из троллейбуса женщине с ребенком. Ребенок уснул у нее на руках, ей было жаль будить его, и она беспомощно озиралась по сторонам, словно спрашивая, что же ей делать. Он подхватил ее сумки и спросил, далеко ли ей идти.

— Нет, не очень,— благодарно улыбнулась она.

И он пошел ее провожать. Ему понравилось, как просто, без жеманства приняла она его помощь. Понравились ее опрятность, светлые пушистые волосы, собранные хвостиком на затылке, ее бледное, утомленное лицо, без малейших следов фальшивой косметики, очень милое в своей естественной незащищенности.

Моросил дождь, он держал над ними раскрытый зонт, нес ее вещи и чувствовал в себе какое-то чудное успокоение, будто долго-долго блуждал по дремучему лесу и вдруг, отчаявшись уже, нашел тропинку, которую искал.

Пока дошли до ее дома, он изрядно промок. Она предложила зайти к ним, переждать дождь, и он с готовностью согласился. Он боялся расстаться с ней и утратить то блаженное состояние, которое снизошло на него.

Квартирка была маленькая, однокомнатная, старая и запущенная. Высоко над головой понуро серел, словно тусклое осеннее небо, потолок. Комната была заставлена старой, даже старомодной мебелью. Каждая вещь была здесь сама по себе, общей композиции не существовало. Он сидел в большом неудобном кресле с облупившейся кожаной обивкой и удивлялся, отчего ему, истинному ценителю порядка и согласованности, так покойно и уютно в этом инородном ему хаосе.

Горел боковой свет, приглушенный самодельным матерчатым абажуром. Хозяйка неслышно сновала из кухни в комнату и обратно, накрывая на стол, а вокруг нее веселым хороводом кружились легкие тени. Он добродушно рассматривал немудреную сервировку: две разнокалиберные чашки, большой фарфоровый чайник с отбитой ручкой, два блюдца с угощением — одно с мармеладом, другое — с тонкими ломтиками сыра. И было ему радостно и весело, как никогда. С умилением глядя на белобрысого мальчугана, похрапывающего в своей кроватке, он чувствовал, что улыбается, легко и беспричинно.

Перехватив его взгляд, она сказала:

— Аденоиды замучили. Нос совсем не дышит, насморк круглый год. Слабенький он у меня очень. Зато характер крепкий. Это он, когда спит, на ангелочка похож, а проснется — не узнаете.

Она накрыла выпроставшегося из-под одеяла сына, осторожно поцеловала светлые волосы на макушке, и ему показалось, что лицо ее излучает какое-то особое свечение.

Он стал регулярно бывать у нее, с самого начала стараясь хоть чем-нибудь помочь ей. Она встречала его приветливо и ровно, будто давно привыкла к нему. Ничему не удивлялась и радости особой не выказывала. Приносил ли он картошку из магазина, или раннюю клубнику с рынка, она одинаково просто благодарила его. Если он отказывался взять деньги она не настаивала.

Между ними ничего не было, она называла его на Вы и не проявляла ни малейшего нетерпения и каких бы то ни было признаков кокетства. И его это, по правде сказать, устраивало, он боялся поражения и решил не вмешиваться в естественный ход событий.

Иногда он приходил к ней прямо с работы, а порою и оставался ночевать. «Само собой образуется»,— думал он, засыпая под стрекот ее пишущей машинки на маленькой оттоманке с выпученными пружинами.

Он был почти счастлив тогда. Почти. На пути к счастью была одна, казалось ему, преграда — ее сын. Он хотел, он старался, он все свои силы приложил — и не смог ее преодолеть.

Этот белокурый мальчишка с ангельской внешностью и дьявольскими замашками невзлюбил его с первого взгляда. Не по-детски изощренно и хитроумно плел он свои козни, умело играя на разных струнах беззаветной материнской любви. Он, взрослый человек, оказался совершенно безоружным перед злобным упорством ребенка. И в конце концов не выдержал: люто возненавидел его, как ненавидел бы врага. Все было омерзительно ему в мальчишке: визгливый голос, вечно сопливый нос, вертлявая спина, гаденькая ухмылочка и выражение тайного торжества в глазах.

Прощальный эпизод ему хотелось бы вычеркнуть из памяти. Но он не может забыть, как, проснувшись от боли, он увидел свой прокушенный хищными зубками палец, обмазанный липкой слюной и соплями. Его чуть не стошнило от отвращения. Он долго-долго мыл мылом руки, страдая от непреодолимой брезгливости и бессилия.

Они ждали его в коридоре. Ребенок обнимал колени матери, не давая ей сдвинуться с места, а она обеими руками прижимала к себе его голову. Оба были совершенно спокойны, тем неожиданнее прозвучали ее слова:

— Вам трудно с моим мальчиком, я знаю, но помочь Вам не могу. Он для меня — все. Не обижайтесь на нас и лучше больше не приходите. Спасибо Вам.

Ее интонация, как и всегда, была лишена какой-либо эмоциональной окраски. Быть может, поэтому он не сразу постиг случившееся. Послушно одевшись, он вышел на улицу и лишь тут почувствовал щемящую боль невозвратимой утраты. Боль усиливалась, разрасталась, и ночью у него был первый сердечный приступ.

Лекарства помогли ему, он выздоровел. Осталась лишь печаль и осознание того, что больше ему в жизни ждать нечего. Сил и желания бороться не было, и он смирился. Лишь иногда острым сожалением вспыхивала мысль о том, что он никогда не узнает, как она к нему относилась. Почему-то это представлялось ему самой большой потерей.

С тех пор прошло три ничем не примечательных года, удлинивших, но не украсивших вереницу прожитых им лет. И вчера, в канун своего сорокалетия, сидя один в комнате, он, сам не зная для чего, перебирал пачку дипломов, удостоверений и свидетельств, полученных им в разные годы. Эти бумажки были единственным материальным подтверждением его жизнедеятельности.

«В сорок лет жены нет и не будет...— вертелось в голове.— Успехов нет и не будет... Детей нет и не будет... Надежды нет и не будет».

В комнату заглянула мать и спросила, не позвать ли им на завтра гостей. «Зачем?» — равнодушно пожал он плечами. Мать ничего не ответила и вышла, прикрыв за собой дверь.

«Куда ни кинь — везде пусто,— вернулся он к прерванной мысли. — Пусто-пусто. Как в домино».

Он услышал за спиной смех, возню, звон посуды. Сотрудники готовились к торжественному чаепитию в честь его дня рождения. Он прикрыл ладонями уши, чтоб не слышать их оживленные голоса, особенно неприятные ему сегодня. И вдруг понял, что так тревожило его с утра: он не слышал привычного движения времени. Резко обернувшись, он взглянул в окно и увидел голый циферблат, без стрелок. Время исчезло.

— Часы остановились! — не удержавшись, взволнованно крикнул он.

— Ну и что особенного — ремонтируют,— ответили ему.— Что ты сидишь? Неси свои торты.

И отвернулись, занятые последними приготовлениями к пиршеству. Он нисколько не интересовал их, здесь важен был повод.

«Торты! Я забыл их дома»,— на миг ужаснулся он.

И вдруг ни с того ни с сего испытал злорадство и даже торжество. Будто одержал какую-то маленькую победу.

— Сейчас, сейчас,— сказал он и направился к двери.

Остановившись, он оглянулся, измеряя взглядом расстояние до окна. Маловато для разбега, особенно если учесть его слоновью неуклюжесть. И все же он собрался, напряг мышцы, подпрыгнул и, оттолкнувшись руками от подоконника, перемахнул через него.

Он испытал чувство восторженной радости, из его груди вырвался вопль ликования. Его никогда не знавшее свободного парения сердце готово было разорваться от счастья.

Он успел пожалеть, что никто не видел, как прекрасен был его полет, а лишь окажутся очевидцами весьма неприглядного и отталкивающего зрелища, коим будет результат его падения.

В последний момент ему показалось, что он слышит протяжный стон очнувшихся часов...

Он проснулся, снедаемый тревожным беспокойством. Ему сегодня исполнилось сорок. Событие это, ничтожное в своей малости в масштабах Вселенной, глубоко волновало его. И почему-то появилось ощущение, что день этот сулит ему нечто необычайное, уже когда-то им пережитое. Он только силился, но никак не мог вспомнить, что́ это было. И от этого волнение его возрастало.

Однако ему удалось немного успокоить себя привычной размеренностью утреннего распорядка. И по дороге на работу его тревожило только одно: чтоб не пострадали в переполненном транспорте торты, купленные им по случаю юбилея.

Владимир БУРЛАЧКОВ

УРАГАН

Ураган пронесся за день до моего приезда. Когда я вышел на остановке из автобуса, уже вовсю жарило солнце и было почти безветренно. Поэтому так странно смотрелись поваленные вдоль дороги телеграфные столбы и разбросанные по картофельному полю скрученные, мятые листы железа, ветки и обломки досок. За полем на месте яблоневого сада лежал бурелом. Из сплошного месива непожухлой еще зелени кое-где торчали обезображенные переломами тонкие стволы молодых деревьев. И даже глядя на все это, трудно было представить, какой силы ветер бесновался здесь под вспышки отточенных, как металлические лезвия, упругих молний.

Говорили, что ураган налетел из-за реки и полосой не шире километра проскочил как раз между двух деревень — старой, из деревянных изб и с разрушенной церковью посредине, и новой, из низких, похожих на бараки кирпичных домов. На березовую рощу у берега он навалился всей своей громадой, выкорчевывая когтистыми лапами корневища деревьев, словно хотел зацепиться за них, чтобы умерить свою мощь, но не сумел.

Повсюду на земле остались отметины урагана, и людям досталось их врачевать. Да еще досталось им унимать свою тревогу, страх перед этой неуемной и беспощадной силищей, которая пронеслась, нигде и ни в чем не найдя себе предела.

Километрах в двух от новой деревни ураган разметал построенную у маленькой мелкой речушки летнюю ферму. Ее и послали нас восстанавливать — меня и двух пожилых совхозных рабочих: Ефрема, низкорослого, с темным от загара, худым морщинистым лицом и хриплым голосом, и Петра, тоже маленького и щуплого, но юркого и говорливого.

С утра мы заготавливали в лесу жерди, а после обеда колотили из них загон для скотины. На столбы нам завезли толстые бревна. Мы пилили их пополам. Поэтому получался у нас не загон, а целое заграждение.

С косогора, на котором мы ставили изгородь, далеко за полями виднелся старинный городок: колокольни, коптящие трубы завода и кремль, буро-красной уздой накинутый на крутолобую морду большого холма. По обеим сторонам от кремля в зелени проступали светлые и темно-коричневые крыши домов. Я разглядывал то бурелом у дороги, то кремль вдали и думал, что этот городок был построен здесь, на южных подступах к Москве, много веков назад и, наверное, видывал за свою жизнь и не такие ураганы.

Нагруженную жердями телегу худому мерину приходилось перевозить через ручей, и на его середине он непременно останавливался. Ефрем поднимал вожжи, чуть ли не со всей силы лупил конягу по бокам и орал:

— Ну, чего ты? Ну, давай! Ублюдина хренова!

Потом мы выбирались на сухое, мерин тащил телегу проворнее, и Ефрем печально говорил:

— Да разве ж это лошадь? Раньше-то овсом кормили. Ща-то он налитой должон быть. Ну, пошел!

Мы с Петром подтаскивали жерди к столбам, а Ефрем их прибивал.

— Ну-ка, дай-ка ей тут залысинку, — говорил Петр, прилаживая жердину к столбу.

Ефрем делал на сырой березке затесь, прибивал и говорил:

— А гвоздь-то деловой. Ну-ну, не гнися-ка, зараза такая. Ну-ка, не совхозный, что ли?

Раз в день на нашу ударную стройку непременно добирался на старом грязном газике управляющий отделением совхоза — рослый молодой парень. Вылезал из машины, протягивал нам пачку дешевых сигарет и говорил:

— Ну, чего? Робите? Вы давайте шевелитеся! Какого хрена тут долго возиться!

— Да мы и так вон сколько сегодня, отмахали! — говорил Петр. — Столбы-то здоровенные, а мы их все на горбу таскаем. Вон сколько наставили!

— Во, сколько этих столбов... — хрипел Ефрем.

— А у речки столбы не ставьте, — сказал управляющий. — Там скотина не полезет. Тут вот надо покрепче. Чтоб хоть года два постояла. И нечего долго возиться. До конца месяца закончить надо. А то скотину два раза сейчас доим. Вон куда гонять приходится. А вы тут столько колупаетесь...

Сразу после отъезда управляющего в нашей бригаде начинался затяжной перекур.

— Шустрый какой, — говорил о начальнике Петр. — Быстренько все ему подавай.

— Пошел он... — отзывался Ефрем. — Сам бы столбы потаскал. А то, ё, на машинке руль крутить. Дураков все ищут.

В первый наш рабочий день я спросил у Петра:

— А чего бы эту ферму побыстрее не восстановить?

— Как ее восстановишь-то быстрее? — удивился Петр.

— Ну что, в совхозе народу совсем нет?

— Почему? Как, ё, не быть? Есть.

— А что же тогда?

— Да вот уж так.

И я перестал мучить Петра вопросами. Перестал, потому что понял: ответ он и сам не знает.

— В Москве-то ты где живешь? — спросил Петр. Я объяснил. — Знакомые все места, — сказал он. — Я там восемь лет прожил. В Черкизове.

— Черкизово — это далеко, — сказал я.

— Да какого там... далеко! Сел и за полчаса доехал.

— А почему обратно вернулись? — спросил я. — Жить там негде было?

— Как негде? — сказал Петр. — У меня двухкомнатная в Москве осталась.

— А чего ж тогда?

— Да все тут в одно... И баба та меня допекла. Да и не заработаешь там. Мне по пятому разряду платили. И все, больше ста восьмидесяти не получишь. А тут я поросят сдал и, ё, шестьсот рублей огреб!

Петр рассказывал о своем житье-бытье охотно. Ефрем больше помалкивал, а если и начинал о чем-то говорить, хрипел и материл все и вся на белом свете почем зря. Больше всего его злило начальство и длиннющие очереди в единственном на всю округу винном магазине. Иной раз, когда Ефрем о чем-то задумывался, я незаметно вглядывался в его узкие, темные глаза и все пытался угадать, каким видится ему этот мир, о котором он говорил всегда радраженно и зло.

— А вы в городе не жили? — спросил я Ефрема.

— Тут я все свое время протолкался, в деревне этой.

— Совхоз здесь давно? — спросил я.

— Совхоз-то? Да, ё, да всегда он тут.

— Ну, как это всегда? — не согласился я. — Сразу после коллективизации, наверное, колхоз был.

— Да кто его знает. Это вон бабка моя все помнила. Так уж когда померла! Дед соседский тоже чего-то рассказывал. Так и он давно, ё, схарчился.

В пологой балке сразу за возводимым нами загоном громоздились залежи навоза, сдвинутого сюда бульдозером с площадки перед фермой. И я спросил Петра:

— А почему навоз туда, в балку, сбросили? На поле вывезли бы. Или продали бы. Под Москвой по полсотне за машину частникам продают.

— И тут бы с руками оторвали, — сказал Петр. — Да кто разрешит? Не положено, говорят.

— Насчет навоза — только скажи, — отозвался Ефрем. — Подчистую выгребут. Раньше хоть на поля везли. А теперь все скотные дворы в дерьме.

— А почему на поля не вывозят? — простодушно удивился я.

— Да вот так.

И я не стал больше их расспрашивать, уразумев, что все это не для меня одного велика тайна есть.

— А вам, городским, хорошо, — говорил Петр. — И на работе зарплата полностью, и здесь платят.

— Платят им там и тут, а все равно, на каких посмотришь, ходят по полю, еле ноги волочат, — сказал Ефрем. — Особенно бабы.

— Да вон и наш-то тракторист. — Петр махнул рукой куда-то в сторону. — Ему говорят, дометать стог надо, вон туча заходит. А он говорит: пошли вы все... У меня рабочий день закончился. Во как! Не, раньше такого не было.

— Так уж и не было? — засомневался я.

— Не, раньше какая-то сознательность была, — ответил Петр. Надолго закашлялся, нагнулся и отвел в сторону руку с сигаретой.

— А тракторист ваш сколько получает? — спросил я.

— По триста заколачивает, — сказал Ефрем.

— Платят много. — Петр опять закашлялся. — Мне вот больше и не надо. Что их, ё, в гроб, что ли, с собой положат? У меня и так: телевизор, два костюма, барахла разного...

— Не, все не заработаешь, — сказал Ефрем и обратился к Петру: — А по скольку нам в этом месяце закроют?

— По десятке получится. Вот и посчитай, сколько дней выходили. Заведующий сказал, по столбам будут платить.

— Ну, это мы им насчитаем! — обрадовался Ефрем. — Хрена учетчик сюда покондехает грязь месить, проверять.

Изгородь, которую мы ставили, поднималась от реки на косогор, опоясывала его и спускалась обратно к реке. И косогор, и поляна у берега были вытоптаны, вернее, давно превратились во взбитое коровьими копытами месиво. После дождя пройти там было невозможно. Петр мерил пролеты между столбами на глазок, и изгородь шагала по косогору не слишком ровно, залезая то вправо, то влево. Поглядывая на наше творение со стороны, Петр качал головой и говорил, что работа вида не имеет, а Ефрем зло ругался и цедил сквозь зубы, что и так сойдет.

На косогоре ямы под столбы просверлил нам трактор. На крутом склоне у берега рыть пришлось вручную. Петр и Ефрем это дело не любили, а я копал даже с удовольствием. Кромсал лопатой неровный квадрат дерна, поддевал, отбрасывал в сторону вместе со всеми его жучками и улитками и вглядывался в светлую глину, как будто надеялся найти там свидетельства иных, канувших времен. Но если там что-то и было, то лишь давно превратившийся в землю пепел. И от тех давнишних времен, когда много пожаров металось по земле; и от тех не слишком давних, когда самые расхожие метафоры были связаны с огнями, кострами и пожарами.

После работы мы шли полевой дорогой до шоссе и там расходились в разные стороны. Петр и Ефрем шагали в новую деревню, а я поворачивал к старой. Ураган задел и перекорежил длинный зеленый барак для приезжающих на сельхозработы, и меня поселили в давно пустующей школе из красного кирпича и с причудливой кладкой над окнами.

Церковь посреди деревни тоже была краснокирпичной. Мне пришлось пробираться к ней сквозь высоченные заросли малины и крапивы. Я поднялся по разрушенным ступеням и вошел внутрь, ступая по осыпавшейся штукатурке. Росписи на стенах не было. Кое-где она оказалась закрашенной, кое-где давно осыпалась. За всех певчих распевал в пустом окне поздний июньский соловей. И я подумал: о спасении от каких только ураганов ни молили здесь своего всевышнего несколько поколений деревенских баб. И если бы вправду существовали какие-то биотоки и биополя, эти стены, наслушавшиеся на своем веку столько молитв и повидавшие столько человеческого горя, должны были бы светиться.

Потом я спросил о церкви у Ефрема и Петра. Но они почти ничего о ней не знали. Вспомнили только, что в церкви когда-то размещались кузница и склад.

Ближе к обеду к нам приходил покурить и поболтать Колька — пастух совхозного стада. Усаживался на бревно, доставал сигареты и говорил:

— Ну, до сих пор все тут колупаетесь. Вон уже где должны быть... Со столбами все, растаскать не можете.

— Да взял бы и сам попробовал, — отвечал Петр.

— Ему-то что, ходит там руки в боки, — хрипел Ефрем.

Пока Колька сидел на бревне, коровы подходили к своему бывшему загону и старались почесать бока о столбы. Колька кричал, не вставая с места:

— Куда прешь, паскуда? Ща я тебя по боку, ё...

Иной раз я начинал подсчитывать, сколько матерных слов приходилось в разговоре моих собеседников на слова обыкновенные. Я незаметно загибал пальцы на обеих руках, и у меня получалось, что если кто-то из мужиков просто о чем-то рассказывал, из каждых десяти слов оказывалось матерных три, а если говорил о себе — мата было чуть ли не в два раза гуще.

— Вот тут еле чешетесь с загоном, — сказал Колька, — а в газете написано было — бабка мне вечером прочитала, — что, мол, все силы на ликвидацию последствий урагана брошены.

— А что, ё, мы не «все силы»? — весело выкрикнул Петр и расправил худые, узкие плечи. — Мы — во! Только нам материалы подвози!

— Привозят-то всего до фига, — сказал Колька. — Черт-те сколько под это дело всего выбили. Весь клуб толью завалили. Некуда им убрать было...

— И колбасой второй день в магазине торгуют, — сказал Петр. — Тоже под ураган подкинули. Сразу двух сортов.

— Чего другого бы завезли, — зло прохрипел Ефрем.

— Это уж вон, в город. Политуры взять. — Колька показал рукой в сторону.

— Да черта ты теперь ее где возьмешь! — сказал Ефрем. — Если только пойти к продавщице одеколону поклянчить. Есть у нее.

— У одних тут можно и не только одеколону, — сказал Колька.

— Да знаю я у кого, — отозвался Ефрем. — Весной комбикорм на ферму возили, я к ним подъехал вечерком, спросил: будете брать? Ну, кто откажется. Раз им пару мешков сбросил. А потом захожу, ну, и вынес мне сам две бутылки. Ух, и крепкая же у них!

— У! Такая, что с двух стаканов валит. — сказал Колька. — Мы тут на рыбалку в воскресенье поехали и взяли у них пяток штук.

— А поймали чего? — спросил Петр.

— Да так, по мелочи, — ответил Колька. — А одну рыбину я поймал, смотрели, смотрели, так и не поняли, что за зверь такая. Чешуя — как у плотвы, а морда — как у пескаря. И, кого ни спрошу, никто не знает.

— Черт ее разберет, что за каракатица такая, — отозвался Петр. — Взялась, значит, откуда-то.

— Да это падуст, наверное, — сказал Ефрем. — А я-то думал, что они давно передохли. Мы их ловили раньше-то.

Солнце припекало. Колька скинул резиновые сапоги, разложил на траве портянки и сказал:

— Загон вы покрепче делайте. А то опять разломают они его. — Он кивнул на коров. — Если они его повалят, я за вами в деревню ночью прибегу и кнутом сюда погоню.

— Не сломают, — откашлявшись, сказал Петр. — Мы вон какие жерди бьем.

— Да они и такие ломают, — сказал Колька.

— Ну, такие не сломают, — не поверил я. — Жерди чуть не в две руки толщиной.

— Ох ты! Да они не такие корежат, — закричал Колька. — Как завоют осенью с голодухи, переломают — и на поле. А там и так все выдрано, травинки не осталось.

— Они так ломают, что трещит все,— захрипел Ефрем.— Как чичер даст, вот и понесутся.

— А чичер — это что такое?— не понял я.

— Да, ё, дождь со снегом,— по-нашему.

— А почему же коров досыта не накормить? — удивился я.

— Так, ё, сена не насушат, а силос вон в этом году в трех ямах сгнил,— сказал Колька.— К весне завозили откуда-то — тоже весь гнилой. Кто-то себе не захотел, так нашим дуракам продали.

— Неужели такая проблема — сена накосить? — удивился я. — Земли-то вон сколько!

— Да вот так все...— отмахнулся Колька.

И я не стал его больше расспрашивать, потому что, наверное, и для него ответы на эти вопросы велика тайна есть.

Обед во все дни недели привозили нам на машине. Маленькая пожилая женщина проворно подавала из открытого кузова металлические миски с едой и приговаривала:

— Нате-ка, нате побыстрее.

— Ну, чего, Варя-Варвара? — всякий раз кричал ей Петр. — Водой нам щи на... разбавляешь?

— Чего-то глупости городить? — обиженно говорила Варвара. — Щи у нас всегда мясные и вкусные.

Один из дней был дождливым. Глинистая дорога быстро размякла, и машина с обедом проехать не смогла. Варвара прибежала за нами под дождем, промокла и перепачкалась в грязи. И несколько раз повторяла: «А я-то думаю, вы здесь мокрые и без еды еще. Ну, решилась за вами идти».

— А чего? Варвара у нас и на героические поступки способна,— говорил после этого случая Петр. — Может, она нам щи и не разбавляет.

— Щей много. Добавки даже буду давать.— Варвара что-то двигала в кузове.

— Добавки — это ты давай,— оживился Петр.— А то вот знаешь...— Протянул Варваре пустую миску и что-то негромко сказал.

По лицу Варвары я понял, что сказал он обидное. Она отвернулась, гремела пустыми мисками и говорила:

— Что я тебе, дешевка, что ли, какая, так обо мне... Да ты-то такой и не нужон никому.

— Ха, да я, знаешь, ё, каких красавиц видывал, когда в армии в столовой служил.

— И не стыдно за едой ругаться? — сказала Варвара.— Ешь ведь.

— У, такие у нас в летном полку официантки красавицы были,— говорил Петр.

— При свиньях ты, небось, в столовой служил,— откликнулась Варвара.

— Тебе все, ё, болтать. Понимала бы чего...

— Восхваляешься тут, восхваляешься,— все так же обиженно говорила Варвара,— а у самого, небось, и посикать не из чего.

— Да ты тут, ё, — забубнил Петр.

— Ешь и опять ругаешься,— сказала Варвара. — Когда приезжих кормишь, от них только спасибо слышишь. А наши — такие гадюшные мужики.— И добавила вроде бы для себя самой: — Сегодня заведующему пожалуюсь.

В конце дня к нам опять пришел Колька. Не стал садиться на бревнышко, а закурил стоя, придерживая рукой на плече кнутовище.

— Корова вон в кустах у речки отелилась.

— И чего ты его? Связал? — спросил Петр.

— Ну а как же! Веревкой его по ногам, а корову вон отогнал. Вы в деревню пораньше попадете, скажите Галине, чтобы машину брала, за ним ехала.

— А что ж, теленок так и будет в кустах связанным лежать? — спросил я.

— На себе же я его не попру,— ответил Колька.— Чего с ним будет?.. Полежит.

— Связал его, чтобы не сбег, и пусть себе дожидается,— сказал Ефрем.

Колька докурил, заправил рубашку в штаны и ушел. Спустился к реке, где лежало стадо, криками и сухими выстрелами кнута погнал коров на косогор.

Черная, с белыми пятнами на боках корова остановилась под старыми ветлами. Покрутила головой, как будто не могла понять, что происходит вокруг, и застыла на месте. Стояла и смотрела перед собой, что-то припоминая, а потом начала не спеша спускаться в балку.

В болоте на дне балки корова завязла. Тяжело вытаскивала копыта из жидкой грязи, шарахалась из стороны в сторону и все же шла к реке. У берега она опять ненадолго остановилась, повернула голову, словно прислушивалась, и пошла дальше — искать, где валяется на земле связанный людьми ее детеныш.

— Кольке бы надо сказать.— Петр показал рукой на корову у берега.

— Слепой он, что ли?.. Не знает, куда она попрется? — отозвался Ефрем.

Когда мы дошли до шоссе, я спросил:

— Ну, а приедут с фермы за теленком?

— Так ведь должны приехать,— сказал Петр.— Наше дело загон городить. А тут они сами будут разбираться.

На следующий день с утра лил дождь. Мы прятались от него под ветлами на косогоре. Поначалу их листва выручала, но потом она промокла, и на нас лило немилосердно. Ефрем был хмур, не переставая, курил и зло матерился. А Петр говорил, что, как только дождик прекратится, разожжем костер из остатков старой изгороди и будем сушиться.

— Ну а что с теленком? — спросил я.

— Да уж, наверное, отвезли,— сказал Петр.

— Во, ё, «отвезли-отвезли»! — передразнил его Ефрем. — А ты про него на ферме сказал? Колька ведь тебе говорил.

— А что они, без меня, что ли, не разобрались? — ответил Петр.

— Ну, во, говори тебе... А я домой пришел, сел есть, и как в голову ударило: во, ё, а теленок-то! Ну, пошел к Галине, сказал. Она мне: «Где же я машину-то найду?» А вернулся к себе, из окошка смотрю, пошла куда-то.

Потом я думал: и что заставило Ефрема пойти и сказать о теленке? И как случилось, что вспомнил о нем именно он? Обо всем этом я спрашивал себя много раз, но ответа не нашел. И решил, что сия тайна велика есть.

Уезжал я в воскресенье. Добрался на попутке до окраины городка и пошел к автобусной станции мимо кремля. Прямо у его стен на широкой, кое-где плешивой, кое-где поросшей муравой луговине устроена была ярмарка. Разливали в бумажные стаканчики чай из большого самовара; продавали платки и платья, булки и пироги. На свежеструганые доски прилавков разложила свой нехитрый товар моя небогатая, Богом не избранная страна.

Небо было низким и хмурым, цвета старого, тусклого серебра. Я шел вдоль щербатой, с осыпавшимися кирпичами высокой стены кремля и думал: кто знает, кто знает, может, и не обойдется здесь без новых ураганов? Но жить, не веруя, что самые страшные из них позади, все же нельзя.

●

Александр ТКАЧЕНКО

Римские слайды

* * *

Мне снится форума печаль,
его саморазрушенные храмы,
эпохе цезарей не надо отвечать
за эти необугленные раны.
Я поднимаюсь в небо безувечное,
в царапинах лишь самолетных криков,
соль мрамора на пятках, даль аптечная
вблизи врачует еще больше...
И под сосной смола и канифоль под скрипкой,
ждет терпких пальцев и смычка, ну как обычно.
И это я. Мне снится сон во сне, наряд в наряде,
что это — Рим, что он всего лишь вечная привычка
быть Римом...
Не разрушаясь в мимолетном взгляде.

* * *

Какое счастье с римлянами пить
их красное и белое вино,
их красное и белое любить
над Тибром отрешенное окно!
И я искал прохода в лабиринтах,
свет площадей мне веки поднимал.
И красное и белое... И смеси Рима
я на ресницы острые поймал.
В развалинах моих искрился мрамор,
и криво мысль скользила по сосне,
я принял веру каждого разрушенного храма.
Что дал я Риму? И что дал он мне?
А римляне, густые горожане,
меня за схожесть скул и лобных дуг
ни взглядом, ни плевком не провожали,
и обломилось счастье вздрогнуть вдруг
всем телом прошлого и памятью морей,
где красное и белое мешалось —
в гудящих чашах безымянных площадей,
когда история творилась,
не как предначертанье,
а как шалость...

* * *

Я один из всевышнего кроя
ухожу из-под лезвий в слезах,
каждый день погребается Троя —
пепел птицы стоит в небесах!

Удаляется след, и за точкой
на металле скрежещет песок,
то пустыня, то путь, что короче
всех наставленных мнений в висок.

Меж субъектом и следом — лишь звук
тихий, пепельный иль колокольный,
все, что выпадет в небо из рук, —
мне теперь не смешно и не больно.

Всей спиной, всем скелетом отпряну
я от стен, задавивших меня и других,
и уйду, забывая, что прямо —
снова стены в сознаньях благих.

А. И. ДЕНИКИН

Очерки русской смуты

Глава XXXIII. СОВЕЩАНИЕ В СТАВКЕ 16 ИЮЛЯ МИНИСТРОВ И ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИХ

После возвращения моего с фронта в Минск, я получил приказание прибыть в Ставку, в Могилев, на совещание к 16 июля. Керенский предложил Брусилову пригласить по его усмотрению авторитетных военачальников для того, чтобы выяснить действительное состояние фронта, последствия июльского разгрома и направление военной политики будущего. Как оказалось, прибывший по приглашению Брусилова генерал Гурко не был допущен на совещание Керенским; генералу Корнилову послана была Ставкой телеграмма, что в виду тяжелого положения Юго-западного фронта приезд его не признается возможным и что ему предлагается представить письменные соображения по возбуждаемым на совещании вопросам. Вспомним, что в эти дни, между 14-м и 15-м июля, шло полное отступление 11-й армии от Серета к Збручу и всех волновал вопрос, успеет ли 7-я армия перейти нижний Серет, а 8-я — меридиан Залещиков, чтобы выйти из-под удара резавших им пути германских армий.

Положение страны и армии было настолько катастрофическим, что я решил, не считаясь ни с какими условностями подчиненного положения, развернуть на совещании истинную картину состояния армии во всей ее неприглядной наготе.

Явился к Верховному Главнокомандующему. Брусилов удивил меня:

— Антон Иванович, я сознал ясно, что дальше идти некуда. Надо поставить вопрос ребром. Все эти комиссары, комитеты и демократизации губят армию и Россию. Я решил категорически **потребовать от них** прекращения дезорганизации армии. Надеюсь, вы меня поддержите?

Я ответил, что это вполне совпадает с моими намерениями и что я приехал именно с целью поставить вопрос о дальнейшей судьбе армии самым решительным образом. Должен сознаться, что этот шаг Брусилова примирил меня с ним, и поэтому я исключил мысленно из своей будущей речи все то горькое, что накопилось исподволь против верховного командования.

Ждали мы сбора совещания долго, часа полтора. Потом выяснилось, что произошел маленький инцидент. Министра-председателя не встретили на вокзале ни генерал Брусилов, ни его начальник штаба Лукомский, задержанные срочными оперативными распоряжениями. Керенский долго ждал и нервничал. Наконец послал своего адъютанта к генералу Брусилову с резким приказанием немедленно прибыть с докладом. Инцидент прошел малозамеченным, но те, кто был близок к политической арене, знают, что на ней играют только люди — со всеми их слабостями и что нередко игра продолжается и за кулисами.

В совещании приняли участие и присутствовали: министр-председатель Керенский, министр иностранных дел Терещенко, Верховный Главнокомандующий — генерал Брусилов и его начальник штаба генерал Лукомский, генералы Алексеев и Рузский, главнокомандующий Северным фронтом генерал Клембовский, Западным — я, с начальником штаба генералом Марковым, адмирал Мак-

Продолжение. Начало см. «Октябрь» №№ 10, 11 с. г.

симов, генералы Величко, Романовский, комиссар Юго-западного фронта Савинков и два-три молодых человека из свиты г. Керенского.

Генерал Брусилов обратился к присутствующим с краткою речью, которая поразила меня своими слишком общими и неопределенными формами. В сущности, он не сказал ничего. Я рассчитывал, что свое обещание Брусилов исполнит в конце, сделав сводку и заключение. Как оказалось впоследствии, я ошибся — генерал Брусилов более не высказывался. Затем слово было предоставлено мне. Я начал свою речь.

«С глубоким волнением и в сознании огромной нравственной ответственности я приступаю к своему докладу; и прошу меня извинить: я говорил прямо и открыто при самодержавии царском, таким же будет мое слово теперь — при самодержавии революционном.

Вступив в командование фронтом, я застал войска его совершенно развалившимися. Это обстоятельство казалось странным тем более, что ни в донесениях, поступавших в Ставку, ни при приеме мною должности, положение не рисовалось в таком безотрадном виде. Дело объясняется просто: пока корпуса имели пассивные задачи, они не проявляли особенно крупных эксцессов. Но когда пришла пора исполнить свой долг, когда был дан приказ о занятии исходного положения для наступления, тогда заговорил шкурный инстинкт, и картина развала раскрылась.

До десяти дивизий не становились в исходное положение. Потребовалась огромная работа начальников всех степеней, просьбы, уговоры, убеждения... Для того, чтобы принять какие-либо решительные меры, нужно было во что бы то ни стало хоть уменьшить число бунтующих войск. Так прошел почти месяц. Часть дивизий, правда, исполнила боевой приказ. Особенно сильно разложился 2-й Кавказский корпус и 169-я пех. дивизия. Многие части потеряли не только нравственно, но и физически человеческий облик. Я никогда не забуду часа, проведенного в 703-м Сурамском полку. В полках по 8—10 самогонных спиртных заводов; пьянство, картеж, буйство, грабежи, иногда убийства...

Я решился на крайнюю меру: увести в тыл 2-й Кавказский корпус (без 51-й пех. дивизии) и его и 169-ю пех. дивизию расформировать, лишившись, таким образом, в самом начале операции без единого выстрела около 30 тысяч штыков...

На корпусный участок кавказцев были двинуты 28-я и 29-я пех. дивизии, считавшиеся лучшими на всем фронте... И что же: 29-я дивизия, сделав большой переход к исходному пункту, на другой день почти вся (два с половиной полка) ушла обратно; 28-я дивизия развернула на позиции один полк, да и тот вынес безапелляционное постановление — «не наступать».

Все, что было возможно в отношении нравственного воздействия, было сделано.

Приезжал и Верховный Главнокомандующий; и после своих бесед с комитетами и выборными 2-х корпусов вынес впечатление, что «солдаты хороши, а начальники испугались и растерялись»... Это неправда. Начальники в невероятно тяжелой обстановке сделали все, что могли. Но г. Верховный Главнокомандующий не знает, что митинг 1-го Сибирского корпуса, где его речь принималась наиболее восторженно, после его отъезда продолжался... Выступали новые ораторы, призывавшие не слушать «старого буржуя» (я извиняюсь, но это правда... Реплика Брусилова — «Пожалуйста»...) и осыпавшие его площадной бранью. Их призывы также встречались громом аплодисментов.

Военного министра, объезжавшего части и вдохновленным словом подымавшего их на подвиг, восторженно приветствовали в 28-й дивизии. А по возвращении в поезд его встретила депутация одного из полков, заявившая, что этот и другой полк через полчаса после отъезда министра вынесли постановление — «не наступать».

Особенно трогательна была картина в 29-й дивизии, вызвавшая энтузиазм,— вручение коленопреклоненному командиру Потийского пех. полка красно-

го знамени. Устами трех ораторов и страстными криками потийцы клялись «умереть за Родину»... Этот полк в первый же день наступления, не дойдя до наших окопов, в полном составе позорно повернул назад и ушел за 10 верст от поля боя...

В числе факторов, которые должны были морально поднять войска, но фактически послужили к их вящему разложению, были комиссары и комитеты.

Быть может, среди комиссаров и есть черные лебеди, которые, не вмешиваясь не в свое дело, приносят известную пользу. Но самый институт, внося двоевластие, трения, непрошеное и преступное вмешательство, не может не разлагать армии.

Я вынужден дать характеристику комиссаров Западного фронта. Один, быть может, хороший и честный человек — я этого не знаю,— но утопист, совершенно не знающий не только военной жизни, но и жизни вообще. О своей власти необычайно высокого мнения. Требуя от начальника штаба исполнения приказания, заявляет, что он имеет право сместить войскового начальника, до командующего армией включительно... Объясняя войскам существо своей власти, определяет ее так: «Как всякому военному министру подчинены все фронты, так я являюсь военным министром для Западного фронта»...

Другой — с таким же знанием военной жизни — социал-демократ, стоящий на грани меньшевизма и большевизма. Это известный докладчик военной секции Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, который развал, внесенный в армию декларацией, счел недостаточным и требовал дальнейшей «демократизации»: отвода и аттестации начальников, отмены второй половины § 14-го, предоставлявшей право применить оружие против трусов и негодяев, требовал свободы слова не только «во внеслужебное время», но и на службе.

Третий — не русский, по-видимому, с презрением относящийся к русскому солдату, подходил к полку обыкновенно с таким градом отборных ругательств, к каким никогда не прибегали начальники при царском режиме. И странно: сознательные и свободные революционные воины принимают это обращение, как должное; слушают и исполняют. Комиссар этот, по заявлению начальников, приносит несомненную пользу.

Другое разрушающее начало — комитеты. Я не отрицаю прекрасной работы многих комитетов, всеми силами исполняющих свой долг. В особенности отдельных членов их, которые принесли несомненную пользу, даже геройской смертью своей запечатлели свое служение Родине. Но я утверждаю, что принесенная ими польза ни в малейшей степени не окупит того огромного вреда, который внесло в управление армией многовластие, многоголовие, столкновения, вмешательства и дискредитирование власти. Я мог бы привести сотни постановлений, вносящих дезорганизацию, дискредитирующих власть. Ограничусь лишь более выпуклыми и характерными.

Совершенно определенно и открыто идет захват власти.

Орган фронтового комитета в статье председателя требует представления комитетам правительственной власти.

Армейский комитет 3-й армии в постановлении, поддержанном, к моему удивлению, командующим армией, просит «снабдить армейские комитеты полномочиями военного министра и Центрального комитета солдатских и рабочих депутатов, дающими право действовать от имени Комитета»...

При обсуждении знаменитой «декларации» по поводу § 14 мнения во фронтовом комитете разделились. Часть отвергла вторую половину его вовсе, другая требовала добавления: «членам фронтового комитета предоставляется при тех же обстоятельствах право применять все меры до применения вооруженной силы включительно против тех же лиц и даже самих начальников». Вот куда идет дело!..

В докладе секции Всероссийского съезда читаем требования, чтобы органам солдатских самоуправлений предоставлено было право отвода, аттестации начальников, право участия в управлении армией.

И не думайте, что это только теория. Нет. Комитеты захватывают в свои руки все вопросы — боевые, бытовые, административные. И это наряду с полной анархией во внутренней жизни и службе частей, вызванной сплошным неповиновением.

Нравственная подготовка наступления шла своим чередом.

Фронтовой комитет 8 июня вынес постановление — «не наступать»; 18 июня перекрасился и высказался за наступление. Комитет 2-й армии 1 июня решил не наступать, 20 июня отменил свое решение. Минский Совет рабочих и солдатских депутатов 123 голосами против 79-ти не разрешал наступать. Все комитеты 169-й пехотной дивизии постановили выразить недоверие Временному правительству и считать наступление «изменой революции» и т. д.

Поход против власти выразился целым рядом смещений старших начальников, в чем в большинстве случаев приняли участие комитеты. Перед самым началом операции должны были уйти командир корпуса, начальник штаба и начальник дивизии важнейшего ударного участка. Подобной участи подверглись в общем 60 начальников, от командира корпуса до командира полка...

Учесть все то зло, которое внесено было комитетами, трудно. В них нет своей твердой дисциплины. Вынесенное отрадное постановление большинством голосов — этого мало. Проводят его в жизнь отдельные члены комитета. И большевики, прикрываясь положением члена комитета, не раз безвозбранно сеяли смуту и бунт.

В результате — многоголовие и многовластие; вместо укрепления власти — подрыв ее. И боевой начальник, опекаемый, контролируемый, возводимый, свергаемый и дискредитируемый со всех сторон должен был властно и мужественно вести в бой войска...

Такая нравственная подготовка предшествовала операции. Развертывание не закончено. Но обстановка на Юго-западном фронте требовала немедленной помощи. С моего фронта враг увел туда уже 3—4 дивизии. Я решил атаковать с теми войсками, которые остались, по виду хотя бы, верными долгу.

В течение трех дней наша артиллерия разгромила вражеские окопы, произвела в них невероятные разрушения, нанесла немцам тяжелые потери и расчистила путь своей пехоте. Почти вся первая полоса была прорвана, наши цепи побывали на вражеских батареях. Прорыв обещал разрастись в большую, так долго жданную победу...

Но... обращаюсь к выдержкам из описания боя.

«Части 28-й пех. дивизии подошли для занятия исходного положения лишь за 4 часа до атаки, причем из 109-го полка дошло лишь две с половиной роты с 4-мя пулеметами и 30 офицерами; 110-й полк дошел в половинном составе; два батальона 111-го полка, занявших щели, отказались от наступления; в 112-м полку солдаты целыми десятками уходили в тыл. Части 28-й дивизии были встречены сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем и залегли у своей проволоки, будучи не в силах продвинуться вперед; только некоторым частям штурмовиков и охотников Волжского полка со взводом офицеров удалось захватить первую линию, но вследствие сильного огня им удержаться не удалось, и к середине дня части 28-й дивизии вернулись в исходное положение, понеся значительные потери, особенно в офицерском составе. На участке 51-й дивизии атака началась в 7 часов 5 минут. 202-й Горийский и 204-й Ардагано-Михайловский полки, а также две роты сухумцев, штурмовая рота сухумцев и штурмовая рота Потийского полка быстрым натиском прорвались через две линии окопов, перекололи штыками их защитников и в 7 часов 30 мин. стали штурмовать 3-ю линию. Прорыв был настолько стремителен и неожидан, что противник не успел открыть своевременно заградительного огня. Следовавший за передовыми полками 201-й Потийский полк, подойдя к первой линии наших окопов, отказался идти дальше и, таким образом, прорвавшиеся части не могли быть своевременно поддержаны. Двигавшиеся вслед за потийцами части 134-й дивизии, вследствие скопления в окопах потийцев, а также вследствие сильного артиллерийского огня противника, задачи своей не выпол-

нили и частью рассыпались, частью залегли в наших щелях. Не видя поддержки сзади и с флангов, горийцы и ардаганцы пришли в смущение, и некоторые роты, потерявшие убитыми офицеров, начали медленно отходить, а за ними все остальные, однако без особого давления со стороны немцев, которые только при отходе наших частей открыли по ним сильный артиллерийский и пулеметный огонь... Части 29-й дивизии не успели своевременно занять исходное положение, так как солдаты, вследствие изменившегося настроения, шли неохотно вперед. За четверть часа до назначенного начала атаки правофланговый 114-й полк отказался наступать: пришлось двинуть на его место Эриванский полк из корпусного резерва. По невыясненным еще причинам 116-й и 113-й полки также своевременно не двинулись...

После неудачи утечка солдат стала все возрастать и к наступлению темноты достигла огромных размеров. Солдаты, усталые, изнервничавшиеся, не привыкшие к боям и грохоту орудий после стольких месяцев затишья, бездеятельности, братания и митингов, толпами покидали окопы, бросая пулеметы, оружие и уходили в тыл...

Трусость и недисциплинированность некоторых частей дошли до того, что начальствующие лица вынуждены были просить нашу артиллерию не стрелять, так как стрельба своих орудий вызывала панику среди солдат...»[52].

Вот другое описание командира корпуса, принявшего его накануне операции и поэтому совершенно объективного в оценке подготовки ее.

...«Все для успешного выполнения наступления было налицо: обстоятельно разработанный план; могущественная, хорошо работавшая артиллерия; благоприятная погода, не позволявшая немцам использовать свое превосходство в авиационных средствах; перевес наш в силах, своевременно поданные резервы, обилие огнестрельных припасов, скажу еще — удачно выбранный участок для наступления, позволявший укрыто и близко от окопов расположить большое количество артиллерии, имевший, благодаря сильно волнистому его характеру, много скрытых подступов к фронту, незначительное расстояние между нашей линией и линией противника и, наконец, отсутствие естественных препятствий между линиями, которые требовали бы их форсирования под огнем противника. Кроме того, обработка солдат комитетами, начальством и военным министром Керенским, которая в конечном итоге сдвинула на самый трудный первый шаг.

Успех, крупный успех был достигнут, да еще со сравнительно незначительными потерями с нашей стороны. Прорваны и заняты три линии укреплений; впереди оставались лишь отдельные оборонительные узлы, и бой мог скоро принять полевой характер; подавлена неприятельская артиллерия, взято в плен свыше 1.400 германцев и захвачено много пулеметов и всякой добычи. Кроме того, врагу нанесены крупные потери убитыми и раненными от артиллерийского огня, и можно с уверенностью сказать, что стоявшие против корпуса части временно выведены были из строя...

Всего на фронте корпуса редким огнем стреляло 3—4 неприятельские батареи и изредка 3—4 пулемета. Ружейные выстрелы были одиночные»...

Но пришла ночь...

«Тотчас стали поступать ко мне тревожные заявления начальников боевых участков о массовом, толпами и целыми ротами, самовольном уходе солдат с неатакованной первой линии. Некоторые из них доносили, что в полках боевая линия занята лишь командиром полка со своим штабом и несколькими солдатами»...

Операция была окончательно и безнадежно сорвана.

«...Пережив таким образом в один и тот же день и радость победы, достигнутой при условиях неблагоприятного боевого настроения солдат, и весь ужас добровольного лишения себя солдатской массой плодов этой победы, нужной Родине как вода и воздух, я понял, что мы, начальники, бессильны изменить стихийную психологию солдатской массы, и горько, и долго рыдал»...[53]

[52] Выдержки из описания боя штабом 20-го корпуса.

Эта бесславная операция тем не менее повлекла серьезные потери, которые теперь, когда каждый день возвращаются толпы беглецов, установить трудно. Через головные эвакуационные пункты прошло до 20 тысяч раненых. Я пока воздержусь от заключения по этому поводу, но процентное отношение рода ранения показательно: 10% тяжело раненных, 30% в пальцы и кисть руки, 40% прочих легко раненных, с которых повязок на пунктах не снимали (вероятно, много симулянтов) и 20% контуженных и больных.

Так кончилась операция.

Никогда еще мне не приходилось драться при таком перевесе в числе штыков и материальных средств. Никогда еще обстановка не сулила таких блестящих перспектив. На 19-ти верстном фронте у меня было 184 батальона против 29 вражеских; 900 орудий против 300 немецких; 138 моих батальонов введены были в бой против перволинейных 17 немецких.

И все пошло прахом.

Из ряда донесений начальников можно заключить, что настроение войск, непосредственно после операции, такое же неопределенное, как было.

Третьего дня — я собрал командующих армиями и задал им вопрос: «Могут ли их армии противостоять серьезному (с подвозом резервов) наступлению немцев?»

Получил ответ: «Нет».

— Могут ли армии выдержать организованное наступление немцев теми силами, которые перед нами в данное время?

Два командующих армиями ответили неопределенно, условно. Командующий 10-й армией — положительно.

Общий голос: «У нас нет пехоты»...

Я скажу более:

У нас нет армии. И необходимо немедленно, во что бы то ни стало создать ее.

Новые законы правительства, выводящие армию на надлежащий путь, еще не проникли в толщу ее и трудно сказать поэтому, какое они произвели впечатление. Ясно, однако, что одни репрессии не в силах вывести армию из того тупика, в который она попала.

Когда повторяют на каждом шагу, что причиной развала армии послужили большевики, я протестую. Это не верно. Армию развалили другие, а большевики — лишь поганые черви, которые завелись в гнойниках армейского организма.

Развалило армию военное законодательство последних 4-х месяцев. Развалили лица, по обидной иронии судьбы, быть может, честные и идейные, но совершенно не понимающие жизни, быта армии, не знающие исторических законов ее существования.

Вначале это делалось под гнетом Совета солдатских и рабочих депутатов — учреждения в первой стадии своего существования явно анархического. Потом обратилось в роковую ошибочную систему.

Вскоре после своего нового назначения военный министр сказал мне:

— Революционизирование страны и армии окончено. Теперь должна идти лишь созидательная работа...

Я позволил себе доложить:

— Окончено, но несколько поздно...

Генерал Брусилов прервал меня:

— Будьте добры, Антон Иванович, сократить ваш доклад, иначе слишком затянется совещание.

Я понял, что дело не в пространности доклада, а в его рискованной сущности, и ответил:

— Я считаю, что поднятый вопрос — колоссальной важности. Поэтому

[53] Выдержки из описания боя 1-го Сибирского корпуса.

прошу дать мне возможность высказаться полностью, иначе я буду вынужден прекратить вовсе доклад.

Наступившее молчание я счел за разрешение и продолжал:

— Объявлена декларация прав военнослужащих.

Все до одного военные начальники заявили, что в ней — гибель армии. Бывший Верховный Главнокомандующий генерал Алексеев телеграфировал, что декларация — «последний гвоздь, вбиваемый в гроб, уготованный для русской армии»... Бывший главнокомандующий Юго-западным фронтом генерал Брусилов здесь, в Могилеве, в совете главнокомандующих заявил, что еще можно спасти армию и даже двинуть ее в наступление, но лишь при условии — не издавать декларации.

Но нас никто не слушал.

Параграфом 3-м разрешено свободно и открыто высказывать политические, религиозные, социальные и прочие взгляды. Хлынула в армию политика.

Солдаты расформировываемой 2-й Кавказской грен. дивизии искренно недоумевали: «За что? Разрешили говорить где хочешь и что хочешь, а теперь разгоняют»... Не думайте, что такое распространительное толкование «свобод» присуще лишь темной массе. Когда 169-я пех. дивизия нравственно развалилась, а все комитеты ее в крайне резкой форме выразили недоверие Временному правительству и категорический отказ наступать, я приказал расформировать ее. Но встретил неожиданное осложнение: комиссары нашли, что юридически здесь нет состава преступления, что на словах и на бумаге — все можно. Нужно, чтобы было налицо фактическое неисполнение боевого приказа...

Параграфом 6-м установлено, чтобы все без исключения печатные произведения доходили до адресата... Хлынула в армию волна разбойничьей (большевистской) и пораженческой литературы. Чем стала питаться наша армия, и, по-видимому, за счет казенной субсидии и народных денег, это видно из отчета «Московского военного бюро», которое одно снабдило фронт литературой в таких размерах:

С 24 марта по 1 мая выброшено 7972 экз. «Правды», 2000 экз. «Солдатской Правды», 30 375 экз. «Социал-демократа» и т. д.

С первого мая по 11 июня: 61 525 экз. «Солдатской Правды», 32 711 экз. «Социал-демократа», 6999 экз. «Правды» и т. д.

Того же направления литература была выброшена в деревню «через солдат» [54].

Параграфом 14-м установлено, что никого из военнослужащих нельзя наказывать без суда. Конечно, эта «свобода» коснулась лишь солдат, так как офицеров продолжали жестоко карать высшей мерой — и з г н а н и е м.

Что же вышло?

Главное военно-судное управление, не уведомив даже Ставку, ввиду предстоящей демократизации судов, предложило им приостановить свою деятельность, за исключением дел исключительной важности, как, например, измена. Начальников лишили дисциплинарной власти. Дисциплинарные суды частью бездействовали, частью бойкотировались (не выбирались).

Правосудие вконец было изъято из армии.

Этот бойкот дисциплинарных судов и поступившее донесение о нежелании одной части выбирать присяжных весьма показательны. Законодатель может столкнуться с таким же явлением и в отношении новых военно-революционных судов. И в этих частях присяжных необходимо будет заменить назначенными членами.

В результате целого ряда законодательных мер упразднена власть и дисциплина, оплеван офицерский состав, которому ясно выражено недоверие и неуважение.

Высшие военачальники, не исключая главнокомандующих, выгоняются, как домашняя прислуга.

---

[54] Отчет в газете «Фронт» № 25.

В одной из своих речей на Северном фронте военный министр, подчеркивая свою власть, обмолвился знаменательной фразой:

— Я могу в 24 часа разогнать весь высший командный состав, и армия мне ничего не скажет.

В речах, обращенных к войскам Западного фронта, говорилось: «В царской армии вас гнали в бой кнутами и пулеметами... Царские начальники водили вас на убой, но теперь драгоценна каждая капля вашей крови...»

Я, главнокомандующий, стоял у пьедестала, воздвигнутого для военного министра, и сердце мое больно сжималось. А совесть моя говорила: «Это неправда! Мои железные стрелки, будучи в составе всего лишь восьми батальонов, потом двенадцати взяли более 60 тысяч пленных, 43 орудия... и я никогда не гнал их в бой пулеметами. Я не водил на убой войска под Мезолаборчем, Лутовиско, Луцком, Чарторийском. Эти имена хорошо известны бывшему главнокомандующему Юго-западным фронтом...»

Но все можно простить, все можно перенести, если бы это нужно было для победы, если бы это могло воодушевить войска и поднять их к наступлению...

Я позволю себе одну параллель.

К нам на фронт, в 703-й Сурамский полк приехал Соколов с другими петроградскими делегатами. Приехал с благородной целью — бороться с тьмой невежества и моральным разложением, особенно проявившимся в этом полку. Его нещадно избили. Мы все отнеслись с негодованием к дикой толпе негодяев. Все всполошилось. Всякого ранга комитеты вынесли ряд осуждающих постановлений. Военный министр в грозных речах, в приказах осудил позорное поведение сурамцев, послал сочувственную телеграмму Соколову.

Другая картина...

Я помню хорошо январь 1915 года под Лутовиско. В жестокий мороз, по пояс в снегу, однорукий бесстрашный герой, полковник Носков, рядом с моими стрелками, под жестоким огнем вел свой полк в атаку на отвесные неприступные скаты высоты 804... Тогда смерть пощадила его. И вот теперь пришли две роты, вызвали генерала Носкова, окружили его, убили и ушли.

Я спрашиваю господина военного министра: обрушился ли он всей силой своего пламенного красноречия, обрушился ли он всей силой гнева и тяжестью власти на негодных убийц, послал ли он сочувственную телеграмму несчастной семье павшего героя.

И когда у нас отняли всякую власть, всякий авторитет, когда обездушили, обескровили понятие «начальник», вновь хлестнули нас больно телеграммой из Ставки: «начальников, которые будут проявлять слабость перед применением оружия, смещать и предавать суду»...

Нет, господа! Тех, которые в бескорыстном служении Родине полагают за нее жизнь, вы этим не испугаете!

В конечном результате старшие начальники разделились на три категории: одни, невзирая на тяжкие условия жизни и службы, скрепя сердце, до конца дней своих исполняют честно свой долг; другие опустили руки и поплыли по течению; а третьи неистово машут красным флагом и по привычке, унаследованной со времен татарского ига, ползают на брюхе перед новыми богами революции так же, как ползали перед царями.

Офицерский состав... мне страшно тяжело говорить об этом кошмарном вопросе. Я буду краток.

Соколов, окунувшийся в войсковую жизнь, сказал: «Я не мог и представить себе, какие мученики ваши офицеры... Я преклоняюсь перед ними». Да! В самые мрачные времена царского самодержавия опричники и жандармы не подвергали таким нравственным пыткам, такому издевательству тех, кто считался преступниками, как теперь офицеры, гибнущие за Родину, подвергаются со стороны темной массы, руководимой отбросами революции.

Их оскорбляют на каждом шагу. Их бьют. Да, да, бьют. Но они не придут к вам с жалобой. Им стыдно, смертельно стыдно. И одиноко в углу землянки не один из них в слезах переживает свое горе...

Неудивительно, что многие офицеры единственным выходом из своего положения считают смерть в бою. Каким эпическим спокойствием и скрытым трагизмом звучат слова боевой реляции:

«Тщетно офицеры, следовавшие впереди, пытались поднять людей. В это время на редуте № 3 появился белый флаг. Тогда 15 офицеров с небольшой кучкой солдат двинулись одни вперед. Судьба их неизвестна — они не вернулись»[55]...

Мир праху храбрых! И да падет кровь их на головы вольных и невольных палачей.

Армия развалилась. Необходимы героические меры, чтобы вывести ее на истинный путь:

1) Сознание своей ошибки и вины Временным правительством, не появившим и не оценившим благородного и искреннего порыва офицерства, радостно принявшего весть о перевороте и отдающего несчетное число жизней за Родину.

2) Петрограду, совершенно чуждому армии, не знающему ее быта, жизни и исторических основ ее существования, прекратить всякое военное законодательство. Полная мощь Верховному Главнокомандующему, ответственному лишь перед Временным правительством.

3) Изъять политику из армии.

4) Отменить «декларацию» в основной ее части. Упразднить комиссаров и комитеты, постепенно изменяя функции последних[56].

5) Вернуть власть начальникам. Восстановить дисциплину и внешние формы порядка и приличия.

6) Делать назначения на высшие должности не только по признакам молодости и решимости, но, вместе с тем, по боевому и служебному опыту.

7) Создать в резерве начальников отборные законопослушные части трех родов оружия как опору против военного бунта и ужасов предстоящей демобилизации.

8) Ввести военно-революционные суды и смертную казнь для тыла — войск и гражданских лиц, совершающих тождественные преступления.

Если вы спросите меня, дадут ли все эти меры благотворные результаты, я отвечу откровенно: да, но далеко не скоро. Разрушить армию легко, для возрождения нужно время. Но, по крайней мере, они дадут основание, опору для создания сильной и могучей армии.

Невзирая на развал армии, необходима дальнейшая борьба, как бы тяжела она ни была. Хотя бы даже с отступлением к далеким рубежам. Пусть союзники не рассчитывают на скорую помощь нашу наступлением. Но и обороняясь, и отступая, мы отвлекаем на себя огромные вражеские силы, которые, будучи свободны и повернуты на Запад, раздавили бы сначала союзников, потом добили бы и нас.

На этом новом крестном пути русский народ и русскую армию ожидает, быть может, много крови, лишений и бедствий. Но в конце его — светлое будущее.

Есть другой путь — предательства. Он дал бы временное облегчение истерзанной стране нашей... Но проклятие предательства не дает счастья. В конце этого пути политическое, моральное и экономическое рабство.

Судьба страны зависит от ее армии.

И я, в лице присутствующих здесь министров, обращаюсь к Временному правительству:

Ведите русскую жизнь к правде и свету — под знаменем свободы! Но дайте и нам реальную возможность за эту свободу вести в бой войска под старыми нашими боевыми знаменами, с которых — не бойтесь! — стерто имя самодержца, стерто прочно и в сердцах наших. Его нет больше. Но есть Родина. Есть море пролитой крови. Есть слава былых побед.

Но вы — вы втоптали наши знамена в грязь.

[55] Описание 38-го корпуса.
[56] Разъяснение, данное во время речи военного министра

Теперь пришло время: поднимите их и преклонитесь перед ними.
...Если в вас есть совесть!»

Я кончил. Керенский встал, пожал мою руку и сказал:

— Благодарю вас, генерал, за ваше смелое, искреннее слово.

Впоследствии в своих показаниях верховной следственной комиссии[57] Керенский объяснял это свое движение тем, что одобрение относилось не к содержанию речи, а к проявленной мной решимости, и что он хотел лишь подчеркнуть свое уважение ко всякому независимому взгляду, хотя бы и совершенно не совпадающему с правительственным. По существу же — по словам Керенского — «генерал Деникин впервые начертал программу реванша — эту музыку будущего военной реакции». В этих словах глубокое заблуждение. Мы вовсе не забыли галицийского отступления 1915 г. и причин, его вызвавших, но, вместе с тем, мы не могли простить Калуша и Тарнополя 1917 г. И наш долг, право и нравственная обязанность были не желать ни того, ни другого.

После меня говорил генерал Клембовский. Я выходил и слышал только конец его речи. Он очень сдержанно, но приблизительно в таком же виде, как и я, очертил положение своего фронта и пришел к выводу, который мог быть продиктован только разве полной безнадежностью: упразднить единоначалие и поставить во главе фронта своеобразный триумвират из главнокомандующего, комиссара и выборного солдата...

Генерал Алексеев был нездоров, говорил кратко, охарактеризовав положение тыла и состояние запасных войск и гарнизонов, и подтвердил ряд высказанных мною положений.

Генерал Рузский, давно уже лечившийся на Кавказе и поэтому отставший от жизни армии, анализировал положение на основании прослушанных речей и привел ряд исторических и бытовых сопоставлений старой армии с новой революционной настолько горячо и резко, что дал повод Керенскому в его ответной речи обвинить Рузского в призыве к восстановлению... царского самодержавия. Не могли понять новые люди глубокой боли за армию старого солдата. Керенский, вероятно, не знал, что Рузского не признавали и, в свою очередь, страстно обвиняли правые круги как раз в обратном направлении — за ту роль, которую он сыграл в отречении императора...

Была прочитана корниловская телеграмма, в которой указывалось на необходимость: введения смертной казни в тылу, главным образом, для обуздания распущенных банд запасных; восстановления дисциплинарной власти начальников; ограничения круга деятельности войсковых комитетов и восстановления их ответственности; воспрещения митингов, противогосударственной пропаганды и въезда на театр войны всяких делегаций и агитаторов. Все это было, в той или другой форме, и у меня и получило общее наименование «военной реакции». Но у Корнилова появились предложения и другого рода: усиление комиссариата, путем введения института комиссаров в корпуса и предоставления им права конфирмации приговоров военно-революционных судов, а главное, генеральная чистка командного состава. Эти последние предложения произвели на Керенского впечатление «большей широты и глубины взглядов», чем те, которые исходили из «старых, мудрых голов», опьяненных, по его мнению, «вином ненависти»[58]... Произошло очевидное недоразумение: корниловская «чистка» должна была коснуться вовсе не людей крепких военных традиций (качество это ошибочно отождествлялось с монархической реакцией), а наемников революции — людей без убеждений, без воли и без способностей брать на себя ответственность.

Говорил и от своего имени комиссар Юго-западного фронта Савинков. Соглашаясь с нарисованной нами общей картиной состояния фронта, он указывал, что не вина революционной демократии, если после старого режима осталась солдатская масса, которая не верит своему командному составу, что среди

[57] По делу Корнилова.
[58] «Прелюдия большевизма». (Kerensky A. F. The Prelude to Bolshevism. The Kornilov Rebellion. London, 1919.— Прим. ред.).

последнего не все обстоит благополучно и в военном, и в политическом отношениях, и что главная цель новых революционных учреждений (комиссары, кроме того, «глаза и уши Временного правительства») восстановить нормальные отношения между двумя составными элементами армии.

Закончилось заседание речью Керенского. Он оправдывался, указывал на неизбежность и стихийность «демократизации» армии, обвинял нас, видевших, по его словам, источник июльского поражения исключительно в революции и ее влиянии на русского солдата, жестоко обвинял старый режим и в конце концов не дал нам никаких отправных точек для дальнейшей совместной работы.

Все участники совещания разошлись с тяжелым чувством взаимного непонимания. И я с неменьшим. Но в душе осталось — увы, оказавшееся ошибочным,— сознание, что голос наш все-таки услышан.

Мои надежды подкрепило письмо Корнилова, полученное вскоре после его назначения Верховным Главнокомандующим.

«С искренним и глубоким удовольствием я прочел ваш доклад, сделанный на совещании в Ставке 16 июля. Под таким докладом я подписываюсь обеими руками, низко вам за него кланяюсь и восхищаюсь вашей твердостью и мужеством. Твердо верю, что с Божьей помощью нам удастся довести (до конца) дело воссоздания родной армии и восстановить ее боеспособность».

Судьба жестоко посмеялась над нашей верой...

Глава XXXIV. ГЕНЕРАЛ КОРНИЛОВ

Через два дня после могилевского совещания генерал Брусилов был уволен от должности Верховного Главнокомандующего. Опыт возглавления русских армий лицом, проявлявшим не только полную лояльность к Временному правительству, но и видимое сочувствие его мероприятиям, не удался. Отставлен военачальник, который некогда при вступлении на пост Верховного свое провиденциальное появление формулировал так [59]: «Я вождь революционной армии, назначенный на мой ответственный пост революционным народом и Временным правительством, по соглашению с петроградским советом рабочих и солдатских депутатов. Я первым перешел на сторону народа, служу ему, буду служить и не отделюсь от него никогда».

Керенский в показаниях, данных следственной комиссии, объяснил увольнение Брусилова катастрофичностью положения фронта, возможностью развития германского наступления, отсутствием на фронте твердой руки и определенного плана, неспособностью Брусилова разбираться в сложных военных событиях и предупреждать их, наконец, отсутствием его влияния как на солдат, так и на офицеров.

Как бы то ни было, уход генерала Брусилова с военно-исторической сцены отнюдь нельзя рассматривать, как простой эпизод административного порядка: он знаменует собой явное признание правительством крушения всей его военной политики.

19 июля постановлением Временного правительства на пост Верховного Главнокомандующего был назначен генерал от инфантерии Лавр Георгиевич Корнилов.

Я говорил в VII главе о своей встрече с Корниловым, тогда главнокомандующим войсками Петроградского военного округа. Весь смысл пребывания его в этой должности заключался в возможности приведения к сознанию долга и в подчинение петроградского гарнизона. Этого Корнилову сделать не удалось. Боевой генерал, увлекавший своим мужеством, хладнокровием и презрением к смерти — воинов, был чужд той толпе бездельников и торгашей, в которую обратился петроградский гарнизон. Его хмурая фигура, сухая, изредка лишь согретая искренним чувством речь, а главное — ее содержание, такое далекое от головокружительных лозунгов, выброшенных революцией, такое простое в исповедовании солдатского катехизиса,— не могли ни зажечь, ни воодушевить петроградских солдат. Неискушенный в политиканстве, чуждый по профессии тем средствам борьбы, которые выработали совместными силами бюрократический механизм, партийное сектантство и подполье, он в качестве главнокомандующего петроградским округом не мог ни повлиять на правительство, ни импонировать Совету, который без всяких данных отнесся к нему с места с недоверием.

[59] 9 июня — ответ на приветствие Могилевского совета.

Корнилов сумел бы подавить петроградское преторианство, если бы в этом случае и сам не погиб, но не мог привлечь его к себе. Он чувствовал непригодность для него петроградской атмосферы. И когда 21 апреля исполнительный комитет Совета, после первого большевистского выступления постановил, что ни одна воинская часть не может выходить из казарм с оружием без разрешения комитета — это поставило Корнилова в полную невозможность оставаться в должности, не дающей никаких прав и возлагающей большую ответственность. Была и другая причина: главнокомандующий петроградского округа подчинялся не Ставке, а военному министру. 30 апреля ушел Гучков, и Корнилов не пожелал оставаться в подчинении у Керенского — товарища председателя петроградского Совета.

Положение петроградского гарнизона и военного командования в столице было настолько нелепым, что приходилось искусственными мерами разрешать этот больной вопрос. Ставкой, совместно со штабом петроградского округа, по инициативе Корнилова и с полного одобрения генерала Алексеева, был разработан проект организации петроградского фронта, прикрывающего доступы к столице через Финляндию и Финский залив. В состав этого фронта должны были войти войска Финляндии, Кронштадта, побережья, Ревельского укрепленного района и петроградского гарнизона, в котором запасные батальоны предположено было развернуть в полевые полки и свести в бригады; вероятно, было и включение Балтийского флота. Такая организация, логичная в стратегическом отношении, в особенности в связи с поступавшими сведениями об усилении германского фронта на путях к Петрограду, давала главнокомандующему законное право видоизменять дислокацию, производить смену фронтовых и тыловых частей и т. д. Не знаю, возможно ли было таким путем действительно освободить столицу от гарнизона, который становился настоящим бичом ее, Временного правительства и даже, в сентябрьские дни, не-большевистской части Совета... Правительство донельзя опрометчиво связало себя обещанием, данным в первой его декларации, «неразоружения и невывода из Петрограда воинских частей, принимавших участие в революционном движении». Но план рухнул сам собой с уходом Корнилова: его заместители, последовательно назначаемые Керенским, были настолько неопределенной политической физиономии и настолько недостаточного военного опыта, что ставить их во главе такого крупного войскового соединения не представлялось возможным.

В последних числах апреля, перед своим уходом Гучков пожелал провести Корнилова на должность главнокомандующего Северным фронтом, освободившуюся после увольнения генерала Рузского. Генерал Алексеев и я были на совещании с Тома и французскими военными представителями, когда меня пригласили к аппарату Юза для беседы с военным министром. Так как генерал Алексеев оставался в заседании, а больной Гучков лежал в постели, то переговоры, в которых я являлся посредником, были чрезвычайно трудны, и технически и по необходимости ввиду не прямой передачи облекать их в несколько условную форму. Гучков настаивал, Алексеев отказывал. Не менее шести раз я передавал их реплики сначала сдержанные, потом повышенные.

Гучков говорил о трудности управления наиболее распущенным Северным фронтом, о необходимости там твердой руки. Говорил, что желательно оставить Корнилова в непосредственной близости к Петрограду ввиду всяких политических возможностей в будущем... Алексеев отвечал категорическим отказом. «Политические возможности» обошел молчанием, а сослался на недостаточный командный стаж Корнилова и неудобство обходить старших начальников — более опытных и знакомых с фронтом, как, например, генерала Драгомирова (Абрама). Когда на другой день тем не менее из министерства пришла официальная уже

телеграмма по поводу назначения Корнилова, Алексеев ответил, что он категорически не согласен; а если назначение все же последует помимо его желания, то он немедленно подаст в отставку.

Ни разу еще, Верховный Главнокомандующий не был так непреклонен в сношениях с Петроградом. У некоторых, в том числе у самого Корнилова, как он мне впоследствии признался, невольно создалось впечатление, что вопрос был поставлен несколько шире, чем о назначении главнокомандующего... что здесь играло роль опасение «будущего диктатора». Однако сопоставление этого эпизода с фактом учреждения для Корнилова Петроградского фронта — обстоятельство не менее значительное и также чреватое всякими возможностями — находится в полном противоречии с подобным предположением.

Корнилов в начале мая принял 8-ю армию на Юго-западном фронте. Генерал Драгомиров был назначен главнокомандующим Северного фронта.

Это второй эпизод, дающий ключ к разгадке установившихся впоследствии отношений между генералами Алексеевым и Корниловым.

8-ю армию Корнилов, по его словам, принял в состоянии полного разложения. «В течение двух месяцев,— говорит он,— мне почти ежедневно пришлось бывать в войсковых частях, лично разъяснять солдатам необходимость дисциплины, ободрять офицеров и внушать войскам необходимость наступления... Тут же я убедился, что твердое слово начальника и определенные действия необходимы, чтобы остановить развал нашей армии. Я понял, что этого твердого слова ожидают и офицеры, и солдаты, сознательная часть которых уже утомилась от полной анархии»...

При каких условиях проходили объезды Корнилова, мы уже видели в главе XXIII. Удалось ли ему за это время пробудить сознание в солдатской массе — не думаю: в 8-й армии Калуш 28 июня и Калуш 8 июля являют одинаково лик героя и лик зверя. Но среди офицерства и небольшой части настоящих солдат его обаяние выросло весьма значительно. Выросло оно также во мнении не социалистической части русского общества. И когда после разгрома 6 июля назначенный на крайне ответственный пост главнокомандующего Юго-западным фронтом только в порядке непротивления демократизации армии генерал Гутор впал в отчаяние и прострацию, то его заменить было некем, кроме Корнилова (в ночь на 8 июля).

...Хотя призрак «генерала на белом коне» витал уже в воздухе и смущал душевный покой многих.

Брусилов сильно противился этому назначению. Керенский минуту колебался. Но положение было катастрофическим. А Корнилов смел, мужествен, суров, решителен, независим и не остановится ни перед какими самостоятельными действиями, требуемыми обстановкой, и ни перед какой ответственностью. По мнению Керенского[60], опасные в случае успеха качества идущего на пролом Корнилова — при паническом отступлении могли принести только пользу. А когда мавр сделает свое дело, с ним можно ведь и расстаться... И Керенский настоял на назначении Корнилова главнокомандующим Юго-западного фронта.

На третий день по вступлении в должность Корнилов телеграфировал Временному правительству: «Я заявляю, что если правительство не утвердит предлагаемых мною мер и лишит меня единственного средства спасти армию и использовать ее по действительному ее назначению защиты Родины и свободы, то я, генерал Корнилов, самовольно слагаю с себя полномочия главнокомандующего»...

Ряд политических телеграмм Корнилова произвел огромное впечатление на страну и вызвал у одних страх, у других злобу, у третьих надежду. Керенский колебался. Но... поддержка комиссаров и комитетов... Некоторое успокоение и упорядочение Юго-западного фронта, вызванное, между прочим, смелой, решительной борьбой Корнилова с армейскими большевиками... То удручающее одиночество, которое почувствовал военный министр после совещания 16 июля... Бесполезность оставления на посту Верховного Брусилова и безнадежность возглавления вооруженных сил генералом новой формации, уже доказанная опытом Брусилова и Гутора... Настоятельные советы Савинкова... Вот ряд причин, которые заставили Керенского, ясно отдававшего себе отчет в неизбежности столкновения в будущем с человеком, всеми фибрами души отрицавшим его военную политику, решиться на назначение Верховным Главнокомандующим Корнилова. Не подлежит никакому сомнению, что Керенский сделал этот шаг только в порыве отчаяния. Такое же чувство обреченности руководило им, вероятно, при назначении управляющим военным министерством Савинкова.

[60] Показание следственной комиссии.

Столкновения начались раньше, чем можно было ожидать. Получив указ о своем назначении, Корнилов тотчас же послал Временному правительству телеграмму, в которой «докладывал», что принять должность и «привести народ к победе и приближению справедливого и почетного мира» он может только при условиях:

1) ответственности перед собственной совестью и всем народом;

2) полного невмешательства в его оперативные распоряжения и поэтому в назначение высшего командного состава;

3) распространения принятых за последнее время мер на фронте и на все те местности тыла, где расположены пополнения армии;

4) принятия его предложений, переданных телеграфно на совещание в Ставку 16 июля.

Прочтя в свое время в газетах эту телеграмму, я был немало удивлен содержанием первого пункта требований, устанавливавшего весьма оригинальную государственно-правовую форму суверенитета верховного командования впредь до Учредительного собрания. И ждал с нетерпением официального ответа. Его не последовало. Как оказалось, в совете правительства, по получении ультимативного требования Корнилова, шли горячие дебаты, причем Керенский требовал для поддержания авторитета верховной власти немедленного устранения нового Верховного Главнокомандующего. Правительство не согласилось, и Керенский, обойдя молчанием другие пункты телеграммы, ответил лишь на 2-й — признанием за Верховным Главнокомандующим права выбора себе ближайших помощников.

В отступление от установившегося и ранее порядка назначений правительство одновременно с назначением Корнилова издало указ без его ведома о назначении генерала Черемисова главнокомандующим Юго-западным фронтом. Корнилов счел это полным нарушением своих прав и послал новый ультиматум, заявив, что он может оставаться в должности Верховного только при условии, если Черемисов будет удален и притом немедленно. До выяснения вопроса ехать в Могилев отказался. Черемисов, в свою очередь, крайне нервничал и грозил «с бомбами в руках» войти в штаб фронта и установить свои права главнокомандующего.

Это обстоятельство еще более осложнило вопрос, и Корнилов докладывал по аппарату[61] в Петроград, что считает более правильным увольнение Черемисова в отставку: «Для упрочения дисциплины в войсках мы решились на применение суровых мер к солдатам; такие же меры должны быть применяемы и к высшим войсковым начальникам».

Революция перевернула вверх дном все взаимоотношения и существо дисциплины. Как солдат, я должен бы видеть во всех этих событиях подрыв авторитета Временного правительства (если бы он был) и не могу не признать права и обязанности правительства заставлять всех уважать его власть. Но как бытописатель добавлю: у военных вождей не было других способов остановить развал армии, идущий свыше; и если бы правительство поистине обладало властью и во всеоружии прав и силы могло и умело проявлять ее, то не было бы ультиматумов ни от Совета, ни от военных вождей. Больше того, тогда было бы не нужным 27 августа и невозможным 25 октября.

В конечном результате в штаб фронта прибыл комиссар Филоненко и сообщил Корнилову, что все его пожелания принципиально приняты правительст-

[61] Телеграфный разговор с полковником Барановским.

вом, а Черемисов назначается в распоряжение Временного правительства. Главнокомандующим Юго-западным фронтом был назначен случайно, наспех, генерал Балуев, а Корнилов 24 июля вступил в должность Верховного.

Призрак «генерала на белом коне» получал все более и более реальные очертания.

Взоры очень многих людей — томившихся, страдавших от безумия и позора, в волнах которых захлебывалась русская жизнь, все чаще и чаще обращались к нему. К нему шли и честные, и бесчестные, и искренние, и интриганы, и политические деятели, и воины, и авантюристы. И все в один голос говорили:

— Спаси!

А он — суровый, честный воин, увлекаемый глубоким патриотизмом, не искушенный в политике и плохо разбиравшийся в людях, с отчаянием в душе и с горячим желанием жертвенного подвига, загипнотизированный и правдой, и лестью, и всеобщим томительным, нервным ожиданием чьего-то пришествия,— он искренне уверовал в провиденциальность своего назначения. С этой верой жил и боролся, с нею же умер на высоком берегу Кубани.

Корнилов стал знаменем. Для одних — контрреволюции, для других — спасения Родины.

И вокруг этого знамени началась борьба за влияние и власть людей, которые сами, без него, не могли бы достигнуть этой власти...

Еще 8 июля в Каменец-Подольске имел место характерный эпизод. Там возле Корнилова произошло первое столкновение двух людей: Савинкова и Завойко. Савинков — наиболее видный русский революционер, начальник боевой террористической организации социал-революционной партии, организатор важнейших политических убийств — министра внутренних дел Плеве, великого князя Сергея Александровича и др. Сильный, жестокий, чуждый каких бы то ни было сдерживающих начал «условной морали»; презиравший и Временное правительство, и Керенского; в интересах целесообразности, по-своему понимаемых, поддерживающий правительство, но готовый каждую минуту смести его — он видел в Корнилове лишь орудие борьбы для достижения сильной революционной власти, в которой е м у должно было принадлежать первенствующее значение. Завойко — один из тех странных людей, которые потом тесным кольцом окружили Корнилова и играли такую видную роль в августовские дни. Кто он — этого хорошенько не знал и Корнилов. В своем показании верховной следственной комиссии Корнилов говорит, что познакомился с Завойко в апреле 1917 года, что Завойко был когда-то «предводителем дворянства Гайсинского уезда, Подольской губернии, работал на нефтяных промыслах Нобеля в Баку и, по его рассказам, занимался исследованием горных богатств в Туркестане и Западной Сибири. В мае он приехал в Черновицы и, зачислившись добровольцем в Дагестанский конный полк, остался при штабе армии в качестве личного ординарца Корнилова». Вот все, что было известно о прошлом Завойко.

Первая телеграмма Корнилова Временному правительству была первоначально редактирована Завойко, который «придал ей ультимативный характер со скрытой угрозой — в случае неисполнения требований, предъявленных Временному правительству, объявить на Юго-западном фронте военную диктатуру» [62]. Убеждения Савинкова перевесили. Корнилов согласился даже удалить Завойко из пределов фронта, но скоро вернул опять...

Все это я узнал впоследствии. Во время же всех этих событий я продолжал работать в Минске, всецело поглощенный теперь уже не наступлением, а организацией хоть какой-нибудь обороны полуразвалившегося фронта. Никаких сведений, даже слухов о том, что творится на верхах правления и командования, не было. Только чувствовалось во всех служебных сношениях крайне напряженное биение пульса.

В конце июля совершенно неожиданно получаю предложение Ставки занять пост главнокомандующего Юго-западным фронтом. Переговорил по аппарату с начальником штаба Верховного — генералом Лукомским: сказал, что приказание исполню и пойду, куда назначат, но хочу знать, чем вызвано перемещение: если мотивами политическими, то очень прошу меня не трогать с места. Лукомский меня уведомил, что Корнилов имеет в виду исключительно боевое значение Юго-западного фронта и предположенную там стратегическую операцию. Назначение состоялось.

[62] Савинков. «К делу Корнилова».

Я простился с грустью со своими сотрудниками и, переведя на новый фронт своего друга генерала Маркова, выехал с ним к новому месту службы. Проездом остановился в Могилеве. Настроение Ставки было сильно приподнятое, у всех появилось оживление и надежды, но ничто не выдавало какой-либо «подземной» конспиративной работы. Надо заметить, что в этом деле военная среда была настолько наивно неопытна, что потом, когда действительно началась «конспирация», она приняла такие я в н ы е формы, что только глухие и слепые могли не видеть и не слышать.

В день нашего приезда у Корнилова было совещание из начальников отделов Ставки, на котором обсуждалась так называемая «корниловская программа» восстановления армии. Я был приглашен на это заседание. Не буду перечислять всех основных положений, приведенных ранее и у меня, и в корниловских телеграммах,— требованиях, как, например, введение военно-революционных судов и смертной казни в тылу, возвращение дисциплинарной власти начальникам и поднятие их авторитета, ограничение деятельности комитетов и их ответственность и т. д. Помню, что наряду с важными и бесспорными положениями, в проекте записки, представленной отделами Ставки, были и произведения бюрократического творчества, мало пригодные в жизни. Так, например, желая сделать дисциплинарную власть более приемлемой для революционной демократии, авторы записки разработали курьезную подробную шкалу соответствия дисциплинарных проступков и наказаний. Это для выбитой из колеи, бушующей жизни, где все отношения попраны, все нормы нарушены, где каждый новый день давал бесконечно разнообразные уклонения от регламентированного порядка.

Как бы то ни было, верховное командование выходило на новый правильный путь, а личность Корнилова, казалось, давала гарантии в том, что правительство будет принуждено следовать по этому пути. Несомненно, что с советами, комитетами и с солдатской средой предстояла еще длительная борьба. Но по крайней мере определенность направления вызвала нравственную поддержку и реальное основание для дальнейшей тяжелой работы. С другой стороны, поддержка корниловских мероприятий военным министерством Савинкова давала надежду, что колебания и нерешительность Керенского будут, наконец, преодолены. Отношение к данному вопросу Временного правительства в его полном составе не имело практического значения и даже не могло быть официально выражено... Керенский в это время как будто освободился несколько от гнета Совета; но, подобно тому, как ранее все важнейшие государственные вопросы решались им вне правительства совместно с руководящими советскими кругами, так теперь, в августе, руководство государственными делами перешло, минуя и социалистические и либеральные группировки правительства, к триумвирату в составе Керенского, Некрасова и Терещенко.

По окончании заседания Корнилов предложил мне остаться и, когда все ушли, тихим голосом, почти шепотом сказал мне следующее:

— Нужно бороться, иначе страна погибнет. Ко мне на фронт приезжал N. Он все носится со своей идеей переворота и возведения на престол великого князя Дмитрия Павловича; что-то организует и предложил совместную работу. Я ему заявил категорически, что ни на какую авантюру с Романовыми не пойду. В правительстве сами понимают, что совершенно бессильны что-либо сделать. Они предлагают мне войти в состав правительства... Ну, нет! Эти господа слишком связаны с Советами и ни на что решиться не могут. Я им говорю: предоставьте мне власть, тогда я поведу решительную борьбу. Нам нужно довести Россию до Учредительного собрания, а там — пусть делают, что хотят: я устранюсь и ничему препятствовать не буду. Так вот, Антон Иванович, могу ли я рассчитывать на вашу поддержку?

— В полной мере.

Это была вторая встреча и второй разговор мой с Корниловым: мы сердечно обняли друг друга и расстались, чтобы встретиться вновь... только в Быховской тюрьме.

Глава XXXVI. *КОРНИЛОВСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ И ОТЗВУКИ ЕГО НА ЮГО-ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ*

27 августа вечером я был как громом поражен полученным из Ставки сообщением об отчислении от должности Верховного Главнокомандующего генерала Корнилова.

Телеграммой без номера и за подписью «Керенский» предлагалось генералу Корнилову сдать временно должность Верховного Главнокомандующего генералу Лукомскому и, не ожидая прибытия нового Верховного Главнокомандующего, выехать в Петроград. Такое распоряжение было совершенно незаконным и необязательным для исполнения, так как Верховный Главнокомандующий ни военному министру, ни министру-председателю, ни тем более товарищу Керенскому ни в какой мере подчинен не был.

Начальник штаба, генерал Лукомский ответил министру-председателю телеграммой № 640, которую я привожу ниже. Содержание ее в копии передано было нам, всем главнокомандующим, телеграммой № 6412, которая у меня не сохранилась, но смысл ее ясен из показания Корнилова, в котором говорится: «Я приказал мое решение («должность не сдавать и выяснить предварительно обстановку») и решение генерала Лукомского довести до сведения главнокомандующих всех фронтов».

Телеграмма Лукомского № 640 гласила:

«Все, близко стоявшие к военному делу, отлично сознавали, что при создавшейся обстановке и при фактическом руководстве и направлении внутренней политики безответственными общественными организациями, а также громадного разлагающего влияния этих организаций на массу армии, последнюю воссоздать не удастся, а наоборот — армия, как таковая, должна развалиться через два-три месяца. И тогда Россия должна будет заключить позорный сепаратный мир, последствия которого были бы для России ужасны. Правительство принимало полумеры, которые, ничего не поправляя, лишь затягивали агонию, и, спасая революцию, не спасало Россию. Между тем завоевания революции можно было спасти лишь путем спасения России, а для этого прежде всего необходимо создать действительную сильную власть и оздоровить тыл. Генерал Корнилов предъявил ряд требований, проведение коих в жизнь затягивалось. При таких условиях генерал Корнилов, не преследуя никаких личных честолюбивых замыслов и опираясь на ясно выраженное сознание всей здоровой части общества и армии, требовавшее скорейшего создания крепкой власти для спасения Родины, а с ней и завоеваний революции, считал необходимым более решительные меры, кои обеспечили бы водворение порядка в стране.

Приезд Савинкова[63] и Львова, сделавших предложение Корнилову в том же смысле от вашего имени, лишь заставил генерала Корнилова принять окончательное решение и, согласно с вашим предложением, отдать окончательные распоряжения, отменять которые теперь уже поздно.

Ваша сегодняшняя телеграмма указывает, что решение, принятое прежде вами и сообщенное от вашего имени Савинковым и Львовым, теперь изменилось. Считаю долгом совести, имея в виду лишь пользу Родины, определенно вам заявить, что теперь остановить начавшееся с вашего же одобрения дело невозможно, и это поведет лишь к гражданской войне, окончательному разложению армии и позорному сепаратному миру, следствием чего, конечно, не будет закрепление завоеваний революции.

Ради спасения России вам необходимо идти с генералом Корниловым,

[63] Как увидим впоследствии, Савинков показал, что он «от имени министра-председателя никаких политических комбинаций не предлагал».

а не смещать его. Смещение генерала Корнилова поведет за собой ужасы, которых Россия еще не переживала. Я лично не могу принять на себя ответственности за армию, хотя бы на короткое время, и не считаю возможным принимать должность от генерала Корнилова, ибо за этим последует взрыв в армии, который погубит Россию. Лукомский».

Все надежды на возрождение армии и спасение страны мирным путем рухнули. Я не делал себе никаких иллюзий относительно последствий подобного столкновения между генералом Корниловым и Керенским и не ожидал благополучного окончания, разве только что корпус Крымова спасет положение. Вместе с тем я ни одного дня, ни одного часа не считал возможным отожествлять себя идейно с Временным правительством, которое признавал преступным, и поэтому тотчас же послал ему телеграмму следующего содержания:

«Я солдат и не привык играть в прятки. 16-го июня на совещании с членами Временного правительства я заявил, что целым рядом военных мероприятий оно разрушило, растлило армию и втоптало в грязь наши боевые знамена. Оставление свое на посту главнокомандующего я понял тогда как сознание Временным правительством своего тяжкого греха перед Родиной и желание исправить содеянное зло. Сегодня, получив известие, что генерал Корнилов, предъявивший известные требования[64], могущие еще спасти страну и армию, смещается с поста Верховного Главнокомандующего. Видя в этом возвращение власти на путь планомерного разрушения армии и, следовательно, гибели страны, считаю долгом довести до сведения Временного правительства, что по этому пути я с ним не пойду. 145. Деникин».

Марков одновременно послал телеграмму правительству, выражая солидарность с высказанными мною положениями[65].

Вместе с тем я приказал спросить Ставку, чем могу помочь генералу Корнилову. Он знал, что, кроме нравственного содействия, в моем распоряжении нет никаких реальных возможностей и поэтому, поблагодарив за это содействие, ничего более не требовал.

Я распорядился переслать копию моей телеграммы всем главнокомандующим, командующим армиями Юго-западного фронта и главному начальнику снабжения. Вместе с тем приказал принять меры, чтобы изолировать фронт от проникновения туда без ведома штаба каких-либо сведений о совершающихся событиях до ликвидации столкновения. Такие же распоряжения получены были от Ставки. Полагаю, можно не прибавлять, что горячие симпатии всего штаба были на стороне Корнилова и что все с величайшим нетерпением ждали вестей из Могилева, все еще надеясь на благополучный исход.

Марков каждый вечер собирал офицеров генерал-квартирмейстерской части для доклада оперативных вопросов, в этот день, 27-го, он ознакомил их со всеми известными нам обстоятельствами столкновения и нашими телеграммами и не удержался, чтобы в горячей речи не очертить исторической важности переживаемых событий, необходимости поставить все точки над «i» и оказать полную нравственную поддержку генералу Корнилову...

Вместе с тем, во исполнение моего приказания им принят был ряд мер по Бердичеву и Житомиру: усиление дежурной части 1-го Оренбургского казачьего полка, занятие караулами телеграфных станций, радиотелеграфа и типо-

[64] Речь шла о «Корниловской программе».

[65] Главнокомандующие другими фронтами отправили Временному правительству 26 августа вполне лояльные телеграммы, сущность которых выражается в следующих выдержках:

Северного фронта, генерал Клембовский: «...Считаю перемену Верховного командования крайне опасной, когда угроза внешнего врага целости родины и свободы повелительно требует скорейшего проведения мер для поднятия дисциплины и боеспособности армии».

Западного фронта, генерал Балуев: «Нынешнее положение России требует безотлагательного принятия исключительных мер, и оставление генерала Корнилова во главе армий является настоятельно необходимым, не взирая ни на какие политические осложнения...».

Румынского фронта, генерал Щербачев: «Смена ген. Корнилова неминуемо гибельно отразится на армии и защите Родины. Обращаюсь к вашему патриотизму во имя спасения родины».

Все главнокомандующие упоминали о необходимости введения потребованных Корниловым мероприятий.

графий, временную цензуру газет и т. д. Штаб хотел было для ограждения личной безопасности главнокомандующего и правильной работы штаба потребовать 1-й Чехословацкий полк, но я отменил это распоряжение, не желая вызывать политических осложнений; и зазорно было русскому главнокомандующему защищаться от своих солдат чужими штыками.

Никаких решительных попыток к личному задержанию кого бы то ни было не делалось, так как это не имело смысла и совершенно не входило в наши намерения.

Между тем среди фронтовой революционной демократии произошел большой переполох. Члены фронтового комитета в эту ночь покинули общежитие и ночевали в частных домах на окраине города. Помощники комиссара были в командировке, а сам Иорданский в Житомире, и обращенные к нему Марковым приглашения прибыть в Бердичев как в эту ночь, так и 28-го не имели успеха: Иорданский все ожидал «коварной засады».

Наступила ночь, долгая ночь без сна, полная тревожного ожидания и тяжких дум. Никогда еще будущее страны не казалось таким темным, наше бессилие таким обидным и угнетающим. Разыгравшаяся далеко от нас историческая драма, словно отдаленная гроза, кровавыми зарницами бороздила темные тучи, нависшие над Россией. И мы ждали...

Эта ночь не забудется никогда. Перед мысленным взором моим проходят, как живые, пережитые тогда впечатления. Чередующиеся доклады телеграмм с прямого провода: соглашение, по-видимому, возможно... Надежд на мирный исход нет... Верховное главнокомандование предложено Клембовскому... Клембовский, по-видимому, откажется... Одна за другой копии телеграмм Временному правительству всех командующих армиями фронта, генерала Эльснера и еще нескольких старших начальников о присоединении их к мнению, высказанному в моей телеграмме. Трогательное исполнение гражданского долга среди атмосферы, насыщенной подозрительностью и ненавистью... Своего солдатского долга они уже выполнить не могли... И, наконец, голос отчаяния, раздавшийся из Ставки. Иначе нельзя назвать полученный ночью на 28-е приказ Корнилова:

«Телеграмма министра-председателя за № 4163[66] во всей своей первой части является сплошной ложью: не я послал члена Государственной думы В. Львова к Временному правительству, а он приехал ко мне, как посланец министра-председателя. Тому свидетель член Государственной думы Алексей Аладьин.

Таким образом свершилась великая провокация, которая ставит на карту судьбу Отечества.

Русские люди! Великая родина наша умирает. Близок час ее кончины.

Вынужденный выступить открыто — я, генерал Корнилов, заявляю, что Временное правительство под давлением большевистского большинства советов действует в полном согласии с планами германского генерального штаба и одновременно с предстоящей высадкой вражеских сил на рижском побережье, убивает армию и потрясает страну внутри.

Тяжелое сознание неминуемой гибели страны повелевает мне в эти грозные минуты призвать всех русских людей к спасению умирающей Родины. Все, у кого бьется в груди русское сердце, все, кто верит в Бога — в храмы, молите Господа Бога об явлении величайшего чуда спасения родимой земли.

Я, генерал Корнилов,— сын казака-крестьянина, заявляю всем и каждому, что мне лично ничего не надо, кроме сохранения Великой России, и клянусь довести народ — путем победы над врагом до Учредительного собрания, на котором он сам решит свои судьбы и выберет уклад новой государственной жизни.

Предать же Россию в руки ее исконного врага — германского племени

[66] Телеграмма эта в штабе не была получена. Керенский эпизод со Львовым формулирует так: «26 августа ген. Корнилов прислал ко мне члена Государственной думы В. Н. Львова с требованием передачи Вр. правительством всей полноты военной и гражданской власти с тем, что им по личному усмотрению будет составлено новое правительство для управления страной».

и сделать русский народ рабами немцев — я не в силах. И предпочитаю умереть на поле чести и брани, чтобы не видеть позора и срама русской земли.

Русский народ, в твоих руках жизнь твоей Родины!»

Этот приказ был послан для сведения командующим армиями. На другой день получена была одна телеграмма Керенского, переданная в комиссариат, и с этого времени всякая связь наша с внешним миром была прервана[67].

Итак — жребий брошен. Между правительством и Ставкой выросла пропасть, которую уже перейти невозможно.

На другой день, 28-го, революционные учреждения, видя, что им решительно ничего не угрожает, проявили лихорадочную деятельность. В Житомире под председательством Иорданского заседали местные войсковые комитеты и представители социалистических партий. Делегаты фронтового комитета, не оправившиеся еще от испуга, пространно докладывали совещанию, как давно уже назревала в Бердичеве контрреволюция, какая делалась подготовка, как разбивались все усилия комитета привлечь в общее русло «революционной жизни» казаков 1-го Оренбургского полка и т. д. Иорданский принял на себя «военную власть», произвел в Житомире ряд ненужных арестов среди старших чинов главного управления снабжений и за своей подписью, от имени своего, революционных организаций и губернского комиссара выпустил воззвание, в котором весьма подробно, языком обычных прокламаций излагалось, как генерал Деникин замыслил «возвратить старый режим и лишить русский народ Земли и Воли».

В то же время в Бердичеве производилась такая же энергичная работа под руководством фронтового комитета. Шли беспрерывно заседания всех организаций и обработка типичных тыловых частей гарнизона. Здесь обвинение было выставлено комитетом другое: «контрреволюционная попытка главнокомандующего, генерала Деникина свергнуть Временное правительство и восстановить на престоле Николая II». Прокламации такого содержания во множестве распространялись между командами, расклеивались на стенах и разбрасывались с мчавшихся по городу автомобилей. Нервное напряжение росло, улица шумела. Члены комитета в своих отношениях к Маркову становились все резче и требовательнее. Получены были сведения о возникших волнениях на Лысой горе. Штаб послал туда офицеров для разъяснения обстановки и возможного умиротворения. Один из них — чешский офицер, поручик Клецандо, который должен был побеседовать с командами пленных австрийцев, подвергся насилию со стороны русских солдат и сам легко ранил одного из них. Это обстоятельство еще более усилило волнение.

Из окна своего дома я наблюдал, как на Лысой горе собирались толпы солдат, как потом они выстроились в колонну, долго, часа два, митинговали, по-видимому, все не решаясь. Наконец колонна, заключавшая в себе эскадрон ординарцев (бывших полевых жандармов), запасную сотню и еще какие-то вооруженные команды, с массой красных флагов и в предшествии двух броневых автомобилей двинулась к городу. При появлении броневика, угрожавшего открыть огонь, оренбургская казачья сотня, дежурившая возле штаба в доме главнокомандующего, ускакала наметом. Мы оказались всецело во власти революционной демократии.

Вокруг дома были поставлены «революционные часовые», товарищ председателя комитета, Колчинский, ввел в дом четырех вооруженных «товарищей» с целью арестовать генерала Маркова, но потом заколебался и ограничился оставлением в приемной комнате начальника штаба двух «экспертов» из фронтового комитета для контроля его работы; правительству послана радиотелеграмма: «Генерал Деникин и весь его штаб подвергнуты в его ставке личному задержанию. Руководство деятельностью войск в интересах обороны временно оставлено за ними, но строго контролируется делегатами комитетов».

[67] 29-го утром случайно попала еще телеграмма генерал-квартирмейстера Ставки, в которой опять высказывалась надежда на мирный исход.

Начались бесконечно длинные, томительные часы. Их не забудешь. И не выразишь словами той глубокой боли, которая охватила душу.

В 4 часа 29-го Марков пригласил меня в приемную, куда пришел помощник комиссара Костицын с 10—15 вооруженными комитетчиками и прочел мне «приказ комиссара Юго-западного фронта Иорданского», в силу которого я, Марков и генерал-квартирмейстер Орлов подвергались предварительному заключению под арестом за попытку вооруженного восстания против Временного правительства. Литератору Иорданскому, по-видимому, стало стыдно применить аргументы «Земли», «Воли» и «Николая II», предназначенные исключительно для разжигания страстей толпы.

Я ответил, что сместить главнокомандующего может только Верховный Главнокомандующий или Временное правительство, что комиссар Иорданский совершает явное беззаконие, но что я вынужден подчиниться насилию.

Подъехали автомобили в сопровождении броневиков; мы с Марковым сели; пришлось долго ждать сдававшего дела Орлова возле штаба; мучительное любопытство прохожих; потом поехали на Лысую гору; автомобиль долго блуждал, останавливаясь у разных зданий; подъехали, наконец, к гауптвахте; прошли сквозь толпу человек в сто, ожидавшую там нашего приезда и встретившую нас взглядами, полными ненависти и грубою бранью; разведены по отдельным карцерам; Костицын весьма любезно предложил мне прислать необходимые вещи; я резко отказался от всяких его услуг; дверь захлопнулась, с шумом повернулся ключ, и я остался один.

Через несколько дней была ликвидирована Ставка. Корнилов, Лукомский, Романовский и другие отвезены в Быховскую тюрьму.

Революционная демократия праздновала победу.

А в те же дни государственная власть широко открывала двери петроградских тюрем и выпускала на волю многих влиятельных большевиков — дабы дать им возможность гласно и открыто вести дальнейшую работу к уничтожению Российского государства.

1 сентября Временным правительством подвергнут аресту генерал Корнилов, а 4 сентября Временным правительством отпущен на свободу Бронштейн-Троцкий. Эти две даты должны быть памятны России.

Камера № 1. Десять квадратных аршин пола. Окошко с железной решеткой. В двери небольшой глазок. Нары, стол и табурет. Дышать тяжело — рядом зловонное место. По другую сторону — № 2, там — Марков; ходит крупными нервными шагами. Я почему-то помню до сих пор, что он делает по карцеру три шага, я ухитряюсь по кривой делать семь. Тюрьма полна неясных звуков. Напряженный слух разбирается в них и мало-помалу начинает улавливать ход жизни, даже настроения. Караул — кажется, охранной роты — люди грубые, мстительные.

Раннее утро. Гудит чей-то голос. Откуда? За окном, вцепившись за решетку, висят два солдата. Они глядят жестокими злыми глазами и истерическим голосом произносят тяжелые ругательства. Бросили в открытое окно какую-то гадость. От этих взглядов некуда уйти. Отворачиваюсь от двери — там в глазок смотрит другая пара ненавидящих глаз, оттуда также сыплется отборная брань. Я ложусь на нары и закрываю голову шинелью. Лежу так часами. Весь день — одни, другой — сменяются «общественные обвинители» у окна и у дверей — стража свободно допускает всех.

В тесную душную конуру льется непрерывным потоком зловонная струя слов, криков, ругательств, рожденных великой темнотой, слепой ненавистью и бездонной грубостью... Словно пьяной блевотиной облита вся душа, и нет спасения, нет выхода из этого нравственного застенка. О чем они? «Хотел открыть фронт»... «продался немцам»... Приводили и цифру — «за двадцать тысяч рублей»... «хотел лишить земли и воли»... — это — не свое, это — комитетское. Главнокомандующий, генерал, барин — вот это свое! «Попил нашей кровушки, покомандовал, гноил нас в тюрьме, теперь наша воля — сам посиди за решеткой... Барствовал, раскатывал в автомобилях — теперь попробуй полежать на нарах с. с... Недолго тебе осталось... Не будем ждать, пока сбежишь — сами своими руками задушим...» Меня они — эти тыловые воины почти не знали. Но все, что накапливалось годами, столетиями в озлобленных сердцах против нелюбимой власти, против неравенства классов, против личных обид и своей — по чьей-то вине — изломанной жизни, все это выливалось теперь наружу с безграничной жестокостью. И чем выше стоял тот, которого считали врагом народа, чем больше было падение, тем сильнее вражда толпы, тем больше удовлетворения видеть его в своих руках. А за кулисами народной сцены стояли режиссеры, подогревающие и гнев и восторги народные, не верившие в злодейство лицедеев, но допускавшие даже их гибель для вящего реализма действия и во славу своего сектантского догматизма. Впрочем, эти мотивы в партийной политике назывались «тактическими соображениями»...

Я лежал закрытый с головой шинелью и под градом ругательств старался дать себе ясный отчет:

— За что?

Проверка этапов жизни... Отец — суровый воин с добрейшим сердцем. До 30 лет — крепостной крестьянин; сдан в рекруты; после 22 лет тяжелой солдатской службы николаевских времен добился прапорщичьего чина. Вышел майором в отставку. Детство мое — тяжелое, безрадостное. Нищета — 45 рублей пенсии в месяц. Смерть отца. Еще тяжелее — 25 рублей пенсии матери. Юность — в учении и в работе на хлеб. Вольноопределяющимся — в казарме на солдатском котле. Офицерство. Академия. Беззаконный выпуск. Жалоба, поданная государю на всесильного военного министра. Возвращение во 2-ю артиллерийскую бригаду. Борьба с отживающей группой старых крепостников; обвинение ими в демагогии. Генеральный штаб. Цензовое командование ротой в 183-м Пултусском полку. Вывел окончательно рукоприкладство. Неудачный опыт «сознательной дисциплины». Да, господин Керенский, и это было в молодости... Отменил негласно дисциплинарные взыскания — «следите друг за другом, останавливайте малодушных — ведь вы же хорошие люди — докажите, что можно служить без палки». Кончилось командование: рота за год вела себя средне, училась плохо и лениво. После моего ухода старый сверхсрочный фельдфебель Сцепура собрал роту, поднял многозначительно кулак в воздух и произнес внятно и раздельно:

— Теперь вам — не капитан Деникин. Поняли?..

— Так точно, г. фельдфебель.

Рота, рассказывали потом, скоро поправилась.

Потом маньчжурская война. Боевая работа. Надежды на возрождение армии. Открытая борьба в удушаемой печати с верхами армии против косности, невежества, привилегий и произвола; борьба за офицерскую и солдатскую долю. Время было суровое — вся служба, вся военная карьера была поставлена на карту... Командование полком. Непрестанные заботы об улучшении солдатского быта. Теперь уже после Пултусского опыта — требовательность по службе, но и бережение человеческого достоинства солдата. Как будто понимали тогда друг друга и не были чужими. Опять война. Железная дивизия. Близость к стрелку, общая работа. Штаб — всегда возле позиции, чтобы разделить с войсками и грязь, и тесноту, и опасности. Потом длинный страдный путь, полный славных боев, в которых общая жизнь, общие страдания и общая слава сроднили еще более и создали взаимную веру и трогательную близость.

Нет, я не был никогда врагом солдату.

Я сбросил с себя шинель и, вскочив с нар, подошел к окну, у которого на решетке повисла солдатская фигура, изрыгавшая ругательства.

— Ты лжешь, солдат! Ты не свое говоришь! Если ты не трус, укрывшийся в тылу, если ты был в боях, ты видел, как умирали твои офицеры. Ты видел, что они...

Руки разжались, и фигура исчезла. Я думаю — просто от сурового окрика, который, невзирая на беспомощность узника, оказывал свое атавистическое действие.

В окне и в дверном глазке появились новые лица...

Впрочем, не всегда мы встречали одну наглость. Иногда сквозь напускную грубость наших тюремщиков видно было чувство неловкости, смущение и даже жалость. Но этого чувства стыдились. В первую холодную ночь, когда у нас не было никаких вещей, Маркову, забывшему захватить пальто, караульный принес солдатскую шинель; но через полчаса — самому ли стыдно стало своего хорошего порыва, или товарищи пристыдили — взял обратно. В случайных заметках Маркова есть такие строки: «Нас обслуживают два пленных австрийца... Кроме них нашим метр-д-отелем служит солдат, бывший финляндский стрелок (русский), очень добрый и заботливый человек. В первые дни и ему туго приходилось — товарищи не давали прохода; теперь ничего, поуспокоились. Заботы его о нашем питании прямо трогательны, а новости умилительны по наивности. Вчера он заявил мне, что будет скучать, когда нас увезут... Я его успокоил тем, что скоро на наше место посадят новых генералов — ведь еще не всех извели...»

Тяжко на душе. Чувство как-то раздваивается: я ненавижу и презираю толпу — дикую, жестокую, бессмысленную, но к солдату чувствую все же жалость: темный, безграмотный, сбитый с толку человек, способный и на гнусное преступление и на высокий подвиг!..

Скоро несение караульной службы поручили юнкерам 2-й житомирской школы прапорщиков. Стало значительно легче в моральном отношении. Не только сторожили узников, но и охраняли их от толпы. А толпа не раз по разным поводам собиралась возле гауптвахты и дико ревела, угрожая самосудом. В доме наискось спешно собиралась в таких случаях дежурная рота, караульные юнкера готовили пулеметы. Помню, что в спокойном и ясном сознании опасности, когда толпа особенно бушевала, я обдумал и свой способ самозащиты: на столике стоял тяжелый графин с водой; им можно проломить череп первому ворвавшемуся в камеру; кровь ожесточит и опьянит «товарищей», и они убьют меня немедленно, не предавая мучениям...

Впрочем, за исключением таких неприятных часов, жизнь в тюрьме шла размеренно, методично; было тихо и покойно; физические стеснения тюремного режима после тягот наших походов и в сравнении с перенесенными нравственными испытаниями — сущие пустяки. В наш быт вносили разнообразие небольшие приключения: иногда какой-нибудь юнкер-большевик, став у двери, передает новости часовому — громко, чтобы было слышно в камере, что на последнем митинге товарищи Лысой горы, потеряв терпение, решили окончательно покончить с нами самосудом и что туда нам и дорога. Другой раз Марков, проходя по коридору, видит юнкера-часового, опершегося на ружье, у которого градом сыплются слезы из глаз: ему стало жалко нас... Какой странный, необычайный сентиментализм для нашего звериного времени...

Две недели я не выходил из камеры на прогулку, не желая стать предметом любопытства «товарищей», окружавших площадку перед гауптвахтой и рассматривающих арестованных генералов, как экспонаты в зверинце... Никакого общения с соседями. Много времени для самоуглубления и размышления.

А из дома напротив каждый день, когда я открываю окно, не знаю, друг или враг, выводит высоким тенором песню:

Последний нонешний денечек
Гуляю с вами я, друзья...

Глава XXXVII. В БЕРДИЧЕВСКОЙ ТЮРЬМЕ. ПЕРЕЕЗД «БЕРДИЧЕВСКОЙ» ГРУППЫ АРЕСТОВАННЫХ В БЫХОВ

В тюрьму, кроме меня и Маркова, участие которых в событиях определяется предыдущими главами, были заключены следующие лица:

3) Командующий Особой армией, генерал-от-инфантерии Эрдели.

4) Командующий 1-й армией, генерал-лейтенант Ванновский.

5) Командующий 7-й армией, генерал-лейтенант Селивачев.

6) Главный начальник снабжения Юго-западного фронта, генерал-лейтенант Эльснер.

Виновность перечисленных лиц заключалась в высказанной ими солидарности с моей телеграммой № 145, а последнего, кроме того, в выполнении моих приказаний об изолировании фронтового района в отношении Киева и Житомира.

7, 8) Помощники генерала Эльснера — генералы Павский и Сергиевский — лица, уже абсолютно не имевшие никакого отношения к событиям.

9) Генерал-квартирмейстер штаба фронта, генерал-майор Орлов — израненный, сухорукий — человек робкий и только исполнявший в точности приказания начальника штаба.

10) Поручик чешских войск Клецандо, ранивший 28 августа солдата на Лысой горе.

11) Штабс-ротмистр князь Крапоткин — старик свыше 60 лет, доброволец, комендант поезда главнокомандующего. Совершенно не был посвящен в события. В случайной беседе его с одним из наших адъютантов выяснилось, что в его распоряжении имеется дисциплинированная поездная охранная команда, которою и сменили за несколько дней до 27-го большевистскую охрану дома главнокомандующего. Кроме того, князь Крапоткин говорил всем солдатам «ты», считая, что они ему годятся во внуки. Других преступлений следствие ему не инкриминировало.

Вскоре генералы Селивачев, Павский и Сергиевский были отпущены. Князю Крапоткину объявили об отсутствии состава преступления 6 сентября, но выпустили только 23-го, когда выяснилось, что нас не будут судить в Бердичеве. Для обвинения нас в мятеже нужно было сообщество восьми человек, никак не меньше. Наши противники были очень заинтересованы этой цифрой, желая соблюсти приличия... Впрочем, отдельно от нас при комендантском управлении содержался в запасе и даже был впоследствии отвезен в Быхов еще один арестованный — военный чиновник Будилович — немощный телом, но бодрый духом юноша, который позволил себе однажды сказать гневно толпе, что она не стоит и мизинца тех, кого заушает[68]... Больше ничего преступного за ним никто не числил. В случайно, может быть, умышленно, попавшем в мою камеру единственном номере газеты на второй или третий день ареста я прочел указ Временного правительства правительствующему сенату от 29 августа:

«Главнокомандующий армиями Юго-западного фронта, генерал-лейтенант Деникин отчисляется от должности главнокомандующего с преданием суду за мятеж.

Министр-председатель А. Керенский.
Управляющий военным министерством Б. Савинков».

Такие же указы в тот же день отданы были о генералах Корнилове, Лукомском, Маркове и Кислякове. Позднее состоялся приказ об отчислении ген. Романовского.

На второй или третий день ареста на гауптвахте появилась приступившая к опросу следственная комиссия, под наблюдением главного полевого прокурора фронта генерала Батога, под председательством помощника комиссара Костицына и в составе членов:

Заведующего юридической частью комиссариата, подполковника Шестоперова;

Члена киевского военно-окружного суда, подполковника Франка;

Членов фронтового комитета, прапорщика Удальцова и младшего фейерверкера Левенберга.

Мое показание, в силу фактических обстоятельств дела, было совершенно кратко и сводилось к следующим положениям: 1) все лица, арестованные вместе со мною, ни в каких активных действиях против правительства не участвовали; 2) все распоряжения, отдававшиеся по штабу в последние дни, в связи

[68] Проделал с Добровольческой армией кубанские походы и служил ей до самой смерти — от сыпного тифа в 1920 г.

с выступлением генерала Корнилова, исходили от меня; 3) я считал и считаю сейчас, что деятельность Временного правительства преступна и гибельна для России; но тем не менее восстания против него не подымал, а, послав свою телеграмму № 145, предоставил Временному правительству поступить со мной как ему заблагорассудится.

Позднее главный военный прокурор Шабловский, ознакомившись со следственным делом и с той обстановкой, которая создалась вокруг него в Бердичеве, пришел в ужас от «неосторожной редакции» показания.

Уже к 1 сентября Иорданский доносил военному министерству, что следственной комиссией обнаружены документы, устанавливающие наличие давно подготовлявшегося заговора... Вместе с тем литератор Иорданский запросил правительство, может ли он по вопросу о направлении дел арестованных генералов действовать в пределах закона, сообразно с местными обстоятельствами, или же обязан руководствоваться какими-либо политическими соображениями центральной власти. Ему был дан ответ, что действовать надлежит, не считаясь ни с чем, как только с законом, и... принимая во внимание обстоятельства на местах[69].

В силу такого разъяснения Иорданский решил предать нас военно-революционному суду, для чего от одной из подчиненных мне ранее дивизией фронта был приготовлен состав суда, а общественным обвинителем предназначен член исполнительного комитета Юго-западного фронта, штабс-капитан Павлов.

Таким образом, интересы компетентности, нелицеприятия и беспристрастия были соблюдены.

Иорданский был так заинтересован скорейшим осуждением меня и заключенных со мной генералов, что 3 сентября предложил комиссии, не ожидая выяснения обстановки во всем ее объеме, передавать дела в военно-революционный суд по группам по мере выяснения виновности.

Костицын, зайдя в мою камеру, от имени Маркова предложил мне обратиться совместно с ним к В. Маклакову с предложением принять на себя нашу защиту. На посланную телеграмму Маклаков ответил согласием. Кроме того, наши близкие, жившие в Киеве, не рассчитывая на своевременность прибытия Маклакова ввиду расстройства железных дорог и торопливости г. Иорданского, пригласили трех киевских присяжных поверенных[70]. Лично меня вопрос этот интересовал весьма условно, так как приговор бердичевского суда был предрешен его составом, обстановкой и настроениями.

Нас угнетала сильно полная неизвестность о том, что делается во внешнем мире. Изредка Костицын знакомил нас с важнейшими событиями, но в комиссарском освещении эти события действовали на нас еще более угнетающе. Ясно было, однако, что власть разваливается окончательно, большевизм все более подымает голову и гибель страны, по-видимому, непредотвратима.

Около 8—10 сентября, когда следствие было закончено, обстановка нашего заключения несколько изменилась. В камеры стали попадать почти ежедневно газеты, сначала тайно, потом, с 22-го, официально. Вместе с тем после смены одной из караульных рот мы решили произвести опыт: во время прогулки по коридору я подошел к Маркову и заговорил с ним; часовые не препятствовали; с тех пор каждый день мы все принимались беседовать друг с другом; иногда караульные требовали прекращения разговора — мы немедленно замолкали, но чаще нам не мешали. Во второй половине сентября допущены были и посетители; любопытство «товарищей» Лысой горы было, по-видимому, уже удовлетворено, их собиралось возле площадки меньше, и я выходил ежедневно на прогулку, имея возможность видеть всех заключенных и иногда перекинуться с ними двумя-тремя словами. Теперь по крайней мере мы знали, что делается на свете, а возможность общения друг с другом устраняла гнетущее чувство одиночества.

Из газет мы узнали, как генерал Алексеев «после тяжкой внутренней

[69] Официальное сообщение.
[70] Возможно, что находятся в Советской России, поэтому имен не называю.

борьбы» принял должность начальника штаба при «главковерхе» Керенском — очевидно, для спасения корниловцев. И как через неделю он вынужден был оставить должность, не будучи в силах работать в тягостной атмосфере нового командования.

Узнали подробно о судьбе Корнилова и о том, что возбужден вопрос о переводе нашей «бердичевской группы» в Быхов, для совместного суда с корниловской группой. Это известие вызвало живейший интерес и большое удовлетворение. С этого дня главной темой бесед был вопрос: повезут или оставят.

Спрошенный мною по этому поводу при обходе камер Костицын ответил:

— Ничего нельзя сделать. Ваш же генерал Батог настаивает на том, что перевод недопустим и что суд должен состояться без замедления здесь, в Бердичеве.

Прокурор Батог — друг революционной демократии! Как странно, реакционер и крепостник. Славившийся жестокостью своих приговоров. Орудие внутренней политики в военном суде старого режима. Тот Батог, который 23 августа, придя ко мне с докладом и глядя в сторону своими бегающими глазами, патетическим голосом говорил по поводу моей телеграммы правительству:

— Наконец-то, этим предателям сказано во всеуслышание прямое и заслуженное ими слово...

Хотел было поделиться с Костицыным своим недоумением, но воздержался: не стоит нарушать трогательной дружбы Батога и Иорданского.

Из газет мы узнали также, что расследование корниловского дела поручено верховной следственной комиссии под председательством главного военно-морского прокурора Шабловского[71].

Около 9 сентября вечером возле здания тюрьмы послышался сильный шум и яростные крики многочисленной толпы. Через некоторое время в мою камеру вошли четыре незнакомых мне лица — смущенные и чем-то сильно взволнованные. Назвали себя председателем и членами верховной следственной комиссии по делу Корнилова[72]. Шабловский несколько прерывающимся еще голосом начал говорить о том, что цель их прибытия вывести нас в Быхов и что по тому настроению, которое создалось в Бердичеве, по неистовству толпы, которая сейчас окружает тюрьму, они видят, что здесь нет никаких гарантий правосудия, одна только дикая месть. Он прибавил, что для комиссии нет никаких сомнений в недопустимости выделения нашего дела и в необходимости единого суда над всеми соучастниками корниловского выступления. Но что комиссариат и комитеты противятся этому всеми средствами. Поэтому комиссия предлагает мне, не пожелаю ли я дополнить показания какими-нибудь фактами, которые бы еще более наглядно устанавливали связь нашего дела с корниловским. Ввиду невозможности производить сейчас допрос под рев собравшейся толпы, решили отложить его до другого дня.

Комиссия ушла; вскоре разошлась и толпа.

Что я мог сказать им нового? Только разве о той ориентировке, которую мне дал Корнилов в Могилеве и через посланца. Но это было сделано в порядке исключительного доверия Верховного Главнокомандующего, которое я ни в каком случае не позволил бы себе нарушить. Поэтому некоторые детали, которые на другой день я добавил к прежним показаниям, не утешили комиссию и не удовлетворили, по-видимому, присутствовавшего при дознании вольноопределяющегося — члена фронтового комитета.

Мы тем не менее ждали с нетерпением освобождения из бердичевского застенка. Но надежды наши омрачались все больше и больше. Газета фронтового комитета методически подогревала страсти гарнизона; доходили сведения, что на заседаниях всех комитетов выносятся постановления не выпускать нас из Бердичева; шла сильнейшая агитация комитетчиков среди тыловых команд гарнизона, собирались митинги, проходившие в крайне приподнятом настроении.

[71] Члены комиссии: военные юристы, полковники Раупах и Украинцев, судебный следователь Колоколов и представители центрального исполнительного комитета Совета р. и с. д. Либер и Крохмаль.
[72] Шабловский, Колоколов, Раупах и Украинцев.

Цель комиссии Шабловского не была достигнута. Как оказалось, еще в начале сентября на требование Шабловского — не допускать сепаратного суда над «бердичевской группой», Иорданский ответил, что, «не говоря уже о переводе генералов куда бы то ни было, даже малейшая отсрочка суда над ними грозит неисчислимыми бедствиями для России — осложнением на фронте и новой гражданской войной в тылу», и что «как по политическим, так и по тактическим соображениям необходимо судить нас в Бердичеве, в кратчайший срок и военно-революционным судом» [73].

Фронтовой комитет и Киевский совет рабочих и солдатских депутатов, невзирая на все убеждения, уговоры, доказательства посетившего их заседание Шабловского и членов его комиссии — на перевод наш не согласились. На обратном пути в Могилеве состоялось совещание по этому вопросу в составе Керенского, Шабловского, Иорданского и Батога. Все, кроме Шабловского, пришли к совершенно недвусмысленному заключению, что фронт потрясен, солдатская масса волнуется и требует жертвы и что необходимо дать возможность разрядиться сгущенной атмосфере ценою хотя бы неправосудия... Шабловский вскочил и заявил, что он не допустит такого циничного отношения к праву и справедливости.

Помню, что рассказ этот вызвал во мне недоумение. Не стоит спорить о точках зрения. Но если по убеждению министра-председателя в вопросе охранения государственности допустимо руководствоваться велением целесообразности, то в чем заключалась вина Корнилова?

14 сентября состоялся диспут в Петрограде, в последней «апелляционной инстанции» — в военном отделе центрального исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов между Шабловским и представителем комитета Юго-западного фронта, поддержанным всецело Иорданским. Последние заявили, что если военно-революционный суд не состоится на месте, в Бердичеве, в течение ближайших пяти дней, то можно опасаться самосуда над арестованными. Центральный комитет, однако, согласился с доводами Шабловского и свою резолюцию в этом духе послал в Бердичев.

Итак, организованный самосуд был устранен. Но в руках революционных учреждений Бердичева был еще другой способ ликвидации «бердичевской группы», способ легкий и безответственный — в порядке народного гнева...

Пронесся слух, что нас везут 23-го, потом сообщили, что отъезд состоится 27-го в 5 часов вечера с пассажирского вокзала.

Вывести арестованных без огласки не представляло никакого труда: на автомобиле, пешком в юнкерской колонне, наконец, в вагоне — узкоколейный путь подходил вплотную к гауптвахте и выводил на широкую колею вне города и вокзала [74]. Но такой способ переезда не соответствовал намерениям комиссариата и комитетов.

Генерал Духонин из Ставки запросил штаб фронта, есть ли в Бердичеве надежные части, и предложил прислать отряд для содействия нашему переезду. Штаб фронта отказался от помощи. Главнокомандующий генерал Володченко накануне, 26-го, выехал на фронт...

Вокруг этого вопроса искусственно создавался большой шум и нездоровая атмосфера ожидания и любопытства.

Керенский прислал комиссариату телеграмму: «...Уверен в благоразумии гарнизона, который может из среды своей выбрать двух представителей для сопровождения».

С утра комиссариат устроил объезд всех частей гарнизона, чтобы получить согласие на наш перевод.

Распоряжением комитета был назначен митинг всего гарнизона на 2 часа дня, т. е. за три часа до нашего отправления и притом на поляне, непосредственно возле нашей тюрьмы. Грандиозный митинг действительно состоялся: на нем представители комиссариата и фронтового комитета объявили распоряжение

[73] Интервью Шабловского в «Речи».

[74] В тот же день утром нас водили без караула при одном сопровождающем в баню, за версту от гауптвахты, и это не привлекло ничьего внимания.

о нашем переводе в Быхов, предусмотрительно сообщили о часе отъезда и призывали гарнизон... к благоразумию; митинг затянулся надолго и, конечно, не расходился. К пяти часам тысячная возбужденная толпа окружила гауптвахту, и глухой ропот ее врывался внутрь здания.

Среди офицеров юнкерского батальона 2-й житомирской школы прапорщиков, несших в этот день караульную службу, был израненный в боях штабс-капитан Бетлинг, служивший до войны в 17-м пехотном Архангелогородском полку, которым я командовал [75]. Бетлинг попросил начальство школы заменить своей полуротой команду, назначенную для сопровождения арестованных на вокзал. Мы все оделись и вышли в коридор. Ждали. Час, два...

Митинг продолжался. Многочисленные ораторы призывали к немедленному самосуду... Истерически кричал солдат, раненный поручиком Клецандо, и требовал его головы... С крыльца гауптвахты уговаривали толпу помощники комиссара Костицын и Григорьев. Говорил и милый Бетлинг — несколько раз, горячо и страстно. О чем он говорил, нам не было слышно.

Наконец, бледные, взволнованные Бетлинг и Костицын пришли ко мне.

— Как прикажете? Толпа дала слово не трогать никого; только потребовала, чтобы до вокзала вас вели пешком. Но ручаться ни за что нельзя.

Я ответил:

— Пойдем.

Снял шапку, перекрестился: Господи благослови!

Толпа неистовствовала. Мы, семь человек, окруженные кучкой юнкеров, во главе с Бетлингом, шедшим рядом со мной с обнаженной шашкой в руке, вошли в тесный коридор среди живого человеческого моря, сдавившего нас со всех сторон. Впереди — Костицын и делегаты (12—15), выбранные от гарнизона для конвоирования нас. Надвигалась ночь. И в ее жуткой тьме, прорезываемой иногда лучами прожектора с броневика, двигалась обезумевшая толпа; она росла и катилась, как горящая лавина. Воздух наполняли оглушительный рев, истерические крики и смрадные ругательства. Временами их покрывал громкий тревожный голос Бетлинга:

— Товарищи, слово дали!.. Товарищи, слово дали!..

Юнкера, славные юноши, сдавленные со всех сторон, своею грудью отстраняют напирающую толпу, сбивающую их жидкую цепь. Проходя по лужам, оставшимся от вчерашнего дождя, солдаты набирали полные горсти грязи и ею забрасывали нас. Лицо, глаза, уши заволокло зловонной, липкой жижицей. Посыпались булыжники. Бедному калеке генералу Орлову разбили сильно лицо; получил удар Эрдели, и я — в спину и голову.

Обмениваемся односложными замечаниями. Обращаюсь к Маркову:

— Что, милый профессор, конец?!

— По-видимому...

Пройти прямым путем к вокзалу толпа не позволила. Повели кружным путем, в общем, верст пять, по главным улицам города. Толпа растет. Балконы бердичевских домов полны любопытными; женщины машут платками. Слышатся сверху веселые гортанные голоса:

— Да здравствует свобода!

Вокзал залит светом. Там новая громадная толпа в несколько тысяч человек. И все слилось в общем море — бушующем, ревущем. С огромным трудом нас провели сквозь него под градом ненавистных взглядов и ругательств. Вагон. Рыдающий в истерике и посылающий толпе бессильные угрозы офицер — сын Эльснера, и любовно успокаивающий его солдат-денщик, отнимающий револьвер; онемевшие от ужаса две женщины — сестра и жена Клецандо, вздумавшие проводить его... Ждем час, другой. Поезд не пускают — потребовали арестантский вагон. Его на станции не оказалось. Угрожают расправиться с комиссарами. Костицына слегка помяли. Подали товарный вагон, весь загаженный конским пометом,— какие пустяки! Переходим в него без помоста; несчастного Орлова

[75] Этот доблестный офицер потом один из первых добровольцев — в первом корниловском кубанском походе в 1918 году был вновь изранен и весною 1919 года умер от сыпного тифа.

с трудом подсаживают в вагон; сотни рук сквозь плотную и стойкую юнкерскую цепь тянутся к нам... Уже десять часов вечера... Паровоз рванул. Толпа загудела еще громче. Два выстрела. Поезд двинулся.

Шум все глуше, тусклее огни. Прощай Бердичев!

Керенский пролил слезу умиления над самоотвержением «наших спасителей» — так он называл не юнкеров, а комиссаров и комитетчиков: «Какая ирония судьбы! Генерал Деникин, арестованный как сообщник Корнилова, был спасен от ярости обезумевших солдат членами исполнительного комитета Юго-западного фронта и комиссарами Временного правительства. Я помню, с каким волнением мы с незабвенным Духониным читали отчет о том, как горсть этих храбрых людей конвоировала арестованных генералов сквозь толпу тысяч солдат, жаждавших их крови» [76]... Зачем клеветать на мертвого? Духонин, наверно, волновался за участь арестованных не меньше, чем за... судьбу их революционной стражи...

Римский гражданин, Понтий Пилат, сквозь тьму времен лукаво улыбался...

Глава XXXVIII. НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ПЕРВОГО ПЕРИОДА РЕВОЛЮЦИИ

Не скоро еще история в широком, беспристрастном освещении даст нам картину русской революции. Той перспективы, которая сейчас открывается нашему взору, достаточно только для того, чтобы уяснить себе некоторые частные явления ее и, быть может, отвергнуть сложившиеся вокруг них предрассудки.

Революция была неизбежна. Ее называют всенародной. Это определение правильно лишь в том, что революция явилась результатом недовольства старой властью решительно всех слоев населения. Но в вопросе о формах ее и достижениях между ними не было никакого единомыслия, и глубокие трещины должны были появиться с первого же дня после падения старой власти.

Революция имела образ многоликий. Для крестьян — переход к ним земли; для рабочих — переход к ним прибылей; для либеральной буржуазии — изменение политических условий жизни страны и умеренные социальные реформы; для революционной демократии — власть и максимум социальных достижений; для армии — безначалие и прекращение войны.

Когда царская власть пала, в стране, до созыва Учредительного собрания, не стало вовсе легальной, имевшей какое-либо юридическое обоснование, власти. Это совершенно естественно и вытекает из самой природы революции. Но люди, добросовестно заблуждаясь или сознательно искажая истину, создали заведомо ложные теории о «всенародном происхождении Временного правительства» или о «полномочности Совета рабочих и солдатских депутатов» как органа, представляющего якобы «всю русскую демократию». Какую растяжимую совесть нужно иметь, чтобы, исповедуя демократические принципы и восставая жестоко против малейшего уклонения от четырехчленной формулы и других правоверных условий законности выборов, считать полномочным органом демократии Петроградский Совет или Съезд советов, порядок избрания которых имел необыкновенно упрощенный и односторонний характер. Недаром Петроградский Совет долгое время стеснялся даже опубликовать списки своих членов. Что касается верховной власти, то не говоря уже о «всенародности» ее происхождения от «частного заседания Государственной Думы», техника ее построения была настолько несовершенной, что повторяющиеся кризисы могли прервать само существование ее и всякие следы преемственности. Наконец, действительно «всенародное» правительство не могло бы остаться одиноким, всеми покинутым — на волю кучки захватчиков власти. То самое правительство, которое в мартовские дни с легкостью получило всеобщее признание. Признание, но не фактическую поддержку.

После 3 марта и до Учредительного собрания всякая верховная власть носила признаки самозванства, и никакая власть не могла бы удовлетворить все классы населения ввиду непримиримости их интересов и неумеренности их вожделений.

[76] «Дело Корнилова».

Ни одна из правивших инстанций (Временное правительство, Совет) не имела за собою надлежащей опоры большинства. Ибо это большинство (80%) устами своего представителя в Учредительном собрании 1918 года сказало: «У нас, крестьян, нет разницы между партиями; партии борются за власть, а наше мужицкое дело — одна земля». Но если бы даже, предрешая волю Учредительного собрания, Временное правительство удовлетворило полностью эти желания большинства, оно не могло рассчитывать на немедленное подчинение его общегосударственным интересам и на активную поддержку: занятое черным переделом, сильно отвлекавшим и элементы фронта, крестьянство вряд ли дало бы государству добровольно силы и средства к его устроению, то есть много хлеба и много солдат — храбрых, верных и законопослушных. Перед правительством оставались бы и тогда неразрешимые для него вопросы: не воюющая армия, не производительная промышленность, разрушаемый транспорт и... партийные междоусобия.

Оставим, следовательно, в стороне всенародное и демократическое происхождение временной власти. Пусть она будет самозваной, как это имело место в истории всех революций и всех народов. Но самый факт широкого признания Временного правительства давал ему огромное преимущество перед всеми другими силами, оспаривавшими его власть. Необходимо было, однако, чтобы эта власть стала настолько сильной, по существу абсолютной, самодержавной, чтобы, подавив силою, быть может, оружием все противодействия, довести страну до Учредительного собрания, избранного в обстановке, не допускающей подмены народного голоса, и охранить это собрание. Мы слишком злоупотребляем элементом стихийности как оправданием многих явлений революции. Ведь та «расплавленная стихия», которая с необычайной легкостью сдунула Керенского, попала в железные тиски Ленина — Бронштейна и вот уже более трех лет не может вырваться из большевистского застенка.

Если бы такая жестокая сила, но одухотворенная разумом и истинным желанием народоправства, взяла власть и, подавив своеволие, в которое обратилась свобода, донесла бы эту власть до Учредительного собрания, то русский народ не осудил бы ее, а благословил. В таком же положении окажется всякая временная власть, которая примет наследие большевизма; и судить ее будет Россия не по юридическим признакам происхождения, а по делам ее.

Почему свержение негодной власти старого правительства есть подвиг, во славу которого Временное правительство предполагало соорудить в столице монумент, а попытка свержения негодной власти Керенского, предпринятая Корниловым, исчерпавшим все легальные средства, и после провокации министра-председателя есть мятеж?

Но потребность сильной власти далеко не исчерпывается периодом до Учредительного собрания. Ведь бывшее Собрание 1918 года напрасно взывало к стране уже не о подчинении, а просто об избавлении его от физического насилия буйной матросской вольницы. И ни одна рука не поднялась на защиту его. Пусть то Собрание, рожденное в стихии бунта и насилия, не выражало воли русского народа, а будущее отразит ее более совершенно. Полагаю, однако, что даже люди с наиболее восторженной верой в непогрешимость демократического принципа не закрывают глаза на неограниченные возможности будущего, которое явится наследием небывалого в истории и никем еще не исследованного физического и психологического перерождения народа.

Кто знает, не придется ли демократический принцип, самую власть Учредительного собрания и его веления утверждать железом и новою кровью...

Так или иначе, состоялось внешнее признание власти Временного правительства. В работе правительства трудно и бесполезно разделять то, что исходило от доброй воли и искреннего убеждения его и что носит печать насильственного воздействия Совета. Если Церетели имел право заявить, что «не было случая, чтобы в важных вопросах Временное правительство не шло на соглашение», то и мы имеем право отождествлять их работу и ответственность.

Вся эта деятельность вольно или невольно имела характер разрушения, не созидания. Правительство отменяло, упраздняло, расформировывало, разрешало... В этом заключался центр тяжести его работы. Россия того периода представляется мне ветхим, старым домом, требовавшим капитальной перестройки. За отсутствием средств и в ожидании строительного периода (Учр. собр.) зодчие начали вынимать подгнившие балки, причем часть их вовсе не заменили, другую подменили легкими, временными подпорками, а третью надтачали свежими бревнами без скреп — последнее средство оказалось хуже всех. И здание рухнуло. Причинами такого строительства были, первое — отсутствие целостного и стройного плана у русских политических партий, вся энергия, напряжение мысли и воли которых были направлены, главным образом, к разрушению существовавшего ранее строя. Ибо нельзя назвать практическим планом отвлеченные эскизы партийных программ; они — скорее законные или фальшивые дипломы на право строительства. Второе — отсутствие у новых правящих классов самых элементарных технических знаний в деле управления, как результат систематического, веками отстранения их от этих функций. Третье — непредрешение воли Учредительного собрания, требовавшее, во всяком случае, героических мер к ускорению его созыва, но вместе с тем и не менее героических мер для обеспечения действительной свободы выборов. Четвертое — одиозность всего, на чем лежала печать старого режима, хотя бы оно имело в основе здоровую сущность. Пятое — самомнение политических партий, каждая порознь представлявших «волю всего народа» и отличавшихся крайней непримиримостью.

Вероятно, долго еще можно бы продолжать этот перечень, но я остановлюсь на одном факте, имеющем значение, далеко не ограничивающееся одним лишь прошлым. Революцию ждали, ее готовили, но к ней не подготовился никто, ни одна из политических группировок. И революция пришла в нощи, застав их всех, как евангельских дев, со светильниками погашенными. Одной стихийностью событий нельзя все объяснить, все оправдать. Никто не создал заблаговременно общего плана каналов и шлюзов для того, чтобы наводнение не превратилось в потоп. Ни одна руководящая партия не имела программы для временного переходного периода в жизни страны, программы, которая по существу и по масштабу не могла ведь соответствовать нормальным планам строительства как в системе управления, так и в области экономических и социальных отношений. Едва ли будет преувеличением сказать, что единственный актив, который оказался в этом отношении к 27 марта 1917 г. в руках прогрессивного и социалистического блоков, был для первого — предназначение министром-председателем князя Львова, для второго — советы и приказ № 1. Потом уже началось судорожное, бессистемное метание правительства и Совета.

К сожалению, эта разница, резко отличающая два периода — переходный и строительный, две системы, две программы до сих пор недостаточно ярко рисуются в общественном сознании. Весь период активной борьбы с большевизмом прошел под знаком смещения двух этих систем, расхождения взглядов и неумения создать переходную форму власти.

По-видимому, и теперь антибольшевистские силы, углубляя свое политическое расхождение и строя планы на будущее, не готовятся к процессу восприятия власти после крушения большевизма, и подойдут к нему опять с голыми руками и мятущимся разумом. Только теперь процесс этот будет неизмеримо труднее. Ибо второй после «стихийности» мотив оправдания неуспеха революции или, вернее, ее первостепенных деятелей — «наследие царского режима» — значительно побледнел на фоне большевистского кровавого тумана, застлавшего русскую землю.

Перед новой властью (Временное правительство) встал капитальнейший вопрос — о войне. От решения его зависела участь страны. Решение в пользу сохранения союза и продолжения войны основывалось на побуждениях этических, в то время не вызывавших сомнений, и практических — до некоторой степени спорных. Ныне даже первые поколебались после того, как и союзники, и противники отнеслись с жестоким, циничным эгоизмом к судьбам России. Тем не менее для меня не подлежит сомнению правильность тогдашнего решения продолжать войну. Можно делать различные предположения по поводу возможностей сепаратного мира — был ли бы он «Брест-Литовским» или менее тяжелым для государства и нашего национального самолюбия. Но надо думать, что этот мир, весною 1917 года, привел бы к расчленению России и экономическому ее разгрому (всеобщий мир за счет России) или дал бы полную победу центральным державам над нашими союзниками, что вызвало бы в их странах потрясения несравненно более глубокие, чем переживает ныне германский народ. Как в том, так и в другом случае не создавалось никаких объективных данных для изменения к лучшему политических, социальных и экономических условий русской жизни и для уклонения в иную сторону путей русской революции. Только, кроме большевизма, в свой пассив Россия внесла бы ненависть побежденных на долгие годы.

Решив вести войну, надо было сохранить армию, допустив известный консерватизм в ее жизни. Такой консерватизм служит залогом устойчивости армии и той власти, которая на нее опирается. Если нельзя избегнуть участия армии в исторических потрясениях, то нельзя и обращать ее в арену политической борьбы, создавая вместо служебного начала преторианцев или опричников, безразлично — царских, революционной демократии или партийных.

Но армию развалили.

На тех принципах, которые положила революционная демократия в основу существования армии, последняя ни строиться, ни жить не может. Не случайность, что все позднейшие попытки вооруженной борьбы против большевизма начинались с организации армии на нормальных началах военного управления, к которым постепенно старалось переходить и советское командование. Никакие стихийные обстоятельства, никакие ошибки военных диктатур и сил, им содействовавших и противодействовавших, повлекшие неудачу борьбы (об этом — правдивое слово впереди), не в состоянии затемнить этой непреложной истины. Не случайность также, что руководящие круги революционной демократии не могли создать никакой вооруженной силы, кроме жалкой пародии — «Народной армии» на так называемом «фронте Учредительного собрания». Это именно обстоятельство привело русскую социалистическую эмиграцию к теории непротивления, отрицания вооруженной борьбы, к сосредоточению всех надежд на внутреннее перерождение большевизма и свержение его какими-то бесплотными «силами самого народа», которые все-таки иначе, как железом и кровью, проявить себя не могут: «великая, бескровная» с начала и до конца тонет в крови... Отмахнуться от огромного вопроса — о воссоздании на твердых началах национальной армии — не значит решить его.

Что же? Со дня падения большевизма сразу наступит мир и благоволение в стране, развращенной рабством, горшим татарского, насыщенной рознью, местью, ненавистью и... огромным количеством оружия? Или со дня падения русского большевизма отпадут своекорыстные вожделения многих иностранных правительств, а не усилятся еще больше, когда исчезнет угроза советской моральной заразы? Наконец, если бы даже вся старая Европа путем нравственного перерождения перековала мечи на орала, разве не возможно пришествие нового Чингисхана из недр той Азии, которая имеет вековые и неоплатные счета за Европой?

Армия возродится. Несомненно.

Но, потрясенная в своих исторических основах и традициях, она, подобно былинным русским богатырям, немало времени будет стоять на распутье, тревожно вглядываясь в туманные дали, еще окутанные предрассветной мглой, и чутко прислушиваясь к неясному шуму голосов, зовущих ее. И среди обманчивых зовов — с великим напряжением будет искать подлинный голос... своего народа.

Конец первого тома

Михаил КРЕПС

Интервью птицы Феникс

Зимний день в датском королевстве

Век вывихнут, и разум оглушен.
День черно-бел, со щек слиняла краска,
Над каждой головою — капюшон,
На каждое лицо надета маска.

Прохожие не раскрывают рта
В боязни то ль мороза, то ль доноса,
На псон зловеще лают ворота,
И фонари на встречных смотрят косо.

Офелия, не по зиме легка,
В дешевенькое пальтецо одета,
Из телефонной будки старика
Торопит двухкопеечной монетой.

А рядом, в снежной пене января,
Порхают кружки над пивной цистерной,
И черный ворон в белые поля
Увозит Розенкранца с Гильденстерном.

Порвалась связь времен, и дни белы,
Как лица, уличенные в неправде,
И в каждом сердце — черные углы,
И каждый встречный — Гамлет или Клавдий.

В квартире полдень немощен и нем.
Перед камином рваных писем груда.
Накладывая на морщины крем,
Глядится постаревшая Гертруда
В трюмо. Туда не лучше, чем оттуда.

Чаепитие с Бродским

Бог на тепло наложил вето.
На февральских дорогах мокрая вата.
Тьма распространяется со скоростью света,
Игнорируя Ватта.

Лишь тапёр-буран мелодию ночи
Напролет играет мольто виваче
По висящим в воздухе нотам с поче-
Рневшими воробьями, один, лохмаче

Другого. Спой мне, голубка-стужа,
Немудреную песенку о природе
Вещей, о месяце, севшем в лужу,
Об извечном круговороте

Человека в мечте. За воскресным чаем
Поболтать нам либо о запредельном
С мысленным собеседником. Воскресенья чаем
Вместе, а ужинаем отдельно.

В феврале в подворотнях все кошки белы.
В поддавки с замерзанием снег есть фора
Новым открытиям, так Изабелла,
Посылая невесть куда Христофора,

Награждала дукатами. Повесть века,
Даже многих веков. Но уже нет новых
Ни земель, ни монархов, ни человека
Ради страсти на риск готового. Казановы

Вывелись. И Бог с ними. Вернее, с нами,
Ибо нам посылается эта манка
Для стуженья страстей. Кумпола наполняются снами,
И сознание скатывается на санках

Вниз с горы. Затыкаются рты и щели —
У Всевышнего нет недостатка в вате,
Превращающей мозг в открытие Торричелли,
А предметы вокруг — в предметы в квадрате.

Птичка

Летучей тенью океан даря,
Закон вещей земных опровергая,
В сиреневой оправе сентября
Резвится знак обещанного рая,
В воздушной и морской волне паря,
Зрачком чужим, как мячиком, играя.
А наши тени рядом босиком
Проходят влажным медленным песком
В тот край, что только верою взыскать,
Преград и тел нисколько не стесняясь,
И пятка вновь сливается с носком,
Водою океанской наполняясь.
Для тени нет ни времени, ни стран,
И птичка, как оптический обман,
То обретая форму, то теряя,
Сшивает небосвод и океан,
Шов горизонта ровный оставляя,
Собой то нитку, то иглу являя.

Окно

Потолок. Кулаки кровожадные ламп —
Голубого столетья наследство.
Справа — вжившийся в чад сковородок эстамп,
Слева — вешалка, впавшая в детство.
Взбаламученный, взбалмошный, бальный рояль,
С малолетства приученный к тряскам,
Переездам, скандалам, нечистым делам,
Возбужденным телам и подвязкам.

Глухота щуплых стен, бледных, как полотно,
Выдающих разлад за беспечность,
Но смотрящее в звездное небо окно,
Но окно, выходящее в вечность.

Листопад неудач

Полночь чертит над городом контуры труб,
Жарко ветер скользит по бессоннице губ,
По усталости рук бродит, сух и горяч,
Листопад неудач, листопад неудач.

Рвется давняя память сквозь дней провода,
И поет, и кричит: Никогда, никогда
Ты не сможешь забыть этот смех, этот плач.
Листопад неудач, листопад неудач.

Ты бросаешься в ночь, ты садишься в такси
И, как вызов, бросаешь шоферу: Вези!
Мимо сонных домов, мимо рощ, мимо дач,
Листопад неудач, листопад неудач.

Утихает печаль, утекает тепло,
И врывается ночь в ветровое стекло,
И уносится прошлое с дымом табач-,
Листопад неудач, листопад неудач.

Ты пощады у стрелок часов не проси,
Словно выстрел, захлопнется дверца такси,
Ты в глаза светофоров отчаянье спрячь,
Листопад неудач, листопад неудач.

Вдоль дороги незрячие плачут дома,
Тянет руки навстречу тревожная тьма.
Ах, луна, над моей головой не маячь!
Листопад неудач, листопад неудач.

Интервью птицы Феникс

— Уважаемая птица Феникс,
Расскажите нашим телезрителям,
Как вам удается
Возродиться из пепла?

— О, это очень просто.
Сначала нужно сгореть дотла.

— Как, совсем?
— Да, совсем.
Чтоб не осталось
Никаких угольков,
Ни тем более головешек,
Лишь ровный, мягкий
Серо-сизый пепел.

— А потом?
— А потом нужно сосредоточиться
На одной мысли.
— На какой?
— На мысли о возрождении.
— А дальше?
— А дальше нужно преодолеть
Свою косность.
— Птица Феникс,
Пожалуйста,
Расскажите подробнее,
Как вы это делаете?

— Сначала я сосредоточиваюсь
На мысли о возрождении,
Потом нечеловеческим усилием воли
Преодолеваю свою косность
И возрождаюсь.
— Но как преодолеть свою
косность?
— Нечеловеческим усилием воли.
— Где взять это нечеловеческое
усилие?
— Сосредоточиться на мысли
о возрождении.
— Как на ней сосредоточиться?
— Сначала нужно сгореть дотла.
— Без головешек?
— Без головешек.
— А потом?
— А потом возродиться из пепла.

Георгины

Большие пыльные георгины
железнодорожных станций,
Где скорые поезда
останавливаются
отдохнуть от прогонов,
И незнакомые дети смотрят,
не нарушая дистанции,
На странные головы,
выглядывающие из вагонов.
Торопливые руки
просовывают в окна
кульки с черешней,
Кричит по трансляции то ли Зыкина,
то ли Пьеха,
И жеваный стрелочник,
стоя перед своей скворечней,
Поднимает сигнальный флажок,
дескать, надо ехать.
И поезд трогается,
и пыльные георгины
Прощально глядят
на сидящих внутри
с незнакомыми именами,
И станция машет рукой
сначала из-за кустов малины,
Потом из-за леса,
потом из воспоминаний.

Общежитие

Мелькают кубики дверей перекликающиеся —
В девичьих комнатках любовь не вытанцовывается,
И рвутся нити давних дружб переплетающиеся,
И с корнем первая любовь не выкорчевывается.

А парни хлопают дверьми, не оборачиваются,
Уходят, в общем, навсегда, а врут — прогуливаются
На спинки транспортных сидений облокачиваются
И незаметно, как и все вокруг, ссутуливаются.

Ответ на заданный вопрос не подворачивается,
И жвачка будничных забот не пережевывается,
В кроватках девочки не спят — переворачиваются,
Но все же, как и все вокруг, перекантовываются.

Сергей СКВЕРСКИЙ

Два стихотворения

Современная поэзия

Бог очень естественно подменяется образом Бога
И далее плавно перетекает в образ лирического героя,
Который, будучи задрапирован в изысканность слога,
Прежде всего озабочен собственною игрою.
Игра же, будучи обозначена как некий экзистенциальный
поиск,
Если и воспринимает Бога, то походя, всуе,
Но в общем-то явно нацелена на некий абстрактный подвиг,
И, собственно, сам герой ее навряд ли интересует.
А просто необходимо его пометить
(чтоб не украли) каким-то личностным кодом,
И после, не торопясь, трезво помыслив, ответить,
Как в шахматах, быстрым и точным стилистическим ходом,
Раз и навсегда, своею подчеркнутой белизною,
Лексикой и семантикой обозначить: «Мы с этими, а не с теми»,
Тонкою линией с тщательно подсчитанной кривизною
Отгородиться от чуждой и загодя непригодной системы.
И все же поэзия есть последовательное выявление самости
С четким соотношением количества мыслей и количества Бога,
И царица наук, математика, должна бы лопнуть от зависти
Перед каждой легчайшею стихотворной постройкой,
В которой все так точно, и прочно, и строго.

* * *

Любой наш выдох — не сама ль душа,
По капле в воздух выходящая, а вдоху
Дано вобрать в себя дух города, эпоху —
По миллиграмму, многократно, не спеша.

Как всем знакомо это вещество —
С небес стекающая мозглая отрава,
Осадок времени. Едва ли нам по нраву
Процесс извечного вдыхания его.

Но есть особый, петербуржский яд.
Он сконцентрирован в кресте, фасаде, шпиле,
Ни дым отечества, ни дождь, ни тучи пыли
Его не смоют, не сотрут, не испарят.

Как будто рыбу к месту нереста, домой
Ее влекло, и вот — расправилась, вздохнула,
Блестит — судьбу мою, кораблик утлый мой
Игла адмиралтейская проткнула.

Полней вбирай, адмиралтейский шприц,
Наркотик сладостный, вливай щедрее в вены
Дурманный сон, и станут ярки, вдохновенны
Черты и образы времен, событий, лиц.

●

М. ВОСЛЕНСКИЙ

Номенклатура

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

Власть

Опыт истории показывает, что господство каждого класса всегда было властью незначительного меньшинства над огромным большинством. Обеспечение устойчивости такой системы требует многообразных тщательно продуманных мер. Тут прямое насилие над недовольными и угроза его применения в отношении потенциальных противников, экономическое давление и поощрение, идеологическое одурманивание и не в последнюю очередь маскировка подлинных отношений в обществе.

Так было всегда. Власть класса феодалов маскировалась как освященная Богом власть короля и тех, кому он ее делегировал. Господствующий класс стремится скрыть факт своего господства.

Этот класс в советском обществе идет в своей маскировке еще дальше: он скрывает самое свое существование. В области теории выдвигается с этой целью сталинская схема. На практике класс «управляющих» употребляет все свое искусство мимикрии, чтобы представить себя частью нормального — хотя при реальном социализме всегда патологически раздутого — государственного аппарата, армии обычных служащих, которые есть во всех странах мира.

...Они так же являются на работу к 9 часам утра, сидят за письменными столами, звонят по телефонам, проводят часы на совещаниях, не носят формы или знаков различия—как их выделить? Где границы «нового класса»?

Мы имеем дело не с социологической схемой, а с реальной общественной жизнью. В реальной жизни границы между слоями общества всегда несколько размыты огромным многообразием отдельных случаев. В этих условиях сознательное стремление класса «управляющих» спрятаться в массе служащих делает границы этого класса вообще едва обнаружимыми.

Помогает одно решающее обстоятельство: у «нового класса» есть потребность — психологическая, а главное, практическая — самому очертить свою границу. Класс «управляющих» и его руководители должны сами точно знать, кто в него входит.

В этом — объективный смысл номенклатурной системы.

Номенклатура и есть пресловутый «один из отрядов интеллигенции», «профессионально занимающийся управлением» и поставленный «в несколько особое положение по отношению к тем, кто занят исполнительским трудом». Ей и принадлежит «особое место в общественной организации труда при социализме». Зачисленные в номенклатуру и есть «лица, которые от имени общества... выполняют организаторские функции в производстве и во всех других сферах жизни общества». Номенклатура — та организованная Сталиным и его аппаратом «дружина», которая научилась властвовать, а в годы ежовщины перегрызла горло ленинской гвардии. Номенклатура и есть господствующий класс советского общества. «Новый класс» — это номенклатура.

Она знает это и окружает себя завесой секретности. Все данные о номенклатурных должностях хранятся в строгой тайне. Списки номенклатуры считаются совершенно секретными документами. Только крайне ограниченному кругу лиц рассылаются отпечатанные типографским способом в виде книжки с заменяющимися листами «Списки руководящих работников» — хотя, казалось бы, что в них секретного?

Живя в условиях капитализма, Маркс объявил основой классов собственность. Но является ли обладание собственностью важнейшим признаком номенклатуры?

Номенклатура возникла как историческое продолжение организации профессиональных революционеров, сделавшихся после победы революции профессиональными правителями страны. Номенклатура — это «управляющие». Функция управления — стержень номенклатуры.

С точки зрения исторического материализма речь идет об управлении общественным производством. Во всех

© Михаил ВОСЛЕНСКИЙ. **Номенклатура.** Господствующий класс Советского Союза. Overseas publications Interchange Ltd. London, 1985.

формациях господствующий класс осуществляет такую функцию. Но было бы неверно игнорировать существенную разницу в этом отношении между классом номенклатуры и классом буржуазии, управляющим общественным производством при капитализме.

Буржуазия руководит в первую очередь именно экономикой, непосредственно материальным производством, а уже на этой основе играет роль и в политике. Так пролег исторический путь буржуазии от ремесла и торговли, от бесправия третьего сословия к власти.

Иначе проходит исторический путь номенклатуры. Он ведет от захвата государственной власти к господству и в сфере производства. Номенклатура осуществляет в первую очередь именно политическое руководство обществом, а руководство материальным производством является для нее уже второй задачей. Политическое управление — наиболее существенная функция номенклатуры.

В своей совокупности номенклатура обеспечивает всю полноту власти в обществе. Все действительно подлежащие выполнению решения в стране реального социализма принимаются номенклатурой. Эта особенность делает необходимым четкое разделение политико-управленческого труда в номенклатуре.

Такое разделение существует, и правила его неукоснительно соблюдаются. Это ведь лишь посторонние наблюдатели полагают, что вся власть в СССР принадлежит Политбюро ЦК или — что еще наивнее — всему ЦК КПСС. В действительности же, хотя власть Политбюро огромна, она введена в определенные функциональные рамки. Функциональные потому, что такое ограничение власти Политбюро не имеет никакой связи с демократией или «либерализмом», а целиком определяется разделением труда в классе номенклатуры.

Так, Политбюро, разумеется, может назначить — или, как принято говорить, «рекомендовать» — председателя колхоза. Но это было бы вопиющим нарушением установленных правил и было бы встречено молчаливым недоумением номенклатуры (если, конечно, речь не шла бы о разжаловании в председатели колхоза кого-либо из высокопоставленных лиц, входящих в номенклатуру Политбюро). При повторении нарушения недоумение правящего класса быстро переросло бы в столь же молчаливое, но интенсивное неодобрение. Поэтому, казалось бы, всемогущее Политбюро таких экспериментов не проводит и председателей колхозов уверенно назначают бюро райкомов партии.

Ясное осознание номенклатурой принципа разделения в ее рамках политико-управленческого труда нашло отражение и в номенклатурном жаргоне. На этом косноязычном, но всегда точно выражающем понятия волапюке принято говорить, что вышестоящие в номенклатуре не должны «подменять» нижестоящих.

Каждый номенклатурщик имеет свой отведенный ему участок властвования. Здесь заметно сходство режима номенклатуры с феодальным строем. Вся номенклатура является своеобразной системой ленов, предоставляемых соответствующим партийным комитетом — сюзереном его вассалам — членам номенклатуры этого комитета. Известно, что на заре средневековья эти лены состояли не обязательно из земельных наделов, но, например, и из права собирать дань с населения определенных территорий. Не кто иной, как Маркс, писал о «вассалитете без ленов или ленах, состоящих из дани». Номенклатурный «лен» состоит из власти.

Даже термин, применяемый в партжаргоне к номенклатуре, соответствует средневековому русскому термину, применявшемуся по отношению к вассалам: «посадить». О князе говорили в феодальной Руси, что сам он «сел на княжение», своих же ленников «посадил» в различные города и области; отсюда и термин «посадник» (княжеский уполномоченный). В сегодняшней советской номенклатуре вы тоже то и дело слышите, что товарища такого-то «посадили на министерство», «посадили на область», «посадили на кадры».

Главное в номенклатуре — власть. Не собственность, а власть. Буржуазия — класс имущий, а потому господствующий. Номенклатура — класс господствующий, а потому имущий. Капиталистические магнаты ни с кем не поделятся своими богатствами, но повседневное осуществление власти они охотно уступают профессиональным политикам. Номенклатурные чины — сами профессиональные политики, и даже когда это тактически нужно, боятся отдать крупицу власти своим же подставным лицам. Зав. сектором ЦК спокойно относится к тому, что академик или видный писатель имеет больше денег и имущества, чем он сам, но никогда не позволит, чтобы тот ослушался его приказа.

Он фанатик власти. Это не значит, что ему чуждо все остальное. По природе он отнюдь не аскет. Он охотно и много пьет, главным образом дорогой армянский коньяк; с удовольствием и хорошо ест — икру, севрюгу, белужий бок — то, что получено в кремлевской столовой или в буфете ЦК. Если нет угрозы скандала, он быстренько заведет весьма неплатонический роман. У него есть принятое в его кругу стандартное хобби: сначала это были футбол и хоккей, потом — рыбная ловля, теперь — охота. Он заботится о том, чтобы достать для своей новой квартиры финскую мебель и купить через книжную экспедицию ЦК дефицитные книги (конечно, вполне благонамеренные).

Но не в этом радость его жизни. Его радость, его единственная страсть в том, чтобы сидеть у стола с правительственной вертушкой, визировать проекты решений, которые через пару дней ста-

нут законами; неторопливо решать чужие судьбы; любезным тоном произносить по телефону: «Вы, конечно, подумайте, но мне казалось бы, что лучше поступить так», — и потом, выпрямляясь в своем жестком (чтобы не было геморроя) кресле, знать, что он отдал приказ и этот приказ будет выполнен. Или приехать на заседание своих подопечных: маститых ученых или видных общественных деятелей с громкими именами, сесть скромно в сторонке и спокойно, с глубоко скрытым удовольствием наблюдать, как побегут к нему из президиума маститые и видные просить указаний.

Ради этого главного наслаждения своей жизни он готов расстаться со всем остальным: и с финской мебелью, и даже с армянским коньяком. После своего падения Хрущев говорил, что вот всем пресыщаешься: едой, женщинами, даже водкой — только власть такая штука, что чем ее больше имеешь, тем больше ее хочется. Побывавший сам на вершинах номенклатуры Джилас назвал власть «наслаждением из наслаждений».

Это наслаждение, сладостное для номенклатуры в масштабе городка, района, области, огромно в масштабе страны, раскинувшейся от Швеции до Японии. Но еще острее оно, когда можно вот так же по телефону вежливо отдавать приказы другим странам, запомнившимся по школьной географии как дальняя заграница. Варшава, Будапешт, Берлин, София, Прага, сказочно далекие Гавана, Ханой, Аддис-Абеба... Во время интервью в своем кремлевском кабинете Брежнев не удержался и показал корреспондентам «Штерн» телефон с красными кнопками прямой связи с первыми секретарями ЦК партий социалистических стран. Нажмешь кнопку, справишься о здоровье, передашь привет семье — и дашь «совет». А потом откинешься на спинку жестковатого кожаного кресла и с сытым удовольствием подумаешь о том, как сейчас в чужой столице начинают торопливо приводить «совет» в исполнение.

«Номенклатура неотчуждаема»

Вошедший в номенклатуру товарищ с полным основанием может считать, что находится в ней прочно. Если не будет никаких потрясений и массовых чисток, если он не навлечет на себя гнев высшего начальства, если он будет в дружеских отношениях с влиятельными коллегами по номенклатуре и будет соблюдать все ее писаные и, главное, неписаные порядки, то он должен попасть в очень уж скандальную историю, чтобы быть выброшенным из номенклатуры.

Может быть, тут и рассуждать не о чем? Просто номенклатурщик будет продвигаться вверх, а потому все последующие должности тоже, естественно, окажутся номенклатурными. Таково, как известно, положение в офицерском корпусе всех армий и в чиновничестве. Хорошо, номенклатура не армия. Но, может быть, она — чиновничество?

Чиновничество в капиталистических странах — сила подчиненная, исполнительская. Она обслуживает государство. Несменяемость чиновников, гарантированное им постепенное продвижение и повышенная пенсия — это компенсация, которую буржуазное государство дает своим слугам, получающим значительно меньшее жалованье, чем служащие частнокапиталистического сектора. Такая компенсация лишь внешне имеет некоторые черты сходства с привилегиями господствующего при реальном социализме класса номенклатуры.

По существу же между чиновничеством и номенклатурой ничего общего нет. В этом легко убедиться, поставив вопрос: кто является определяющей силой для чиновничества и для номенклатуры, чью волю они выполняют? Тут и выясняется, что чиновники выполняют приказы государственных органов, тогда как номенклатура сама диктует свою волю этим органам — через решения, мнения и указания руководящих партийных инстанций. Чиновники — привилегированные слуги, номенклатурщики — самовластные господа.

Неудивительно, что при ближайшем рассмотрении оказываются различными и те черты положения чиновников и номенклатурщиков, которые сначала показались общими. В номенклатуре нет характерной для любого чиновничества жесткой иерархии рангов, обеспечивающей сравнимость чиновничьих постов в различных сферах государственной структуры. А главное — в номенклатуре нет составляющего суть чиновничества планомерного перемещения всех чиновников вверх по ступенькам этой иерархической лестницы.

Конечно, бывает такой вариант номенклатурного пути: директор завода — начальник управления — начальник главка — зам. министра — министр. Но есть немало менее удачливых номенклатурщиков, которые движутся по другой траектории: директор текстильного комбината — директор приборостроительного завода — директор мукомольного комбината, а то и так: редактор областной газеты — зам. министра местной промышленности республики — зав. сельскохозяйственным отделом обкома партии. Легко меняются специальности, кабинеты и персональные машины, незыблемой остается принадлежность к номенклатуре.

Эта незыблемость гарантируется самим порядком формирования номенклатуры. Освобождает от номенклатурной должности тот орган, который на нее утверждал. Но правило таково, что освобождают от одной должности, назначая тут же на другую (или в связи с уходом на пенсию). Значит, освобожденного номенклатурного работника назначает на новую должность тот же орган, а назначать он может только на номенклатурные должности.

Мы упомянули уход на пенсию. Каза-

лось бы, уж тут-то, поскольку никакой должности человек больше не занимает, принадлежность к номенклатуре автоматически прекращается. Ничего подобного. Просто меняется обозначение: вместо номенклатурного работника товарищ именуется отныне персональным пенсионером местного, республиканского или союзного значения. Смысл этого нелепого названия в том, что персональная пенсия утверждена ему в первом случае бюро горкома, райкома или обкома партии; во втором случае — бюро ЦК нацкомпартии; в третьем — Секретариатом или даже Политбюро ЦК КПСС. Это уже известная читателю схема классификации номенклатуры. Пенсия оказывается не персональной, а номенклатурной.

Бывают случаи удаления провинившегося из номенклатуры? Они нередки были при Сталине. Тогда в таких случаях обычно происходило физическое уничтожение изгоняемого. Такой порядок доходил до самых верхов номенклатуры.

После смерти Сталина нравы изменились. Хотя Берия и его ближайшие приспешники были расстреляны, менее близкие его сообщники уцелели. Анатолий Марченко сообщает, что в начале 60-х годов во Владимирской тюрьме в хорошо обставленной камере сидели сытые «бериевцы», явно находившиеся в привилегированном положении.

Появилась новая, неизвестная в сталинские времена черта: даже падшие ангелы номенклатуры сохраняли отблеск своего благородного происхождения.

Положение номенклатурщика настолько устойчиво, что ему сходят с рук даже политические погрешности—разумеется, в определенных рамках.

Почитайте советские газеты — вы нередко встретите там сетования по поводу того, что даже заведомо провалившиеся работники просто перемещаются на новую номенклатурную должность. Но сетования продолжаются уже много лет, а порядок не меняется — верный признак того, что газетные вздохи предназначены лишь для успокоения рядовых читателей. Даже в тех редких случаях, когда человек формально выбывает из номенклатуры, он остается привилегированным по сравнению с обычными гражданами и до конца дней своих сохранит отблеск номенклатурного величия.

«...Номенклатура неотчуждаема так же, как и капитал в буржуазном обществе,— говорится в ленинградской Программе участников Демократического движения в СССР.— Она служит правовой основой нашего строя аналогично праву частной собственности при капитализме».

Это то явление, о котором писал Маркс: «Капиталист не потому является капиталистом, что он управляет промышленным предприятием,— наоборот, он становится руководителем промышленности потому, что он капиталист».

Номенклатура именно потому неотчуждаема, что она не должность, а класс.

Как мы видели, эта неотчуждаемость возникла не сразу. Сталин явно не был склонен предоставлять своему детищу такую привилегию. Истребив в соответствии с волей номенклатуры ленинскую гвардию, Сталин упорно оставлял за собой право и в дальнейшем уничтожать любого, независимо от его принадлежности к номенклатуре.

Мне запомнилась точная формулировка ситуации, данная покойным Дмитрием Петровичем Шевлягиным, впоследствии заведующим Отделом информации ЦК КПСС. Как-то в 1952 году поздним вечером я был у Шевлягина в ЦК, где он занимал тогда пост заведующего итальянским сектором во Внешнеполитической комиссии — нынешнем Международном отделе ЦК. Нашу беседу прервал звонок по вертушке: руководящий работник МИДа спрашивал о перспективах дела некоей пары — итальянца и русской.

— Какие же перспективы? — произнес в трубку Шевлягин.— Органы занимаются этим делом серьезно. Итальянца, возможно, вышлют, а она советская гражданка, так что ее судьба целиком в руках органов.

Четко осознанный факт, что судьба не только обычного советского гражданина, но и номенклатурного работника целиком в руках свирепых бериевских органов, вызывал молчаливое, но глубокое недовольство номенклатуры. После смерти Сталина оно отлилось в формулу: «Сталин и Берия поставили органы госбезопасности над партией и государством».

Нежелание Сталина обеспечить неотчуждаемость номенклатуры являлось фактически единственным кардинальным пунктом ее расхождения со старым диктатором. Это проявилось уже на XX съезде КПСС.

Со свойственной ей определенностью политического мышления номенклатура породила формулу того, что она инкриминирует Сталину. Это не массовые репрессии, не жестокие репрессии, а необоснованные репрессии. Если не считать заведомо запоздалых, а потому неискренних вздохов о ленинской гвардии, под категорию «необоснованных» подводятся репрессии только против членов класса номенклатуры. Остальные были, видимо, обоснованными, и, во всяком случае, репрессированных не жалко: это были обычные советские граждане, судьба которых, естественно, и была полностью в руках органов. Можно не сомневаться, что "Один день Ивана Денисовича» был бы встречен номенклатурой гораздо приветливее, если бы Солженицын сделал своего Шухова не безвинно пострадавшим колхозником, а безвинно пострадавшим секретарем обкома.

Партийное руководство после Сталина в несколько приемов провело перетряхивание органов госбезопасности: в 1953 году в связи с прекращением «дела врачей», в 1953—1954 годах в связи с делом Берии, в 1955 году — после падения Маленкова и в 1956 году — после XX съезда партии. Партаппарат подмял под себя разворошенные органы госбезопасности и решительно пресек их вольности в отношении номенклатуры. Из таинственного страшилища, перед которым дрожали даже руководящие работники ЦК, эти органы стали тем, чем они являются теперь: тесно связанной с партаппаратом и подчиненной ему тайной политической полицией. Соотношение примерно таково: старшее звено в аппарате КГБ докладывает среднему звену (инспекторы, инструкторы, референты) соответствующего партийного органа.

Укрощение КГБ явилось наиболее важным шагом к неотчуждаемости номенклатуры. Остальное легко улаживается на основе культивируемых в номенклатуре круговой поруки и кастового духа.

Неотчуждаемость номенклатуры — важная гарантия для «нового класса». В советской пропаганде справедливо подчеркивается значение таких социалистических завоеваний, как бесплатное медицинское обслуживание населения, бесплатное обучение, низкая квартплата. О социалистическом завоевании «нового класса» — неотчуждаемости номенклатуры — пропаганда молчит. Между тем из всех социалистических завоеваний именно это имеет наибольшее значение для формирования всего уклада жизни в условиях реального социализма.

Класс деклассированных

В нацистском рейхе всегда ценилось арийское, в Советском Союзе — пролетарское происхождение. Советские пропагандисты немало потрудились, чтобы найти доказательства неарийского происхождения нацистских главарей. Труды не увенчались успехом, несмотря на явно ненордическую внешность. Те же пропагандисты еще более усердно трудились, чтобы найти доказательства пролетарского происхождения советских вождей. И эти труды не увенчались успехом: несмотря на все попытки вождей изображать из себя потомственных пролетариев, рабочими они никогда не были.

Ничего удивительного в этом нет. Ленин, создавая зародыш класса номенклатуры — организацию профессиональных революционеров,— отнюдь не стремился формировать ее из рабочих. Набившиеся в сталинскую номенклатуру карьеристы тоже не обязательно были выходцами из рабочего класса.

Но открыто признать это было немыслимо трудно. Партия выдавалась за «передовой отряд рабочего класса», «организованный отряд рабочего класса», «высшую форму классовой организации пролетариата».

Одна легенда порождала другую. Было провозглашено, что руководство и аппарат партии целиком относятся к рабочему классу. И вот оплывшие нежным жирком партработники, ни часу в жизни не пробывшие в цехе, выводили холеной рукой в анкете в графе «социальное положение»: «рабочий». Смехотворность процедуры была явной: вздох облегчения пронесся по номенклатурным кабинетам, когда партия была наконец объявлена «общенародной». Но и до сих пор нет-нет, да помянут, что какой-либо руководящий номенклатурщик начинал-де свою трудовую жизнь рабочим. Это мыслится как иллюстрация тезиса о том, что в СССР стоят у власти представители рабочего класса, осуществляющего таким образом свою руководящую роль в советском обществе.

Между тем то, что многолетний секретарь обкома 40 лет назад был в течение одного года рабочим, отнюдь не доказывает, что он сейчас представитель рабочего класса. Во время войны мы, студенты Московского университета, были направлены на сельскохозяйственные работы, так что я начинал свою трудовую деятельность рабочим совхоза; не называюсь же я теперь по этому поводу пролетарием! Пребывание такого, с позволения сказать, бывшего рабочего на посту секретаря обкома отнюдь не свидетельствует, что страной управляет рабочий класс. Немало американских миллионеров старшего поколения начинали, как известно, чистильщиками сапог, но это не значит, что при капитализме господствующим классом США являются чистильщики сапог.

Впрочем, неверно полагать, что большинство обкомовских секретарей и вообще номенклатурщиков хоть когда-нибудь, хоть одну недельку числились рабочими. Из каких социальных групп рекрутируется номенклатура?

Попробуем поискать ответ в скудных статистических данных, проникших в печать только благодаря понятному желанию партийной пропаганды показать «народный» характер номенклатуры.

В 1971 году журнал ЦК КПСС «Коммунист», как всегда, с законной гордостью сообщил, что 80% секретарей ЦК нацкомпартий, крайкомов и обкомов КПСС, а также около 70% министров и председателей Госкомитетов СССР — выходцы из рабочих и крестьян.

Гордиться нечем. 70—80% — ниже, чем процент рабочих и крестьян в партии даже в те годы, когда эти ведущие номенклатурщики начинали свою карьеру: так, в «год великого перелома», в 1929 году, доля последних составляла 87,7% членов КПСС. Зато названные 70—80% в полной мере совпадают с долей рабочих и крестьян в населении страны в целом. В чем же тогда специфика социального состава этого авангарда в передовом отряде рабочего класса? Присмотримся к статистике повнимательнее.

Почему цифра дана для рабочих и крестьян вместе? Речь идет о кадрах партии рабочего класса в условиях диктатуры пролетариата, крестьяне здесь, казалось бы, не нужны.

Нет, нужны. Почитайте появляющиеся то и дело в советской печати однотип-

ные некрологи номенклатурных чинов старшего поколения. Вы увидите: подавляющее их большинство — выходцы из крестьян. Каково бывает соотношение рабочих и крестьян в номенклатуре, видно из такого примера: в 1946 году в Минской области было 855 руководящих работников, в том числе из крестьян 709 — почти 80%, а из рабочих — всего 58 человек.

Тезис о пролетарском происхождении номенклатурщиков подтверждения в этом не находит. Но определенная социальная закономерность за такими цифрами видна. Она не в том, будто бы КПСС — авангард рабочего класса. Она в том, что, когда минские номенклатурщики начинали свою карьеру, крестьянство действительно составляло около 80% населения страны, а рабочих действительно было незначительное меньшинство. Мы снова наталкиваемся на упрямый факт, что социальное происхождение номенклатуры просто соответствует социальному составу всего населения. Специфики нет. Точнее сказать, именно в этом и состоит специфика: на словах якобы пролетарская, номенклатура рекрутируется на деле в равной степени из всех слоев населения.

Ну что же? Нет пролетарского характера, так по крайней мере есть демократический, представительный характер номенклатуры. Кстати, по мере роста удельного веса рабочего класса в населении СССР окажется, таким образом, обеспеченным преобладание рабочих в номенклатуре. Не так ли?

Нет, не так. Нет и никакого представительного характера у номенклатуры. Пролезая туда, жаждущие возвышения идут туда не как представители, а как сознательные ренегаты класса, из которого происходят.

Вы побеседуйте с ними: о своем бывшем классе они будут говорить словами передовиц «Правды». А если разговор станет совсем задушевным, вы обнаружите, что они с антипатией и насмешливым презрением относятся к классу, прах которого отряхнули со своих обутых в импортную обувь ног.

Враждебная отрешенность от своей прежней социальной среды — характерная психологическая черта номенклатурных чинов. Никакие они не «представители»: вскарабкавшись на номенклатурную лестницу, они представляют только самих себя.

Номенклатура сознательно и с полным основанием рассматривает себя как новую социальную общность. Эта общность воспринимается номенклатурщиками не просто как отличная от других классов общества, но как противостоящая им и имеющая право взирать на них сверху вниз. Такое восприятие вполне обосновано — только не добродетелями номенклатуры, а тем, что она как господствующий класс действительно противостоит всем прочим классам советского общества и действительно находится над ними.

В номенклатуре объединены не представители других классов, а выскочки из них. Номенклатура — класс деклассированных.

Не думайте, читатель, что номенклатурщики — выродки, моральные уроды. Это люди, которым ничто человеческое не чуждо и даже очень не чуждо. На Западе их представляют себе или аскетическими революционерами, или демоническими злодеями, или и тем и другим вместе. А они ни то и ни другое. Они совсем не революционеры и отнюдь не аскеты; за редкими исключениями, сконцентрированными главным образом в КГБ, нет в них ничего демонического. Это — деклассированные, которых жажда господства и умение ее удовлетворить объединяют в слой, ставший правящим классом общества. Соответственно и социальная психология номенклатуры не пролетарская, а по преимуществу крестьянско-мещанская, точнее, кулацкая.

Неудивительно: ведь именно тот человеческий тип, который в прежних условиях в русской деревне, охватывавшей тогда 80% населения страны, выбивался в кулаки и лабазники, выходит сейчас в номенклатуру. Речь идет не об идеализированном типе кулака как спорого на работу крестьянина, а о прижимистом кулаке-мироеде с мертвой хваткой, со стремлением взнуздать батраков и самому любой ценой выбиться в люди.

Члены класса номенклатуры не опереточные злодеи. Они волевые мещане-организаторы, фанатики власти и любители сладкой жизни. Но приползают они на социальную вершину советского общества — в номенклатуру — такими же деклассированными, как описанные Максимом Горьким босяки, стекавшие на дно жизни.

Номенклатура и партия

— Передержка! — радостно воскликнет советский пропагандист.— Фальсификация! Нигде не сказано, что руководящая и направляющая сила — это только номенклатура. Руководящая и направляющая сила, ум, честь и совесть, организатор и вдохновитель — это партия! А в ней — не полтора процента, как вы тут рассуждаете, а 9 процентов взрослого населения страны — 17 миллионов человек.

Что ж, рассмотрим вопрос о партии и ее соотношении с классом номенклатуры.

Численность КПСС действительно велика. В партии состоит каждый одиннадцатый из числа совершеннолетних граждан СССР. В стране — около 400 000 первичных партийных организаций; это больше, чем во время Октябрьской революции было членов партии (350 тыс. чел.).

При Ленине численность партии была ограниченной — несмотря на гражданскую войну и военный коммунизм, заставлявшие, казалось бы, охотно принимать людей в партию. При Сталине КПСС быстро выросла: в 1941 году партия насчитывала около 2,5 миллиона членов и 1,5 миллиона кандидатов. За годы войны, когда на фронте записывали в КПСС без особого разбора, эти цифры поднялись соответственно до 4 и 1,8 миллиона. Но оказалось, что и в послевоенное время КПСС продолжала раздуваться, дойдя теперь действительно до 17 миллионов человек. Таким образом, со времени Октябрьской революции партия разрослась более чем в 40 раз, тогда как численность населения страны увеличилась в 0,6 раза. За этим развитием явно скрывается какой-то процесс. Посмотрим, в чем его смысл.

Ленин сформировал партию — не массовую, а элитарную. Однако она стояла в тени другой, главной для Ленина элиты — организации профессиональных революционеров. Задача партии состояла в том, чтобы этой организации всемерно помогать и быть резервом ее пополнения.

Когда после захвата власти профессиональные революционеры превратились в профессиональных управляющих, партия расширилась, но осталась вспомогательной элитой, обеспечивающей на фронтах гражданской войны и в тылу выполнение приказов рождавшегося «нового класса». Сохранилась и функция пополнения рядов управляющих; эта функция была широко использована Сталиным при создании номенклатуры.

При Сталине партия продолжала численно увеличиваться, хотя все еще оставалась элитарной. Она по-прежнему была помощницей и резервом пополнения правящего класса, но по мере укрепления власти номенклатуры и ее обособления от общества связь между нею и партией заметно слабела.

После Сталина, с дальнейшим раздуванием численности партии и с прогрессирующим окостенением господствующего класса разница между главной и вспомогательной элитами еще больше возросла. Массовая, многомиллионная теперь партия все больше играет роль не помощницы, а служанки номенклатуры.

Итак, процесс, проявляющийся в непомерном численном росте КПСС,— это продолжение длящегося уже десятилетиями социального раздвижения советского общества. Господствующий класс номенклатуры все больше обособляется, разрыв между ним и партией растет, и партия оказывается частью народа.

Хотя она и выполняет приказы номенклатуры с большей готовностью и менее угрюмо, чем весь народ, неверно было бы игнорировать сдвиг в ее сознании. Партийцы конца 20-х — начала 30-х годов были еще почти такими же убежденными, как коммунисты в капиталистических странах сегодня. Любая неудача номенклатуры вызывает ныне среди членов партии ощутимое чувство удовлетворения. Это неосознанное настроение пораженчества — важная черта современного состояния КПСС.

Такое настроение не случайность, а прямое следствие процесса раздвижения слоев советского общества. Непосредственно оно вызвано характером отношений между номенклатурой и партийной массой.

Готовность миллионов людей просить о приеме их в партию для того только, чтобы отдавать еще больше сил на благо номенклатуры, имеет разумное основание.

Официально таким основанием провозглашается стремление бороться за построение коммунистического общества. Именно подобную цель принято называть в заявлении о приеме в партию. На стандартный вопрос: «Зачем идешь в партию?», который неизменно ставят на собрании партгруппы, заседании парткома и, наконец, в райкоме КПСС, принято отвечать: «Прошу принять меня в партию, так как хочу активно участвовать в строительстве коммунизма».

Ответ придуман неудачно. Как хорошо известно из документов КПСС, весь советский народ от мала до велика активно участвует в строительстве коммунизма. Значит, для этого советскому человеку нет необходимости вступать в партию. Так для чего же все-таки?

Поскольку, кроме приведенного выше, другого официального ответа не спущено, прислушаемся к голосу народа. Что говорят люди в Советском Союзе — не на собраниях, а между собой — о мотивах вступления в партию?

Говорят всегда одно: в партию вступают исключительно ради карьеры.

Речь идет не обязательно о головокружительной карьере. Просто если вы хотите быть уверенным, что начальство на работе не будет к вам придираться, что вы нормально будете продвигаться по службе и будете относиться к числу привилегированных, а не преследуемых,— вступайте в партию! Что же касается карьеры в обычном понимании этого слова, то есть ясное правило: партбилет — не гарантия карьеры, но его отсутствие — гарантия того, что вы никакой карьеры не сделаете. Исключения лишь подтверждают это правило. Впрочем, встречаются они только в творческой области: есть некоторое количество беспартийных академиков и видных деятелей искусства. Анекдотическим курьезом было то, что разгромивший биологическую науку в СССР мракобес Лысенко был беспартийным, хотя по духу своему он вполне подходил даже в члены сталинского ЦК КПСС.

Но если в творческой области исключения еще бывают, то одна закономерность фактически не знает исключения: беспартийный не может занимать даже скромный административный пост; если же по каким-либо соображениям его формально назначают на такой пост (что тоже мыслимо только в области науки и культуры), никто этого всерьез не принимает и все дела ведет специально приставленный партиец. Так, физик с мировым именем, нобелевский лауреат ака-

демик П. Л. Капица занимал пост директора Института физических проблем Академии наук СССР, но все административные дела вел его партийный заместитель. В Академии наук СССР вообще была до начала 1950-х годов традиция: президентом был беспартийный, но всегда назначался из числа членов партии фактический руководитель Академии.

То, что руководитель любого советского учреждения — непременно член партии, прочно вошло в установившийся порядок: в каждом парткоме есть гарантированное руководителю место, и показателем влияния руководителя считается количество голосов, поданных за него на выборах в партком.

Итак, вступление в КПСС — вопрос не убеждений, а продвижения по работе для большинства и карьеры — для меньшинства.

— А как с убеждениями? — недоумевающе спросит читатель.— Что же, так вот и нет в Советском Союзе людей, которые идут в КПСС по убеждению, так, как в коммунисты в странах Запада? Что-то не верится!

Знаю, что не верится. Если бы я родился и вырос на Западе, то и мне бы не верилось.

Но хоть и не верится, а все же правда такова, что вступление в КПСС ни с какими идейными убеждениями не связано. А чтобы неверующие немного призадумались, спросим их: каких, собственно, убеждений вы ожидаете от вступающих в КПСС? Убеждения в том, что советский строй — самый демократический в мире? В том, что он — советский гражданин — пользуется свободами? Что в СССР живется лучше, чем на Западе, куда его, однако, предусмотрительно не выпускают? Что на протяжении всех лет советской власти неуклонно растет материальное благосостояние советского народа и доросло до того, что по жизненному уровню СССР оказался на последнем месте среди всех промышленно развитых стран? В чем он должен быть убежден? В том, что его годами заставляли повторять: Сталин и Берия справедливо репрессировали изменников Родины? Или что по преступным приказам Сталина изменник Родины Берия необоснованно репрессировал невинных людей? И так далее...

Номенклатура становится наследственной

Не противоречит ли процесс отделения номенклатуры от партийной массы тому, что класс номенклатуры рекрутируется из этой массы?

Противоречие, несомненно, есть, но его практическое значение заглушается пока еще мало обратившим на себя внимание другим процессом, развертывающимся с возрастающей силой. Это процесс самовоспроизводства класса номенклатуры.

Всякий упрочившийся господствующий класс стремится передавать свое господство и привилегии по наследству, то есть сам себя воспроизводить, всемерно ограничивая приток пришельцев со стороны.

Именно это и происходит в советской номенклатуре. Нынешний состав господствующего в СССР класса как раз успел вырастить своих детей до того возраста, когда им можно делаться номенклатурными сановниками. Подросшие детки и заполняют во всевозрастающем количестве номенклатурные посты.

Приведем лишь несколько примеров. Сын Л. И. Брежнева Юрий, несмотря на свою молодость, стал первым заместителем министра внешней торговли СССР. Но до сих пор впечатление на прессу произвела только одна из его внешнеторговых операций — когда он, разомлев от вида действительно очаровательных танцовщиц в дорогом парижском стриптизе Crazy Horse, дал на чай официанту 100 долларов — по установившемуся тогда в СССР неофициальному курсу 1000 рублей. Иного рода интересы у серьезной и способной дочери А. Н. Косыгина — Людмилы Алексеевны Гвишиани; но эти интересы никогда не относились к библиотечному делу, что не помешало ее назначению на номенклатурный пост директора Государственной библиотеки литературы на иностранных языках. Сын А. И. Микояна — милый Серго Микоян — проделал на моих глазах быстрый взлет от аспиранта до главного редактора журнала «Латинская Америка», что означало вхождение в номенклатуру Секретариата ЦК КПСС. Сын А. А. Громыко, Анатолий, пробыв некоторое время в Институте США и Канады Академии наук СССР, оказался вдруг на номенклатурном посту советника посланника в Вашингтоне, потом — в ГДР, а затем его назначили директором Института Африки Академии наук СССР, хотя африканистом он не был и об Африке он знал к этому времени только то, что она существует. Зато пост директора Института — в номенклатуре Секретариата ЦК КПСС.

Примеров можно привести много. Но делать этого нет нужды, так как описываемое явление — не исключение, а правило. Это только в романах социалистического реализма дети секретарей обкомов идут в рабочие; в действительности идут они в партийный и дипломатический аппарат. Сомневающемуся нелегко будет отыскать пример, где бы дети из номенклатурной семьи оказались на неноменклатурном посту или не замужем за номенклатурщиком. А что случится с номенклатурными детьми после смерти или выхода на пенсию их родителей? Ничего особенного. Конечно, их больше не будут тащить за уши на все более высокие посты, но и не будут выгонять из номенклатуры. И дело даже не в том, что остаются живы влиятельные друзья их родителей: дружба в классе номенклатуры весьма корыстна, так что друзья совсем не обязательно стали бы им покровительствовать. Главное — в том, что класс но-

менклатуры уже прошел ту стадию, когда в рвавшейся вперед толпе деклассированных выскочек все расталкивали друг друга острыми локтями и в годы ежовщины с наслаждением скидывали в бездну. С тех пор в номенклатуре выросло классовое сознание. Она живет уже не по принципу «умри ты сегодня, а я завтра», но чувствует свою общность и мыслит в масштабе поколений. Дети должны быть хорошо устроены, дети должны быть в номенклатуре — это неписаное правило обеспечивает будущность номенклатурных сынков и дочек.

Правящий класс номенклатуры в СССР все явственнее начинает переходить к самовоспроизводству. Да, номенклатурная должность не наследуется. Но принадлежность к классу номенклатуры становится фактически наследственной.

Модель номенклатуры

Можно ли хотя бы в основных чертах смоделировать ту социальную конструкцию, какой является класс номенклатуры? При всей условности подобной модели предпринять такую попытку не бесполезно, потому что она позволит нагляднее отразить существенные черты этого класса.

Если попробовать дать стереометрическую модель номенклатуры, то получится конус с конической же сердцевиной. На поверхности параллельной основанию окружности будут отмечены границы от номенклатуры райкомов внизу до номенклатуры ЦК наверху внешнего конуса и от райкомов внизу до ЦК КПСС наверху сердцевины (самая ее верхушка обозначает Политбюро, а вершина конуса — Генерального секретаря ЦК).

Однако монолитными частями модели являлись бы не параллельные срезы (комитет плюс его номенклатура), а сами два разнимающихся конуса. Классотворная сердцевина номенклатуры сделана как бы из особого материала, отличного от сравнительно рыхлого тела внешнего конуса. Это тело не только создано сердцевиной — различными ее отрезками,— но и держится, как на стержне, на сердцевине в целом.

Вернемся теперь от тригонометрии к политике. Было бы ошибкой думать, что находящаяся наверху конуса номенклатура ЦК гордо взирает сверху вниз на райкомы. Нет, так она взирает только на их номенклатуру, а на руководителей райкомов партии смотрит с любезной предупредительностью, видя в них пусть не непосредственных, но все же своих сюзеренов.

Конус сердцевины оказывается двухслойным: внутри — слой решающих органов (бюро и секретариаты), снаружи — слой предрешающего партаппарата. Но слои эти связаны неразрывно и отделить один от другого невозможно.

В западной литературе распространено мнение, что в Советском Союзе имеются три руководящие силы: партия, полиция и армия. Такое мнение возникло явно по аналогии со сложившимся на Западе взглядом на структуру власти в нацистском рейхе.

Как обстоит дело в действительности? То, что на Западе подразумевают в данном случае под словом «партия», это, конечно, не вся многомиллионная масса КПСС, а партийные комитеты и партийный аппарат, то есть внутренний стержень нашей модели класса номенклатуры. Эта социальная группа, как мы видели, не только относится к господствующему классу, но и составляет его сердцевину и, безусловно, осуществляет власть.

Несколько иначе обстоит дело с полицией. Полиция в СССР, как и в гитлеровской Германии, неоднородна: есть тайная политическая полиция КГБ и есть органы МВД, к которым относятся и охрана лагерей, и милиция с Уголовным розыском и Отделом регулирования уличного движения, и ОВИР (Отдел виз и регистрации), выдающий — или не выдающий — паспорта советским гражданам для так называемых частных выездов за границу.

Аппарат КГБ весь входит в партийную номенклатуру (подобно аппарату дипломатической службы) и таким образом составляет часть господствующего класса. Что касается МВД, то там, как и в других министерствах, имеются номенклатурные чины и обычные служащие. В целом органы МВД находятся под присмотром КГБ, а по линии партийной иерархии — в ведении отделов административных органов ЦК и нижестоящих комитетов КПСС.

А как с армией? Вооруженные Силы во главе с Министерством обороны СССР являются таким же ведомством, как и Министерство внутренних дел и другие министерства. В Вооруженных Силах точно так же есть номенклатурное начальство — маршалы, генералы и адмиралы, другие чины, занимающие номенклатурные (генеральские) должности; и есть служащие и рабочие, включая рядовых солдат.

Конечно, военное ведомство в СССР огромно, оно обладает колоссальным персоналом и бюджетом. Главное же, оно действительно может представлять собой опасность для власти номенклатуры, следовательно, для самого существования этого основанного не на собственности, а на власти класса. Такую потенциальную угрозу номенклатура учла и приняла необходимые меры предосторожности.

Первая категория этих мер была чисто военной. Были сформированы дивизии внутренних и пограничных войск, полностью отделенных от частей Советской Армии и находящихся в ведении КГБ и МВД СССР. Отлично вооруженные и обученные, они представляют собой серьезную силу, способную подавить не только верхушечный путч, но и восстание в армейских частях. А чтобы сделать такое восстание бесперспективным, в СССР установлен невиданный

в других армиях порядок: все склады оружия и боеприпасов находится под охраной не обычных военных частей, а внутренних войск.

Вторая категория мер была, пожалуй, еще более важной: меры социальные, преследующие цель обеспечить полную благонадежность военного руководства. Номенклатура в Вооруженных Силах была поставлена в особо привилегированные условия, чтобы военные номенклатурщики не завидовали партийным чинам. И в самом деле: свою страсть к властвованию и чановному чванству маршалы и генералы могут сполна удовлетворять в армии, а материально они обеспечены отлично; пускаться же в смертельно опасную авантюру государственного переворота для того лишь, чтобы в случае успеха сесть самим в освободившиеся аппаратные кресла и заниматься нудным делом руководства, скажем, текстильной промышленностью, они не захотят. Военные номенклатурщики твердо усвоили, что путь продвижения в иерархии господствующего класса — выслуживание перед начальством и интриги против конкурентов, а не путчи.

Для страховки в Вооруженных Силах заведен такой порядок, что в номенклатуру отбираются люди, политикой не интересующиеся. Исключение составляет номенклатура, работающая в политорганах, но она-то и является надзирающим глазом партаппарата. Это ее не только фактический, но и официальный статус: Главное политическое управление Вооруженных Сил СССР числится одновременно Военным Отделом ЦК КПСС, который просто пересажен со Старой площади на Гоголевский бульвар в Москве. Сидят там цековские номенклатурщики, которым присвоены высокие воинские звания, чтобы в войсках их не воспринимали как «шпаков» (уничижительное армейское прозвище штатских). Такими же аппаратными номенклатурщиками являются находящиеся в войсках политработники — причем не только генералы, но и офицеры. Политорганы Вооруженных Сил СССР — это переодетая в военную форму часть партаппарата и, следовательно, часть класса номенклатуры.

Есть в Вооруженных Силах и другое представительство класса номенклатуры — Особые отделы. Но и в этом отношении военное ведомство не отличается от всех остальных: во всех советских учреждениях обязательно есть спецчасть или «1-й отдел» — представительство КГБ. Во всех ведомствах, имеющих контакты с заграницей, открыты также иностранные отделы, а в министерствах — Управления внешних сношений. Это представительства разведки и контрразведки КГБ (в некоторых учреждениях также Главного разведывательного управления Вооруженных Сил — ГРУ).

Подчиненное положение армии и органов МВД по отношению к аппарату партии и КГБ совершенно закономерно: это подчинение господствующему классу номенклатуры. Не иначе было, вероятно, и в нацистской Германии: там тоже хозяйничали партийные бонзы и тайная полиция. Генералитет же находился в подчиненном положении и был свирепо разгромлен, когда попытался совершить путч 20 июля 1944 г.

И все же КГБ и номенклатура Вооруженных Сил действительно занимают несколько особое положение в классе номенклатуры — положение опоры власти этого класса.

Такое явление следует отразить в модели номенклатурного класса. При этом к военной надо причислить и номенклатуру оборонной промышленности.

Сконструированная выше коническая модель номенклатуры, конечно, условна. Социальные тела не имеют четких очертаний геометрических тел. Если бы на основании точных статистических данных о составе и количестве номенклатуры вычертить соответствующие кривые и вылепить по ним пространственную модель, получилось бы уродливое бугристое тело с неравномерно-многоступенчатым заостренным стержнем. Однако в принципе и само тело, и его стержень были бы конусообразными.

Описанный выше конус — лишь модель второй степени, геометрическая модель пространственной модели номенклатуры. Но для понимания структуры этого класса она дает больше, чем дало бы созерцание углублений и вздутий более точной пространственной модели, ибо, не отвлекая внимания на частное и случайное, она дает представление об общем и закономерном в структуре номенклатурного класса. Номенклатура — правящий класс, класс-ракета. На какой курс легла она в своем полете во времени?

Эксплуататорский класс советского общества

История свидетельствует: всякий господствующий класс всегда был одновременно эксплуататорским классом. Энгельс справедливо писал: «В основе деления на классы лежит закон разделения труда. Это, однако, отнюдь не исключало применения насилия, хищничества, хитрости и обмана при образовании классов и не мешало господствующему классу, захватившему власть, упрочивать свое положение за счет трудящихся классов и превращать руководство обществом в эксплуатацию масс».

Относится ли это правило к господствующему классу реального социализма — номенклатуре?

Класс «управляющих» в СССР мы идентифицировали как номенклатуру.

Номенклатура в полной мере подходит под данное Лениным определение класса.

С точки зрения марксизма определение господствующего класса содержит одно уточнение: такой класс является собственником средств производства. Право собственности — это неограниченное право владельца распоряжаться объектом собственности по своему усмотрению, включая передачу его другому владельцу или уничтожение. Обладает ли номенклатура как класс собственностью — не на импортные товары, купленные в спецсекции ГУМа, а именно на орудия и средства производства в стране?

Выдается за марксистское и упорно выдвигается утверждение: раз производительные силы принадлежат в СССР не частным владельцам, а государству, значит, в советском обществе нет эксплуататорского класса. А что, собственно, в этом утверждении марксистского? Ровно ничего.

Считали ли Маркс и Энгельс, что о собственности можно говорить лишь тогда, когда владелец официально признан таковым в праве? Нет, они считали как раз обратное: собственность — фактическая, а не юридическая категория; вещи становятся «действительной собственностью только в процессе общения и независимо от права...» Следовательно, тот факт, что собственность не записана прямо за номенклатурой, с марксистской точки зрения еще ничего не означает.

Верно, Маркс пишет о противоречии между общественным характером производства и частным характером присвоения как об основном противоречии капитализма. Но разве под «частным» присвоением Маркс понимает лишь присвоение продуктов труда отдельным капиталистом? Если бы так, то для ликвидации противоречия достаточно было бы заменить разрозненных капиталистов их обществами — например, акционерными,— и ни о какой революции не стоило бы и речи вести. Нет, под капиталистической собственностью на орудия и средства производства и на продукт труда Маркс понимает собственность «совокупного капитала», т. е. всего класса капиталистов в целом.

Может с марксистской точки зрения капиталистическая собственность принимать форму групповой собственности? Безусловно. Все капиталистические компании, концерны, синдикаты, тресты олицетворяют именно такую форму. Существо производственного отношения не меняется, речь идет лишь о форме управления собственностью класса капиталистов.

Может с марксистской точки зрения форма управления капиталистической собственностью быть не просто групповой, а становиться государственной? Безусловно. В экономике многих капиталистических стран имеется значительный государственный сектор, но, по марксистской оценке, наличие такого сектора нисколько не меняет существа отношения собственности в этих странах: факта принадлежности орудий и средств производства классу капиталистов.

Почему не меняет? Да потому, что государство с точки зрения марксизма не является надклассовым. Государство — аппарат подавления и управления, принадлежащий определенному — господствующему — классу, ему и только ему. То, что этот класс управляет своей собственностью посредством такого аппарата, абсолютно ничем не нарушает классового характера собственности. Сами же идеологи КПСС охотно и многословно рассуждают о государственно-монополистическом капитализме. Кстати, государственная форма управления имуществом правящего класса существовала и в докапиталистических формациях. Она занимала немалое место в экономике рабовладельческих древневосточных деспотий, в частности Египта; на ней было построено все хозяйство Спарты. При феодализме многочисленные владения короны представляли собой в разных странах государственно управляемую собственность класса феодалов.

Все сказанное не откровение, а азбука марксистской экономической теории. Только на недостаточном знании этой теории в несоциалистических странах или на нежелании задуматься над ней в социалистических странах может паразитировать пропаганда КПСС со своим «аргументом» о государственной собственности при социализме.

«Аргумент» же: якобы номенклатура не класс, т. к. номенклатурные посты не передаются прямо по наследству, вызывает просто недоумение. Вот уж именно — в «точном марксистском понимании» понятия «класс» не содержится в качестве обязательного условия наследование принадлежности к данному классу. Нет, например, такого наследования у рабочих — так что же, и рабочего класса не существует?

Так что не надо принимать всерьез все эти псевдоаргументы. Ничего марксистского в них нет, и ни в чем они не убеждают.

Конечно, в предреволюционной России были наряду с синдикатами частные владельцы предприятий: всякие титы титычи и силы силычи, а при социализме только и видишь если не номерной завод, то завод имени Ленина, завод имени Ульянова, завод имени Ильича, завод имени Владимира Ильича. Но ведь переименование фабрики «Сукин и сын» в фабрику имени И. В. Сталина отнюдь не было свидетельством того, что она стала всенародным достоянием. Это было лишь показателем того, что переменились хозяева, а кто новые владельцы, оставалось неизвестным.

Однако найти владельцев можно. Государственная форма управления фабрикой и вправду красноречива. То, что новые хозяева управляют своим предприятием не как-либо иначе, а именно через государство — аппарат господствующего класса, позволяет безошибочно идентифицировать счастливых обладателей. Это и есть господствующий класс советского общества — номенклатура,— поручивший управление своей собственностью своему аппарату...

Таким образом, то, что в СССР заводы и фабрики принадлежат государству, с марксистской точки зрения действитель-

но ведет к обнаружению их подлинного собственника. Только вот собственником этим оказывается не весь народ и не пролетариат, а номенклатура.

Номенклатура — собственник коллективный. В этом нет ровно ничего удивительного. Если форма коллективного владения восторжествовала даже в насквозь индивидуалистическом буржуазном обществе, то номенклатура с ее проповедью спайки и коллективизма, естественно, должна была прийти именно к такой форме. Это отнюдь не свидетельство ее прогрессивности по сравнению с капиталистами-частновладельцами. Еще спартиаты были коллективными собственниками илотов, а в седом средневековье церковь в разных странах была коллективной владелицей огромных богатств, угодий и крепостных крестьян. Однако претензии на то, что это — преддверие коммунизма, ни жители Спарты, ни средневековые церковники не выдвигали, и правильно делали.

Разумеется, есть отличие в характере обладания социалистической и корпоративной собственностью. В социалистической собственности доли не покупаются и не продаются. Они достаются с включением в класс номенклатуры, увеличиваются или уменьшаются в зависимости от положения в иерархической структуре, а изгнание из номенклатуры знаменует собой лишение изгнанного его доли. Ни в каком случае номенклатурщик не может получить на руки приходящуюся на него долю капитала. Но он регулярно получает поддающуюся в каждом случае довольно точному подсчету сумму материальных благ, которую можно сопоставить с выплатой дивидендов в капиталистическом мире.

В ст. 10 Конституции СССР провозглашается, что социалистическая собственность существует в двух формах: государственной и колхозно-кооперативной. При этом если государственная собственность принадлежит якобы всему народу, то колхозно-кооперативная — принадлежит колхозам и кооперативам. Та же статья сообщает, что социалистической собственностью в СССР является также имущество профсоюзных и иных общественных организаций.

Вопрос о том, кто в действительности владеет государственной собственностью при реальном социализме, мы уже разобрали. Посмотрим теперь, кто же является обладателем колхозно-кооперативной собственности.

Обратим внимание на следующее. Казалось бы, поскольку государственная собственность принадлежит государству, а колхозно-кооперативная ему не принадлежит, коренное различие между этими двумя формами собственности очевидно. Однако обе формы по какой-то причине охватываются общим понятием: «социалистическая собственность». Что их объединяет?

Ничего членораздельного на эту тему в СССР не произнесено. Между тем наличие общности несомненно: свидетельство этого — легкость перехода из одной формы в другую. Были МТС, потом при Хрущеве техника была передана колхозам, т. е. средства производства перешли из государственной в колхозно-кооперативную собственность. С другой стороны, при том же Хрущеве ряд колхозов был превращен в совхозы, т. е. произошло изменение формы собственности в противоположном направлении. Ни с какими трудностями все это связано не было и несопоставимо с теми проблемами, которые при капитализме возникают в случае национализации или реприватизации. Словом, общность налицо.

Действительность такова, что не только государственная, но и две другие формы социалистической собственности принадлежат единому хозяину — классу номенклатуры.

В самом деле: отношение именно номенклатуры к средствам производства полностью соответствует понятию владения. Только номенклатура может по своей воле уничтожать средства производства. Именно по ее решениям во время войны была взорвана плотина Днепрогэса — легендарного Днепростроя 30-х годов, были взорваны промышленные предприятия при отступлении советских войск — в ряде случаев вопреки отчаянным протестам обрекавшихся таким образом на безработицу и голод рабочих — мнимых хозяев социалистического производства.

Номенклатуре довольно открыто принадлежит пресловутая «собственность общественных организаций». Что это за организации? Во-первых, партийные органы, т. е. части номенклатуры. Во-вторых, организации, управляемые парторганами, в ряде случаев непосредственно, в некоторых случаях — через государственные ведомства (например, церковь — через Совет по делам религий.

А как обстоит дело с колхозно-кооперативной собственностью? Ведь у нее, казалось бы, есть владелец: члены данного колхоза. Только действительно ли это владелец? Принадлежит ли колхоз колхозникам?

Могут колхозники даже единогласным решением ликвидировать свой колхоз, продать или уничтожить колхозное имущество, средства производства и созданные ими продукты?

Нет, не могут. Даже предложение подобного рода являлось бы в СССР наказуемым деянием. Колхозники строго регламентированы в праве пользования якобы своей собственностью. Даже если они будут голодать, забить колхозный скот они не могут. Вся земля передана колхозу государством в бесплатное и бессрочное пользование, но произвести внутри этого массива прирезку земли в пользу приусадебных участков колхозное собрание не может. Так какая же это собственность?

Впрочем, даже не предаваясь теоретическим изысканиям, советский гражданин на практике исходит из того, что колхоз, конечно же, колхозникам не принадлежит. Регулярно отправляемые осенью на спасение гибнущего колхозного урожая горожане отлично сознают, что едут они работать не на членов данного колхоза, а вместе с ними — на подлинного хозяина.

Ибо всем ясно, что колхозное имущество — не бесхозное, кому-то оно принадлежит. Но ни государство, ни «общественные организации» своим его не признают. Кто же владелец?

Представителя этого владельца укажет каждый, кто бывал в советской деревне: райком партии. «Выбирает» председателя общее собрание колхозников, а направляет его в колхоз райком. Председатели колхозов — номенклатура райкомов партии.

Вот райком действительно может распоряжаться колхозно-кооперативной собственностью в противоположность самим горе-кооператорам колхозникам. Во время войны именно по решениям райкомов уничтожался или угонялся колхозный скот и сжигались колхозные амбары перед наступавшими немцами. По решениям райкомов перекраивали, укрупняли и разукрупняли колхозы. Однако и райком не владелец, а лишь полномочный представитель владельца колхозно-кооперативной собственности, и действует он под контролем обкома партии.

Весьма характерно, что Хрущев, разделив обкомы на промышленные и сельскохозяйственные, несколько приоткрыл таким образом подлинные отношения собственности в советском обществе. И у государственной промышленности, и у колхозного сельскохозяйственного производства собственник один — класс номенклатуры.

Так что не надо поддаваться иллюзии, будто есть у колхозно-кооперативной собственности некий реальный владелец, отличный от обладателя государственной собственности и собственности общественных организаций. Колхозно-кооперативная собственность тоже принадлежит номенклатуре.

Социалистическая собственность — это собственность класса номенклатуры. Это и есть то общее, что объединяет государственную, колхозно-кооперативную собственность, собственность общественную и обеспечивает легкие переходы из одной формы в другую, простые, как перекладывание из кармана в карман в одном пиджаке. Сами же эти так называемые «формы социалистической собственности» — всего лишь формы управления ею со стороны класса-владельца.

Зачем нужны эти формы? Поскольку владелец один, не проще ли было ему установить единую форму управления своей собственностью?

Такой вопрос только внешне логичен. Он игнорирует путь возникновения социалистической собственности.

Социалистическая собственность возникла в результате экспроприации «новым классом» всех, кого можно было экспроприировать. В результате вся собственность ликвидированных после революции классов — дворян и буржуазии — была объявлена государственной.

По тактическим соображениям помещичья земля была сначала в соответствии с эсеровской программой передана в пользование крестьянам. Проведенная в 1929—1932 гг. сплошная коллективизация была не чем иным, как экспроприацией номенклатурой крестьян. Но крестьянство невозможно было ликвидировать. Поэтому экспроприации была придана такая форма, как будто никакого перехода собственности от одного класса (крестьянства) к другому классу (номенклатуре) вообще не произошло, а просто крестьяне стали вдруг кооператорами. Так сложились «две формы социалистической собственности». Хотя, выражая настроения номенклатуры, Сталин, а затем Хрущев и поговаривали о том, что пора «поднять кооперативно-колхозную собственность до уровня общенародной», острой необходимости в таком акте не было.

С собственностью общественных организаций дело обстоит иначе. Мы видели, что эту форму вообще придумали с запозданием. Неожиданный политический смысл она стала приобретать в связи с попыткой Хрущева вдохнуть жизнь в лозунг построения коммунизма. Было объявлено, что государство при коммунизме все-таки отомрет, а вот партия останется, и функции государственных органов перейдут к общественным организациям. В этих условиях собственность общественных организаций стала приобретать черты той формы управления собственностью, к которой номенклатуре предстояло бы перейти, если бы действительно пришлось объявить, что государство отмерло и партийные органы стали осуществлять власть непосредственно и через псевдообщественные организации. Падение Хрущева положило конец разговорам о таком развитии, и собственность общественных организаций так и не успели объявить прогрессивной формой социалистической собственности — ростком коммунизма.

Итак, оказалось, что ликвидация частной собственности и превращение ее в социалистическую — это всего лишь перевод всего имущества в стране в собственность господствующего класса номенклатуры. Исключение делается только для четко очерченного разрешаемого максимума личной собственности граждан.

Первоначальное ограбление

Как получилось, что профессиональные революционеры вдруг стали собственниками? Возникла ли экономическая система реального социализма этаким неудержимым потоком объективно назревших перемен или иначе?

Приход ее, с точки зрения Маркса,

назрел до предела, и старая, насквозь прогнившая система частной собственности должна была рухнуть под бурным напором рвущихся наружу прогрессивных сил. Вот какими бьющими, как набат, словами описывал Маркс такой скачок: «Монополия капитала становится оковами того способа производства, который вырос при ней и под ней. Централизация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается. Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют».

Экспроприация прежних собственников действительно произошла. Но почему-то выглядела она не как прорыв назревшей исторической необходимости, а как торопливый разбойный набег.

Посмотрим, как проходила после Октября 1917 года национализация. Пользоваться мы намеренно будем не красочными описаниями потерпевших, а советским изданием — «Экономической историей СССР».

20 ноября 1917 г. Государственный банк в Петрограде был внезапно занят вооруженным отрядом красных солдат и матросов. Возглавил отряд не какой-либо лихой командир, а замнаркома финансов. У кого отвоевывал находившийся уже две недели у власти замнаркома Государственный банк своей страны? Если не считать невнятных слов о саботаже, ответа на этот вопрос в советской литературе не дается. Да его и трудно дать: речь-то шла не о капиталистической частной, а о советской государственной собственности, и кого в данном случае замнаркома экспроприировал, он сам бы не смог сказать. Драматическая вооруженная акция объяснима только с точки зрения психологии рождавшегося класса номенклатуры: надежно распоряжаешься только там, где установил военную оккупацию. Эта идея не покидает номенклатуру и в наши дни.

Следующая неделя ушла на подготовку новой операции. Не кто-нибудь, сам Ленин был назначен руководителем «Специальной Правительственной Комиссии по овладению банками». Орган с таким своеобразным названием был создан не главарями мафии или треста организованной преступности, а Временным правительством страны (оно тогда еще так называлось), только что проведшим выборы в Учредительное собрание.

Выборы, как скоро выяснилось, были для ленинцев только маскировкой, у власти они собирались оставаться не временно, а до окончания мира, соответственно и была произведена подготовленная акция по овладению частными банками. В ночь на 27 ноября 1917 г. все эти банки были по приказу Ленина заняты вооруженными отрядами. А на следующий день опубликовали декрет: банковское дело в стране объявлялось государственной монополией, и все частные банки, как было деликатно сказано, «слились» с Госбанком.

После этой грандиозной экспроприации денежных средств перед ленинским правительством встал вопрос: как быть с ценными бумагами, находившимися у населения? Поступили просто: в январе 1918 года аннулировали все акции, а в феврале — все государственные займы и царского, и Временного правительства. Так рождавшаяся номенклатура поспешила наложить свою уже тяжелевшую ручонку на сбережения граждан.

Был, впрочем, сделан демократический жест в сторону мелких держателей займов: все, кто имел облигации на сумму не свыше 10 000 рублей, получали — нет, конечно, не деньги, а на ту же сумму облигации «займа РСФСР». Скромный дар, так как последовавшая катастрофическая инфляция привела к полному обесцениванию облигаций.

Ликвидировав таким радикальным приемом внутреннюю задолженность государства, Советское правительство разделалось по той же схеме и с задолженностью внешней. Оно просто отказалось выплачивать по российским займам за границей, мотивируя это гордыми принципиальными соображениями: займы-де были взяты царским режимом и вдобавок для империалистических целей. Скоро выяснилось, что дело не в принципах, а в деньгах: на Генуэзской конференции 1922 года Советское правительство согласилось признать царские займы, но при условии, что ему будет выплачена Западом еще большая сумма под видом возмещения ущерба, причиненного России интервенцией. Поскольку предоставлять Советскому государству замаскированную таким образом помощь Запад не собирался, дело ограничилось экспроприацией иностранных держателей русских займов.

А как было произведено огосударствление промышленности?

Все государственные предприятия перешли в руки Советов автоматически, так что проблему составляла лишь национализация частных владений. Под предлогом опасности саботажа уже в ноябре — декабре 1917 г. ленинское правительство конфисковало ряд крупных частных предприятий (Путиловский, Невский, Сестрорецкий заводы, группу заводов Донбасса и Урала).

В январе 1918 г. был издан декрет о национализации торгового флота. Попытки владельцев продать свои предприятия иностранцам пресечены в корне: всякая продажа предприятий была запрещена.

Теперь можно наносить завершающий удар. 28 июня 1918 г. вышел ленинский декрет о безвозмездном переходе всей крупной промышленности и частных железных дорог в руки Советского государства. Операция эта была проведена почти столь же стремительно, как овладение банками и сбережениями населения, и была завершена к октябрю 1918 г.

И все же у частных владельцев остались еще мелкие и часть средних предприятий. Терпеть такое было невозможно. Декретом от 20 ноября 1920 г. Советское государство отобрало у владельцев все предприятия с числом более десяти, а там, где имелся механизированный двигатель,— более пяти работников. Ненационализированными остались фактически лишь кустарные мастерские.

Может быть, быстрый темп национализации и свидетельствовал о прорыве распиравшей общество исторической необходимости?

Непохоже. Едва успела эта необходимость так полно проявиться к концу 1920 г., как с весны 1921 г. пришлось ее заталкивать назад. В связи с переходом к нэпу мелкие предприятия были реприватизированы, и вскоре в некоторых отраслях легкой и пищевой промышленности частные предприятия стали давать до одной трети всей продукции. Конечно, потом постепенно снова все национализировали, а нэпманов — кого расстреляли, кого уморили в лагерях. Но все же нэп — свидетельство, что не необходимость безудержно рвалась наружу, а ленинцы так зарвались, что пришлось отступать. В сельском хозяйстве они были вынуждены даже начинать с отступления — как иначе охарактеризовать ленинский Декрет о земле, открыто осуществлявший не большевистскую, а эсеровскую земельную программу? Разумеется, класс номенклатуры добрался потом и до крестьян, проведя коллективизацию. Но и эта массовая экспроприация была проведена по заранее расписанному Политбюро календарному плану.

Экономическая система реального социализма не выросла органически, она была искусственно воздвигнута. Осуществлено это было посредством конспиративно спланированных и внезапно проводившихся операций, в ряде случаев с применением вооруженных сил. После того как дело было совершено, номенклатуре пришлось и приходится до сих пор при помощи той же вооруженной полицейской силы, судов, прокуратур, драконовских наказаний удерживать от развала сооруженную ею экономическую систему. Еще Ленин сокрушался, что в гуще населения стихийно рождаются капиталистические отношения — «ежедневно, ежечасно и в массовом масштабе». И хотя эту анахроническую поросль стремительно затаптывают сапогом карательных органов номенклатуры, она оказывается на редкость живучей: от подпольных миллионеров-одиночек в стиле Корейко из «Золотого теленка» до создания подпольных частных предприятий теневой экономики.

Нет, не как прорыв созревшей исторической необходимости выглядит создание экономической системы реального социализма, а как насилие над историей, как натужное старание повернуть ее течение в сторону, позволившую номенклатуре стать эксплуататорским классом.

Номенклатура присваивает прибавочную стоимость

По оценке Энгельса, Маркс совершил два великих открытия: разработал материалистическое понимание истории и создал теорию прибавочной стоимости. Так высоко — наравне с историческим материализмом! — поставил Энгельс учение о прибавочной стоимости. Ленин назвал это учение «краеугольным камнем экономической теории Маркса».

Энгельс и Ленин правы. Именно учение о прибавочной стоимости является идеологической взрывчаткой в анализе Марксом капиталистического способа производства. Что же касается трудовой теории стоимости в целом, то она принадлежит не Марксу, а Адаму Смиту и Дэвиду Рикардо. Марксом она была лишь использована для вящей научности в качестве некоего общего обоснования учения о прибавочной стоимости.

Но как раз научность марксовой идеи от этого пострадала. Трудовая теория стоимости подвергается теперь на Западе серьезной критике.

В самом деле: определяется ли стоимость товара только количеством затраченного на его производство общественно необходимого рабочего времени, как утверждает эта теория? Вряд ли. Одна и та же шуба будет иметь совершенно различную стоимость в холодной Сибири и в жаркой Африке, хотя количество вложенного в нее общественно необходимого рабочего времени не изменяется от ее транспортировки. Стоимость зависит не только от овеществленного в товаре труда, но, видимо, в еще большей степени от спроса на товар в каждый данный момент. Это отлично поняли не стремящиеся в теоретические высоты буржуазные торговцы и устраивают знакомые западному (и незнакомые советскому) читателю летние и зимние распродажи.

Маркс же, привязав свое открытие к трудовой теории стоимости, вдобавок интерпретировал его в духе этой теории, объявив, что прибавочная стоимость создается только живым трудом. По мере прогресса научно-технической революции ошибочность этого утверждения становится все более наглядной. Ведь, по Марксу, выходит, что чем меньше машин на предприятии, тем больше прибавочной стоимости получает его владелец — капиталист, при полной же автоматизации предприятия он вообще ее не получит. Если бы так было в действительности, то при капитализме применялся бы только ручной труд.

Однако было бы неверно делать из этих очевидных несообразностей вывод, что прибавочной стоимости вообще не существует. Просто создается она как людьми, так и машинами в процессе любого материального производства, если ценность продукта превышает производственные издержки.

Прибавочный продукт (или прибавочная стоимость) — это разница между

ценностью продукта, созданного в процессе материального производства, и производственными издержками на ее создание, включая расход сырья, амортизацию оборудования, затраты на рабочую силу и прочее.

Как видим, никакой связи с трудовой теорией стоимости здесь нет: все компоненты прибавочной стоимости реально существуют независимо от содержания понятия «стоимость».

Не зависят эти компоненты и от способа производства. В любом обществе — рабовладельческом, феодальном, капиталистическом — в процессе производства расходуется сырье, амортизируются орудия труда и затрачиваются средства на содержание рабочей силы. При этом создаваемый продукт превосходит по своей ценности все производственные издержки, т. е. содержит прибавочную стоимость.

Не будем пытаться давать здесь ответ на выходящий за рамки книги вопрос: откуда возникает разница между издержками производства и стоимостью продукта? Ограничимся констатацией: разница эта, несомненно, содержащая в качестве составного элемента и затраченное рабочее время, в конечном счете прямо пропорциональна потребности (т. е. спросу) на продукт. Жизнеспособно только рентабельное производство; убыточные отрасли могут существовать лишь до тех пор, пока их дефицит возмещается за счет прибавочной стоимости, создаваемой в прибыльных отраслях. В целом производство в каждом данном обществе непременно рентабельно, т. е. в каждом обществе создается прибавочная стоимость.

Маркс и Энгельс не прочь были внушить своим читателям, будто прибавочная стоимость является категорией, присущей только капиталистическому обществу. Так, Энгельс писал: «Было доказано, что присвоение неоплаченного труда есть основная форма капиталистического способа производства и осуществляемой им эксплуатации рабочих...»

В действительности доказано было другое.

Вдумчивый теоретик Маркс отлично сознавал, что прибавочная стоимость создается при всех способах производства. Не формулируя прямо этого положения, Маркс в написанной в 1865 году работе «Заработная плата, цена и прибыль» доказал, что в извлечении прибавочной стоимости нет принципиальной разницы между капитализмом, феодализмом и рабовладельческим обществом. Позднее, в I томе «Капитала», Маркс коротко, но четко оговаривает: «Капитал не изобрел прибавочного труда. Всюду, где часть общества обладает монополией на средства производства, работник, свободный или несвободный, должен присоединять к рабочему времени, необходимому для содержания его самого, излишнее рабочее время. чтобы произвести жизненные средства для собственника средств производства».

Итак, необходимо твердо себе уяснить:

1. Прибавочный продукт (прибавочная стоимость) — не выдумка Маркса, а необходимый элемент рентабельного материального производства.
2. Прибавочная стоимость не является категорией только капитализма, а возникает при любом способе производства в условиях общественного разделения труда.

Да иначе и быть не может. В самом деле: что означало бы отсутствие прибавочного продукта при любой форме производства, вышедшей за рамки робинзоновского натурального хозяйства, обслуживающего исключительно собственное потребление? Оно означало бы, что непосредственный производитель материальных благ будет потреблять в полном объеме произведенный им продукт или его материальный эквивалент. Но тогда существовать сможет только он, а не общество: ведь в обществе есть много людей, которые непосредственно своими руками материальных благ не производят, но их потребляют.

Прибавочная стоимость создается в любом обществе, без этого общество просто не может существовать.

Значит, создается прибавочная стоимость и при социализме?

Да, разумеется, и при социализме.

С различными оговорками писал об этом и Маркс в «Капитале».

«Устранение капиталистической формы производства позволит ограничить рабочий день необходимым трудом»,— объявляет он в I томе «Капитала» и тут же оговаривается: «Однако необходимый труд, при прочих равных условиях, должен все же расширить свои рамки. С одной стороны, потому, что условия жизни рабочего должны стать богаче, его жизненные потребности должны возрасти. С другой стороны, пришлось бы причислить к необходимому труду часть теперешнего прибавочного труда, именно тот труд, который требуется для образования общественного фонда резервов и общественного фонда накопления».

Видимо, у Маркса и Энгельса возникало не высказанное ими прямо опасение, что и при социализме производство прибавочной стоимости может создать соблазн злоупотреблений. Поэтому в III томе «Капитала» особо подчеркивается: прибавочный труд и прибавочный продукт должны при социализме использоваться только, «с одной стороны, для образования страхового и резервного фонда, с другой стороны, для непрерывного расширения воспроизводства в степени, определяемой общественной потребностью...»

Если даже проповедники идеального социализма Маркс и Энгельс признавали, что прибавочный труд непосредственных производителей будет необходим и в этом светлом будущем, то архитекторы реального социализма Ленин и Сталин при всем желании не могли замолчать производство прибавочной стоимости в

созданной ими системе. Однако признали они этот факт неохотно. Ленин по свойственной ему манере сразу поставил вопрос полемически: «При социализме «прибавочный продукт идет не классу собственников, а всем трудящимся и только им». Сталин на протяжении многих лет твердил, что все в СССР принадлежит трудящимся, о прибавочном же продукте предпочитал помалкивать. Лишь после долгих колебаний в 1943 году он объявил советским экономистам, что в советском обществе трудящиеся создают прибавочный продукт. Так в фантастическую науку политэкономии социализма чуть было не включили, пожалуй, единственное в ней правдивое утверждение.

Но не включили. Номенклатуре очень не хочется обнаруживать у себя заклейменную марксистским учением категорию прибавочной стоимости — синоним эксплуатации трудящихся. Поэтому после смерти Сталина марксов «необходимый труд» переименовали применительно к социалистическому обществу в «работу на себя», а «прибавочный труд» (создающий прибавочную стоимость) — в «работу на общество». Но незатейливый словесный маскарад не меняет сути дела. Остается факт: трудящиеся при реальном социализме производят прибавочную стоимость.

Итак, реальный социализм не отличается в этом отношении от всех других антагонистических обществ: его экономика так же основана на прибавочном труде непосредственных производителей.

Кто же получает создаваемый при реальном социализме прибавочный продукт? «Государство,— торопливо подскажет нам советская пропаганда.— Общенародное социалистическое государство, кто же еще? А это государство самих трудящихся. Значит, ни о какой эксплуатации и разговора быть не может».

Не может? А вот Энгельс был другого мнения. В конце своей жизни, в 1891 году, он писал Максу Оппенхейму: «Ведь в том-то и беда, что, пока у власти остаются имущие классы, любое огосударствление будет не уничтожением эксплуатации, а только изменением ее формы».

Номенклатура же, которой принадлежит вся советская экономика,— весьма и весьма имущий класс и стоит он, несомненно, у руля Советского государства.

Однако верно: получает или, лучше сказать, изымает у непосредственного производителя прибавочный продукт социалистическое государство, и никто другой. Роль государства в организации труда ясно сформулировал Ленин в своей лекции «О государстве»: «Принуждать одну преобладающую часть общества к систематической работе на другую нельзя без постоянного аппарата принуждения». Эту функцию социалистическое государство исправно выполняет. Только, как мы уже видели, государство это не общенародное, а принадлежит господствующему при реальном социализме классу номенклатуры, является его аппаратом — в том числе аппаратом для извлечения прибавочной стоимости. И конечный получатель прибавочной стоимости — сам класс номенклатуры. Он, а не какой-либо другой класс советского общества присваивает прибавочную стоимость — подобно тому, как присваивали ее класс рабовладельцев, класс феодалов, как присваивает ее класс капиталистов.

При реальном социализме вся прибавочная стоимость поступает государству, а оно целиком принадлежит классу номенклатуры. Получив же полностью всю прибавочную стоимость, номенклатура исключительно по собственному усмотрению распределяет: что истратить на свои прихоти, а что — на оплату трудящихся; что — на мирный космос, а что — на ядерные ракеты; что — на учебники для детишек, а что — на слежку за их родителями. Получатель и бесконтрольный обладатель прибавочной стоимости при реальном социализме — класс номенклатуры, и только он один.

В марксистской теории изъятие прибавочной стоимости у непосредственного производителя и есть эксплуатация. При этом марксизм не различает, для какой цели используется изъятая прибавочная стоимость: на прихоти капиталиста или на развертывание производства. Изъятие прибавочной стоимости у производителей — эксплуатация, а изымающий — эксплуататор. Изымает прибавочный продукт в условиях реального социализма номенклатура. Значит, при реальном социализме класс номенклатуры и является эксплуататором трудящихся.

Номенклатура — эксплуататорский класс советского общества. От этой истины никуда нельзя уйти, ее нельзя скрыть никакой пропагандистской болтовней. Отсюда следует: эксплуататором является не только весь класс номенклатуры в целом, но и каждый его член в отдельности.

Известно бесконечно повторяющееся советской пропагандой утверждение, что в Советском Союзе ликвидирована эксплуатация человека человеком. Еще Ленин подчеркнул этот тезис в своем с подкупающей объективностью сформулированном высказывании о социализме как первой фазе коммунизма: «Справедливости и равенства... первая фаза коммунизма дать еще не может: различия в богатстве останутся и различия несправедливые, но невозможна эксплуатация человека человеком, ибо нельзя захватить средства производства, фабрики, машины, землю и прочее в частную собственность».

Как видим, вопрос об эксплуатации человека человеком пускается здесь в ход как козырная карта, чтобы покрыть несправедливость общества реального социализма: да, несправедливость есть, есть богатые и бедные, но вот ни один человек другого человека уже не эксплуатирует.

Верно ли это?

Конечно, поскольку народное хозяйство СССР является коллективной собст-

венностью класса номенклатуры, а не индивидуальной собственностью его членов, эксплуатация трудящихся в СССР имеет форму эксплуатации не человека человеком, а человека номенклатурным государством. Но номенклатурщики не смогут скрыть: каждый из них получает лично свою долю изымаемой прибавочной стоимости. Вслед за коллективным изъятием прибавочной стоимости происходит ее индивидуальное присвоение. Откуда иначе берется высокая зарплата номенклатурщика, на какие деньги построены и содержатся предоставляемые ему дача и квартира, на какие средства приобретены его путевка в цековский санаторий и служебная автомашина, из какого рога изобилия льется его кремлевский паек?

Так как прибавочная стоимость поступает сначала в общий котел номенклатурного государства и черпается потом оттуда, невозможно установить, каких именно трудящихся эксплуатирует какой именно номенклатурщик. Но невозможность назвать их поименно нисколько не меняет того факта, что номенклатурщик их эксплуатирует, присваивая производимую ими прибавочную стоимость. Он эксплуатирует их точно так же, как рабовладелец — рабов или как феодал — крепостных. Разница состоит в форме эксплуатации, а не в ее факте. В обществе реального социализма есть эксплуатация человека человеком.

Может быть, у советской политэкономии социализма есть какие-либо аргументы, опровергающие этот тезис?

Есть аргументы. Процитируем их из теоретической книги советского автора, посвященной проблеме собственности при социализме и коммунизме.

«Государственная собственность в социалистических странах означает, что средства производства находятся в руках всего народа. Разве можно говорить о том, что в этих условиях государственной собственностью владеет и распоряжается какой-то новый класс собственников? Нет, нельзя. Трудящиеся в социалистическом обществе являются совладельцами всех средств производства, не продают и не могут продавать свою рабочую силу, так как это означало бы продавать ее самим себе. В этих условиях было бы абсурдно говорить об отношениях эксплуатации.

Эксплуатация человека человеком существует лишь тогда, когда одна часть общества, имея в своих руках средства производства, присваивает труд другой части общества, которая лишена этих средств производства и в силу этого вынуждена работать на собственников средств производства. Но такого положения нет и не может быть в социалистическом обществе» (С. И. Сдобнов. Собственность и коммунизм. М. 1968, с. 92, 93).

Видите, как убедительно: при социализме эксплуатации нет, потому что при социализме эксплуатации не может быть.

Сам автор цитаты не сознает пустоту своей аргументации? Сознает, но ведь сказать больше нечего.

И правда — нечего: если применить к реальному социализму категории марксовой политэкономии, то найти аргументы против эксплуататорского характера этого общества невозможно.

При реальном социализме есть прибавочная стоимость. При реальном социализме есть эксплуатация человека человеком. Это основа основ экономической системы реального социализма.

Система эта сколочена именно так, чтобы в ее рамках класс номенклатуры мог с наибольшим успехом осуществлять эксплуатацию трудящихся.

Основной экономический закон реального социализма

Попробуем оттолкнуться от основного экономического закона современного капитализма. Он формулируется в советской политэкономии как «обеспечение максимальной капиталистической прибыли путем эксплуатации, разорения и обнищания большинства населения данной страны, путем закабаления и систематического ограбления народов других стран, особенно отсталых стран, наконец, путем войн и милитаризации народного хозяйства, используемых для обеспечения наивысших прибылей».

Определение вызывает ассоциации не с современными капиталистическими, а с государствами реального социализма. Может быть, получение максимальной прибыли является главной задачей класса номенклатуры?

Нет, не является: в противном случае результат хозяйственной политики был бы иным. Не подлежащее сомнению крайнее пристрастие капиталистов к прибыли ведет к тому, что они в изобилии производят потребительские товары не потому, что заботятся о населении, а потому, что прибыль они могут получить, только продав свои товары. Это и заставляет капиталистов живо интересоваться запросами потребителей. В результате при развитом капитализме возникает то, что принято именовать «обществом потребления»: рынок перенасыщается потребительскими товарами, и проблемой капиталистической экономики становятся кризисы перепроизводства.

Ничего даже отдаленно похожего на все это при реальном социализме нет. Значит, в условиях реального социализма не действует основной экономический закон современного капиталистического общества — погоня за максимальной прибылью.

Больше того. Производство при реальном социализме весьма наглядно отличается от капиталистического, в частности тем, что спокойно допускает не только нерентабельность, но и прямую убыточность цехов, предприятий и даже целых отраслей — явление, невозможное при капитализме.

В каких случаях так бывает? Иными словами: что важнее в экономической деятельности класса номенклатуры, чем максимальная прибыль? Бывает так в тех случаях, когда это нужно для укрепления мощи режима номенклатуры. В жертву этому хладнокровно приносится рентабельность производства. Здесь мы, очевидно, и подходим к подлинному основному экономическому закону реального социализма.

В самом деле: какова главная экономическая цель номенклатуры?

Номенклатура отнюдь не рвется производить товары народного потребления или строить без разбора промышленные предприятия. Номенклатурщики — фанатики власти, а не индустриализации и даже не прибыли. Поэтому и в экономике свою главную задачу они видят во всемерном упрочении и расширении своей власти. Соответственно они стремятся производить то, что нужно для этой цели.

Производство вооружений, военной и полицейской техники, строительство правительственных и военных объектов — все это не случайно, а вполне закономерно поднято при реальном социализме на особую высоту и резко отделено от остального производства, рассматриваемого как второстепенное. Существование военно-промышленного комплекса в странах реального социализма, и особенно в СССР, намного ощутимее, чем на Западе.

Сделаем это с оговоркой. Уверенность Сталина в том, что у каждой формации есть свой основной экономический закон, порождена типичным для Сталина и его последователей иерархическим мышлением: раз есть формация, значит, среди ее закономерностей должен быть главный закон, задающий тон всем остальным. Подобное мышление имеет мало общего с наукой. Но сформулировать цель, которую преследует господствующий класс данной формации в своей экономической политике,— вполне научная задача, и с иерархическим мышлением номенклатурной бюрократии она не связана.

В этом смысле основной экономический закон реального социализма состоит в стремлении господствующего класса номенклатуры обеспечить экономическими средствами максимальное укрепление и расширение своей власти.

Не некий неразборчивый фанатизм и уж, конечно, не благородное стремление удовлетворить потребности трудящихся, а это, и только это, составляет цель и основу всей экономической деятельности класса номенклатуры.

У населения же Советского Союза цель совсем другая — простая и понятная: производство для потребления, причем не для потребления класса номенклатуры, а для потребления самих трудящихся. Люди хотят изобилия товаров для всех, а не для закрытых распределителей и для начальства; они хотят жилищ, а не казарм и не госдач; автомашин для рядового человека, а не танков и «чаек»; масла, а не пушек. Люди действительно хотели бы, чтобы процесс производства служил удовлетворению их потребностей. Эту-то цель рядовых тружеников и выдал Сталин за «основной экономический закон социализма».

Но в действительности между такой целью и экономической целью номенклатуры — основным экономическим законом реального социализма — непримиримое противоречие. Оно ярко отражает антагонизм общества реального социализма. Хорошо сказал о таком противоречии сам Сталин. В одном из своих последних произведений, «Об ошибках т. Ярошенко Л. Д.», Сталин писал: «Тов. Ярошенко забывает, что люди производят не для производства, а для удовлетворения своих потребностей. Он забывает, что производство, оторванное от удовлетворения потребностей общества, хиреет и гибнет».

Верно. Так и происходит.

Плановость экономики и сверхмонополия

Мои первые школьные годы совпали с первым советским пятилетним планом. Мы изучали его по книжке Ильина «Рассказ о великом плане». Автор начинал с описания анархии капиталистического производства. Некий предприниматель в США вдруг приходит к выводу, что большим спросом будут пользоваться мужские шляпы, и начинает в безудержном темпе их производить. Его примеру следуют другие капиталисты. Все капиталы вложены в шляпное производство, шляпы переполняют полки магазинов, заваливают витрины и склады. Но столько шляп не нужно, они не находят сбыта — и вот разоряются фирмы, лопаются банки, безработные изнывают на бирже труда, свирепствует экономический кризис. Тем временем некий другой капиталист приходит к мысли развернуть производство зажигалок. Все капиталы тотчас вкладываются в зажигалочный бизнес — и опять переполняются полки, а затем лопаются банки. Иное дело при плановом хозяйстве: все заранее мудро рассчитано, и товаров производится ровно столько, сколько нужно для удовлетворения неуклонно растущих потребностей советских людей.

Книжка Ильина нам нравилась: она была отпечатана на хорошей бумаге, какой мы больше нигде не видели, и в ней были фотографии добротных шляп и изящных зажигалок, которых плановая экономика СССР не изготовляла.

Значительно позднее, в Вене, я впервые в жизни разговорился с западным предпринимателем — небольшим швейцарским фабрикантом. Он поднял меня на смех за почерпнутую у Ильина информацию и разъяснил, что каждый капиталист очень тщательно планирует свое производство хотя бы уже потому, что деньги в него вкладывают свои, а не казенные — в противоположность составителям «великого плана».

Между тем даваемый в Советском Союзе теоретический анализ плановости

народного хозяйства все еще находится на уровне аргументации Ильича. Она обогащена, собственно, только одним — сталинским — тезисом: плановость хозяйства является закономерностью социалистической экономики.

С этим тезисом нельзя не согласиться. Действительно, план развития народного хозяйства не случайная, а закономерная черта реального социализма. Только закономерность эта не таит в себе ничего мистического, а объясняется просто.

Вся экономика Советского Союза представляет собой, подобно фабрике моего венского собеседника, одно предприятие и принадлежит одному владельцу — классу номенклатуры. Этот класс полностью распоряжается своим предприятием, а точнее, гигантским синдикатом, каким является советская экономика.

Того читателя, который шокирован капиталистическим термином в применении к социалистическому хозяйству, можно легко успокоить: термин принадлежит Ленину. В книге «Государство и революция» он писал о пути к созданию экономики социализма: «...Экспроприация капиталистов, превращение всех граждан в работников и служащих одного крупного «синдиката», именно: всего государства, и полное подчинение всей работы всего этого синдиката государству».

Шокируем еще раз правоверного читателя и охарактеризуем этот синдикат как сверхмонополию. Читателя же опять успокоим цитатой — на этот раз, правда, не из Ленина, а из коллективного труда советских авторов, выпущенного в Москве издательством Академии наук СССР. «Как бы ни крупны были капиталистические монополии, как бы ни сильна была концентрация собственности в руках государственно-монополистического капитализма (в отдельных странах до 40%), социализм достигает общей национальной концентрации всех основных средств производства, самой высокой концентрации собственности». Итак, сверхмонополия.

Сказано в коллективном труде и о государстве: «В этих условиях государство выступает как экономический орган. С одной стороны, как организатор производства, с другой — как регулятор общественных отношений между классами. И вместе с тем оно выступает как политический орган...» (Проблемы изменения социальной структуры советского общества. М. 1968, с. 67).

Номенклатурное государство выступает как руководитель экономики, как менеджер сверхмонополии. Владелец же его — класс номенклатуры. Через свое государство он должен, естественно, спланировать работу своей сверхмонополии, как делает это на своем скромном уровне и швейцарский фабрикант.

Следовательно, удивляться приходится не тому, что в советской экономике есть план (его просто не может не быть), а тому, что он не в пример швейцарскому плану, видимо, всегда составляется неудачно, ибо никогда не выполняется в том виде, в каком он был первоначально принят.

Удивляться приходится и тому, что план при реальном социализме не выполняет на деле функцию обеспечения нужных пропорций производства так, как твердит «Политэкономия социализма» и как полагают некоторые люди на Западе. Показатель того, что никто об этих пропорциях всерьез не думает, — всемерное поощрение никак не ограничиваемого перевыполнения плана. Какая-либо отрасль, завод или цех могут произвести сколько угодно лишних с точки зрения плана деталей или единиц продукции — за это будут только хвалить. Почему? Потому что стремление заставить трудящихся производить за ту же заработную плату возможно больше полностью доминирует в экономическом мышлении класса номенклатуры, хотя изготовление продукции, в ряде случаев не находящей применения, бывает убыточно и фактически уменьшает размер получаемой прибыли. Номенклатура сама поощряет внесение диспропорции в свое якобы именно для соблюдения оптимальной пропорции планируемое хозяйство.

Класс номенклатуры безраздельно владеет экономикой СССР как единым гигантским синдикатом — вот подлинный главный фактор в организации экономики Советского Союза. Он-то и проявляется для внешнего мира в форме плановости хозяйства.

Неудивительно, что номенклатура с презрительным фырканьем встречает сообщения о робких попытках западных стран тоже ввести элементы плана в свою экономику. Действительно, имеющее силу закона планирование экономики возможно только после превращения всего народного хозяйства страны в единый синдикат, принадлежащий господствующему классу. Пока этого нет, любой план будет лишь рекомендацией, вроде консультации со стороны конъюнктурных институтов.

Реальный социализм сделал полезное дело, подав идею введения плана в экономику. Это значительный его вклад в развитие мирового хозяйства. Только не следует смешивать с этой положительной стороной вопрос о фактических результатах номенклатурно-концерновского планирования.

С легкой руки Маркса принято клеймить как анархический и стихийный регулирующий механизм рынка. В такой оценке есть правда, но не вся правда.

Да, капиталистический рынок анархичен в том смысле, что нет над ним некоего командующего руководства. Да, он стихиен в том смысле, что каждое его движение возникает не как результат осмысления всей ситуации на рынке и логический вывод из нее. Но в обоих этих пунктах отразилась не слабость, а сила рыночного механизма.

Рынок является защитным автоматически регулирующим механизмом обще-

ства в экономической сфере. Он неизмеримо более эластичен, подвижен, способен к быстрой реакции, чем приказы даже самой дельной бюрократии, не говоря уж об отобранной по политическим признакам. Когда же вдобавок эти приказы даются на ряд лет вперед, окаменевая в форме очередного пятилетнего плана-закона, всякая эластичность экономического реагирования полностью исключается. Можно сколько угодно раздувать планирующие органы и плодить плановые показатели — результат даже в отдаленной степени не заменит саморегулирующего механизма рынка.

Значит, рынок идеален? Нет.

Хотя его саморегулирование экономически эффективно, оно в ряде случаев оказывается несоциальным и негуманным. Такие элементы попросту не заложены в рыночный механизм. Поэтому возникают кризисы перепроизводства, безработица, банкротство. Механизм рынка дает много, но нельзя требовать от него всего на свете.

Возьмем для сравнения простой пример. В нашем организме чрезвычайно важен защитный механизм сна. Однако бывает, что он приводит к гибели человека, — если, например, тот заснет за рулем машины: механизм засыпания к такому случаю не приспособлен. Правильно ли было бы в качестве вывода изобрести средство от сна, в результате чего мы могли бы водить автомобиль в любое время дня и ночи? Очевидно, нет: просто надо или не ездить ночью, или предварительно выспаться. Иными словами, надо учитывать действие защитного механизма, не бросать ему вызов и, таким образом, не попадать под его удар.

Мы уже сказали, что идея плана в экономике полезна. Полезно внести в механизм рынка элемент осознанности ситуации и перспектив его развития. Полезно создать не начальствующие, а хорошо информированные консультативные органы. Полезен составленный экспертами план-рекомендация.

Составленный же номенклатурными бюрократами план-закон, сопровождаемый разрушением умного механизма рынка, — экономическая бессмыслица. Она, разумеется, не прекращает процесса производства (это означало бы ликвидацию человеческого общества), но жестоко мстит за свое торжество, за подавление рынка сверхмонополией.

Только вот месть эта ударяет не по номенклатуре, а по ее подданным.

Хронический кризис недопроизводства и примат тяжелой индустрии

Маркс во II томе «Капитала» предрекал для периода социализма и коммунизма «постоянное относительное перепроизводство». Реальный социализм не оправдал этого пророчества.

Перепроизводство — характерная черта отнюдь не социалистической, а капиталистической экономики. Больше того: эта экономика отличается столь высокой производительностью, что периодически сотрясается кризисами перепроизводства. Как мы уже упоминали, именно так действует защитный механизм рынка. Перепроизводство не абсолютное, а относительное: оно превышает не потребности всей массы потребителей, а платежеспособный спрос, поэтому к таким кризисам рыночный механизм ведет не сам по себе, а в сочетании с высоким уровнем цен. Коммунистическая пропаганда всегда с гордостью подчеркивает, что экономика социалистических стран не знает кризисов. Правильно: периодических кризисов перепроизводства при реальном социализме не бывает. Для его экономики характерен постоянный кризис недопроизводства.

Он именно постоянный, а не периодический. Кризисная трясучка не отпускает экономику реального социализма ни на минуту. Кризис недопроизводства стал повседневностью экономической жизни соцстран.

Советский гражданин уже привык: все товары в принципе дефицитны. Иногда повезет — зайдешь в магазин, а товар, как принято говорить, «выбросят»; поэтому и принято носить с собой всегда сетку с полным трепетной надежды названием «авоська».

Но не только индивидуальный потребитель старается запастись, если натолкнулся на товар; так действуют и руководители предприятий, создавая у себя запасы сырья и оборудования, за что их с деланной наивностью критикует советская печать.

Порожденный тенденцией к сдерживанию развития производительных сил, постоянный кризис недопроизводства при реальном социализме определяет весь стиль экономики и быта людей в Советском Союзе.

«Однако, — скажет скептический читатель, — что-то не бросается в глаза недопроизводство танков в СССР».

Да, такого недопроизводства нет. Но было бы неверно на этом основании полагать, что закономерная при реальном социализме тенденция к сдерживанию развития производительных сил действует избирательно. Работники военных отраслей советской промышленности жалуются на в основе своей те же трудности и проблемы, которые так одолевают мирные отрасли. Да иначе и быть не может: в танковой промышленности точно так же составляется план и так же директора предприятий при молчаливой поддержке вышестоящих ведомств стараются этот план занизить, чтобы его легко перевыполнить и получить премии и ордена; точно так же никто не хочет пускаться в эксперименты, и все предпочитают работать в рамках устоявшейся рутины; точно так же всем важны не результаты работы как таковой, а зачисление в передовики производства, свя-

занное с повышениями и награждениями. Как же тут не действовать тенденции к сдерживанию развития производительных сил?

В сфере материального производства эти классовые нужды номенклатуры удовлетворяются тяжелой промышленностью. Здесь создаются военная мощь номенклатуры и оснащение ее полицейско-шпионского аппарата. Поэтому — и только поэтому — класс номенклатуры всюду выступает как приверженец индустриализации. Ни с каким мистическим индустриальным фанатизмом это явление ничего общего не имеет.

В этой связи интересно отметить, что Ленин не выдвигал лозунг индустриализации, хотя сталинская историография приписала ему это задним числом. Вот в какой последовательности перечислял Ленин в своей предпоследней речи 13 ноября 1922 г. потребности советской страны: «Спасением для России является не только хороший урожай в крестьянском хозяйстве — этого еще мало — и не только хорошее состояние легкой промышленности, поставляющей крестьянству предметы потребления,— этого тоже еще мало,— нам необходима также тяжелая индустрия». Здесь совсем не те формулировки, какие употреблялись уже через пять лет относительно роли и места тяжелой промышленности в экономике СССР.

И именно у Ленина стала постепенно проглядывать мысль, что тяжелую индустрию следует рассматривать не только как придаток к сельскому хозяйству, дающий возможность, по его выражению, «посадить мужика на трактор». В тезисах доклада на III Конгрессе Коминтерна Ленин записал: «Единственной материальной основой социализма может быть крупная машинная промышленность, способная реорганизовать и земледелие». «И земледелие». А какая же главная цель?

Ленин ее назвал в своей известной работе «Грядущая катастрофа и как с ней бороться». Вот как он ее сформулировал: «Война неумолима, она ставит вопрос с беспощадной резкостью: либо погибнуть, либо догнать передовые страны и перегнать их также и экономически... Погибнуть или на всех парах устремиться вперед. Так поставлен вопрос историей».

Простым перефразированием этих ленинских слов было часто цитировавшееся рассуждение Сталина о том, что-де Россию всегда били за отсталость, и поэтому надо «военно-экономическую» отсталость срочно ликвидировать, иначе «нас сомнут».

Вот в чем и состоит провозглашенный обоими отцами класса номенклатуры смысл индустриализации при реальном социализме. Создать военную мощь — таков был с самого начала этот нехитрый смысл, который номенклатурная пропаганда старается завуалировать.

Уже Сталиным была пущена в оборот формула — «преимущественное развитие производства средств производства». Она не обозначала ничего иного, кроме примата тяжелой индустрии с главной целью оснащения военно-полицейской машины номенклатурного государства. Однако эта формула открывала простор для толкования в том смысле, что для производства товаров народного потребления необходимо сначала произвести средства такого производства, а поэтому должна развиваться прежде всего группа А, как обозначают в СССР производство средств производства. Группа А усиленным темпом развивается с 1927 года.

Курс на преимущественное развитие производства средств производства означает не только то, что доля и темп развития группы А систематически планируются номенклатурой за счет группы Б, т. е. за счет интересов населения-потребителя. Этот курс означает также, что составленный с такой диспропорцией план номенклатура старается перевыполнить по группе А и регулярно не выполняет по группе Б, сводя тем самым фактическое производство товаров народного потребления до совсем уже жалкого минимума. И так — полвека!

Вот это и есть преимущественное развитие производства средств производства. За таким ханжеским эвфемизмом кроется курс, ориентированный исключительно на классовые интересы номенклатуры и преследующий цель дальнейшего непрерывного укрепления ее власти и могущества за счет нужд подчиненного ей населения.

Эксплуатация на марксистской основе

Мы ознакомились с основными элементами структуры и функционирования экономической системы реального социализма — этой машины для получения номенклатурной прибавочной стоимости. Обратимся теперь к механизму такого процесса.

Создавая свою систему извлечения прибавочной стоимости, господствующий класс номенклатуры применил несколько неожиданный метод, который даже при величайшем нежелании произносить осуждающие слова приходится назвать циничным.

Ленин советовал никогда не судить о партиях или классах, как и об отдельных людях, по тому, что они сами говорят о себе, а всегда анализировать реальные факты. Если, следуя этому совету, не слушать того, что велеречиво рассказывает номенклатура о своей приверженности к марксизму, а посмотреть на ее дела, нельзя не заметить: она не торопится осуществлять идеи Маркса о преобразовании общества после победы пролетарской революции. Обобществление средств производства не пошло дальше начального, по Марксу, его этапа — огосударствления; государство не отмирает,

а укрепляется; никакого сходства с Парижской Коммуной оно не имеет; различия в материальном положении членов общества не ликвидированы, а, напротив, растут; и бесклассовое коммунистическое общество, которое, по Марксу, должно было создаться после короткого переходного периода диктатуры пролетариата, не только не построено, но превращается во все более туманный миф.

А вот проделанный Марксом в «Капитале» анализ извлечения капиталистами прибавочной стоимости был применен номенклатурой с ее первых же шагов. Говорят, Ленин назвал как-то Сталина «Чингисханом, прочитавшим «Капитал» Маркса». Выражение удачное.

Как ни кощунственно это звучит для каждого марксиста, остается фактом: советское руководство сознательно положило разоблаченные Марксом черты капиталистической эксплуатации трудящихся в основу организации социалистического производства.

В самом деле: как знает каждый, изучавший марксистскую политэкономию,— а советские руководители относятся к числу таких людей,— есть два способа увеличить получаемую в процессе производства прибавочную стоимость: 1. Удлинить абсолютно рабочее время или повысить интенсивность труда («абсолютная прибавочная стоимость»); 2. Сократить необходимое рабочее время («относительная прибавочная стоимость»). Оба способа связаны с вопросом о заработной плате трудящихся.

Класс номенклатуры в СССР использовал все способы сразу.

Абсолютное удлинение рабочего времени

После Октябрьской революции рабочее время было сначала сокращено. Затем оно стало удлиняться. Помню, как нас — школьников — нехотя поправляли пионервожатые, когда мы заученно отбарабанивали, что наша Родина — страна с самым коротким рабочим днем в мире: она такой уже не была. Стало прибавляться количество рабочих дней: вместо пятидневки была введена шестидневка, а в 1940 году — семидневная рабочая неделя с восьмичасовым рабочим днем — 56 часов. Обещанные после революции месячные отпуска сократились до 12 рабочих дней. Убавилось количество праздничных дней: сначала были отменены религиозные праздники — Пасха и Рождество, потом взялись за вычеркивание революционных праздников: рабочими днями стали 22 января — годовщина «Кровавого воскресенья» 1905 года (впоследствии к нему присоединилось 21 января — годовщина смерти Ленина), 18 марта — день Парижской Коммуны; перестали праздновать годовщину Февральской революции 1917 года, Международный юношеский день... Быстро сокращенное таким образом число нерабочих дней в СССР дополнительно урезывалось организацией субботников и воскресников — дней неоплачиваемой работы.

Для того, чтобы это декретированное или введенное окольным путем удлинение рабочего времени действительно давало соответствующий прирост прибавочного продукта, номенклатура ввела строгую трудовую дисциплину. И здесь начал Ленин, поднявший, как мы помним, кампанию против тех рабочих, которые-де хотели урвать себе больше, а государству дать поменьше.

Задача рождавшегося господствующего класса была прямо противоположной: урвать себе побольше, а трудящимся дать поменьше.

Сталин постепенно ввел такое свирепое антирабочее законодательство, какого давно уже не знала Европа. По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года за прогул и приравненное к нему опоздание на работу на 20 минут виновные отдавались под суд и приговаривались к принудительным работам. Был введен строгий контроль за тем, чтобы врачи выдавали больничные листки только в случае серьезных заболеваний: как и в концлагерях, для врачей в поликлиниках страны была установлена норма выдачи освобождений от работы по болезни.

Существенное дисциплинирующее воздействие оказывается на трудящихся в СССР при помощи трудовых книжек и характеристик. На всех работающих в СССР заведены трудовые книжки, в которые заносятся все перемещения по службе. Без трудкнижки советского гражданина не принимают на работу, без ее предъявления не оформляют пенсию. Характеристики, подписанные «треугольником», долгое время требовались для поступления на работу. Потом это правило было формально отменено, так как сочли более целесообразным неофициально запрашивать сведения о поступающем на месте его прежней работы. Впрочем, и поныне характеристики требуются по самым различным поводам и служат кнутом, подстегивающим работника.

Интенсификация труда

С точки зрения Маркса и Энгельса, проблемы интенсификации труда после победы пролетарской революции вообще не должно было существовать: ведь все труженики и так будут работать изо всех сил, так как они станут хозяевами всего и работать будут на себя.

Именно этого с победой реального социализма не произошло. А раз отпала предпосылка, отпало и следствие.

Номенклатурное начальство давно уже не скрывает, что повышение производительности труда рабочих и колхозников — первостепенная задача при реальном социализме.

Интересно, что впервые высказал эту идею Ленин еще накануне Октябрьской революции, всерьез задумавшись над тем, что надо будет делать в случае при-

хода к власти. В своей книге «Государство и революция» он провозгласил, что советские трудящиеся «без подчинения, без контроля, без «надсмотрщиков и бухгалтеров» не обойдутся». Ильич многозначительно замечал, что при социализме «уклонение от этого всенародного учета и контроля неизбежно сделается таким неимоверно трудным, таким редчайшим исключением, будет сопровождаться, вероятно, таким быстрым и серьезным наказанием (ибо вооруженные рабочие — люди практической жизни, а не сентиментальные интеллигентики, и шутить они с собой едва ли позволят), что необходимость соблюдать несложные, основные правила всякого человеческого общежития очень скоро станет привычкой».

Под правилами человеческого общежития подразумевалась здесь не культура поведения в общественных местах, а беспрекословная трудовая дисциплина, под «вооруженными рабочими» — карательные органы государства (настоящие рабочие — это другие: безоружные, те, кто будет подчиняться надсмотрщикам, контролироваться бухгалтерами и подвергаться «серьезному наказанию» за нерадивую работу). Ход мысли Ленина понятен: надсмотром и строгими карами приучить рабочих к высокопроизводительному труду на Советское государство. Ничего нового в такой мысли не было.

Предшествовавшее первой мировой войне десятилетие ознаменовалось в промышленности царской России большим интересом к разработанным на капиталистическом Западе системам максимальной интенсификации труда рабочих, особенно к системе Тейлора. Важнейшие произведения Тейлора были изданы в русском переводе, и русские авторы (Левенштерн, Поляков, Паикин и другие) популяризировали идеи тейлоризма, выступая за их внедрение на предприятиях страны.

Надо заметить, что Ленин до революции яростно критиковал эти идеи и ругал тейлоризм как «научную систему выжимания пота». Правда, еще до революции, в 1914 году, прозорливый Ильич загадочно заметил, что теория тейлоризма «без ведома и против воли ее авторов — подготовляет то время, когда пролетариат возьмет в свои руки все общественное производство».

И верно: как только после победы в гражданской войне это время наступило, Ленин открыл вдруг в мерзкой системе тейлоризма массу достоинств. Под названием «Научная организация труда» (НОТ) эту систему стали поспешно внедрять в советское народное хозяйство.

«Поспешно» — здесь не красное словцо. В ноябре 1920 года закончилась гражданская война в европейской части России, а уже в августе 1920 года Центральный совет профсоюзов (кто же еще!) открыл в Москве Центральный институт труда. Предвосхищая сталинское выражение о том, что советские трудящиеся — винтики, организаторы института объявили, что они рассматривают работников «как винты... как машины».

В январе 1921 года в Москве состоялась Первая Всероссийская конференция по вопросам НОТа. Вопрос ставился по-деловому: как добиться от советского рабочего максимальной производительности труда. Физиолог В. М. Бехтерев сделал доклад о рациональном использовании человеческой рабочей силы.

Между тем Институт труда уже достиг серьезного научного успеха, разложив все движения рабочего на «удар» и «нажим», после чего была разработана «биомеханика удара и нажима». Советские неотейлористы свысока поглядывали на своего предтечу, заявляя, что, хотя Тейлор и затронул различные проблемы НОТа, до конца их не рассмотрел и сумел лишь дать свое имя «одиозному термину».

Неотейлористские учреждения стали распространяться по Советскому Союзу. В 1925 году в стране насчитывалось около 60 институтов НОТ. Для координации их работ пришлось образовать Центральный совет научной организации труда (СОВНОТ). Все эти достойные учреждения занимались тем, что хронометрировали производственные операции, изучали каждое движение работающего и старались до предела уплотнить его рабочее время. Советские теоретики НОТ с ученым видом поговаривали о том, что рабочие-ударники сами будут выступать за удлинение рабочего дня и сокращение числа праздников и что-де конвейер наиболее полно соответствует представлениям Маркса о прогрессивной организации производства. Впрочем, для верности слово «конвейер» было в промышленности заменено выражением «поточная линия» и осталось в своем первоначальном виде лишь для обозначения круглосуточных допросов в НКВД.

Повышение производительности труда еще Ленин объявил решающим условием победы социализма над капитализмом. С тех пор требование всемерной интенсификации труда остается неизменным лозунгом класса номенклатуры.

Для обеспечения интенсификации труда номенклатура использует трудовую дисциплину. Хотя о ней и рассказывается, что она-де не «палочная», а «сознательная», в действительности вся она основана на страхе трудящегося перед наказанием, перед палкой номенклатурных надсмотрщиков. Ленин не только провозгласил идею подтягивания трудовой дисциплины, но и начал принимать меры по дисциплинированию рабочих сразу же, как только наметилась победа большевиков в гражданской войне. Уже 27 апреля 1920 года он подписал декрет Совнаркома «О борьбе с прогулами», предусматривавший обязательную отработку прогулянных часов в сверхурочное время и в праздничные дни. За этим первым шагом антирабочего законодательства Советского государства последовали многие другие, о чем мы уже говорили.

Но это история. А как определяет номенклатура сущность дисциплины труда при реальном социализме?

Процитируем журнал ЦК КПСС «Коммунист»: «Социалистическая дисциплина труда включает, с одной стороны, обязанность администрации рационально организовать труд, а с другой стороны, обязанность рабочих и служащих работать с полной отдачей сил».

Итак, от трудящихся требуется немного: полная отдача сил. А что требуется от администрации? Что означает ее обязанность «рационально организовать труд»? «Умение организовать процесс трудовой деятельности,— пояснял «Коммунист»,— это — максимальное использование рабочего времени, создание трудовой атмосферы, учет и контроль».

Весь смысл социалистической трудовой дисциплины, весь смысл организации трудового процесса при реальном социализме — извлечение прибавочной стоимости.

Со своей точки зрения номенклатура совершенно справедливо видит свою задачу в максимальном повышении норм. Разглагольствуя в газетах о небывалом трудовом энтузиазме советского народа, номенклатура внутренне глубоко убеждена в том, что эти ленивые работают вполсилы, упрямо не желая выдавать государству столько продукции, сколько могли бы, и надо как-то сломить такую итальянскую забастовку.

В поисках штрейкбрехеров номенклатура натолкнулась на марксистский тезис о том, что буржуазия с целью расколоть рабочий класс создает рабочую аристократию, которую подкармливает крохами от своих прибылей. В Советском Союзе начали незамедлительно принимать меры для создания рабочей аристократии.

Знаете, когда Ленин впервые поставил перед партийным руководством вопрос об организации соцсоревнования трудящихся? В декабре 1917 года. В апреле 1919 года состоялся восславленный Лениным великий почин — первый субботник членов партячейки станции Москва-Сортировочная. А там пошли субботники, и сам Ленин сфотографировался на субботнике в Кремле: в пиджачке с поднятым воротником он подставил плечо под бревно, которое бережно несут молодцы из его охраны. Выглядеть же соревнование должно было, естественно, не как нечто, организованное свыше, а как революционное творчество самих масс; поэтому деловой ленинский документ «Как организовать соревнование?» опубликовали только через 10 лет после «Великого почина».

На основе идеи соцсоревнования номенклатура организовала сначала движение ударников, потом — стахановцев, затем - бригад коммунистического труда. Один за другим публиковались в газетах и одобрялись ЦК или обкомом КПСС всевозможные «почины» и методы. Смысл этой шумихи неизменно состоял и состоит в одном: навязать трудящимся более высокие нормы, которые вместе с тем выглядели бы не как плод фантазии чинов из номенклатурных кабинетов, а как реальные нормы, действительно выполняемые и даже перевыполняемые тружениками-передовиками.

Попытки номеклатуры организовать стахановское движение среди колхозников теми же демагогическими методами не дали нужных результатов. Изверившиеся в обещаниях партийных руководителей колхозники не хотели пускаться в рекордсменство ради неопределенной перспективы дождаться милостей номенклатуры. Поэтому пришлось установить для колхозников беспрецедентный в истории награждений орденами прейскурант: за определенный производственный результат выдается соответствующий орден, за более высокий и столь же определенный — присваивается звание Героя Социалистического Труда. Только такая здравая система «баш на баш» оказалась способной принести сколько-нибудь ощутимые результаты.

Номенклатура спекулировала на тщеславии людей, на неопытности молодежи. Были созданы молодежные бригады, организованы комсомольско-молодежные стройки. Результат не всегда соответствовал желаниям номенклатуры: город Комсомольск-на-Амуре пришлось в конце концов строить силами заключенных.

Все эти разнообразные приемы сознательно и, более того, открыто преследуют одну цель: всемерное повышение интенсивности труда.

Низкая заработная плата

Соотношение между размером заработной платы трудящихся и их эксплуатацией хозяевами давно уже вошло в азбуку политэкономии. Еще Дэвид Рикардо (1772—1823) сформулировал экономический закон: чем выше заработная плата работников, тем ниже прибыль предпринимателя, и наоборот. Для всех стран реального социализма характерен низкий уровень заработной платы трудящихся и тем самым высокий уровень прибылей, находящий выражение, в частности, в непропорционально высокой доле накопления (в СССР она составляет около 25% национального дохода).

Из статистики известно понятие «среднестатистической семьи»: муж, жена и двое детей. Статистический прожиточный минимум исчисляется именно на такую семью: минимум налицо, если глава семьи может содержать всех четверых.

В советской статистике понятие прожиточного минимума отсутствовало. С ним советский человек сталкивается, лишь читая в газетах, что-де в такой-то капиталистической стране такой-то про-

цент трудящихся зарабатывает меньше прожиточного минимума. И советский гражданин недоумевает: как же эти трудящиеся до сих пор не умерли с голоду?

Ему невдомек, что и сам он, и все те, кто его окружает и кого он видит на улицах — за исключением чваных типов в проносящихся мимо лимузинах,— все они получают меньше статистического прожиточного минимума. Потому что какой же обычный гражданин СССР может на свою зарплату содержать семью из четырех человек?

Номенклатуре есть за счет чего повысить зарплату трудящимся, но она не хочет поступиться самой скромной частью добытой прибавочной стоимости. Она не хочет делать этого даже в предвидении последующего повышения производительности труда; номенклатура сознает всю остроту конфликта между нею и трудящимися и не верит, что трудящиеся будут готовы действительно ответить повышением производительности труда на подачку в заработной плате. Номенклатура предпочитает материальному стимулированию трудящихся метод принуждения — организационный и пропагандистский кнут, а не пряник. Это отличает ее от капиталистов и ставит в один ряд с феодалами и рабовладельцами.

Но в таких рамках класс номенклатуры перенимает и методы эксплуатации, распространившиеся при капитализме. В марксистской политэкономии капитализма проводится четкая грань между повременной формой оплаты труда как менее эксплуататорской и сдельной формой, нацеленной на возможно более интенсивное выжимание прибавочной стоимости.

Вот что написано в советском учебнике политэкономии: «Капиталистическая сдельщина ведет к постоянному усилению интенсивности труда. Вместе с тем она облегчает предпринимателю надзор за рабочими. Степень напряженности труда контролируется здесь количеством и качеством продуктов, которые работник должен изготовить, чтобы приобрести необходимые средства существования. Рабочий вынужден увеличивать поштучную выработку, трудиться все интенсивнее. Но как только более или менее значительная часть рабочих достигает нового, повышенного уровня интенсивности труда, капиталист снижает поштучные расценки». «Рабочий пытается отстоять общую сумму своей заработной платы тем, что больше трудится: работает большее число часов или изготовляет больше в течение одного часа... Результат таков: чем больше он работает, тем меньшую плату он получает. В этом состоит важнейшая особенность сдельной заработной платы при капитализме».

Но ведь при реальном социализме, конечно же, не применяется эта разоблаченная Марксом и советскими марксистами потогонная система? Применяется, и очень широко.

По опубликованным данным Госкомстата СССР, в 1985 году 54,3% советских промышленных и строительных рабочих получали сдельную и только 45,7% — повременную оплату. При этом именно сдельщина объявляется в Советском Союзе «прогрессивной формой заработной платы».

А как же с марксистским осуждением этой формы? Номенклатура легко отделывается от него стандартной ссылкой на то, что при социализме рабочие работают-де на самих себя.

Выступая с требованием, чтобы рост производительности труда в СССР предшествовал повышению заработной платы, номенклатура, очевидно, исходит из того, что в казенной системе партийного просвещения все только числятся изучающими «Капитал», а на самом деле его и не раскрывают. Переведем сказанное на язык формул Маркса. Выходит, что при социализме должно возрастать отношение производимой рабочим стоимости, а значит, и прибавочной стоимости к получаемой им зарплате. Но ведь это, по Марксу, и есть, если выразить полученное число в процентах, норма прибавочной стоимости — она же норма эксплуатации. Вот эту-то норму номенклатура и требует увеличить!

Женский и детский труд

Урезая до предела зарплату, номенклатура применяет еще один указанный Марксом метод усиления эксплуатации труда.

Советский учебник политэкономии констатирует: «Стоимость рабочей силы определяется стоимостью средств существования, необходимых для рабочего и его семьи. Поэтому, когда в производство вовлекаются жена и дети рабочего, заработная плата рабочего снижается, теперь вся семья получает примерно столько же, сколько раньше получал только глава семьи. Тем самым еще больше усиливается эксплуатация рабочего класса в целом».

Известны проклятия советской пропаганды по адресу капиталистов, наживающихся на детском труде. В действительности в Советском Союзе государство организовало детский труд в довольно широком масштабе.

В СССР уже в 20-х годах были открыты школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). Их учащиеся работали на производстве. Многочисленные беспризорные под предлогом воспитания их по методу А. Макаренко использовались как дешевая рабочая сила. С той же целью при Сталине были созданы ремесленные училища — с военной дисциплиной и черными формами для учеников. Училищами ведало специальное Управление государственных трудовых резервов. В комплектование училищ был внесен элемент принуждения: туда фактически в принудительном порядке переводились неуспевающие и недисциплинированные дети из школ.

Женский труд организован при реальном социализме не административным, а экономическим принуждением. Работа женщин была и является в Советском Союзе совершенно необходимой для существования огромного большинства семей. В результате распространенный на Западе социальный тип женщины-домохозяйки фактически не существует среди советских женщин допенсионного возраста. Это явственно следует из советской статистики: женщины составляли в 1987 году 53% населения в СССР и 51,1% трудящихся. Не работают по установленной при Сталине традиции жены офицеров, генералов и академиков, а также во все возрастающем количестве жены различных других номенклатурных чинов.

Как и следовало ожидать, такая политика класса номенклатуры имела для советского общества разнообразные последствия. Одни из них были положительными: женщины оказались материально независимыми от мужей, так как последние просто не в состоянии их содержать; это способствовало реальной эмансипации женщин. Другие последствия вызывают тревогу советского руководства. Весьма острой стала демографическая проблема: сокращается рождаемость. Введенные Сталиным по примеру награды колхозникам за разведение скота награды многодетным матерям (звание «Мать-героиня», орден «Материнская слава») не возымели успеха: в промышленных и культурных центрах страны многодетные семьи стали редкостью, численность населения в стране растет медленно, главным образом за счет азиатских национальных республик.

Все эти последствия и проблемы имеют одну причину: упорное, ни с чем не считающееся стремление класса номенклатуры к получению прибавочной стоимости всеми указанными у Маркса способами.

Стандартизированный уровень жизни

В своем стремлении к получению прибавочной стоимости номенклатура отваживается на шаги, ведущие ее за пределы описанных Марксом методов эксплуатации. Номенклатура извлекла новые практические выводы из марксистского положения о том, что сокращение необходимого рабочего времени ведет к возрастанию относительной прибавочной стоимости. Если перевести политэкономические термины на общедоступный язык, это означает, что сокращение потребления трудящихся увеличивает получаемую от их труда прибыль. Тут мы подошли к вопросу об уровне жизни трудящихся в СССР.

Под уровнем жизни советская литература понимает «уровень удовлетворения потребностей и соответствующий ему уровень доходов». Эти условия жизни и труда людей «обусловлены господствующим строем». Уровень жизни в СССР обусловлен таким образом господствующим в стране строем реального социализма. Всему миру известно, что уровень этот весьма низок. Посмотрим, почему он таков.

В процессе производства в любом эксплуататорском обществе работник создает продукт для хозяина и определенный жизненный уровень для себя и своей семьи. Необходимый продукт, создаваемый работником, и есть политэкономически выраженное содержание понятия «уровень жизни» этого работника. Чем больше необходимый продукт, тем выше жизненный уровень его производителя.

Можно, не заглядывая в книги, предположить, что классики марксизма-ленинизма предсказывали бурный подъем жизненного уровня народа при социализме. И правда: Ленин в свое время предрекал, что «только социализм даст возможность широко распространять и настоящим образом подчинить общественное производство и распределение продуктов по научным соображениям, относительно того, как сделать жизнь всех трудящихся наиболее легкой, доставляющей им возможность благосостояния». Ильич щедро обещал «обеспечение полного благосостояния... всех членов общества». Но за прошедшие 70 лет выявилась непреложная закономерность: жизненный уровень населения в странах реального социализма ниже, чем в странах капитализма.

Поскольку это — закономерность, то и подходить к ней надо по-научному, а не демагогически. Сравнивать надо не ГДР с Непалом и не США с Монголией, а сопоставимые страны, где сравнение может дать серьезный ответ на вопрос: как влияет установление строя реального социализма на жизненный уровень трудящихся?

История последнего полувека сама создала лаборатории для проведения такого сравнения. Сопоставьте жизненный уровень населения в Северной и Южной Корее, в ГДР и ФРГ, в Восточном и Западном Берлине. Результат настолько очевиден, что его не пытается всерьез оспаривать даже номенклатурная пропаганда. Пожилые люди в Австрии с некоторым недоумением расскажут вам о том, что и в Габсбургской монархии, и в годы между двумя мировыми войнами Чехия славилась жизненным уровнем значительно более высоким, чем в Австрии.

Что же случилось в Северной Корее, в Чехословакии, в ГДР, в Восточном Берлине? Стихийное бедствие, землетрясение, мор? Нет, просто был установлен строй реального социализма.

Почему этот строй действует таким сокрушительным образом на жизненный уровень населения — вопреки прямо противоположным предсказаниям Маркса, Энгельса и Ленина? Официально в качестве объяснения такого очевидного отставания реального социализма от капитализма по жизненному уровню трудящихся номенклатурная пропаганда не смогла придумать ничего умнее, чем ссылаться на план Маршалла,— словно не она са-

ма объявляла его политикой ограбления Западной Европы американским империализмом и словно не прошло с того времени доброй трети века! В доверительной же беседе любой номенклатурщик начнет брюзжать: «Работают из рук вон плохо, потому и бедность»!

Верно, работают люди при реальном социализме плохо. Но почему они так работают, хотя им внушают, что трудятся они на самих себя?.. Почему при капитализме люди трудятся лучше, чем при реальном социализме?

Да потому, что класс номенклатуры, на который трудящиеся социалистических стран в действительности работают, их так грубо эксплуатирует. Только грубость эта мало помогает. Чем больше номенклатура старается выжать из работников, тем ниже падает у них заинтересованность в результатах своего труда. Ведь все равно жадная номенклатура все заберет себе, а работников лишь похвалит в газетах за трудовой героизм и призовет еще напряженнее трудиться.

Итак, известный каждому побывавшему в государствах обеих систем факт, что жизненный уровень в странах реального социализма значительно и устойчиво ниже, чем в сравнимых капиталистических странах,— этот факт имеет глубокие корни. Они протягиваются к таким постоянно действующим факторам, как более низкая производительность труда и более высокий уровень прибавочной стоимости при реальном социализме по сравнению с развитым капитализмом.

В условиях низкой производительности труда при реальном социализме номенклатура отыскала метод, который тем не менее обеспечивает ей высокий уровень относительной прибавочной стоимости. Дополнительное достоинство этого метода в том, что он на первый взгляд соответствует интересам трудящихся: на определенный круг товаров и услуг в СССР установлены, казалось бы, низкие цены.

«Вот и прекрасно!» — восторгаются по этому поводу марксиствующие на Западе, совершив в качестве богатых иностранцев туристскую поездку в СССР и удостоверившись, что там хлеб, макароны и проезд в метро дешевле, чем на Западе, а квартплата ниже. Только вот сам Карл Маркс не разделил бы этих восторгов: он характеризовал дешевизну содержания рабочей силы не как благодеяние для трудящегося, а как метод усиления его эксплуатации.

В СССР дешевы не товары народного потребления, а товар «рабочая сила», потребляемый номенклатурой. Для того, чтобы эта рабочая сила сохраняла способность к производству и собственному воспроизводству, на определенный, узко очерченный круг необходимых для нее товаров и услуг установлены, с западной точки зрения, низкие цены. Именно с западной, ибо для массы советских трудящихся цены эти вовсе не низкие, а просто доступные. Размер таких цен приведен в соответствие с уровнем зарплаты в СССР. В результате рядовой советский трудящийся может поддерживать свою рабочую силу и воспроизводить ее в своих детях. Пенсионерам же приходится плохо: мизерные пенсии обрекают их на жалкое существование или же на зависимость от материальной поддержки других членов семьи. Номенклатура уже использовала рабочую силу пенсионеров, они ей больше не нужны.

Верно, что в СССР квартплата низка. Но неправильно было бы из этого делать вывод, что обычный советский гражданин имеет, как многие на Западе, квартиру размером 100 кв. метров, только платит за нее гроши. В СССР установлен максимум в 9—12 кв. м. на человека, жилплощадь сверх этого максимума оплачивается втройне. Специально оговорено, что жилплощадь предоставляется не в соответствии с этой нормой, а сплошь и рядом ниже нее.

Верно, что в СССР дешев городской транспорт. Но зато автомашины объявлены предметом роскоши.

Верно, что в СССР дешевы хлеб, макароны, картофель, молоко, овощи, кукуруза и некоторые иные простейшие продукты питания. Но зато мясо, рыба, птица, фрукты, шоколад, кофе, кондитерские изделия — это все или дорого, или является дефицитным товаром. Так как люди не хотят есть макароны с хлебом и заедать картошкой, примерно 60—80% бюджета рядовой советской семьи уходит на продовольствие.

Для трудящегося населения при реальном социализме, как и при любой другой системе, ничего бесплатного не бывает и быть не может. Ведь ни государство, ни номенклатура сами не сеют, не жнут, у станка не стоят. Все материальные блага в СССР производятся трудящимися, и только ими. Номенклатура через свою государственную машину эти блага лишь распределяет, и смысл распределения в том, что класс номенклатуры отваливает львиную долю на свои потребности.

Вот почему в условиях реального социализма действительно есть возможность для человека иметь 100-метровую квартиру — да еще с загородной дачей — за ничтожную плату; без труда купить автомашину — а еще лучше получить ее даром, да еще с шофером; отлично и дешево питаться и кормить семью, бесплатно пользоваться хорошими поликлиниками и больницами и бесплатно же отдыхать каждый год в санатории. Все это возможно в СССР. Только вот для этого надо войти в класс номенклатуры.

Для непосредственных же производителей номенклатура четко очертила круг их материальных возможностей: 9—12 кв. метров площади на человека: простенькая пища; дешевый проезд на городском транспорте на работу и назад; дешевые газеты и прочая пропагандистская литература, а для интеллигенции — дешевые дозволенные книги, чтобы в свободное время читала поучительное и не задумывалась; если заболел — мед-

помощь, чтобы скорее шел снова на работу; маленькая пенсия по старости или инвалидности (предел — 120 рублей), жалкое пособие на похороны. Вот и все.

Смысл принудительно установленных номенклатурой для массы рядовых трудящихся СССР характера и масштабов потребления состоит в одном: удерживать на минимальном уровне продолжительность необходимого рабочего времени. Заклейменный Марксом такой метод увеличения относительной прибавочной стоимости, не применимый ныне в странах Запада, с успехом используется советской номенклатурой.

Фактическая заработная плата

Советский учебник политэкономии дает следующее определение: «Реальная заработная плата есть заработная плата, выраженная в средствах существования рабочего; она показывает, сколько и каких предметов потребления и услуг может купить рабочий на свою денежную заработную плату».

А как быть, если зарплата есть, товаров же нет? Такой случай западной наукой не предусмотрен. Между тем он-то и является типичным в условиях реального социализма при хроническом кризисе недопроизводства и примате тяжелой индустрии.

Реальный социализм плохо совместим с реальной зарплатой. Он вытесняет это буржуазное понятие, исходящее из предпосылки изобилия товаров, из того, что товаров больше, чем денег. При реальном социализме положение обратное: массе денег, находящихся в руках населения и тем самым предназначенных для приобретения потребительских товаров, противостоит явно недостаточная масса таких товаров. Это — несмотря на то, что зарплата трудящихся, как мы видели, низка, а цены на товары народного потребления высоки.

Для условий реального социализма необходимо ввести другое понятие, которое мы назовем фактической заработной платой.

Фактически заработная плата в отличие от реальной представляет собой не арифметически исчисленную, а фактически получаемую трудящимся на его зарплату массу потребительских товаров и услуг.

Реальная зарплата является, следовательно, лишь идеальным случаем фактической зарплаты, когда вся получаемая работником сумма может фактически использоваться для приобретения нужных ему товаров и услуг. При реальном социализме такое положение существует только для класса номенклатуры, который имеет право пользоваться особыми магазинами, столовыми и спецбуфетами.

К чему все это говорится? К тому, что раз при реальном социализме реальная заработная плата заменяется для трудящегося фактической, заметно повышается уровень эксплуатации. Ведь если государство-монополист предоставляет работнику меньше потребных ему товаров и услуг, чем по установленным ценам он должен был бы получать на свою зарплату, оно тем самым снижает его заработок.

Разница между реальной и фактической заработной платой — открытый номенклатурой дополнительный источник получения прибавочной стоимости.

Эта разница явственно отразилась в солидной сумме денежных сбережений населения СССР. Советская пропаганда представляет ее как свидетельство материального благосостояния трудящихся. Но это неверно. В условиях нормального обеспечения населения товарами и услугами средняя советская зарплата не содержит остатка для сбережений. Сбережения делаются в СССР за счет разницы между зарплатой реальной и зарплатой фактической. Не благосостояние, а эксплуатация советских трудящихся стоит за массой скапливающихся денежных знаков, сдаваемых все тому же государству в сберкассы при весьма низком процентном начислении (на Западе вкладчику сберкассы и банка выплачивают более высокий процент, чем в СССР). В сфере получения прибавочной стоимости систематическое недопроизводство товаров народного потребления гарантирует выгодный номенклатуре разрыв между фактической и реальной заработной платой. Неуклонное проведение этой линии и соответствующее планирование развития народного хозяйства на будущее обеспечивает номенклатуре то, что разрыв является не временным, а постоянно действующим фактором в получении ею прибавочной стоимости.

Здесь мы подошли ко второму совершенному номенклатурой, но замалчиваемому ею открытию.

Дело в том, что при арифметически одинаковой норме прибавочной стоимости масштаб эксплуатации на деле меняется в зависимости от того, производятся пушки вместо масла или масло вместо пушек. Можно с полным правом утверждать: рабы Древнего Египта, работавшие на ирригации полей, необходимых для их же пропитания, эксплуатировались меньше, чем работавшие на строительстве пирамид — усыпальниц фараонов. Крепостные, занятые тяжелым трудом по сооружению колодца, из которого они сами могли потом брать воду, эксплуатировались меньше, чем крепостные девки-кружевницы, занятые плетением кружев для господских платьев.

Надо понять: провозглашенный Сталиным и упорно осуществляемый с тех пор номенклатурой принцип преимущественного развития производства средств производства — вовсе не некий абстрактный идеологический тезис. Он прикрывает увековечение дополнительного источника эксплуатации непосредственных производителей классом номенклатуры.

Непосредственные производители в СССР вынуждены отдавать свою рабочую силу для изготовления продукции, нужной лишь хозяевам номенклатурного государства; самим же труженикам эта про-

дукция просто не нужна или даже направлена против их интересов. Производя попрежнему явно недостаточное количество товаров народного потребления, советские трудящиеся принуждены собственными руками цементировать низкий уровень своей фактической заработной платы — т. е. дополнительный повышенный уровень прибавочной стоимости, выкачиваемой из них номенклатурой.

Так теоретическое обогащение марксизма оборачивается материальным обогащением класса номенклатуры. Поэтому она молчит о своем открытии.

Каков масштаб извлечения классом номенклатуры прибавочной стоимости?

Это тема для специального экономического исследования. Мы можем здесь указать лишь, какого примерно порядка эта величина.

Номенклатура пустила в ход все известные ей способы — как описанные Марксом, так и открытые ею самой,— для извлечения максимума прибавочной стоимости. В результате, хотя производительность труда рабочих в СССР остается низкой, извлекаемая номенклатурой прибавочная стоимость высока. Феномен этот не новый, так было и в Западной Европе в период раннего капитализма, так было и в колониях.

Подтверждением того, что мы имеем здесь дело именно с колониальным феноменом, служит скрываемый на Востоке, но хорошо известный на Западе факт: социалистические страны рассматриваются наряду с колониями и слаборазвитыми государствами «третьего мира» как «страны дешевого труда». Эта дешевизна труда есть не что иное, как непропорционально малый размер необходимого продукта в странах реального социализма по сравнению с развитыми капиталистическими странами.

А возможно такое только в условиях отсталости. Ведь почему в этих странах по сравнению с Западом рабочая сила дешева? Не потому, что ее много: в США миллионы безработных, но рабочая сила отнюдь не дешевая.

Дешевизна рабочей силы определяется не наличием безработицы, а уровнем развития социальных структур и политическим строем в стране. Рабочая сила дешева там, где еще сохранился колониальный или феодально-рабовладельческий принцип сосуществования двух резко различных и не соприкасающихся жизненных уровней — один для правящего слоя (колонизаторов, рабовладельцев, феодалов, номенклатурщиков), а другой — для обычного человека.

Присвоение прибавочной стоимости

Извлеченная путем эксплуатации прибавочная стоимость поступает номенклатурному государству в форме прибыли.

Класс номенклатуры, как мы говорили, ставит задачу удержания и распространения своей власти выше получения прибыли, но и от прибыли не отказывается. Представляемые в патриотическом свете усилия номенклатуры добиться повышения производительности труда в народном хозяйстве СССР оборачиваются в случае успеха весьма ощутимым денежным потоком в ее собственность.

Вот, например, стахановское движение 1930-х годов. Сталин пространно рассуждал о корнях этого движения, якобы назревшего и поднявшего рабочие массы на штурм почему-то внезапно устаревших норм, и не было конца газетным славословиям по поводу героизма стахановцев. Впрочем, и брежневское руководство, испытывавшее неодолимую нежность ко всем выдумкам товарища Сталина, извлекло группу стариков-стахановцев из нафталинного забвения и вновь допустило на прием в Кремль. А вот уже не лирическая, но деловая сторона стахановского движения — так, как она сформулирована в стандартном советском учебнике истории: важным итогом стахановского движения послужил рост рентабельности тяжелой промышленности: в 1934 году ее прибыль была равна 430 млн. рублей, а в 1936-м она выросла до 3,2 млрд. руб.

За два года прибыли номенклатуры выросли в 7,5 раза! Какие многонациональные концерны могут похвастаться таким результатом эксплуатации непосредственных производителей?

На XXV съезде КПСС было как бы мимоходом сообщено, что за 9-ю пятилетку (1971—1975) получено 500 миллиардов рублей прибыли — на 50% больше, чем за первое брежневское пятилетие 1966—1970 годов. Вот уж где взрыв прибылей!

Прибыли — это созданная трудящимися для класса номенклатуры прибавочная стоимость. При помощи какого механизма перекачивается она в сейфы номенклатурного государства?

Механизм этот — налоговая система. В своем нынешнем виде она сформирована в СССР налоговой реформой 1930 года, т. е. немедленно после начала массовой коллективизации в сельском хозяйстве, завершившей процесс превращения экономики страны в сверхмонополию номенклатуры.

Именно к такой сверхмонополии и приспособлена советская налоговая система. Поскольку номенклатура является, а номенклатурное государство выступает владельцем всех промышленных предприятий, совхозов, фактическим хозяином колхозов и единственным в стране работодателем, по своему усмотрению устанавливающим уровень зарплаты и цены, оно получает возможность непосредственно изымать создаваемую в народном хозяйстве прибавочную стоимость. Прямое налогообложение населения в этих условиях теряет значение: оно составляет менее 10% государственных доходов. Около 90% доходов госбюджета СССР изымается, как принято говорить, из «социалистического хозяйства».

Что это означает?

При капитализме налогообложение частных предприятий означает, что у предпринимателя государство изымает определенный — нередко весьма высокий — процент полученной им прибавочной стоимости. Но ведь при реальном социализме все предприятия принадлежат государству. Так у кого же оно изымает прибавочную стоимость, взимая налог с этих предприятий?

Ни у кого. Социалистическое государство просто перекладывает полученную его уполномоченными — директорами предприятий — прибавочную стоимость в свои банки. Именуется такая нехитрая процедура «отчислением от прибыли социалистического предприятия». Состоит она в том, что предприятию из произведенной его рабочими прибавочной стоимости оставляют запланированную сумму на дальнейшее расширение производства и другие предусмотренные планом нужды, а все остальное направляют в госбюджет.

Казалось бы, действительно при такой системе потребности в налогах с населения нет: прибавочная стоимость забирается непосредственно с предприятия, государство само устанавливает и платит заработанную плату — какие же еще налоги?

Мысль логичная. В Албании ей последовали и налоги отменили. В Советском Союзе при Хрущеве тоже был принят закон о постепенной отмене налогов, советская пропаганда долго кричала о нем на весь мир, чтобы создать впечатление, что налоги действительно отменены. Налоги же перестали взимать только с получающих до 70 рублей в месяц и скромной скороговоркой объявили, что осуществить закон для остальных категорий трудящихся не удастся.

Между тем основную часть налогов, взимаемых номенклатурой с советского населения, хрущевский закон и не затрагивал; он касался лишь прямых налогов, а основная часть — косвенные налоги.

Ленин до революции, изобличая мерзости царизма, камня на камне не оставлял от косвенного налогообложения. Он писал: «Чем богаче человек, тем меньше он платит из своих доходов косвенного налога. Поэтому косвенные налоги — самые несправедливые. Косвенные налоги — это налоги на бедных».

Именно такой налог и был введен номенклатурой в СССР под названием «налог с оборота». Взимается он тоже якобы из социалистического хозяйства. Сбивчивые разъяснения советской экономической науки, что налог с оборота,— собственно, не налог вовсе, так как не влечет за собой перехода из одной формы собственности в другую, старательно обходят вопрос: кто же все-таки платит этот налог?

Ответ на такой вопрос очевиден. Налог с оборота включается в отпускную цену товаров, именно он и составляет ее отличие от производственной цены. Как только товар отпущен торговым организациям, предприятие перечисляет государству из полученных за товар денег налог с оборота.

Между тем торговая сеть передает налог с оборота в розничную цену товара. Тут-то и обнаруживается наконец подлинный плательщик этого налога — покупатель.

А кто покупатель? Поскольку налог с оборота введен главным образом в производство потребительских товаров, покупатель — советское население. На него и взваливается номенклатурой этот косвенный налог, ханжески замаскированный под «государственный доход из социалистического хозяйства».

Было бы наивно считать, что вся прибавочная стоимость проедается классом номенклатуры. Как и в других эксплуататорских обществах, при реальном социализме правящий класс даже при самом большом расточительстве не может израсходовать на личное потребление всю массу прибавочного продукта, создаваемую трудом многих миллионов людей.

Однако, помимо личного потребления членов класса, у него есть коллективное, классовое потребление. Оно и поглощает в СССР львиную долю производимой прибавочной стоимости.

Главной частью классового потребления нужно, безусловно, считать потребление для дальнейшего укрепления и расширения власти класса номенклатуры — в полном соответствии с основным экономическим законом реального социализма. Речь идет о расходах на работу партийных органов и их аппарата, на огромную машину органов госбезопасности, на вооруженные силы и военные отрасли промышленности, на органы и войска МВД, лагеря, тюрьмы, прокуратуру. Небольшая доля перепадает и на менее жизненно важные придатки этой системы: суды, милицию.

Значительно больше, чем на эти придатки, хотя, конечно, меньше, чем на основные элементы фундамента власти, выделяется на идеологическую обработку населения, а также на органы внешних сношений (политических, экономических, культурных и т. д., которые на деле все являются политическими).

На втором месте следует назвать так называемые «социалистические накопления», используемые для инвестиций в народное хозяйство страны. Речь идет, следовательно, о наращивании коллективной собственности номенклатуры.

Последнее место занимают расходы на науку, культуру, образование, здравоохранение, спорт и т. д. Они носят менее ярко выраженный классовый характер, хотя, конечно, также производятся в интересах господствующего класса.

Как видим, номенклатура расходует прибавочную стоимость в строгом соответствии со своими — уже известными нам — классовыми интересами. Определенная разница между названными тремя категориями использования прибавоч-

ной стоимости состоит в различной степени их приемлемости для трудящихся.

Более всего приемлема третья категория. Хотя речь идет о вспомогательных расходах с целью обеспечить извлечение прибавочной стоимости номенклатурой, тем не менее здравоохранение, образование, развитие мирных отраслей науки, а также культура в той ее части, в которой она не подчинена полностью пропаганде,— приемлемое для трудящихся использование создаваемой ими прибавочной стоимости.

Во второй категории потребления прибавочной стоимости классом номенклатуры также есть отдельные приемлемые для трудящихся стороны. Это, во-первых, обеспечение рабочих мест как следствие делаемых инвестиций: хотя номенклатура производит их с целью получения прибавочного продукта, параллельно с ним создается и необходимый продукт, дающий трудящимся возможность существовать. Это, во-вторых, вложения в производство товаров народного потребления, в жилищное строительство — короче, в производство того, что потребляют сами трудящиеся, хотя эти вложения скромны и делаются номенклатурой как уступка с целью обеспечить существование рабочей силы.

Есть небольшой положительный для трудящихся элемент даже в первой категории потребления прибавочной стоимости: суд и милиция, хотя и рассматриваются значительной массой советского народа как враждебные ему учреждения, частично все же обслуживают и интересы трудящихся.

Но в огромной части в первых двух категориях расходование выжатой из трудящихся прибавочной стоимости осуществляется во вредных им целях. Ибо как иначе можно назвать цель укрепления и расширения власти класса номенклатуры над трудящимися и обеспечения дальнейшего извлечения из них прибавочной стоимости?

Принудительный характер труда

Маркс открыл не стоимость, а прибавочную стоимость. Поставим вопрос: а почему, собственно, вообще понадобилось ее открывать? Ведь на протяжении предшествовавших столетий факт создания прибавочного продукта непосредственными производителями и его присвоения хозяевами был общеизвестен и не вызывал сомнений. Как справедливо писал Эдуард Бернштейн, в докапиталистические времена никто и не пытался маскировать этого факта.

«Там, где он должен был производить продукт для обмена, раб был чистейшей машиной для производства прибавочной стоимости. Прибавочный труд крепостного и зависимого работника выступал в явной форме барщины, оброка или десятины».

Непосредственные производители откровенно рассматривались как рабочий скот, которому потому лишь и позволяют существовать, что он приносит хозяину прибыль.

Этот рабовладельческий и феодальный взгляд на трудящегося человека начал уходить в прошлое с торжеством капиталистических отношений и развитием буржуазной демократии. Было впервые провозглашено правовое равенство всех людей и всех классов общества. Разумеется, производство прибавочного продукта продолжалось, но уже в завуалированной форме. Вот почему Марксу и пришлось открывать прибавочную стоимость.

Но, может быть, с развитием капитализма отказ от феодального подхода к непосредственному производителю ограничился лишь ханжеской маскировкой эксплуатации? Нет, такое утверждение неверно. Возникли и укрепились профсоюзы, защищающие экономические права трудящихся; было признано и осуществлено право на забастовку как средство борьбы за улучшение условий труда; безработные уже не были обречены на нищенство, а стали получать гарантированное пособие в размерах, обеспечивающих существование; трудящиеся получили возможность свободно менять своих хозяев-нанимателей и даже эмигрировать в другие страны. Все эти новшества отнюдь не создали идеального общества; но они, несомненно, ограничили эксплуатацию, способствовали значительному улучшению условий труда и повышению жизненного уровня трудящихся. Надо подчеркнуть, что это не результат гуманности капиталистов, а заслуга рабочего движения и в немалой степени заслуга идей Маркса.

Как же обстоит дело там, где провозглашено полное торжество этих идей,— в странах реального социализма?

При реальном социализме гражданин обязан работать, или, точнее, числиться на работе, если он не малолетний, не пенсионер и не инвалид. В противном случае он «тунеядец», «лицо без определенных занятий», а такие могут преследоваться законом.

Официально эта мера объясняется коммунистической моралью. «Труд в СССР,— провозгласил еще товарищ Сталин,— это дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». Труд, твердит номенклатура, должен стать жизненной потребностью каждого советского человека — строителя коммунистического общества. Из этих громких слов, однако, не явствует, почему того, кто пока еще не дорос до коммунизма и не испытывает потребности в чести и славе, милиционер волочит в участок.

Дело объясняется просто, и коммунистическая мораль здесь ни при чем. Ведь всем в СССР известно, что как раз члены номенклатурных семей — супруги, сынки и дочки — могут не работать, и никаких неприятностей они иметь не будут. Дело в другом. Во-первых, как уже говорилось, класс номенклатуры в соответствии с теорией Маркса считает, что от каждого работающего получается прибыль и, следовательно, каждый неработающий приносит убыток в известной юридической форме «неполученной прибыли». Во-вторых, неработающий приобретает определенную независимость от номенклатурного государства, что нетерпимо. В-третьих, размещение всех на государственной службе обеспечивает значительно более полный контроль класса номенклатуры над населением.

А как обстоит дело с столь часто упоминаемыми в коммунистической пропаганде социалистическими завоеваниями трудящихся стран реального социализма? На поверку эти завоевания выглядят так.

В странах реального социализма профсоюзы больше не защищают интересы трудящихся от хозяина — в данном случае государства; вместо этого они следят за выполнением установленного хозяином плана и подтягивают трудовую дисциплину. Сталин точно охарактеризовал советские профсоюзы как «приводные ремни партии», т. е. класса номенклатуры. Профсоюзы стали погонщиками рабочей силы.

Пособия по безработице больше не существует со ссылкой на ее отсутствие. Аргумент фальшивый. Отсутствие безработицы — понятие статистическое: оно означает, что число безработных в стране не превышает числа вакантных мест. Но в стране с 290 миллионами населения неизбежно есть многие десятки тысяч людей, почему-либо в данный момент не работающих, ушедших или уволенных с работы. Пособия же не получает ни один человек.

Трудящиеся не имеют возможности уйти от своего работодателя, так как работодатель — государство, а эмиграция не разрешается. На протяжении ряда лет трудящиеся СССР не имели права вообще переходить по собственной воле на другое место работы; теперь это разрешено, но сопровождается постоянными нареканиями в прессе по адресу «летунов» и рассуждениями о том, как бы их прижать покрепче.

Это и есть социалистические завоевания трудящихся СССР. Они распространились и на другие социалистические страны.

В рабовладельческом и феодальном обществе непосредственный производитель трудится на хозяина не потому, что хочет заработать себе на жизнь, а потому, что его заставляют трудиться. Труд непосредственного производителя таким образом подневолен, принудителен. По марксистской терминологии, здесь применяется внеэкономическое принуждение.

Капитализм порывает с этой традицией. Ему нужны не крепостные крестьяне и не крепостные рабочие на заводах, а лично свободные люди, продающие предпринимателю свою рабочую силу. Принуждение есть, но оно сделалось экономическим. К какому бы классу ни принадлежал человек, он не обязан работать, если у него есть средства существования.

Что такое принудительный труд? Это когда:

1. работать заставляют,
2. условия труда и оплату безраздельно определяет заставляющий.

В условиях реального социализма все эти элементы налицо.

Класс-паразит

Заключительную главу книги «Империализм как последняя стадия капитализма» Ленин посвящает теме паразитизма и загнивания.

В чем видит Ленин коренную причину паразитизма и загнивания господствующего класса в современном ему капиталистическом обществе? В том, что общество — капиталистическое? Нет, в том, что, по его мнению, в этом обществе стали господствовать монополии.

Ленин справедливо видит в любой монополии главную причину паразитизма обладающего ею класса. Паразитизм класса и связанное с ним загнивание установленного этим классом общественного строя ограничиваются масштабом монополии: чем более всеобъемлюща эта монополия, чем больше защищена она от конкуренции — экономической, политической, идеологической,— тем больше возможности для паразитарного перерождения господствующего класса, для его превращения в окостеневшую касту, сидящую у общества на шее, сосущую его соки и ничего ему не дающую.

Существуют явления паразитизма при капитализме?

Да, существуют. Но ведь подлинных монополий при капитализме нет. То, что в марксистующей литературе именуют «монополиями», в действительности — всего лишь крупные концерны, ни один из них не в состоянии монополизировать рынок. Поэтому, как правильно отметил Ленин, феномен паразитизма проявляется в современном капиталистическом обществе лишь как тенденция.

Иное дело — при реальном социализме, где монополия класса номенклатуры всеобъемлюща. Всякая конкуренция с номенклатурными монополистами свирепо пресекается диктатурой этого класса, и в искусственно созданном таким образом стоячем болоте полной монополии ничто не мешает паразитированию и загниванию. Особой интенсивностью такого процесса и объясняется тот факт, что класс номенклатуры, появившись на исторической арене позже класса капиталистов, уже намного обогнал его по степени своего паразитического перерождения.

Номенклатура — типичный служилый класс. Такой класс представляли собой в свое время в феодальном обществе сначала боярство, а затем дворянство. Все члены класса номенклатуры являются формально служащими. Они занимают определенные — неизменно руководящие — посты в партийном и государст-

венном аппарате. То, что они выглядят службистами, и позволяет номенклатурщикам маскироваться под служащих.

Номенклатура служит. Но работает ли она?

Сама номенклатура как служилый класс любит в мифотворчестве о себе рисовать номенклатурного чина этаким неутомимым работягой.

Миф этот расползается, словно дым, когда вы получаете возможность сами наблюдать за деятельностью номенклатурщиков и с удивлением знакомиться с тем, как они эту деятельность организуют.

Дело тут не в лени номенклатурщиков — это люди активные, не ленивые,— а в функционировании системы реального социализма. В условиях абсолютной монополии нет нужды стараться и работать.

А правда, зачем номенклатуре работать? Она эксплуататорский класс, следовательно, ее высокий жизненный уровень обеспечивается трудом других, подчиненных ей людей. Людей этих миллионы, так как номенклатура — единственный работодатель в стране. Среди этих людей вполне достаточно специалистов, на которых номенклатура начальственно покрикивает, а они руководят за нее производственным процессом. При таком методе производят меньше, чем можно было бы? Тем хуже для подчиненных, а самой номенклатуры это не коснется, она свое возьмет.

Любой класс преследует свои цели, ни один из них не руководствуется любовью к человечеству. Но класс, не имеющий полной монополии на господство, вынужден оплачивать свою руководящую позицию работой в интересах общества.

А классу-монополисту — номенклатуре — этого не нужно, и здесь находится корень его быстрого паразитического перерождения.

Что означает понятие «класс-паразит»? Не следует понимать его по-плакатному буквально: что класс этот, выражаясь словами Маяковского, только ест ананасы и жует рябчиков. Правящий класс правит, а уже это — занятие, отличное от смакования деликатесов. Вопрос в том: как он правит?

Хорошо ли руководит обществом правящий класс, означает — хорошо ли материально и духовно живется людям в управляемом им обществе, высок ли их жизненный уровень, свободны ли они. А также: действует ли правящий класс в интересах общества или правит он для удовлетворения собственного властолюбия и тщеславия, наперекор этим интересам.

Если людям живется плохо, если они несвободны, если господствующий класс правит ради наслаждения своей властью и привилегиями, то никакие многочасовые бдения правителей в кабинетах и залах заседаний не могут скрыть: они — паразиты на теле общества. Больше того: паразитизм едока ананасов безобиден в сравнении с паразитизмом лакомок власти.

Паразитическое перерождение любого господствующего класса состоит в падении его исторической рентабельности. Она может быть определена по обычной формуле: рентабельность равна полученной пользе за вычетом производственных издержек. Исторический опыт показывает, что с течением времени польза, получаемая обществом от деятельности господствующего класса, постепенно уменьшается, а цена, которую общество уплачивает за эту деятельность, возрастает. Пока рентабельность хотя и сокращается, но все же остается положительной величиной, можно говорить о тенденции к паразитизму господствующего класса. Однако наступает момент, когда рентабельность становится нулем, а затем отрицательной величиной: издержки общества на господствующий класс начинают превышать его взнос в благосостояние общества. С этого момента нужно говорить уже не о тенденции к паразитизму, а о паразитизме господствующего класса. Он стал классом-паразитом, наносящим обществу ущерб. История свидетельствует, что в таком случае общество начинает все более активно бороться за освобождение от господствующего класса-паразита и в конечном счете непременно добивается успеха.

Цена правления класса номенклатуры в СССР велика и тягостна.

Первая и наиболее мрачная часть этой цены — десятки миллионов человеческих жизней, загубленных номенклатурой. Здесь — и миллионы истребленных номенклатурными органами госбезопасности; и миллионы умерших от голода по вине номенклатуры; и миллионы погибших в борьбе за ее власть. Здесь — многие миллионы человеческих судеб, искалеченных диктатурой номенклатуры.

Вторая часть цены — бедность населения страны в результате эксплуатации его классом номенклатуры, неумения и неспособности номенклатуры развивать экономику в соответствии с запросами населения, а не в своих эгоистических классовых интересах.

Третья часть — безудержный рост потребления класса номенклатуры. Речь идет не только о съедаемых номенклатурой деликатесах и возводимых госдачах, не только о системе ее привилегий, но прежде всего об огромных материальных и людских богатствах, расточаемых на ее классовое потребление: на гигантские военную, карательную и идеологическую машины, на политику экспансии за пределами страны.

Четвертая часть — ликвидация номенклатурой свободы: удушение самостоятельной мысли, лишение членов общества нормальных интеллектуальных контактов между собой и с другими обществами. Все это, казалось бы, несозаемое нанесло обществу в Советском Союзе не только огромный моральный, но и колоссальный материальный ущерб, особенно очевидный в области науки, техники и культуры.

Все вместе привело к тому, что после падения царизма Россия так и не стала современной развитой страной.

Мы перечислили, вероятно, не все части цены, которую общество в СССР вынуждено платить за господство там класса номенклатуры. Но и названного достаточно, чтобы убедиться: цена непомерно велика.

В самом деле: что получило общество взамен?

Неверно думать, что господство номенклатуры не принесло обществу в Советском Союзе ровно ничего положительного. Но столь же неверно вслед за советской пропагандой ставить в заслугу номенклатуре любую черту, положительно отличающую Советский Союз сегодня от царской России 1913 года. Номенклатурная пропаганда пытается подсунуть всем, как само собой разумеющуюся, мысль, что, не будь власти номенклатуры, Россия и сегодня была бы точно такой же, как 80 лет назад. Но ведь это неумная ложь. С 1913 года все страны мира без исключения изменились — и особенно как раз те, где нет класса номенклатуры. Кто поверит, что, если за это время без всякой номенклатуры даже такие экзотические страны, как Бразилия, Тайвань, Южная Корея, Сингапур и Гонконг, не говоря уж о Японии, изменились до неузнаваемости, Россия оставалась бы и сегодня такой же, какой была в 1913 году, не осыпь ее номенклатура благодеяниями своего правления!

А между тем Россия в 1913 году была намного более развитой и современной, чем названные страны.

Сравнивать надо не с Россией 1913 года, а с сегодняшними странами — теми, где нет господствующего класса номенклатуры. Вот тогда можно будет объективно судить, каковы были положительные итоги номенклатурного хозяйничанья в Советском Союзе.

Послушайте номенклатурщиков: «В Советском Союзе не хватает людей!» А какой вывод сделали? В стране не хватает людей — так давайте же их истреблять миллионами под разными предлогами: как белогвардейцев, как кулаков, как троцкистов, как изменников Родины! В стране не хватает людей для работы — давайте загоним миллионы в армию, в органы госбезопасности, в государственный аппарат! Номенклатурщики хнычут: «Страна велика, отсюда трудности!» А какой вывод они делают? Страна велика — давайте сосредоточим всю нашу политику на том, чтобы подчинять ей все новые страны!

В этих вывертах за счет жизни десятков и качества жизни сотен миллионов людей и проявляется с особенной яркостью паразитический характер класса номенклатуры.

На протяжении почти четверти века имея дело с номенклатурой, я познакомился со многими членами этого класса. Были среди них разные: и хорошие, и плохие, и так себе; были глупые и умные, ленивые и прилежные, были махровые негодяи и были честные, милые люди, к которым я до сих пор глубоко привязан.

Некоторые из них прочитают эту книгу и, возможно, в глубине души согласившись со многим, здесь сказанным, огорченно нахмурят брови, раскрыв эти страницы. Они будут по-человечески обижены, ибо человеку, каждый день с девяти утра аккуратно являющемуся на работу, которую он считает весьма ответственной, горько прочитать вдруг, что он — паразит. И я хочу поговорить с ними по-человечески, а не бросать в них грязью из-за кордона.

Да, они ходят на работу и принимают как должное свои привилегии, свою власть и возможность распоряжаться чужими судьбами. Они отлично сознают, что никакие они не революционеры и никакого бесклассового коммунистического общества не строят, но считают, что они управляют великой страной и в этом их заслуга и их право на власть и привилегии.

Хорошо ли они управляют ею? В ответ на этот вопрос честные из них — а только к таким я и обращаюсь — пожмут плечами: они управляют так, как решило руководство, во всяком случае, лучше, чем управляли их предшественники при Сталине. И это правда.

Но не вся правда.

Мне довелось в свое время быть на Нюрнбергском процессе. Подсудимые — самые высокопоставленные чины в Третьем рейхе — так же пожимали плечами: они делали то, что приказывал фюрер. И никто из них — во всяком случае, во всеуслышание — не задумался над тем, что, раз они это делали, то фюрер приказывал им лишь то, что они готовы были делать.

К тому же теперь и в Советском Союзе миновали времена самовластных фюреров. Политбюро и Секретариат ЦК принимают лишь те решения, которые вызревают и подготовляются в номенклатуре. Да, отдельный номенклатурщик, если он не член этой правящей верхушки, не в состоянии повлиять на решения. Но пусть он и не открещивается: ведь выражает это решение в конечном счете и его желание — сохранить свою власть и привилегии независимо от того, хороша или плоха политика, которую нужно ради этого проводить. Да, не все члены класса номенклатуры согласны с курсом, проводимым руководством этого класса. Но какие выводы они сделали?

Не будем говорить об открытой критике этого курса: нельзя требовать от обычного человека героизма академика Сахарова. Но кто из несогласных покинул номенклатуру, добровольно перешел

на неноменклатурную работу по специальности, отказался от благ, связанных с пребыванием в правящем классе? Назовите таких!

Конечно, как и в нацистском рейхе в аналогичном случае, существует удобный аргумент: порядочные люди в номенклатуре могут все-таки делать что-то хорошее, а если они уйдут, то в номенклатуре останутся только проходимцы и будет еще хуже. Это верно — если порядочные номенклатурщики действительно делают что-то положительное. Но вот при мне один симпатичный сотрудник ЦК КПСС деликатно и любезно убеждал по телефону академика Капицу написать лживое письмо в газету «Таймс» о том, что он, Капица, отнюдь не протестовал против заключения Жореса Медведева в сумасшедший дом и не протестовал-де потому, что Медведев действительно психически болен. В том-то и беда, что честный человек в классе номенклатуры вынужден, если он хочет там остаться, проводить линию своего класса-паразита. Паразитами номенклатурщиков делает не их индивидуальность, а сама система реального социализма.

Номенклатурщик, если только он не рядовой сотрудник номенклатурного аппарата, а какой-нибудь начальник, непременно требует себе заместителя, если можно — нескольких заместителей, чтобы самому осуществлять «общее руководство».

Номенклатурному начальнику совестно самому работать. Один мой знакомый — бывший журналист с бойким пером — стал директором института, т. е. вошел в номенклатуру Секретариата ЦК КПСС. С тех пор за него пишут не только доклады и статьи, но даже самые несложные письма.

Дух номенклатуры — это дух паразитизма. Подобно тому как госпожа Простакова в фонвизинском «Недоросле» говорила, что не дворянское дело знать географию, на то кучера есть, в номенклатуре считается, что не номенклатурное дело работать, на то есть подчиненный аппарат.

Бытие определяет сознание

Общественное бытие номенклатуры как диктаторски господствующего, эксплуататорского, привилегированного и паразитического класса полностью определяет ее сознание.

Мораль номенклатуры сформирована ее отцами Лениным и Сталиным. Ленин поучал комсомольцев: «Всякую такую нравственность, взятую из внечеловеческого, внеклассового понятия, мы отрицаем», «Нравственность — это то, что служит разрушению старого эксплуататорского общества и объединению всех трудящихся вокруг пролетариата». «...Наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата», т. е. созданию нового эксплуататорского общества во главе с самозваным «авангардом пролетариата» — номенклатурой.

Из советских библиотек давно уже изъяты исследования советских социологов 20-х годов. Изъяты они неспроста: в исследованиях констатировалось быстрое возрастание среди населения черствости, жестокости, циничного эгоизма и карьеризма. Особенно четко проявлялась эта тенденция среди молодежи. Таким образом, речь шла явно не о «пережитках капитализма», а о новом явлении. Дальнейшие исследования были запрещены, вместо этого начались продолжающиеся и поныне нудные декламации о «новом советском человеке», который безгранично любит партию и ее ленинский ЦК и самоотверженно трудится на благо социалистической Родины.

А ведь отмеченное социологами явление легко объясняется именно с марксистской точки зрения. Маркс и Энгельс писали: «Мысли господствующего класса являются в каждую эпоху господствующими мыслями. Это значит, что тот класс, который представляет собой господствующую материальную силу общества, есть в то же время и его господствующая духовная сила».

Классовая мораль номенклатуры распространилась в подвластном ей обществе. Но как бы сильно ни были заражены различные группы общества этой моралью, концентрированное свое выражение она находит в рядах самой номенклатуры.

Мы уже говорили: номенклатурщик пользуется властью и привилегиями не потому, что он работает, а потому, что они причитаются ему по занимаемому им посту. Пост же он получает по решению руководящего партийного органа. Чтобы добиться такого решения, человек должен быть удачливым карьеристом. Вот почему в среде номенклатуры царит дух карьеризма.

Карьеризм — основной признак классового мышления номенклатуры. Все помыслы номенклатурщика вертятся вокруг его карьеры. Он непрестанно продумывает свои маневры с целью взобраться еще «выше» — «вырасти», как выразительно говорят на номенклатурном жаргоне. Номенклатурщики знают неписаное правило: только тот может удержать свой пост в номенклатуре, кто старается вырасти; тот, кто старается только удержать пост, потеряет его, т. к. будет вытеснен лезущим снизу. Для того же, чтобы действительно вырасти, надо приложить исключительные усилия.

Неудивительно, что в этой постоянной скачке с препятствиями номенклатурщики готовы использовать любые средства, только бы они обеспечивали успех. Ни в какой другой среде не видел я столько интриг, как в номенклатурной, — и столько ханжества с целью представить интриганство «партийной принципиальностью». Даже порядочные, симпатичные члены класса номенклатуры прибегают к этим интригам — иначе они лишатся своей принадлежности к номенклатуре, а это для каждого номенклатурщика — главная радость в жизни.

Выше отмечалась классовая спайка номенклатуры, сплоченность номенклатурщиков в отношении всех других. Скажем теперь и об оборотной стороне этого явления — о постоянном ощущении одиночества, свойственном каждому члену класса номенклатуры. Каждый из них отдает себе отчет в том, что именно его собратья по классу и являются самыми опасными его соперниками. Они поддерживают его лишь до тех пор, пока это в их интересах, и с превеликим удовольствием вышвырнут его, как только он перестанет быть им нужен. Номенклатурщик, привычно разглагольствующий о «волчьих законах капитализма», ощущает себя волком в стае волков — хотя и средн своих, но одиноким и в постоянной опасности. Вероятно, это неизбежно в «новом классе» деклассированных выскочек.

Класс-Тартюф

Номенклатура ведет шумную пропаганду, старается всем навязать представление, будто номенклатурщики — самоотверженные герои, слуги народа, мученики во имя его блага.

Почитайте эту саморекламу номенклатуры: как она неразрывно связана с народом, плоть от его плоти и кость от его кости; как день и ночь, только и живет думами о счастье народном; как не стремится она ни к каким привилегиям, кроме одной — послужить народу; и все помыслы свои отдает этому служению, и нет для нее важнее цели, чем благоденствие народа и его свобода, и ради этого она, не щадя своих сил, строит бесклассовое коммунистическое общество. И так далее, и тому подобное.

Водопад елейной лжи сплошным потоком низвергается в газетах, книгах, по радио и телевидению, в театрах и кино, в речах и докладах. Да и каждый номенклатурщик в отдельности — то с наигранным пафосом, то с наигранной же задушевностью, а то и просто со скукой — повторяет эту ложь.

Мольеровский Тартюф и щедринский Иудушка Головлев, собственно, ничего из ряда вон выходящего не совершили. Но именно разница между их подленьким поведением и благородной маской святости, которую они напяливали, сделала этих святош отрицательными типами мировой литературы. Так и номенклатура, класс-Иудушка, класс-Тартюф, своим ханжеством заслужила суровую оценку.

Между тем номенклатура не только приписывает себе качества, прямо противоположные ее истинной природе,— она требует от всех признавать за ней такие качества. Номенклатура негодует и обвиняет в антикоммунизме и антисоветчине тех, кто даже в свободных от нее странах решается усомниться в ее моральных доблестях. А уж там, где номенклатура властвует,— горе усомнившемуся!

Правящая номенклатура паразитирует и на моральных категориях, которые ей внутренне чужды. В советском обществе царит «двоемыслие», как назвал это явление Оруэлл в романе «1984». Все опутано клейкими тенетами номенклатурной лжи, разорвать их хоть где-нибудь нельзя — на вас сразу же, как гигантский паук, набросится номенклатура. Все от яслей до гроба должны повторять казенную неправду и восхвалять «партию», как именуется в официальной пропаганде класс номенклатуры.

Ложь, насильственно распространяемая паразитирующей номенклатурой, настолько переполнила все поры советского общества, что в нем как элементарная гигиеническая реакция самосохранения возник сформулированный Солженицыным лозунг: «Жить не по лжи».

Вот и я ему следую: пишу о советском обществе не то, что, бывало, повторял — сталинскую схему о двух дружественных классах и прослойке интеллигенции. Пишу то, что вы сейчас прочитали. Пишу правду.

Джордж СОРОС

Советская система: к открытому обществу

Людям Восточной Европы,
чьи устремления я старался поддержать.

Введение

В настоящий момент человечество переживает решающий, поворотный момент в своей истории. Политическая карта мира, сложившаяся после второй мировой войны, радикально перекраивается. Коммунистическая догма потеряла свою власть над умами людей. Советская империя, построенная на этой догме, разваливается. Процесс, который набирал обороты на протяжении десятилетий, ускорился настолько, что его можно назвать революцией. События разворачиваются так быстро, что за ними трудно уследить. Восточная Германия меняется на глазах, от нее не отстают Болгария и Чехословакия. В течение какого-то месяца конец коммунистической системы в Восточной Европе стал свершившимся фактом. Сейчас решается судьба самого Советского Союза. То, как разрешится этот вопрос, повлияет на будущий политический облик всего мира.

Политически возможны две развязки данной ситуации: либо Советский Союз станет частью свободного мира, либо он будет продолжать разваливаться. Мне кажется, это вопрос ближайшего времени. Ведь процессы не могут ускоряться до бесконечности, поэтому скорее всего гораздо больше событий произойдет в ближайшие месяцы, чем в последующие годы и десятилетия.

В истории были подобные моменты. Одним из них стал 1945 год, другим — 1919-й. Но самая очевидная параллель — с 1848 годом, потому что тогда в последний раз революционная лихорадка охватила сразу многие страны и непосредственное выражение воли народа в большой степени определило характер правительства. Есть и еще одно сходство с 1848 годом: и тогда, и сейчас волеизъявление народа проявляется в контексте национального вопроса. Однако различные национальные потоки изливаются в общее русло, которое создается стремлением избавиться от гнета со стороны правительства. Это придает национальным движениям всеобщий характер — их связывают узы братства.

Уничтожение старой системы — вопрос более или менее решенный. Сейчас решается, какой быть новой. Удастся ли заменить старые структуры новыми, чтобы различные национальности могли жить в мире, как добрые соседи, на одной земле? Или, может, распад страны будет продолжаться до тех пор, пока не выльется в гражданскую войну?

К сожалению, если процесс пойдет по линии наименьшего сопротивления, последнее весьма вероятно. Чтобы создать новую систему, необходимы время и силы, а и того, и другого мало. Я твердо убежден, что только deus ex machina в виде помощи с Запада может сместить чашу весов в сторону конструктивного решения. Этим убеждением я руководствовался в своих действиях, и это я собираюсь доказывать в этой книге.

Степень моего участия в историческом процессе, о котором я здесь говорю, увеличивалась по мере его нарастания. Я начал с робких попыток проковырять небольшие трещины в монолитной структуре коммунистической системы, исходя из убеждения, что для косной структуры даже маленькая трещина может иметь разрушительные последствия. По мере того как трещины углублялись и расползались по монолиту, я увеличивал усилия, пока эта работа не стала занимать большую часть моего времени и сил.

До недавнего времени моя роль участника процесса не давала мне возможности публично выражать свои взгляды, потому что роли участника и наблюдателя противоречат друг другу. Противоречие было и внутренним, и внешним. Внешне меня сдерживало то, что скорость распада коммунистической догмы была различна в различных странах и те взгляды, которые уже можно было высказывать в одной стране, были преждевременны для другой. Это ограничение было в значительной степени снято, когда после трагических событий на площади Тяньаньмынь мне пришлось приостановить деятельность моего китайского фонда, Фонда за открытость и реформу в Китае.

Журнальный вариант.
© Джордж Сорос. Уэдэнфелд и Николсон. Лондон. 1990.

Внутренний конфликт более устойчив. Как участник я действительно чувствовал большое вдохновение и оптимизм. Существовало поле деятельности, и у меня так хорошо получалось то, за что я брался! Однако как наблюдатель я не мог не становиться все более и более пессимистом, потому что перестройка не приносила никаких ощутимых результатов. Я боялся, что если я заявлю о своем пессимизме, это может помешать моей деятельности участника. Поэтому я предпочитал держать свои мнения наблюдателя при себе.

Этот конфликт разрешила революция в Восточной Германии. Мне как наблюдателю стало ясно, что события развиваются в сторону развязки и, если Запад не изменит радикально свою политику по отношению к Советскому Союзу, в обозримом будущем события в Советском Союзе примут весьма дурной оборот. Я мог бы с достаточной точностью указать на источник грядущих неприятностей: это будет Прибалтика, и все там закрутится вокруг вопроса о местной валюте. Как участнику мне точно так же стало ясно, что меры, которые я мог бы предпринять с целью повлиять на западную политику, значительно перевесят важность всей моей деятельности, связанной с фондами. Таким образом, две мои ипостаси слились в одну, и я решил, что не только возможно, но и необходимо заявить о своих взглядах. Отсюда — мое решение написать эту книгу.

Это должна быть «моментальная» книга, потому что времени писать ее нет. События развиваются настолько быстро, что очень скоро она может стать неактуальной. В то же время я так занят в связи с деятельностью моих фондов — в Венгрии, Польше и Советском Союзе (с независимыми филиалами на Украине, в Эстонии и Литве), не говоря уже о Чехословакии и Болгарии — и моими попытками влиять на западную политику, что у меня на литературный труд совсем не остается времени. В результате мне приходится писать и действовать одновременно.

Задача не так невыполнима, как может показаться. Писать — это и значит действовать, признаем мы это или нет, и, возможно, полезнее для дела признать, что я и участник, и наблюдатель, чем пытаться сохранить искусственное различие между ролями.

Всю мою взрослую жизнь меня занимали отношения между наблюдателем и участником, и я изучал их в различных контекстах. В результате у меня сложилась некая философия, которой я следовал сначала в качестве финансиста, а потом и участника истории.

Мои неоднократные попытки сформулировать свою философию не увенчались успехом. Когда я был еще очень молод, я пытался заявить о своих взглядах в небольшой книге, которая называлась «Бремя сознания», но к моменту завершения работы я понял, что она несовершенна. Затем я много раз пытался переписать ее и наконец отказался от этих попыток, когда вдруг однажды не смог понять, что написал накануне. Я бросил заниматься абстрактной философией и посвятил себя зарабатыванию денег. Однако желание высказать свои мысли не исчезло совсем, и я продолжал возвращаться к нему с разных сторон, на различных этапах своей жизни. Наконец, додумавшись применить свой опыт финансиста, прорвался сквозь запутанную паутину абстракций. В книге «Алхимия финансов» мне удалось заявить о своей философии в контексте, который обеспечил мне аудиторию. Правда, у автора и аудитории были противоположные цели: мне были интересны взаимоотношения между мышлением участников и ситуациями, в которых они действуют, в то время как моих читателей более всего интересовал секрет моего финансового успеха. Однако книга выполнила свою роль. Она позволила мне вырваться из интеллектуальной изоляции. Я вошел в контакт с целым новым направлением научной мысли, которое носит различные названия: теория сложных систем, самоорганизующиеся эволюционные системы, теория хаоса. Это направление мне показалось более родственным моему типу мышления, чем традиционная философия.

Теперь я готов еще раз попытаться сформулировать свою философию в контексте современной исторической ситуации. Философия необходима, чтобы объяснить как мои действия участника, так и мои взгляды наблюдателя. Но мой главный интерес — в самой исторической ситуации. Философия должна занять второе место. Это довольно удачно и для меня, и для моих читателей. Я не могу себе позволить увязнуть в абстракциях. Тем не менее философия будет играть решающую роль в моей аргументации. Она должна послужить основой не только для моих объяснений и предсказаний, но также и политики, которую я собираюсь пропагандировать.

Интересно, что теоретическая схема, которая мне нужна, чтобы поместить современную историческую ситуацию в некую перспективу, совпадает с той конструкцией, которую я предложил в «Бремени сознания». Там я пытался противопоставить две социальные системы — открытое и закрытое общества. Я утверждал, что каждой социальной системе соответствует особый тип мышления. Критический тип мышления соотносится с открытым обществом, а традиционный (или догматический) — соответ-

ствует закрытому обществу. Каждая социальная система несовершенна, каждой чего-то не достает — чего-то, что можно найти только в противоположной системе. Таким образом, нужно делать действительно непростой выбор между двумя принципами социальной организации. Сегодня мы переживаем особенный момент в истории, момент выбора. От того, какой выбор мы сделаем, во многом будет зависеть будущее человечества.

24 ноября 1989.

Мое личное участие

Прежде чем перейти к изложению теоретической системы, я должен вкратце информировать о своей деятельности. Я не могу гарантировать историческую точность всех деталей, особенно дат, потому что намеренно не вел никаких записей, сознательно письменно не фиксировал события. Меня больше интересовало то, что я делал, чем созерцание того, как я это делаю. Я почувствовал здесь ловушку для себя и постарался ее избежать. Может быть, поэтому у меня ужасная память. Такое впечатление, что я обучил себя смотреть вперед, а не назад.

Я начал заниматься благотворительностью около десяти лет назад. Тогда я был преуспевающим менеджером одного международного инвестиционного фонда и зарабатывал больше денег, чем мог потратить. И я начал думать, что мне с этими деньгами делать. Идея основать фонд мне нравилась, потому что мне всегда казалось, что обязательно нужно делать что-нибудь для других людей, если позволяют средства. Я был убежденным эгоистом, но считал, что преследование только собственных интересов — слишком мелко для моего довольно раздутого «я». По правде сказать, меня с детства достаточно сильно одолевали какие-то мессианские фантазии. Я всегда понимал, что должен не давать им особенно овладевать собой, чтобы не оказаться в психушке. Но когда я уже твердо встал на ноги, мне захотелось в меру своих финансовых возможностей разрешить себе удовольствие осуществить некоторые из этих фантазий.

Но с самого начала мне пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. Еще когда я пытался выбрать какое-нибудь благородное дело, на которое стоило бы потратить деньги, я вдруг осознал, что не принадлежу ни к какой общине. Я так и остался венгерским евреем, не став американцем. Что касается Венгрии, то я из нее давно уехал, а еврейское мое происхождение было для меня просто еврейским происхождением, не выражаясь в той верности роду, которая побуждала бы меня помогать Израилю. Напротив, я гордился тем, что принадлежу к национальному меньшинству, что являюсь аутсайдером, который способен встать и на другую точку зрения. Способность критически мыслить и не быть зашоренным была единственной положительной стороной в моем опасном и унизительном положении венгерского еврея во время второй мировой войны. Я понял, что всей душой поддерживаю концепцию открытого общества, в котором такие люди, как я, могут жить свободно, не подвергаясь оскорблениям и безжалостным гонениям. Соответственно я назвал свое дело Фондом открытого общества. У него следующие цели: поддерживать жизнеспособность и стабильность открытых обществ и помогать открывать закрытые общества.

Я был довольно скептически настроен относительно благотворительной деятельности. Время, когда я был нищим студентом в Лондоне, не прошло для меня бесследно. Я обратился тогда к Еврейскому совету попечителей с просьбой о денежной помощи, но они мне отказали, объяснив, что помогают только тем, кто осваивает какое-нибудь ремесло, а студенты к этой категории не относятся. Однажды на Рождество я подрабатывал носильщиком на вокзале и сломал ногу. Я решил, что это тот самый случай, когда я могу вытянуть деньги из этих мерзавцев. Я пошел к ним и солгал. Я сказал, что работал нелегально, когда сломал ногу, а поэтому не имею права воспользоваться «государственным вспомоществованием». В этом случае у них не было оснований отказать мне, но уж помучиться они меня заставили. Мне пришлось каждую неделю подниматься на третий этаж на костылях, чтобы получить эти деньги. В то же самое время один мой друг тоже получал от них денежную помощь. Он их водил за нос — вроде бы хотел обучиться какой-то профессии, но постоянно терял работу. Через некоторое время они отказались выплачивать мне пособие. Я послал председателю совета попечителей душераздирающее письмо, в котором написал, что, конечно, с голоду я не умру, но мне обидно, что евреи так относятся к своему собрату, попавшему в беду. Председатель обещал, что мне будут посылать еженедельное пособие по почте и мне не надо будет ходить за ним. Я милостиво согласился, и, уже когда я с ноги моей сняли гипс, и я даже успел смотаться автостопом на юг Франции, я все не спешил отказываться от денег совета.

Я много вынес из этого эпизода моей жизни, и, когда основал собственный фонд, этот опыт сослужил мне хорошую службу. Я понял тогда, что задача аппликанта (просителя, претендента) — выудить деньги из фонда, а задача фонда — этих денег ему не дать. Еврейский совет попечителей провел всестороннее и тщательное расследование относительно меня, но проморгал тот факт, что я получал также деньги от Управления по оказанию государственного вспомоществования. Именно это позволило мне принять такой тон морального негодования в моем письме к председателю, хотя на самом деле я ведь лгал. Я также обнаружил, что благотворительность, как и все остальные человеческие предприятия, может иметь непредвиденные и нежелательные последствия. Парадокс, связанный с благотворительностью, заключается в том, что она превращает реципиентов вроде моего друга в объекты благотворительности. Этого можно избежать двумя путями. Один — это предельно бюрократизироваться, как Фонд Форда, а другой — вообще не давать о себе знать: раздавать гранты (субсидии), не заявляя о своем существовании, не объявляя никаких конкурсов, — оставаться анонимом. Я выбрал второй путь.

Свою благотворительную деятельность я начал в Южной Африке, в Кейптаунском университете, который я выбрал как организацию, приверженную идее открытого общества. Я учредил стипендии для студентов-черных, причем достаточно много, так что это было ощутимо для университета. Однако этот проект не оправдал моих ожиданий, потому что администрация университета оказалась не такой радикальной, как заявляла и мои деньги большей частью пошли на помощь уже принятым в университет студентам и лишь частично для привлечения новых студентов. Но по крайней мере вреда это не принесло.

В то время я занимался также проблемой прав человека в качестве члена и спонсора групп наблюдения за соблюдением соглашения в Хельсинки. Мой только что созданный Фонд открытого общества предложил ряд стипендий в Соединенных Штатах инакомыслящим интеллектуалам из Восточной Европы, и именно эта программа натолкнула меня на мысль организовать фонд в Венгрии. Очень скоро мы столкнулись с проблемой отбора кандидатов. Мы вынуждены были основываться на устных рекомендациях, что, конечно, не самый справедливый путь. И тогда я решил попробовать создать отборочную комиссию в Венгрии и учредить открытый конкурс. Я обратился к послу Венгрии в Вашингтоне, который связался со своим правительством, и, к моему величайшему удивлению, я получил согласие.

Когда я поехал в Венгрию вести переговоры, в моем распоряжении было секретное оружие: стипендиаты Фонда открытого общества жаждали помогать. Со стороны правительства моим партнером на переговорах был Ференц Барта, который занимался внешнеэкономическими отношениями. Он относился ко мне как к бизнесмену-эмигранту, которому он очень хотел оказать услугу. Он ввел меня в Академию наук Венгрии, и вскоре мы заключили соглашение между академией и только что созданным Фондом Сороса в Нью-Йорке (мы решили, что название «Фонд открытого общества» может вызвать нежелательную реакцию). Был учрежден совместный комитет с двумя сопредседателями: одним из них стал представитель академии, другим — я. В комитет вошли независимо мыслящие венгерские интеллектуалы, чьи кандидатуры были одобрены обеими сторонами. Обе стороны получили право налагать вето на любое решение комитета. Также предполагалось создать независимый секретариат, который должен был функционировать под эгидой академии.

Мне очень повезло с помощниками. Я сделал своим личным представителем Миклоша Васарелия, который был пресс-секретарем в правительстве Имре Надя 1956 года и который был осужден вместе с Имре Надем. Он тогда работал научным сотрудником в одном академическом институте, и, хотя официально войти в комитет он не мог, ему разрешили быть моим личным представителем. Это был один из старейших политических деятелей неофициальной оппозиции, но в то же время он пользовался уважением аппарата. Также у меня был очень хороший юрист, Лайош Дорнбач, безраздельно преданный нашему делу, как и ряд других людей, которые лучше понимали назначение фонда, чем я.

Нам пришлось вести очень непростые переговоры и до, и после подписания соглашения. Чиновники думали, что они имеют дело с этаким американским дядюшкой, эмигрантом, жаждущим осыпать свою бывшую страну благодеяниями, которого им надлежало ублажать и использовать в своих целях. Особенно крепким орешком оказался вопрос о независимом секретариате. Мы никак не могли ни до чего договориться. Чиновники хотели, чтобы комитет принимал решения, секретариат их записывал, а потом передавал в соответствующие инстанции для выполнения. А эти соответствующие инстанции были, понятно, неотъемлемой частью системы внутренней безопасности. Когда дело совсем застопорилось, я решил встретиться с Георгием Эджелем, неофициальным культурным королем Венгрии и ближайшим советником Кадара. Я ему сказал: «Мы ни до чего не можем договориться, я собираюсь и уезжаю». Он ответил: «Я надеюсь, что вы уезжаете без чувства обиды». Я сказал, что не могу не чувствовать досады, потратив столько месяцев на бесплодные переговоры. Мы уже были в дверях, когда он вдруг спросил: «Что вам действительно нужно для того, чтобы фонд работал?» «Независимый секретариат». «Хорошо, я подумаю, чем вам помочь». В результате мы выработали компромисс: нам было позволено иметь независимый секретариат, но академия также должна была [illegible]ть представлена, и все документы должны были подписываться и представителем академии, и нашим секретарем.

При встрече с кандидатом, выдвинутым академией, я сказал ему: «Вам предстоит нелегкая работа, ведь придется служить двум господам». «Всего

лишь двум?» — ответил он. Я этот ответ воспринял как намек на то, что он должен еще и службам безопасности доносить. Тем не менее у нас сложились хорошие рабочие взаимоотношения. Один из членов секретариата, выбранный мною, был уволен с работы за политическую деятельность. Официальная сторона была против того, чтобы мы его брали на работу, объясняя это тем, что на нем «пятно». Однако они все же разрешили временно его оставить. Спустя год он получил равный статус с официальным членом секретариата, и с тех пор они очень дружно вместе работают.

Фонд объявил о ряде грантов, а также о конкурсе новаторских и независимых проектов. Одновременно мы решали вопрос о переводе долларов в венгерскую валюту. Возможно, нашей самой успешной программой было обеспечение общественных библиотек и академических институтов ксероксами за форинты. Полученные форинты мы использовали для грантов внутри страны. Мы учредили стипендии для писателей и ученых-обществоведов, но, как это ни нелепо, иам не разрешили давать гранты для заграничных поездок, потому что это было монополией официального комитета по стипендиям, жестко контролируемого службами безопасности. Я продолжал предоставлять стипендии через Фонд открытого общества и не скрывал этого. В конце концов Министерство образования, следившее за распределением стипендий, капитулировало. Мы сошлись на том, что заявления будут подаваться в двух экземплярах и гранты, предоставляемые нашим независимым комитетом по стипендиям, будут автоматически одобряться официальным комитетом.

К счастью, аппарат партийной пропаганды запретил средствам массовой информации отражать деятельность фонда. Нам было разрешено только помещать объявления в газетах и публиковать ежегодный отчет в соответствии с нашим соглашением. В результате общественность не сразу узнала о нашем существовании. Мы приняли за правило поддерживать практически любую стихийную, неправительственную инициативу. Мы давали гранты экспериментальным школам, библиотекам, любительским театральным труппам, Ассоциации игры на цитре, добровольным общественным организациям, художникам и художественным выставкам, а также различным культурным и исследовательским проектам. Название фонда выскакивало в самых неожиданных местах. Фонд приобрел некое мифическое качество именно потому, что о нем так мало писали средства массовой информации. Для людей с определенным политическим самосознанием фонд стал инструментом создания гражданского общества, для широкой же общественности это была просто манна небесная.

Мы тщательно соизмеряли свою деятельность, чтобы программы, нравящиеся правительству, перевешивали те, которые могли вызвать к себе подозрительное отношение со стороны чиновников от идеологии. Отношение властей было различным. Те, кого волновали проблемы экономики, обычно были «за», те, кто занимался культурой, — «против». Очень редко мы сталкивались с серьезными возражениями. В подобных случаях это только пришпоривало нас. Наверное, делать добро — благородное занятие, но бороться со злом — может быть весьма увлекательно и весело.

Один из таких конфликтов произошел осенью 1987 года. По всей видимости, сам Генеральный секретарь Кадар рассердился, когда прочитал об одном из наших грантов в еженедельной газете, которая регулярно публиковала информацию о наших стипендиях и грантах. Этот грант был выделен для исторического исследования, которое могло показать Кадара в невыгодном свете. Газете запретили продолжать публиковать информацию о нашей деятельности. Кроме того, случилось так, что тогда же министр культуры разослал циркуляр, запрещающий учебным заведениям обращаться в фонд напрямую, минуя министерство. Я заявил протест против обеих этих акций и, когда на мой протест должным образом не отреагировали, объявил, что не приеду в Венгрию и приостановлю деятельность фонда до тех пор, пока этот вопрос не будет разрешен. А тут произошел биржевой крах октября 1987 года. Корреспондент с венгерского радио взял у меня интервью по телефону и спросил, потому ли я закрываю фонд, что потерял свое состояние. Я объяснил ему причины, по которым отказываюсь ехать в Венгрию. Это недоразумение, сказал я, которое вскоре разъяснится. Интервью было передано по радио, и власти были смущены. Я добился, чего хотел, и мог теперь приехать в Венгрию. Но, пока я встречался с премьер-министром, глава отдела пропаганды, господин Берек, лично запретил брать у меня интервью. Запрет был нарушен в течение недели, когда венгерское телевидение в соответствии с коммунистическим этикетом показало нашу встречу с Громыко в Кремле, снятую московским телевидением.

С течением времени мы стали лучше понимать, что более важно, что менее. Миклош Васарелий особое внимание уделял молодежным программам. Мы поддержали ряд самоуправляющихся колледжей (студенческие общежития, где студенты разработали свои собственные учебные программы). Позднее из них выросла Ассоциация молодых демократов, которая сыграла большую роль в переходе к демократии.

Не мне оценивать социальную и политическую важность фонда. Я могу представить только субъективное суждение. Наш успех превзошел мои самые смелые мечты. Получилась действенная,

без сбоев работающая организация, полная энергии и решительности. По окончании организационного периода мне не приходилось тратить на нее много времени; она работала сама по себе. Было очень приятно принимать решения, зная, что они будут выполнены. Еще большим удовольствием было случайно узнавать о каких-то хороших делах, которые фонд делает без моего ведома. Однажды по дороге из Будапешта в Москву я разговорился с цыганом, который сидел рядом со мной в самолете. Я был поражен его необычайной образованностью. Он оказался этнографом, собирающим цыганские народные танцы. Когда он узнал мое имя, то сообщил мне, что эту поездку финансирует фонд. А в аэропорту в Москве я встретил около двадцати венгерских экономистов, которые ехали в Китай на стажировку, также финансируемую фондом. И все это в один день.

Вдохновленный успехом венгерского фонда, я решил прощупать, не созрел ли Китай для подобного фонда. Я встретился с Лиань Хенгом, автором «Сына революции», весной 1986 года, как раз перед его поездкой в Китай. Он установил хорошие контакты с реформаторами, и в результате восемнадцать китайских экономистов получили приглашение от Венгерского фонда посетить Венгрию и Югославию с целью изучения хода реформы в этих странах. Визит был очень удачным, потому что действительные контакты проходили не по официальным каналам и китайские экономисты получили очень хорошее представление о том, что на самом деле происходит. Я встречался с ними в Венгрии и обсудил концепцию фонда с Чен Идзи, главой Института экономической реформы. Потом я поехал в Китай с Лиань Хенгом, которого попросил быть моим личным представителем, и организовал фонд по венгерской модели. Институт Чен Идзи стал моим партнером. Бао Дун, главный помощник Чжао Цзыяна, быстро справился с бюрократической волокитой, и фонд был сразу же утвержден.

И он, и фонд в результате имели много неприятностей, потому что его политические противники попытались использовать фонд в качестве предлога для нападок на него. Они подготовили подробное досье, в котором утверждалось, что я являюсь агентом ЦРУ и антикоммунистическим заговорщиком. Бао Дун контратаковал и представил подробнейший материал о других моих фондах в доказательство моих честных намерений. Это было не очень сложно, потому что я никогда не делал тайны из моих намерений. Кстати, в Москве к тому времени я уже тоже организовал фонд. Сам Громыко дал добро, официально приняв меня в Кремле. Однако некий высший партийный совет в Пекине решил ликвидировать фонд и возместить деньги. Понадобилось личное вмешательство Чжао Цзыяна, чтобы отменить это решение. Он устроил так, что Чен Идзи ушел с поста сопредседателя, а вместо Института экономической реформы нашим партнером стал Международный центр по культурным обменам, чей председатель оказался одним из высокопоставленных чиновников службы госбезопасности.

Я не вполне был в курсе этих закулисных маневров, но не был удовлетворен тем, как работает фонд. Я сильно разругал бедного Чен Идзи за то, что слишком много денег он оставил для своего собственного института, и наивно радовался, когда он ушел. Но смена руководства ничего особенно не изменила.

Я пришел в ужас, когда меня пригласили посмотреть на один из финансируемых мною проектов: передвижную библиотеку, в которой работали «юные пионеры». Все было очень официально: дети в униформе, застывшие с напряженными лицами инструкторы, бессмысленные речи, эти нелепые «живые картины», которые по замыслу устроителей должны были демонстрировать, как работает библиотека. Но хуже всего было то, что секретарь фонда даже прослезилась от умиления и гордости.

До меня стали доходить некоторые недовольные высказывания от людей, которые имели дело с фондом. Один китаец, получивший грант от фонда, сказал мне, что фондом управляют службы госбезопасности. Вскоре после того Чжао Цзыян был отстранен от власти, и я использовал это как предлог, чтобы приостановить деятельность фонда в Китае.

После событий на площади Тяньаньмынь фонд фигурировал в качестве одного из главных обвинений против Чжао Цзыяна и Бао Дуна. Против Чжао было три обвинения. Одно — в «буржуазном уклонизме», потому что он слишком потакал студентам, другое — в выдаче государственных секретов, потому что он сказал Горбачеву, что Дэн Сяопин все еще держит в своих руках большую власть, и, наконец, последнее обвинение — в государственной измене, потому что он позволил работать фонду. Государственная измена всегда влечет за собой смертную казнь. Когда я услышал об этом от Чен Идзи, которому удалось бежать, я написал Дэн Сяопину письмо, предлагал защитить свое имя, приехать в Китай и представить им любую информацию, которая может понадобиться. Мое письмо было опубликовано в «Бюллетене партийных документов», у которого очень большой тираж, что свидетельствует о том, что обвинение было снято.

Теперь уже, оглядываясь назад, я понимаю, что сделал ошибку, открыв фонд в Китае. Китай не был готов к нему, потому что там не было независимой или инакомыслящей интеллигенции. Люди, на которых я ставил, были членами одной из партийных фракций. Они не могли быть совсем уж открыты и честны со мной, потому что их основным

долгом был долг перед своей фракцией. Фонд не мог стать организацией гражданского общества, потому что такового фактически не существовало. Было бы гораздо лучше дать дотацию непосредственно институту Чен Идзи, который заслуживал поддержки.

Условия изменятся после восстания 1989 года. До трагических событий на площади Тяньаньмынь все, кто хотел что-то изменить в обществе, должны были действовать внутри партии. Оппозиционная, инакомыслящая, независимая интеллигенция практически не могла возникнуть, так как общество полностью подчинялось партии и не потерпело бы ее. Но после кровавых событий на площади Тяньаньмынь партия потеряла доверие народа. Теперь общество не даст пропасть тем, кого выгонят из партии или с работы. В Китае стало возможным возникновение инакомыслящей интеллигенции.

Если на китайскую революцию 1989 года посмотреть с этой точки зрения, она в точности повторяет революцию 1956 года в Венгрии. Будем надеяться, что Китаю понадобится не столько времени, сколько Венгрии, чтобы революция принесла плоды. Венгрия была отгорожена от внешнего мира, однако Китай остается открытым. Теперь будет невозможно восстановить прежний жесткий контроль за мыслями. А Китай ведь стал слишком зависим от иностранной торговли и вложений, чтобы вернуться к закрытому обществу. Консерваторы не продержатся долго.

То количество времени, денег и сил, которые я вложил в преобразование коммунистических систем, возросло неизмеримо, когда я решил основать фонд в Советском Союзе. На эту мысль натолкнул меня телефонный звонок Горбачева Сахарову в Горький в декабре 1986 года, когда он попросил его «возобновить свою деятельность на благо Родины в Москве». (Сахаров сказал мне позднее, что телефонную линию установили специально для этого звонка — накануне.) Тот факт, что его не выслали за границу, говорил о том, что произошли значительные перемены.

Я надеялся, что Сахаров будет моим личным представителем в Советском Союзе. Я поехал в Москву в начале марта 1987 года в качестве туриста. У меня было два рекомендательных письма от голландца Алердинка, фонд которого занимается контактами восточных и западных средств массовой информации. Одно письмо было к высокопоставленному чиновнику в АПН, а другое к Михаилу Бруку, доверенному лицу Арманда Хаммера в Советском Союзе. У меня также были имена ряда диссидентов и независимо мыслящих людей, которые не боялись общаться с иностранцами. Ситуация не очень отличалась от той, что была десять лет назад, когда я приехал в Советский Союз в первый раз. Телефон зазвонил практически в ту самую минуту, как я вошел в номер. Это был Михаил Брук. Он прекрасно говорил по-английски и переводил мне в АПН. Чиновник в АПН упомянул Фонд культуры СССР, недавно учрежденную организацию, которую патронировала Раиса Горбачева. Мне показалось, что стоит попробовать, и я попросил помочь мне встретиться с кем-то из Фонда культуры. Чиновник сразу же договорился о моей встрече с заместителем председателя Георгом Мясниковым, пожилым человеком с большим приятным лицом и исключительно любезными манерами. Я рассказал ему, как работает фонд в Венгрии, и показал наши материалы. Он очень внимательно к этому отнесся, и где-то через час мы уже обсуждали детали.

У меня также было несколько интересных неофициальных встреч. Внук бывшего члена Политбюро Микояна познакомил меня со своим лучшим другом, который когда-то был блестящим ученым, но ушел из науки. Он называл себя «спекулянтом» и фактически был маргиналом. Я также познакомился с одним молодым ученым, который назначил мне встречу на переполненной станции метро. Я разговаривал с ведущими диссидентами — Сахаровым, Григорьянцем и Львом Тимофеевым, но у них мой проект вызвал довольно большие сомнения. Сахаров сказал, что мои деньги лишь пополнят казну КГБ. Он отказался от личного участия в фонде, но обещал помочь с выбором членов правления. Я сказал Мясникову из Фонда культуры, что, если они хотят, чтобы я продолжал организовывать фонд, они должны прислать мне официальное приглашение.

Когда я прилетел в Москву в следующий раз, в аэропорту меня встретил только что назначенный заместитель председателя Фонда культуры Владимир Аксенов. Это был довольно молодой человек. У нас с ним почти сразу же установились хорошие взаимоотношения. Он оказался поклонником Михайло Месаровича, ведущей фигуры в теории сложных систем и моего друга. Это сразу сблизило нас. Он стал настоящим энтузиастом идеи фонда. «Если бы вы не появились сами, нам пришлось бы вас выдумать»,— сказал он мне. Я по очереди встречался с предполагаемыми членами правления, но мне было не по себе, потому что я чувствовал, что не установил нужной связи с гражданским обществом. По правде говоря, я стал сомневаться, существует ли в СССР гражданское общество вообще.

Поворот осуществился в августе, когда большая делегация из Советского Союза была проездом в Нью-Йорке по пути на конференцию советско-американской дружбы в Чаппадуике. Среди них была Татьяна Заславская, с которой я очень хотел познакомиться. Я пригласил

к себе всю делегацию, и моя жена, Сьюзан, устроила обед на 150 человек. Это было зрелище. Было очень тесно, но всем, похоже, прием понравился. Только глава делегации, женщина-космонавт, была недовольна тем, что я посадил Татьяну Заславскую по правую руку от себя. Мы договорились встретиться еще раз в Чаппадуике, где мы долго разговаривали и обнаружили, что у нас очень много общего. Мы обсуждали состав правления, и мне показалось, что дело сдвинулось с мертвой точки. На одном из своих приемов я встретил будущего исполнительного директора нью-йоркского отделения фонда, Нину Буис, известного переводчика русской литературы.

22 сентября 1987 года было полностью сформировано правление. В него вошли: Юрий Афанасьев, историк; Григорий Бакланов, главный редактор журнала «Знамя»; Даниил Гранин и Валентин Распутин, писатели, Тенгиз Буачидзе, грузинский филолог; Борис Раушенбах, специалист по космическим исследованиям и религиозный философ, и Татьяна Заславская, социолог. Мясников и я стали сопредседателями, оба с правом вето, а Аксенов и Нина Буис — нашими заместителями.

Все члены правления — исключительные люди. Они стали ведущими фигурами в Советском Союзе, они всегда в центре внимания, всегда до предела загружены работой, у некоторых не очень хорошее здоровье. Однако они регулярно приезжали на заседания и проводили там огромное количество времени. Наше последнее заседание было назначено на воскресенье, потому что это единственный день, когда они могут высвободить какое-то время. Они придерживаются очень разных взглядов. Бакланов и Распутин находятся по разные стороны баррикад: заседания правления — единственный случай, когда они соглашаются сидеть друг с другом за одним столом.

А вот с Мясниковым было непросто. Он оказался типичным бюрократом. С самого начала, как только я ему сказал, что относительно выбора членов правления хотел бы посоветоваться с диссидентами, он настроился враждебно. Мы имели очень крупный разговор, было сказано немало резких слов, но за обедом он был сама любезность. Всегда безукоризненно вежливый, он использовал любую возможность, чтобы создавать препятствия, однако в конце концов всегда шел на понятный, потому что не хотел брать на себя ответственность в случае неудачи.

Я решил, что надо попытаться найти кого-то, с кем бы мы лучше понимали друг друга. Академик Лихачев, председатель Фонда культуры, казался мне идеальной кандидатурой. И я поехал в Ленинград, чтобы с ним встретиться. Это исключительно интеллигентный и образованный человек восьмидесяти двух лет, прошедший через сталинские лагеря. Он бы, конечно, был лучшим сопредседателем, чем Мясников. Когда я попросил его об этом, он позвонил кому-то в ЦК. На протяжении всего разговора Лихачев не сказал ни слова, он лишь кивал. Понятно, я оказался свидетелем одного из тех знаменитых телефонных звонков из Кремля, когда тот, с кем разговаривают, может только слушать. Когда он положил трубку, то сказал мне: «Ничего не поделаешь. Сопредседателем должен быть Мясников».

Тем не менее мы как-то начали разворачиваться. Рубли для нашей деятельности нам удалось получить в обмен на некоторое количество компьютеров.

То, как мы искали здание для нашего офиса,— отдельная история. После долгих поисков и битв мы оказались в палатах семнадцатого века, которые являются архитектурным памятником, запущенным и требующим реставрации. Фонд культуры передал его нам в пользование в качестве своего вклада.

Мы учредили независимый фонд, действующий в рамках советского законодательства, под названием Советско-американский фонд «Культурная инициатива», и мы с Мясниковым вошли в Совет попечителей без права вмешательства в решения, принимаемые правлением. Аксенов и Нина Буис вместо нас стали сопредседателями правления.

Фонд культуры больше напрямую не связан с фондом, но его чиновники продолжают чинить неприятности издалека. Фонд мира вошел в «Культурную инициативу» как денежный спонсор с советской стороны с обещанием вкладывать по пять рублей на каждый вложенный мною доллар. Это также привело к неисчислимым осложнениям: мы подписали соглашение в мае 1988 года, но получили первое поступление от них только в один из последних дней 1989 года.

Однако все эти сложности нам были нипочем, и мы смело начали нашу деятельность. Мы объявили о конкурсе инициатив и из первых полученных 2000 заявок выбрали сорок для финансирования. Они включали два проекта по устной истории сталинского периода, архив неправительственных организаций, альтернативную группу городского планирования, ассоциацию адвокатов, потребительскую группу, кооператив по производству инвалидных колясок и ряд исследовательских проектов, связанных с исчезающими языками Сибири, цыганским фольклором, экологией озера Байкал и т. д.

Нелегко также было получить официальный устав для фонда. Есть еще один фонд, пользующийся влиятельной поддержкой,— Международный фонд за выживание и развитие человечества, который отказался работать без устава. В течение года они сражались за свой устав и наконец получили его. Мы попросили, чтобы нам разрешили сделать устав на основе этого, и все равно при-

шлось добиваться разрешения 18-ти министерств, на что потребовалось шесть месяцев. Но это стоило того. Он дает нам такие большие возможности, что я мог бы сравнить его с уставом Ост-Индской компании. К тому времени, как мы его получили в феврале 1989 года, мы уже были готовы опубликовать наш первый годовой отчет.

Все было очень непросто. Каждая мелочь представляла огромную проблему. Но это также было очень интересно и весело. Я познакомился со многими прекрасными людьми. Не знаю почему, но я чувствую какое-то родство с русской интеллигенцией. Мой отец был в России во время русской революции, в основном в Сибири, в качестве бежавшего военнопленного, и от него я, должно быть, впитал что-то от русского духа. Я без особых затруднений общаюсь с людьми в Советском Союзе, хотя и не говорю по-русски. В лице Нины Буис я обрел великолепного гида и переводчика; у нее прекрасное чувство юмора, она смягчает мой американский деловой подход. В некотором роде у меня лучшие человеческие отношения в Советском Союзе, чем в Соединенных Штатах. Мы, похоже, разделяем одни и те же идеалы, у нас одинаковая система ценностей. Моя статья «Концепция Горбачева», опубликованная в журнале «Знамя», вывела меня на восемнадцатое место в списке популярности публицистов. Я горжусь этим.

Мы потратили очень много времени и сил, но фонд наконец начал оформляться. Наш обшарпанный дворец семнадцатого века гудит, как улей, даже в девять часов вечера. Исполнительный директор Сергей Чернышев каждый день работает по шестнадцать часов. За последнее время штат пополнился новыми способными людьми. Нина провела три месяца в Москве, и в последний приезд мне показалось, что венгерский фонд, возможно, окажется не единственным действительно работающим фондом.

Мы начали открывать филиалы в республиках. Сначала я поехал в Киев. У меня установились там очень хорошие контакты. На нашей первой встрече ведущие украинские интеллектуалы стали выдвигать свои идеи. Мне пришлось разочаровать большинство из них, и я очень переживал, что был вынужден все время говорить «нет». Но потом они сказали мне, что им это как раз понравилось. «Советский чиновник никогда не говорит «нет». Вы сказали «нет» десять раз в течение десяти минут. Это было просто отдохновение». Вечером они взяли меня с собой на празднование шестидесятилетия украинского поэта Дмитро Павлычко. Несколько сот человек собрались в большом зале, слушали стихи и песни, а затем Павлычко отвечал на вопросы.

Во время моей следующей поездки я посетил Эстонию и Литву. Это было больше похоже на официальный государственный визит: я прилетел на частном самолете, и съемочная группа «Шестидесяти минут» всюду следовала за мной. Несмотря на это, удалось многое сделать. В настоящий момент мы занимаемся организацией автономных филиалов в трех этих республиках. Я намерен также открыть отделения в Свердловске, Ленинграде и Иркутске, чтобы Российская Федерация не оказалась обойденной.

Моя деятельность по организации фонда дала мне уникальную возможность наблюдать эволюцию гражданского общества в Советском Союзе. Когда я приехал туда в марте 1987 года, я не мог вообще обнаружить гражданского общества. И не только из-за своей неопытности: сами советские интеллектуалы не знали, что думают люди, не принадлежащие к их узкому кругу. Независимое мышление осуществлялось подпольно. Все это изменилось. Сейчас все знают, кто что думает. Позиции определились, и различия прояснились в ходе общественного обсуждения. Все это похоже на сон.

Всегда существует разрыв между мышлением и действительностью. Он всегда образуется, как только участники пытаются понять ситуацию, в которой они находятся. Этот разрыв, в свою очередь, придает ситуации рефлексивный характер, потому что участники основывают свои решения не на фактах, но на вере и ожиданиях. Таким образом, расхождение между мышлением и фактом является неотъемлемой чертой человека и движущей силой истории.

Советская система основывалась на систематическом отрицании подобного расхождения. Догма должна была определять и мысль, и действительность, а мысли не разрешалось реагировать на реальность прямо, но только через одну из модификаций господствующей догмы. Это затрудняло реагирование — поэтому и мышление, и действительность сделались чрезвычайно косными. Это привело к возникновению разрыва другого рода: существовала официальная система, в которой и мышление, и действительность регулировались догмой, но также существовали и личные миры отдельных людей или узких групп, в которых расхождение между догмой и действительностью могло признаваться. Было два типа людей: те, которые принимали догму, как она им преподносилась, и те, у кого был свой собственный мир. Два типа достаточно отчетливо разделялись, и обычно я мог почувствовать почти сразу, имею я дело с настоящим человеком или с автоматом.

Когда Горбачев ввел «гласность», он расшатал официальную систему мышления. Мышление вдруг сразу освободилось от догмы, и людям разрешили выражать свои настоящие взгляды. В результате вновь появился разрыв между мышлением и действительностью. Более того, разрыв стал шире, чем когда-либо,

потому что в то время как интеллектуальная жизнь расцвела, материальные условия ухудшились. Налицо несоответствие между двумя уровнями, придающее происходящему характер сна. На уровне мышления — всеобщее воодушевление и радость; на уровне действительности преобладающим ощущением является разочарование: снабжение ухудшается, и катастрофа следует за катастрофой. Единственное, что свойственно обоим уровням,— неразбериха и замешательство. Никто точно не знает, какая часть системы уже находится в процессе перестройки, а какая еще работает; чиновники не смеют сказать ни да, ни нет; таким образом, почти все возможно, и почти ничего не происходит.

Фонд «Культурная инициатива» имеет такой же ирреальный характер. Почти все разрешено, но почти ничего нельзя осуществить. Научившись действовать в определенных рамках в Венгрии, я был потрясен, не обнаружив признаков ограничения деятельности фонда в Советском Союзе. На некоторых наших заседаниях присутствовал представитель ЦК, но он был большим поклонником Афанасьева, самого радикального члена нашего правления, и у нас с ним не было сложностей — он никогда не имел никаких возражений. Это было слишком хорошо, чтобы в это поверить, но, с другой стороны, я давно не был в Венгрии.

Был один период — около девяти месяцев,— когда я был так занят организацией фонда в Советском Союзе, что совсем забросил фонд у себя на родине. Когда я снова посетил Венгрию осенью 1988 года, я обнаружил, что она далеко обошла Советский Союз. Шло оформление политических партий, и коммунистическая партия явно распадалась. Фонд пользовался таким благоволением со стороны властей, что Министерство образования предложило внести деньги, соответствующие моему ежегодному вкладу, возможно, для того, чтобы поддержать свой собственный статус. Я согласился.

Фонд очутился в совершенно новой ситуации: его моральный капитал намного превышал мой финансовый вклад. Это открыло возможности, о которых раньше нельзя было и мечтать. В то же время первоначальная цель фонда была достигнута. Он должен был разрушить монополию догмы путем предоставления альтернативного источника финансирования для культурной и общественной деятельности. Догма действительно рухнула. Одно дело было способствовать этому, работать для этого, и совсем другое — увидеть, как это происходит на твоих глазах.

Пришло время радикально пересмотреть цели и задачи фонда. Мы эффективно работали вне официальных учреждений, но теперь пора помочь реформировать или изменить сами учреждения. По силам ли нам эта задача — мы не знали, это могло показать только будущее. Однако это был риск, на который стоило пойти. Иначе мы бы сами стали учреждением, чье время прошло.

У нас уже был какой-то опыт, на который можно было опереться. Мы помогали Экономическому университету имени Карла Маркса с организацией реформы учебной программы. В течение трех лет мы послали около шестидесяти преподавателей, что составляет примерно 15 процентов всего преподавательского состава, за границу слушать курс бизнеса с тем, чтобы преподавать его по возвращении. Я также был одним из основателей Международного центра менеджмента в Будапеште.

Мы решили сначала заняться гуманитарными дисциплинами, потому что преподавание гуманитарных наук до сих пор находится в руках партийных поденщиков, которых выдвинули на эту работу по идеологическим соображениям. Было ясно, что задача будет гораздо труднее, чем в случае с университетом имени Карла Маркса, потому что там инициатива исходила от самого университета, в то время как здесь нам придется преодолеть значительное внутреннее сопротивление. Рабочую группу мы сформировали. Будущее покажет, насколько ее работа будет успешной.

Я также выделил еще две задачи. Первая — образование в области бизнеса, вторая — гораздо более близкая моему сердцу — содействие распространению того, что я называю открытым обществом. В частности, я хотел содействовать расширению контактов и улучшению взаимопонимания с другими странами региона. Программы, включающие соседние страны, раньше были под строжайшим запретом. Теперь ничто не мешало развивать сотрудничество с моими фондами в других странах. В апреле 1989 года мы учредили нашу первую совместную программу — серию семинаров в Межуниверситетском центре в Дубровнике.

После «нежной» революции в Праге Фонд Хартии 77 в Стокгольме, который я поддерживал много лет, начал действовать, вооруженный с ног до головы, как Афина Паллада. Франтишек Януш прилетел в Прагу, и я присоединился к нему через неделю. Мы учредили комитеты в Праге, Брно и Братиславе, а я предоставил им один миллион долларов. С помощью нового министра финансов мы приняли участие в ближайшем официальном валютном аукционе со 100 000 долларов и получили обменный курс, который почти в три раза превышал курс черного рынка и в восемь раз официальный курс. Первые гранты были выплачены еще до конца недели. Я был очень горд всем этим делом, но, как это ни парадоксально, фонд критиковали те самые люди, которым фонд помог. Это был тот самый случай, который я называю парадоксом благотворительности.

Вместе с принцем Кари Шварценбергом мы встретились с Марианом Чалфой, который тогда исполнял обязанности президента. Предполагалось, что это будет просто визит вежливости, но у нас получился очень откровенный разговор. Чалфа сказал, что за последние три недели его представления о мире сильно пошатнулись. Он не представлял, насколько далеко от действительности была его партия. Недавно он поговорил по душам с Юри Динстбиром, бывшим заключенным, ныне министром иностранных дел, и только тогда узнал, что в Чехословакии детям диссидентов обычно отказывали в праве получить образование. (Дочери Динстбира удалось уехать в Швейцарию.) Он переживал чувство глубокого стыда и был твердо настроен превратить Чехословакию в демократическую страну. Мы все были согласны в том, что лучше, чтобы Вацлава Гавела избрал президентом нынешний парламент с его «машиной голосования», а не специально созванный плебисцит. Это затянет дело и может привести к непредвиденным результатам. А Гавел в качестве президента будет консолидировать «нежную революцию». «К сожалению, партийные вожди не согласны со мной, но в качестве исполняющего обязанности президента я имею определенные прерогативы и намерен ими воспользоваться»,— сказал он. Это прозвучало очень искренне и произвело на нас большое впечатление.

Сейчас, когда я пишу эти строки (11 января 1990 года), я собираюсь ехать в Румынию, а вскоре после этого в Болгарию. Я намереваюсь профинансировать сеть фондов, чьей основной миссией будет содействовать лучшему взаимопониманию и расширению сотрудничества в регионе. Они будут полностью автономны: будут сами решать, как им сотрудничать друг с другом, но если не хотят сотрудничать вообще, я не буду давать им денег.

Мое участие шло по тому же революционному пути, как и сами события. Сейчас оно выходит далеко за рамки непосредственно деятельности фондов — оно уже связано с экономической политикой и международными отношениями. До совсем недавнего времени я старался не высовываться: я понимал, что так от моей деятельности будет гораздо больше пользы. Именно то, что не было никакой рекламы нашего фонда в Венгрии, и то, что я не давал никаких интервью западной прессе, было важным условием успеха фонда. Но за последние несколько лет ситуация сильно изменилась. Я стал известен как общественный деятель; фактически я стал политиком, принял роль государственного деятеля. Это в некотором смысле была ненормальная ситуация, потому что я не представлял никакую страну. Но вскоре я свыкся с этой ситуацией. Мой отец, который пережил революцию 17-го года, говорил мне, что в революционные эпохи все возможно, а я всегда помнил о его советах.

Все началось на конференции по европейской безопасности в Потсдаме в июне 1988 года. Я представил грандиозный план пакта взаимной безопасности между НАТО и Варшавским Договором, соединенный с планом широкомасштабной экономической помощи советскому блоку. Когда я сказал, что деньги должны в основном исходить от европейских стран, аудитория рассмеялась, что и было точно отражено во «Франкфуртер Альгемайне».

Советский посол в Вашингтоне Юрий Дубинин сказал, что я большой фантазер. «Подскажите нам, что мы можем сами сделать»,— попросил он. Это послужило неким толчком для меня, я начал думать и за лето разработал концепцию рыночного открытого сектора, который нужно имплантировать в тело централизованной плановой экономики. Дубинину понравилась эта идея, и он информировал о ней Москву. Я получил приглашение от председателя Комиссии по внешнеэкономическим связям Каменцева, который перенаправил меня к своему заместителю, Ивану Иванову. Мы договорились о создании международной рабочей группы для разработки этой концепции. Но группа, которую сформировала советская сторона, была неадекватна нашей. Когда Дубинин заехал ко мне перед отъездом в Москву, чтобы выяснить, как идут наши дела, я сказал ему, что ничего не выйдет, если этим делом не займется кто-то на более высоком уровне. Он согласился и добился того, что премьер-министр Рыжков отдал приказ всем соответствующим ведомствам оказывать нам содействие в работе.

Наша группа, в которую входили Василий Леонтьев, экономист, лауреат Нобелевской премии, Эд Хьюитт из Института Брукингса, Фил Хансен из Бирмингемского университета, Ян Младек, один из основателей МВФ, Мартин Тардош, венгерский экономист, и я, поехала в Москву в ноябре 1988 года и встретилась там с достаточно влиятельной советской группой, состоящей из людей, которые ныне занимают высокие посты. Наши заседания завершились четырехчасовым совещанием с Рыжковым в Кремле. Вроде бы у него сложилось благоприятное впечатление: «Это, кажется, хороший путь, если вы решили, что хотите попасть именно туда». Договорились, что идею надо разрабатывать дальше, и было организовано шесть подгрупп для изучения отдельных аспектов концепции. Однако за всем этим соглашением стоял конфликт между заинтересованностью Иванова в создании свободных экономических зон и нашим более широким интересом в использовании открытого сектора для постепенного перевода всей экономики на рыночные принципы.

Эд Хьюитт занялся организацией рабочей группы с западной стороны, и первая серия встреч была назначена на конец января 1989 года в Москве. В нашу группу входило около двадцати человек из западных стран и несколько больше из Советского Союза. Я настаивал на пленарном заседании, потому что хотел сразу же принять основополагающие принципы и избежать «разброда и шатаний»; но Иванов сделал пленарное заседание очень коротким. Вскоре стало очевидно, что некоторые советские участники были действительно заинтересованы в этом деле и очень хотели его продвижения, в то время как другие присутствовали на заседаниях только из чиновничьего долга или, более того, были враждебно настроены по отношению к этой идее.

Один из «хороших парней» в частной беседе предложил, чтобы мы попросили о совместном заседании с Экономическим отделом Центрального Комитета. Это было организовано, и несколько человек из нашей группы принял Владимир Можин. Мы изложили нашу концепцию, и я сказал ему, что нам бы хотелось получить какие-то рекомендации от советских властей, иначе мы будем толочь воду в ступе и никуда не продвинемся. В ответ Можин на целый час зарядил то, что я называю «автоматическим говорением», пока его помощник, который был явно хорошо подготовлен, не задал несколько вопросов по существу. В результате получилось хорошее обсуждение; однако рекомендаций, о которых просили, мы так и не получили.

Я сказал Иванову, что я лично больше не намерен принимать участие в последующих обсуждениях, однако фонд «Культурная инициатива» будет продолжать их финансировать. Встречи продолжались еще несколько месяцев, но я подозревал, что вся эта затея превратилась в туризм. Мы должны были представить наш окончательный доклад в мае — планировалась серия заседаний с участием академиков, членов правительства, партийных деятелей и прессы. Но этого так и не произошло, потому что Иванов попросил об отсрочке в связи с другими делами. Это меня не очень расстроило, потому что после всего, что происходило с рабочей группой, я больше не надеялся, что из этой идеи может что-нибудь получиться. Мне стало очевидно, что центр принятия решений был парализован и тело централизованной плановой экономики уже слишком разложилось, чтобы питать эмбрион рыночной экономики. Однако я не жалел, что потратил время и деньги. Я много узнал о дезинтеграции советской экономики и параличе центра власти; кроме того, некоторые советские участники много узнали о принципах рыночной экономики. Я из этого всего вынес убеждение, что в ближайшее время оживить советскую экономику не удастся. Самое большее, на что можно рассчитывать,— замедлить процесс дезинтеграции, чтобы дать шанс гораздо более медленному процессу обучения показать положительные результаты.

После краха режима в Восточной Германии мое внимание опять переместилось в сторону Советского Союза. События чудовищно ускорялись, и я боялся, что нет времени ждать. Только обещание широкомасштабной западной помощи Советскому Союзу могло предотвратить обрушивание в пропасть. Я суммировал свои взгляды в статье, которая была опубликована в «Уолл Стрит Джорнэл» 7 декабря 1989 года, и предпринял отчаянную попытку связаться с президентом Бушем до его встречи с Горбачевым на Мальте; но мне удалось добраться всего лишь до помощника госсекретаря Лоуренса Иглбергера. Вот когда я решил написать эту «моментальную» книгу.

Я сел писать эту книгу, преследуя несколько целей. Одна из них — помочь самому себе понять исторический процесс, в котором я принимаю участие; другая — донести это понимание до других людей; и третья — повлиять таким образом на ход событий.

Для революционных периодов характерно, что события обгоняют способность участников их осознавать. Именно поэтому лидеры не могут долго удерживаться впереди, или, как говорят, «Революция пожирает своих собственных детей». Это явление отчетливо наблюдается в Восточной Европе. В Советском Союзе, правда, Горбачев продемонстрировал сверхъестественную способность объезжать тигра.

Я пытался идти в ногу с революцией, приспосабливая и свои объяснения событий, и свои цели к обстоятельствам. Теперь я чувствую, что стоящие задачи намного превышают мои возможности, и фонды должны будут отойти на второй план. Гораздо важнее пытаться влиять на политику западных стран. Я должен рискнуть и поставить под удар и свои фонды, и себя, чтобы разъяснить свои идеи и предложить план действий западному миру. В то же время я чувствую, что мои идеи требуют пересмотра. Я подходил к событиям с прекрасно разработанной теоретической системой, с которой я сверялся во всех своих начинаниях. Но по мере того, как меня засасывает в исторический процесс, мне все труднее что-либо понимать. Я должен остановиться, хотя бы на минуту, и спросить себя: а что же я делаю и почему? Я запутался в событиях. Власть одурманивает, а я сейчас получил больше власти, чем когда-либо рассчитывал, даже если это всего лишь власть тратить валюту там, где ее сильно не хватает. Разумеется, это одна из причин моего такого активного участия. Но мне нужна более серьезная причина. Я хочу понимать, что происходит. Понимать для меня важнее, чем просто участвовать.

Крушение советской системы

Реформа ускоряет процесс распада. Она привносит или узаконивает альтернативы в момент, когда система может выжить только при отсутствии альтернатив. Альтернативы порождают множество вопросов, подрывают власть, они не только обнаруживают недостатки в существующем порядке, но и ухудшают положение тем, что ресурсы отвлекают на более рентабельные проекты. В условиях командной экономики невозможно избежать нерентабельных капиталовложений. Стоит только предложить хоть минимальный выбор — пробелы и провалы тут же становятся явными. Более того, доход, получаемый при отвлечении ресурсов от командной экономики, гораздо больше того, который способна дать производительная деятельность; таким образом, совершенно необязательно, что в результате отвлечения этих средств производство в целом выиграет.

Однако факт остается фактом, что во всех коммунистических странах, за исключением Советского Союза, проведение экономических реформ сначала дало положительный результат. Это объясняется тем, что командная экономика настолько расточительна и неэффективна, что любые изменения сначала оказывают на нее плодотворное воздействие. И только потом урон, нанесенный косной структуре централизованной экономики, начинает перевешивать пользу от реформы.

Организаторы реформы в Китае, посетив Венгрию и Югославию в 1986 году (эта поездка была организована моими фондами), пришли к выводу, что у реформы есть первоначальный «золотой период», когда более разумное распределение существующих ресурсов дает людям ощущение явного улучшения. Только потом, когда все существующие ресурсы уже перераспределены и нужно делать новые капиталовложения, процесс реформы упирается в непреодолимые препятствия. И вот тут-то приходит время пересматривать политику. Только так можно расчистить путь для дальнейших экономических реформ.

Теоретическая модель закрытого общества допускает извращения, которые были бы немыслимы в открытом обществе. Какие еще нужны доказательства и иллюстрации? Экономическая деятельность в рамках советской системы просто не имеет никакого отношения к экономике. Скорее это выражение какой-то квазирелигиозной догмы. Самой удачной аналогией здесь, наверное, будет аналогия со строительством египетских пирамид. Эта аналогия замечательно объясняет, почему при максимальных капиталовложениях экономическая отдача минимальна. Она также способна объяснить, почему капиталовложения в закрытой системе принимают форму монументальных грандиозных проектов, строек века. Все эти гигантские электростанции, металлургические комбинаты, мраморные залы московского метрополитена, сталинские высотки — разве это не пирамиды, воздвигнутые современным фараоном? Конечно, гидроэлектростанции производят электроэнергию и металлургические комбинаты выплавляют сталь, но если эта энергия и эта сталь используются для того, чтобы строить новые электростанции и новые металлургические комбинаты,— по экономическому эффекту вся эта деятельность не слишком отличается от строительства пирамид.

Вот почему здесь так много возможностей лучше, эффективнее использовать даже существующие ресурсы. Относительно просто перераспределить то, что сейчас есть, однако, когда дело коснется инвестиционной политики, понадобятся более глубокие изменения. Капитал необходимо рассматривать как дефицитный и ценный ресурс. Капитал должен иметь стоимость, и при его размещении должна фигурировать процентная ставка. Все это фактически означает, что партия должна расстаться со своей ролью опекуна капитала. Всякая попытка реформы неизбежно столкнется с непреодолимым сопротивлением существующих структур власти. Компромисс, которым может разрешиться это столкновение, не способен обеспечить эффективное вложение капитала. Именно на этом месте, в этом вопросе любая реформа будет неизбежно проваливаться: единственная надежда здесь может быть на перемены, которые перерастают реформу, идут дальше и могут быть названы изменением строя.

Это подтверждается историческими фактами. И в Венгрии, и в Югославии, а потом и в Китае реформа принесла очень положительные результаты. Особенно ощутимо сказалась реформа на сельском хозяйстве, где децентрализация и появление стимулов к труду позволили значительно повысить выпуск сельскохозяйственной продукции в течение относительно короткого времени. Это вызвало доверие к реформе, на которое она смогла опираться позднее. Вопрос капиталовложений не стоял так остро, особенно в Китае, где сельское хозяйство практически не имеет индустриальной базы. Люди просто стали более напряженно работать, потому что им позволили пользоваться результатами своего труда. В других же областях экономики реформа состояла в основном в том, что была введена новая, более соответствующая действительности система ценообразования и более гибкий план, дающий предприятиям бо́льшую самостоятельность. В Китае, например, план предусматривал производство четырех наименований: велосипеды, часы, швейные машины и радио. То, что эти товары стали более доступны, дало людям почувствовать, что что-то меняется к лучшему, и не позволило реформе захлебнуться.

Реформа была постепенной, ее направляли сверху. И трудности не все сразу сваливались на голову, а возникали в процессе развертывания реформы, и вызваны они были в основном ослаблением центра и недостаточной самостоятельностью отдельных хозяйственных единиц. Трудно говорить о реформе в общем, потому что в каждой стране реформа идет своим путем. Реформа в каждой стране была сложнейшим образом переплетена с политическим процессом и развивалась трудно, с остановками, поворотами и топтанием на месте. Я не могу предложить сейчас полноценного исторического анализа, потому что слежу за событиями только последние несколько лет. Но, может быть, это и к лучшему, потому что позволит мне сосредоточиться на особенно характерных чертах.

Хотя предприятия получили большую свободу, они все-таки не обрели полной независимости. Они остались подчиненными государству или, если быть более точным, партии, которой подчинено и государство. Весь управленческий аппарат был номенклатурным, и все назначения и смещения внутри его определялись партаппаратом. Замена прямых министерских приказов косвенными, закамуфлированными хозрасчетной риторикой, ничего не изменила: каналы управления остались старые. В результате то, что было заявлено как ориентация на рыночную экономику, ориентировалось вовсе не на рынок, а, как и прежде, на источники власти.

Всегда существует некоторое расхождение между тем, что мы предполагаем сделать, и тем, что получается в действительности, и с введением некоторых реформ, ориентированных на рыночную экономику, расхождение между нашими предположениями и действительностью не исчезло. Оно просто изменило свою форму. Экономические рычаги должны были заменить прямые команды, но в действительности якобы нерушимые законы рынка были подвергнуты административному регулированию. Руководители, которые, кстати, принадлежат партийно-государственной бюрократии, сочли, что гораздо выгоднее попытаться изменить правила игры в свою пользу, чем играть по предложенным правилам. Это привело к тому, что появилась небольшая группа удачливых предпринимателей, так называемых «красных баронов», чей успех определяется их способностью манипулировать системой.

Достаточно взглянуть на современную Венгрию, чтобы увидеть, какой сложной может быть подобная система: почти каждое крупное предприятие имеет специальный набор налогов и дотаций, которые к этим налогам прилагаются. Все это якобы вызвано торговыми отношениями внутри СЭВ. Как бы то ни было, этот фактор влияет на положение предприятий больше, чем любой другой.

В рамках «якобы рыночной» экономической системы предприятиям не дают разоряться. Реформаторы могут кричать о необходимости введения банкротства, но ведь банкротство повлечет за собой безработицу, а безработица означает признание несостоятельности системы. Политический центр, пока он хоть как-то удерживает власть, не допустит введения банкротства как процедуры, особенно в неэкономичной тяжелой промышленности.

Если страна, пытающаяся реформировать экономику, недостаточно развита, то решающее значение приобретает что-то вроде межведомственных закулисных сделок, так как капитал ничего не стоит и не предусмотрено никаких наказаний за его неэффективное использование. В результате спрос на капитал практически неограничен и распределение средств, которое теоретически является функцией центрального органа планирования (Госплана), фактически определяется закулисными играми бюрократии. Даже и при этом положении вещей средств всегда не хватает. Два выразительных факта: в Советском Союзе в среднем требуется 11 лет, чтобы построить промышленное предприятие или, например, часто на предприятии скапливается неотправленная продукция, произведенная за год работы всего производства. Никакое капиталовложение не будет эффективным в таких условиях, потому что просто не сможет обеспечить прибыль, которая позволила бы платить нормальные проценты. В других странах социализма, пытающихся реформировать экономическую систему, ситуация не так плоха, как в Советском Союзе, но проблема капиталовложений остается основной причиной хронической несбалансированности всей экономики.

На примере Китая это видно особенно отчетливо. Реформа заметно продвинулась вперед. Производство стремительно нарастало, но спрос на капитал рос еще быстрее. Каждая провинция хотела иметь свою собственную велосипедную фабрику, и каждый уезд вдоль реки Янцзы — свой собственный порт для контейнерных перевозок. В результате инфляция стала неудержимой. Сторонники Чжао Цзыяна настаивали на изменении системы управления предприятиями, но не добились успеха.

Инфляция губит реформу. Система гордится своей стабильностью. Однако, как только привносятся какие-либо рыночные механизмы, сразу же повышается спрос, который система не в состоянии полностью удовлетворить,— и рост цен становится неизбежным. Сначала все это приветствуется, потому что наличие товаров по высоким ценам гораздо предпочтительнее, чем отсутствие товаров вообще. В случае с товарами первой необходимости цены контролируются государством, но государство, естествен-

но, вынуждено увеличивать дотации. Это приводит к росту количества денег в обращении — таким образом, усиливается давление спроса на всю остальную экономику. И так как этот спрос не может быть удовлетворен, растет количество «горячих», неотоваренных денег. Одновременно растет стремление вкладывать деньги. В ситуации, когда цены стабильны, вы ничего не теряете, если поместили деньги не лучшим образом. А в ситуации инфляции есть прямой смысл брать заем и делать капиталовложения, потому что проценты, которые вам нужно платить, инфляция сводит к нулю. И вот, когда еще при всем при этом непрерывно повышается зарплата, наступает полный кавардак. Очень трудно это предотвратить, потому что по мере ослаблении центра предприятия все больше и больше начинают заботиться о том, чтобы рабочие были довольны. Уж когда рабочие начинают объединяться и политизироваться, напряжение грозит взрывом.

Я называю превращение латентной инфляции в явную «польской болезнью», потому что именно в Польше она достигла своего апогея. Но это же превращение, и гораздо раньше, произошло и в Югославии, стране самоуправления. Также этот процесс в разных точках развития можно наблюдать в Венгрии, в Китае, в Советском Союзе. В Польше он разрешился в 1989 году, когда был парализован центр политической власти и предприятия были предоставлены сами себе. «Реальная» заработная плата повысилась что-то на 30%, но, конечно же, она не была реальной, потому что производство совсем не выросло; оно, собственно, упало почти на 8%. Разницу покрывал так называемый инфляционный налог, то есть обесценивание денег за то время, что они находятся на руках у населения. Чтобы совершить невозможное, потребовалась всевозрастающая скорость инфляции — 1000% под конец. Предприятия отложили все остальные свои обязательства — все средства шли на выплату заработной платы рабочим. Предприятия остановили капиталовложения, выплату налогов, даже прекратили платить поставщикам. В то же время никто не хотел держать злотые, и, как только был легализован свободный долларовый рынок, злотые на фоне доллара практически совсем обесценились. Так как совокупная стоимость денег в обращении постоянно сокращалась, государство вынуждено было печатать новые и новые бумажные деньги, чтобы покрыть бюджетный дефицит. Инфляция вырвалась из-под контроля.

Можно наблюдать, что процесс реформы замечательным образом напоминает модель «бум-спад» на фондовой бирже. Все начинаетси сравнительно медленно. Сначала реформа удовлетворяет некоторые надежды, с нею связанные, и укрепляется в связи с этим. И когда результаты начинают значительно отклоняться от ожидаемых, отклонение все еще помогает движению реформы: недостатки системы становятся более очевидными, ее способность противостоять изменениям разрушается, в то время как стремление к переменам усиливается. Политические и экономические изменения усиливают друг друга. По мере того, как ослабляется экономическая роль центров власти, их политический авторитет тоже подрывается. Конечно, власть будет сопротивляться — в конце концов главным инстинктом любой бюрократии является инстинкт самосохранения,— но ее сопротивление породит дальнейшие нападки, пока политические цели не заслонят экономические и разрушение центральной власти не вырастет в основную цель. Здесь на смену реформе приходит революция.

Есть еще один фактор, который, похоже, играет важную роль во всем этом процессе: внешний долг. Страны, вставшие на путь реформы, очень часто прибегают к западным займам, чтобы хоть как-то бороться с дефицитом. К сожалению, взятые взаймы средства разбазариваются точно так же бездарно, как и свои, отечественные, потому что нет эффективной системы капиталовложений. И Польша, и Венгрия брали очень большие займы в семидесятые годы; но планы капиталовложений были плохо продуманы и плохо выполнялись, поэтому проекты не только не оправдали себя, но и втянули эти страны в огромную внешнюю задолженность. Очень трудно разграничить причины и следствия в рефлексивном процессе, но нет сомнений, что и в том, и в другом случае режим пытался себя оправдать, создавая иллюзию какого-то движения, улучшения. Существует прямая связь между экономической реформой, внешним долгом и последующим экономическим спадом.

Возникает вопрос: предвидели ли реформаторы результаты своей политики? Ответ весьма неоднозначен. Несомненно, реформаторами двигало прежде всего желание изменить систему, и они были готовы идти на полумеры, очень хорошо понимая, что полумеры обязательно потребуют следующих шагов. В то же время они, наверное, не полностью осознавали возможные негативные последствия, в противном случае они не могли бы так убедительно пропагандировать свою политику. Конечно, реально проводимая политика сильно отличалась от заявленной политики, но ведь реформаторы всегда могут сказать, что их рекомендации просто не были выполнены. Однако их всех засосало в процесс, представляли ли они правительство или оппозицию, и им стало казаться, что у каждой проблемы есть решение, даже если это решение порождает новую проблему. Другими словами, они стали участниками процесса и в качестве таковых преданными сторонниками дела рефор-

мирования. Даже если у них были какие-то сомнения, они не могли заявить о них во всеуслышание; им оставалось только молчать. Таким образом, споры вокруг реформы стали определяться молчаливым убеждением в том, что реформа даст результаты, если процесс будет непрерывным, хотя с высоты сегодняшнего дня совершенно очевидно, что это убеждение ошибочно.

Необходимо осознавать, что реформа означает распад косной, закрытой, неизменной системы, и чем дальше развивается реформа, тем более очевиден распад. И только если вдруг в процессе реформы где-то происходит разрыв, процесс может повернуть вспять, и тогда возможно появление новой системы. Я попытаюсь показать далее, что момент разрыва должен быть привнесен извне, с Запада, потому что местных сил недостаточно, чтобы породить новую систему. За процессом дезинтеграции должен следовать процесс интеграции в западное общество, а этот процесс невозможно осуществить без помощи с Запада. В случае ее отсутствия процесс дезинтеграции будет продолжаться, и мировая закрытая коммунистическая система распадется на ее составляющие части, но не сможет приобрести и сохранить ни институты, ни даже способ мышления открытого общества.

Сейчас я только хочу сделать первый шаг в моей аргументации: я хочу показать, что реформа — и экономическая, и политическая — связана с разрушением системы по рефлексивной модели. Разрушение делает необходимой реформу, а реформа ускоряет разрушение. Это очевидно, если мы посмотрим на реформу с точки зрения системы: ослабление центра представляет собой смертельную угрозу. Но это далеко не всеми осознается и признается. Собственно, практически так вопрос и не ставился. Возможно, единственными людьми, кто полностью осознает, к чему может привести реформа, являются консерваторы, которые противятся любым реформам, в любом варианте, но их борьба заранее обречена на поражение. Реформаторы видят эти опасности гораздо менее отчетливо. Это и неудивительно. До последнего времени было бы вредно или даже просто опасно для реформы говорить об этом. Идентификация реформы с распадом означала бы обречение реформы на провал. И даже сегодня это может дать теоретическое оружие консерваторам в Советском Союзе, не говоря уже о Китае. Но мы уже слишком далеко зашли, чтобы об этом думать. Именно потому, что реформа завязана с распадом, процесс нельзя повернуть вспять. Могут быть репрессии, как на площади Тяньаньмынь в Китае, но вернуться к тому, что было, уже нельзя. Монополия догмы разрушена, и нет смысла притворяться, что это не так.

На личном опыте я убедился, насколько трудно приспосабливать то, что говоришь, к меняющейся ситуации. Когда я основал свой венгерский фонд в 1984 году, считалось, что название «Фонд открытого общества» звучит излишне вызывающе; однако где-то во второй половине 1988 года это название воспринималось бы уже совершенно нормально. Когда я учредил «Фонд создания открытого общества и реформы в Китае» в 1986 году, я изо всех сил старался показать связь между моей теорией рефлексивности и марксистской диалектикой — сегодня же это абсолютно никого не волнует. В Советском Союзе я мог представляться горячим сторонником нового мышления Горбачева, что было истинной правдой, но я не мог тогда высказывать многое из того, о чем я сейчас пишу в этой книге,— даже сейчас есть определенный риск стать персоной нон грата после ее публикации. В разных странах события развивались с разной скоростью, и я понимал, что лучше мне держать при себе свои мнения и впечатления наблюдателя со стороны, чтобы фонды могли работать. Нет еще года, как я начал кое-что высказывать; и только после событий в Восточной Европе моя забота о судьбе фондов отошла на второй план. Теперь мне важнее высказывать свою точку зрения и пытаться влиять на политику Запада. Вот почему я и написал так быстро, по горячим следам, эту книгу.

Когда реформаторы радикализуются, они должны пересмотреть и изменить свое отношение к центру власти. Когда они были только реформаторами, любой шаг, который вел к ослаблению центра и делегировал власть, был, наверное, шагом в правильном направлении. Но радикальная трансформация требует нормальной, работающей исполнительной власти. Недостаточно уничтожить старый центр власти закрытого общества — необходимо учредить новую власть, достаточно сильную, чтобы построить открытое общество. Это главная трудность в деле преобразования системы в коммунистических странах, и эта сложность еще не разрешена. Каким образом можно одновременно один центр власти разрушить, а другой построить? И как людям сразу переключиться с подрывной на созидательную деятельность или — что еще более сложно — делать параллельно и то, и другое?

И вот мы подошли к одному из интереснейших вопросов нашего исследования: каково место Горбачева во всем этом раскладе? Не может быть сомнений, что он сыграл определяющую роль в возникновении настоящей ситуации. Без него события в Восточной Европе не развернулись бы так стремительно. Он намеренно начал демонтаж некоторых сторон советской системы. Имел ли он в виду уничтожение всей системы? Если да, то почему? И чем он хотел заменить ее? Хотел ли он изменить лишь некото-

рые части системы? Если да, то какие именно и почему? Отдавал ли он себе отчет в том, что делает? До какой степени результаты соответствуют его ожиданиям? Нам нужно как-то ответить на эти вопросы, чтобы понять, что же произошло в Советском Союзе и чего можно ожидать в будущем.

Возможно, мы никогда не узнаем истины. Историки смогут восстановить многие факты, но ведь факты можно по-разному интерпретировать. Участники событий совершают какие-то действия, не вполне понимая, что происходит. Их взгляды одновременно непоследовательны и противоречивы в любой данный момент времени, а также подвержены изменениям с течением времени. В случае с Горбачевым ситуация осложняется тем фактом, что он не свободен честно сказать, что он действительно думает. Его риторика заметно меняется с течением времени. Значит ли это, что он по-другому стал думать, или это означает только, что изменились условия, которые заставляли его говорить именно так? Например, совсем недавно он заявил, что является убежденным коммунистом. Это заявление — факт. Что оно означает? Можно только гадать. Наши догадки и предположения можно затем сопоставить с другими известными фактами или теми фактами, которые будут установлены. Подобную интерпретацию я и хочу предложить вашему вниманию.

Я думаю, что мировоззрение Горбачева не очень отличается от моего. В частности, Горбачев считает деление на открытое и закрытое общества коренным вопросом, и, по его мнению, переделка Советского Союза в открытое общество — первоочередная задача. Это главный пункт, в котором мы с ним сходимся. Наш подход ко многим другим вопросам может различаться. Например, ему не хватает специальных экономических знаний. Кроме того, он русский и пропитан российской культурой, и советской, и дореволюционной. Он, вероятно, действительно искренне верит в коммунизм как идеал социальной справедливости и не видит этого «проклятья рокового», его врожденного порока. Мы различаемся по всем этим пунктам. Но мне, однако, кажется, что он обладает по крайней мере инстинктивным пониманием рефлексивности как исторической теории, в противном случае он не мог бы так смело действовать. Он также являет собой наглядный пример участника событий, который не вполне понимает, что происходит. В противном случае он бы, возможно, и не заварил всей этой каши. В частности, он, по-видимому, не осознавал, что один лишь демонтаж сталинской системы может оказаться недостаточным, чтобы создать свободное общество. Им руководило желание устранить оковы, сдерживающие развитие, он не смог предвидеть всех проблем, которые сразу же возникнут. Это неудивительно. Кто бы мог предположить, что он так далеко продвинется по пути уничтожения старого режима!

Я отдаю себе отчет в том, что моя интерпретация плохо согласуется с некоторыми широко распространенными, особенно в США, представлениями. Мы зачастую уверены, что главная цель лидера — получить и удержать власть. Внешне Горбачев, с его гениальным маневрированием с целью укрепления своей позиции, вполне соответствует этому стереотипу. Однако я не думаю, что Горбачев хочет власти любой ценой, и в качестве доказательства обратного и могу привести его поведение в связи с событиями в Армении. По правде говоря, Горбачев, возможно, почти так же отрицательно относится к кровопролитию, как и президент Картер. Нужно признать, однако, что он вспыльчив. Но я не могу себе представить, чтобы он превратился в тирана.

Мы также, похоже, думаем, что любой лидер должен прежде всего заботиться о национальных интересах его страны. На нас оказала большое влияние геополитическая теория, в соответствии с которой национальные интересы в большой степени определяются объективными факторами, которые неизбежно влияют на любое правительство, находящееся в настоящий момент у власти. Но когда сверхдержава начинает радикально пересматривать свои национальные интересы, теория не работает. Однако привычные стереотипы мышления, как правило, не исчезают сразу, и все еще широко распространено убеждение, что Горбачев пытается изменить систему с тем, чтобы Советский Союз сохранил влияние и мощь, которые иначе он потеряет. Недавние события продемонстрировали несостоятельность подобных мнений: даже при самом необузданном воображении невозможно предположить, что события в Восточной Европе могут укрепить геополитическое положение Советского Союза.

Горбачев думает, что необходимо вырваться из изоляции, в которую Советский Союз попал при Сталине, и включить его в содружество наций. Таким образом, скорее внешняя политика Горбачева определяется внутренними задачами, нежели наоборот. Этого никак не могут взять в толк западные специалисты-международники, так хорошо владеющие проблемами геополитики.

Программа Горбачева в области внешней политики гораздо лучше разработана, чем все остальное. Действительно, выражение «новое мышление» применимо только к этой области. Также только в этой сфере он может рассчитывать на наиболее компетентную профессиональную поддержку. Не будет преувеличением сказать, что Министерство иностранных дел является единственной бюрократической структурой в Советском Союзе, которая безоговорочно принимает политику Горбачева. Я был поражен, когда один из чиновников министерства с гордостью сказал мне однажды в 1987 году, что все, что делалось в области защиты прав человека, делалось этим министерством. Я подумал тогда, что скорее это должно было быть делом Министерства внутренних дел. Еще летом 1989 года Министерство иностранных дел создало Экономическое управление, косвенно признав тем самым, что те, кто по долгу службы занимается внешними экономическими связями, не справляются с работой.

Концепция Горбачева может для всех нас послужить вдохновляющим примером. Она основана на понятии открытого общества. Он говорит о принадлежности к «общему европейскому дому». Считает Европу открытым обществом, где границы теряют свое значение.

Это чрезвычайно привлекательная концепция. Европа здесь предстает как система отношений и связей, а не как географическая данность. Связи открыты и множественны. Они включают все аспекты мышления, информации, коммуникации и обмена, а не просто межгосударственные отношения. Так как система открыта, все это выходит за рамки Европейского континента, Соединенные Штаты и Советский Союз тоже включаются, не говоря уже о совсем недавно вошедшей в западную цивилизацию Японии.

В рамках этой концепции Европа рассматривается как идеал западной цивилизации, идеал человечества как открытого общества. Эта концепция предполагает более тесные, межгосударственные связи, причем государства не определяют деятельность людей и не доминируют над ней. Эта концепция противостоит концепции Европы-крепости. Она распространяет понятие гражданского общества и на область международных отношений.

Западный человек, возможно, все это обзовет чистейшим идеализмом, но для людей, которые были лишены преимуществ открытого общества, все это очень заманчиво. То, как откликнется Запад на эту концепцию, значительно повлияет на будущий образ мира.

Уже были попытки претворить похожие идеи в действительность — все знают о деятельности Лиги Наций и ООН. В обоих случаях эти попытки захлебывались, потому что и Лига Наций, и ООН были бессильны против тоталитарных режимов: в первом случае это были Гитлер и Муссолини, во втором — Сталин. Необходимо отметить, что одним из первых жестов Горбачева было то, что он выплатил скопившиеся за несколько лет неуплаченные взносы Советского Союза в ООН.

Возможно, оттого, что он связывал слишком большие надежды с внешней политикой, Горбачев гораздо менее четко определил цели внутренней политики и экономики. Он хотел дать людям возможность выразить свою волю, и у него был уже готовый инструмент для этого: народные собрания — «советы», от которых пошло и название Советский Союз. Однако он не продумал отношения между Советами и коммунистической партией, и когда на XXVII съезде КПСС, который призвал вернуть «всю власть Советам», этот вопрос встал, Горбачеву пришлось предложить паллиатив. Что касается его планов в области экономики, они были еще более расплывчатыми.

Почти с самого начала Горбачев столкнулся с непреодолимыми трудностями по двум пунктам: во-первых, оказалось, что экономика не способна реформироваться, во-вторых, стремление различных национальностей, составляющих Советский Союз, к большей независимости не поддается умиротворению и регулированию. Можно добавить еще третью трудность: неспособность Советского Союза по-прежнему доминировать в Восточной Европе, — но Горбачев не воспринял это как проблему, и таким образом, это в проблему и не превратилось. От первых же двух проблем так просто нельзя было отмахнуться.

Горбачев был твердо уверен в своем умении вести за собой. Поэтому он не чувствовал особой необходимости в подробно разработанной стратегии. Если бы он заранее предусмотрел все трудности, он, возможно, так безрассудно не бросился бы в это дело. Меньше, чем три года назад, Северин Биалер, советолог из Колумбийского университета, мог с полным основанием говорить, что Советский Союз никогда не сможет последовать примеру Китая и начать проводить политические и экономические реформы, потому что Китай однороден, а Советский Союз и внутренне, и внешне представляет собой империю, которую только репрессивный режим способен удержать от распада. Подобный анализ был справедлив, но Горбачев был так решительно настроен изменить режим, что его это не остановило. Я буду рассматривать проблемы экономики и национальных отношений по отдельности, но, конечно, они неразрывно связаны.

Сначала я попытаюсь ответить на вопрос, почему в Советском Союзе у реформы не было «золотого периода». Здесь задействованы несколько факторов. Один фактор — полное отсутствие элементарных экономических знаний — болезнь, которой страдает вся страна, вплоть до самых верхних эшелонов власти. Контраст с Китаем поразителен. Бывший Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Чжао Цзыян был превосходным экономистом, и в его распоряжении был целый полк блестящих молодых умов. В Советском Союзе нет ничего подобного. Один из представителей высших эшелонов власти Советского Союза сказал мне: «Мы не разбираемся в экономике и боимся задавать вопросы, чтобы не показать своего невежества. Мы думали, что наши экономисты скажут, что надо делать, потому

что они с таким знанием дела указывали на недостатки системы, но мы испытали горькое разочарование».

С отсутствием понимания тесно связано отсутствие внимания к экономическим вопросам. Горбачев прежде всего занимался политикой, частично потому, что ему нужно было захватить рычаги власти, и частично потому, что он считал, и совершенно правильно, что политические перемены должны предшествовать экономическим. Он гениально использовал каждый промах старых аппаратчиков для того, чтобы сместить их с высоких постов и заменить своими людьми, пока не достиг положения в партии, которое по традиционным меркам могло бы считаться несокрушимым. И только тогда он вплотную занялся экономическими вопросами. Он не мог уже больше сваливать вину за неудачи на других. Однако его собственные выдвиженцы были немногим лучше своих предшественников. Таким образом, ему пришлось начать отвечать самому. Более того, традиционные критерии не годятся для того, чтобы определить, насколько прочно его положение. Несокрушимого положения в партии может быть недостаточно, чтобы защитить его в ситуации, когда сама партия теряет власть.

Серьезный просчет Горбачева в том, что он не смог осознать, что политические перемены — это только необходимое, но не достаточное условие для экономических перемен. У него была довольно наивная вера в демократию: достаточно позволить людям принимать свои собственные решения — и эти решения будут правильными. Однако нельзя делать бизнес на основе консенсуса. Внутри каждой организации должна быть четко определенная структура власти. И в отсутствие самостоятельных, независимых экономических единиц должна хотя бы наличествовать структура управления экономикой как целым. Если решено экономику перестраивать, кто-то должен за это отвечать и этим заниматься. Не было сделано ни одной попытки организовать необходимую управленческую структуру.

Управление переменами требует совершенно иного организационного оформления, чем управление системой, которая рассчитывает быть неизменной. В Японии для этих целей имелось Министерство международной торговли и промышленности, в Корее было Агентство по экономическому развитию, даже в Китае была Государственная комиссия по проведению экономической реформы. Но Советский Союз не позаботился создать ничего подобного. Были сохранены существующие управленческие структуры, об изменениях свидетельствовали лишь некоторые кадровые перестановки. Государственным предприятиям была предоставлена большая свобода еще до того, как они были организационно перестроены в самостоятельные единицы; новые формы экономической деятельности были провозглашены до того, как были соответствующим образом определены объем и характер операций. Как я уже говорил выше, реформаторам казалось, что каждый шаг, который делегирует власть,— это шаг в правильном направлении. События показали, что это была ошибка.

Бюрократия была совершенно не готова к работе в изменившихся условиях. Она научилась, как флюгер, поворачиваться туда, куда подует ветер наверху, и сообразовывать свои действия с нынешним направлением ветра. Горбачев сказал им, что система изменилась и надо теперь брать на себя ответственность за свои решения. Сначала они с энтузиазмом выкрикивали перестроечные лозунги, не веря в них, а потом вдруг увидели, что система действительно изменилась и они уже не в таких жестких рамках, как раньше. И они сделали то, что сделала бы любая другая бюрократия в подобных обстоятельствах: они стали просто уклоняться от принятия решений. В результате процесс управления был парализован. Процесс принятия решений стал еще более растянутым, и разрыв между принятием решения и его выполнением увеличился.

Паралич прогрессировал из-за национального вопроса и желания республик обрести большую самостоятельность. Распоряжения Москвы просто не выполнялись на окраинах империи.

Можно привести еще несколько факторов, почему перестройка не принесла результатов даже вначале. В стране не было никаких знаний в области свободного предпринимательства, на которое можно было бы опереться. Также не было достаточно большой диаспоры за рубежом, которая могла бы оказать поддержку. Частному предпринимательству, тому, что все же появилось, оказалось гораздо проще и выгоднее эксплуатировать аномалии системы, чем наращивать производство. Мне рассказывали о заводе удобрений, который продавал свою продукцию в Финляндию за валюту только затем, чтобы потом советский агропром купил эти же удобрения по более высокой цене,— пакеты с удобрениями просто перегружали из вагона в вагон и отправляли обратно в СССР, даже не поменяв наклейки. Я встречался с руководителем процветающего кооператива, который возмутил общественное мнение тем, что заплатил 90 000 рублей в качестве своего месячного партийного взноса. Он мне рассказал, как они покупали у государственных предприятий ненужные им отходы со скидкой и продавали их за границу в обмен на компьютеры, которые перепродавали в Союзе по цене, в тридцать раз превосходящей официальный обменный курс.

В итоге выгода от вновь разрешенных форм экономической деятельности оказалась ничтожной по сравнению с вредом, нанесенным подрывом установившихся форм. Если встряхнуть жесткую структуру, она развалится. Это и произошло в Советском Союзе. Единственная причина, почему экономическая жизнь не замерла в Советском Союзе совсем,— в том, что она не полностью базировалась на официальной структуре. Постоянно заключается масса неофициальных сделок, и эта практика, пронизывая всю систему, приобретает все большее распространение. Я слышал о неофициальной торговой организации, в которую в качестве членов входит около 3000 государственных предприятий.

Экономическая перестройка крайне нуждается в конкретном успехе. Если бы только какой-нибудь вожделенный новый товар стал широко доступным! У людей тогда бы появилось хотя бы одно ощутимое, конкретное доказательство того, что может принести будущее. Например, гигиенические пакеты, производимые фирмой Джонсон & Джонсон, могли бы значительно облегчить жизнь женщинам, которые все еще пользуются бабушкиными методами во время менструаций. Джон и Джонсон фактически входит в консорциум американских фирм, который пытается организовать сеть связанных между собой совместных предприятий. Переговоры идут уже по крайней мере два года, но еще даже первый контракт не подписан (в первой сделке участвует «Шеврон», и предполагается, что на этом этапе будут добывать нефть, которую затем станут продавать за валюту и покупать другие товары). Таким образом, вряд ли можно ожидать, что Советский Союз быстро наладит производство отечественных гигиенических пакетов. К несчастью, нельзя ожидать особенного облегчения и в других областях. Все будет раскручиваться очень медленно.

В ситуации отсутствия улучшений общественное мнение враждебно отнеслось к проявлениям свободного предпринимательства. В России наблюдается сильная склонность к эгалитаризму (всеобщей уравнительности), корни которого уходят к деревенской общине, существовавшей еще до крепостного права и возрожденной после его отмены.

Позвольте мне обратиться к вопросу национализма. Это затрагивает самую суть, основу Советского Союза. Идеологической основой Советского Союза является государственная религия коммунизма, однако территориальная база СССР — Российская империя. После революции империя распалась, были созданы автономные республики, и последовала гражданская война, в результате которой власть консолидировалась в коммунистических руках и окраинные районы вновь были подчинены центральной власти. Можно рассматривать гражданскую войну как политику Москвы, направленную на восстановление своей власти в доминионах.

Сталин, конечно же, стал абсолютным правителем, у которого было больше власти, чем у кого-либо из царей. Во время и после второй мировой войны он расширил территорию Советского Союза, аннексировав Прибалтику и присоединив часть Польши, Румынии и Чехословакии, не говоря уже о Кенигсберге (Калининграде) и Курильских островах. Кроме того, он усилил влияние Советского Союза в Восточной Европе. Говоря о Советской империи, мы обычно имеем в виду страны, которые находятся под влиянием Советского Союза, но имеется ведь еще и целый набор национальностей внутри границ Советского Союза, которые были порабощены сталинской системой.

Здесь не место рассматривать сталинскую политику по отношению к национальностям. Достаточно сказать, что Сталин уважал национальность не больше, чем любое другое человеческое свойство. Единственное, о чем он заботился,— чтобы система работала, и он не колебался, передвигая целые народности по огромной шахматной доске Советского Союза. Значительная часть населения Прибалтики была депортирована в другие районы Советского Союза, на их место поселили этнических русских. Точно так же тысячи корейцев были вывезены из приморских районов Сибири в глубь страны, поляков во Львове заменили этническими украинцами, немцы были депортированы из Калининграда, и так далее.

Когда Горбачев ослабил тиски, национальные обиды и устремления стали находить выход. На это и рассчитывал Горбачев: национальные движения были его естественными союзниками в перетряске косной структуры власти. Он хотел высвободить стихийные силы, но в Армении и Азербайджане они повернулись друг против друга и стали представлять собой смертельную угрозу для политики либерализации.

У национализма два лица. Очень легко их различить. Одно доброе, кроткое, интеллигентное, ищущее самовыражения, доброжелательно обращенное к другим национальностям. Именно этот национализм произошел по Европе в 1848 году. Другое лицо — злобное, жестокое, яростное, перекошенное, направленное против других национальностей. Доброжелательная форма прекрасно согласуется с концепцией открытого общества, злобная форма — прекрасная питательная среда для закрытых обществ. Но вот каковы отношения между этими двумя формами?

Не может быть сомнений, что национальные движения в эпоху Горбачева показали сначала свое доброе лицо. Они породили народные фронты, которые стали определять политическую жизнь в большинстве республик. Народные фронты образовали альянс — Межрегиональную группу, которая фактически стала парламентской оппозицией, пробивающей гораздо более радикальные реформы. На пике нагорно-карабахского конфликта, когда Горбачев издал ультиматум,

грозящий ввести войска, чтобы снять экономическую блокаду Армении. Межрегиональная группа смогла организовать перемирие и еще раз (конец января 1990), Армянский и Азербайджанский народные фронты собираются в Риге под эгидой прибалтийских движений, чтобы попытаться обсудить свои разногласия.

Но национальные движения становились все более и более радикальными и злобствующими. Наверное, самое тревожное — это подъем российского национализма, который по сравнению с другими республиками совершенно явно находится на правом крыле политического спектра. Он имеет очень сильную тред-юнионистскую, эгалитарную окраску. Он враждебно настроен по отношению к кооперативам и другим дельцам, считает, что русских одурачили этим «общим делом коммунизма», что они вынесли на себе самую большую тяжесть, а все остальные республики живут за счет России. Он противостоит всем иностранным, космополитическим влияниям, и похоже, определенная часть бюрократии поддерживает его. Рост его влияния был потрясающим. Во время мартовских 1989 года выборов он еще не существовал, и все кандидаты, поддерживаемые «Памятью» (экстремистской организацией), потерпели поражение. Теперь же считают, что правое крыло в России по силе сравнялось с левым. Что-то похожее происходит и в Азербайджане, где Народный фронт, похоже, раскололся и проявилась радикальная правая группировка, которая начала нападать на пограничные посты и провоцировать кровопролитные столкновения с военными.

Национализм в Прибалтике имеет совершенно другой характер, чем на Кавказе и в Средней Азии. Украина — это еще одна, отличная от других ситуация. Лидеры украинского национального движения в Киеве — художники и интеллектуалы. А столица Западной Украины — Львов — населена людьми, которые после войны заняли квартиры депортированных, бежавших и репрессированных поляков. Национализм принимает более экстремистские формы во Львове, чем в Киеве.

Но, мне кажется, между двумя лицами национализма существует более любопытная историческая связь. Я подозреваю, что национализм развивается по той же модели бума-спада, как и экономическая реформа, и в значительной мере по той же причине. Именно неспособность доброго, образца 1848 года, национализма принести позитивные результаты и вызывает непременно радикализацию движения. Экстремисты оттесняют в сторону художников и интеллектуалов.

Национальные движения с экономическими процессами связывает фактор неудачи. Если бы национальные движения принесли положительные результаты, они сохранили бы свое кроткое лицо. И если бы перестройка удовлетворила национальные устремления, у нее был бы шанс на успех. Прибалтийские республики требуют независимости. Одним из важнейших пунктов этого требования является наличие собственной валюты. Но пока Советский Союз не имеет валюты, которая выполняла бы функции денег, введение настоящих денег в одной части страны вызовет серьезный подрыв отношений с Советским Союзом. Именно потому, что этот подрыв и экономически, и политически неприемлем, не может быть выполнено требование автономии. Если бы Советский Союз имел реальную валюту, законные желания Прибалтики могли бы быть удовлетворены, и перестройка могла бы двигаться вперед с различной скоростью в различных регионах страны. Это, возможно, единственная надежда для перестройки хоть как-то продвинуться. К сожалению, Советский Союз не в состоянии превратить рубль в реальную валюту. Этого нельзя достичь простым принятием решения.

Я хотел бы подчеркнуть, что нет ничего неизбежного в модели бума-спада. Она просто представляет линию наименьшего сопротивления, путь, по которому скорее всего будут разворачиваться события. Если будет организовано достаточно сильное сопротивление, линию можно разорвать в любом месте. Прерывистость присуща рефлексивным моделям — в противном случае катящийся под уклон так и катился бы вечно, ускоряясь в соответствии с физическими законами. При нормальном ходе событий это движение должно зайти достаточно далеко, пока соберутся достаточные силы, чтобы выровнять уклон. Но движение может быть прервано в любой момент, особенно если в игру вступают экзогенные (внешние) силы. В этом случае откуда могут исходить эти силы? По-моему, только с Запада.

Я постараюсь быть более конкретным и набросать путь, по которому может пойти линия наименьшего сопротивления. Не стоит и говорить, что это только одна из многих возможностей, которая — так уж случилось — имеет большую вероятность, чем остальные, на основе фактов, которыми мы сегодня владеем. Но по мере развития событий расклад может поменяться. Таким образом, мое предсказание не обладает исторической неизбежностью.

Сегодня явно проявляются две линии конфликта. Одна линия — между требованиями автономии и независимости в республиках и желанием центра сохранить целостность Союза. Другая — между левой ориентацией народных фронтов в республиках и возрастающей правой ориентацией России. Вот как может разрешиться драма.

По-моему, центр не сможет противостоять требованиям республик. Своими действиями в ходе армяиско-азербайджанского конфликта Горбачев продемонстрировал, что он не хочет применять силу. Это стало водоразделом: с режимом террора было покончено, ему на смену пришла эпоха уговоров. Горбачев — мастер убеждать, но аргументы бессильны против законных требований народа, а обнародование секретных пунктов пакта Молотова — Риббентропа показало, что требования прибалтийских республик законны. Горбачев побил все рекорды, бесчисленное количество раз повторив, что Советский Союз не может санкционировать независимость прибалтийских республик. Это сделало его позицию уязвимой. Какой бы компромисс он ни выработал, это все равно неизбежно приведет к дальнейшему ослаблению центральной власти. На мой взгляд, положение Горбачева более шатко в Прибалтике, чем в Азербайджане и в других азиатских республиках. В Азии он может применить силу, в Прибалтике — нет. Даже если его сменит на посту консерватор, Советскую власть не удастся удержать силой, потому что армия ненадежна. Сегодня в Советском Союзе просто недостаточно сил, чтобы уговорить Прибалтику подчиняться. Какой консерватор захочет взять власть, если он не может применить силу? Таким образом, положение Горбачева более устойчиво, чем может показаться; только власть, которую дает этот пост, может ослабляться. Ослабление центральной власти просто ускорит процесс дезинтеграции. Уход Горбачева завершит этот процесс. Невозможно предсказать, как далеко зайдет этот процесс, но распад Советского Союза очень вероятен. В конце концов после краха царизма Российская империя тоже развалилась.

Чем более независимыми становятся республики, составляющие союз, тем более вероятно то, что реакционный националистский режим захватит власть в РСФСР. Подобный режим питается вековой антизападной и антисемитской интеллектуальной традицией. Не случайна схожесть его с нацизмом. У них общие философские корни* и общее чувство национального унижения, обиды, которое будет стимулировать экспансионистскую политику. Принимая во внимание широкое размещение атомного оружия, трудно удержаться от вывода, что новый русский националистический режим будет представлять большую опасность для мира, чем когда-либо Советский Союз. Советский Союз, как мы теперь можем видеть, был обречен изначально. Пока ему удавалось удерживаться в роли сверхдержавы, контролирующей весь мир, он очень осторожно действовал, потому что осознавал свою уязвимость. Новый режим будет пытаться показать себя, доказать свою состоятельность; и единственным средством в его распоряжении будет военная сила. К счастью, атомные арсеналы становятся бесполезными с течением времени (это связано со временем полураспада трития), поэтому угроза будет скорее региональной, чем глобальной.

Совершенно необязательно, что события развернутся именно таким образом, но, если ничего не будет предпринято, чтобы предотвратить это, очень может случиться, что так все и произойдет. Что должен делать Запад в этой ситуации? Это вопрос, к которому я обращусь в следующей главе

Европа как открытая система

Мой анализ, основанный на принципах рефлексивных изменений, привел меня к глубоко пессимистическим выводам. Такое впечатление, что, будучи предоставлен самому себе, Советский Союз не сможет превратиться в открытое общество. Я пришел к этому выводу, несмотря на свой собственный постулат о том, что Горбачев считает превращение Советского Союза в открытое общество своей наипервейшей задачей, которая превалирует над всеми другими целями и задачами, включая его собственное выживание, не говоря уже о выживании всей Советской империи. Получается, что вывод противоречит моей теоретической схеме, которая открытое и закрытое общества представляет как две взаимодополняющие альтернативы.

Интересная мысль приходит в голову. А может быть, Горбачев использовал в качестве концептуальной основы ту же статическую схему, которую я изложил выше? Это могло бы объяснить, почему он направил всю свою энергию на снятие ограничений в существующей системе и, казалось, свято верил в то, что все будет хорошо, если только он сможет высвободить творческую энергию народа.

Эта мысль на самом деле не такая нелепая, как может показаться на первый взгляд. Я создал эту статическую схему в 50-х годах, когда и Горбачев переживал период формирования мировоззрения, а я основывался на своем собственном опыте знакомства с той же социальной системой, в которой он жил. Данная схема послужила концептуальной базой для Фонда Сороса в Венгрии, и венгерский народ даже лучше меня самого понял, зачем этот фонд. Более того, мой вывод о том, что нельзя создать открытое общество, просто сняв ограничения закрытого общества, является ex post facto; я сделал его, когда уже были видны результаты деятельности Горбачева. Анализируя прошлое с высот настоящего, видно, в чем ошибался Горбачев: он верил, что для превращения Советского Союза в открытое общество будет достаточно преодолеть гегемонию догмы; он не принял в расчет долгий, болезненный процесс познания, который потребуется для воплощения в жизнь идеи открытого общества. Если бы я тогда оказался на его месте, я бы вряд ли смог сделать больше. В конце концов при создании

* См. Александр Янов. Русский вызов (Бейсил Блэкуэлл, 1987).

моих фондов я использовал теоретическую схему, которая рассматривает открытое и закрытое общества как две взаимодополняющие альтернативы.

И хотя Горбачев никогда не имел дела с финансовыми рынками, он, кажется, прекрасно знает принципы рефлексивных изменений. И то, что принимающий участие в игре не может наверняка предсказать последствия своих действий, является частью этих правил: вот почему он должен идти на риск. Но и думаю, что Горбачев пошел бы на риск, даже если бы он заранее предвидел, к чему это приведет. В конце концов некоторые люди, живущие в авторитарном обществе, готовы на все ради таких изменений.

Остается вопрос: как можно разрешить противоречие между статическим и динамическим анализом? Я уже указал в общем, что статические модели дают искажение, потому что они претендуют на вневременную значимость, хотя история является необратимым процессом. Здесь мы имеем практический пример такого искажения. Очевидно, легкого перехода от закрытого к открытому обществу не может быть. Недостаточно лишь снять ограничения закрытого общества; необходимо создать институты, законы, образ мышления, даже традиции открытого общества. Открытое общество — это комплексная система, более сложная, чем закрытое общество, особенно потому, что его структуры не являются жесткими, а настолько гибки, что выделить их чрезвычайно трудно. Создание такой сложной системы требует времени и энергии, а начатый Горбачевым процесс не дает возможности ни для того, ни для другого.

Революции разрушительны по своей природе. Они могут служить переходом от открытого общества к закрытому — что и случилось в России после 1917 г.,— но они не могут сами по себе достичь противоположной цели. Обычно требуется длительный период созревания для того, чтобы позитивные результаты революции принесли плоды. В Венгрии за революцией 1848 года последовало примирение 1867 года, а за революцией 1956 года — первые, пробные реформы 1968 года и в 1990 году реабилитация Имре Надя.

Чего сегодня остро не хватает — так это приемлемой теории роста самоорганизующихся сложных систем. Концепция рефлексивности предоставляет основы такой теории, но ей недостает некоторых жизненно важных составляющих, особенно выделяется здесь теория познания (и забывания). Без этого переход от закрытого общества к открытому не может быть понят, не говоря уже об управлении этим процессом. Я не могу предоставить недостающей здесь теории; я могу лишь констатировать ее отсутствие.

Процесс познания — это не только сбор информации, подобно тому как натуралист собирает бабочек. Он влечет за собой организацию информации, создание ментальных структур («фреймов», если воспользоваться терминологией из области информатики). Эти ментальные структуры рефлексивно взаимодействуют с субъектами, к которым они относятся, в процессе создания сложной системы, которую мы называем обществом. Открытое общество — это намного более сложная система, чем закрытое общество, потому что закрытое общество предполагает только один законченный фрейм («основной фрейм», говоря на языке информатики), и люди, разрабатывающие свой собственный фрейм, являются источником осложнений, тогда как в открытом обществе наличие автономных элементов предполагает наличие своих собственных структур — это и делает их автономными. Такие элементы нельзя купить в магазине — вот где уж нельзя провести аналогию с компьютерами. Как эти элементы развиваются? Моя схема уже бессильна ответить на этот вопрос. Но очевидно одно — для их развития требуется время, а дефицит времени создает хаос (здесь лучше подходит русское выражение «смутное время»).

Революции — это время хаоса. Теория хаоса на настоящей ступени развития не может оказать большую помощь в понимании революций, но революции могут помочь в развитии теории хаоса. Я думаю, что к системам с мыслящими участниками надо относиться не так, как к системам, не обладающим разумом (если только разум не распространяется шире, чем мы думаем). Революции в отличие от погоды действуют по другим законам, даже если модели и похожи.

Я начал решать проблему самоорганизации и овладения знаниями на практике. Первоначальной целью моих фондов было разрушить монополию догмы, но в дальнейшем это вылилось в попытку привнести самоорганизацию в закрытые общества. Сеть нарождающихся фондов сама по себе является прототипом открытой системы, где каждый элемент действует более или менее автономно. К сожалению, данный прототип не был задуман как самообеспечивающийся: ему требуются постоянные дополнительные инъекции денег с моей стороны, хотя предполагается, что организации, которым он хочет оказать поддержку, являются самоокупающимися. За этой моей практической деятельностью не стоит никакой сформулированной должным образом теории.

Моя вневременная модель открытого общества несовершенна, т. к. она упускает из виду процесс эволюции. Было бы ошибочным считать, что сложная система может вдруг спонтанно начать существовать, хотя отличительной чертой такой системы является то, что она предполагает и одновременно предлагает спонтанную, самопорождающуюся деятельность со стороны ее участников. Вот это и является важным уроком о природе открытых обществ: они представляют собой более высокую, чем закрытые общества, форму общественной организации, и не один Горбачев должен это осознать: западная политическая мысль также игнорирует этот момент.

Когда в 50-х годах я впервые сформулировал мою теоретическую схему, я не мог настаивать на естественном превосходстве открытого общества, потому что это было бы чересчур похоже на особое заступничество. Советская система казалась непобедимой, а западный альянс — относительно слабым. Единственным основанием для моей точки зрения было бы допущение несовершенности понимания, но допущения не могут заменить доказательство. Теперь мы имеем убедительное историческое свидетельство. Но мы также понимаем, что превосходство открытого общества несет в себе и отрицательный аспект: от закрытого к открытому обществу не так легко перейти, как от открытого к закрытому. В этом и заключается основной недостаток моей теоретической схемы: она проводит различие между открытым обществом как идеалом и как фактом, но игнорирует трудности перехода от идеала к действительности. Это странная оплошность, но я не единственный, кто допустил ее. Я думаю, что все это относится практически ко всем диссидентам и реформаторам, включая Горбачева, не говоря уже об отношении Запада к этой теме. Я на практике исправил ошибку в процессе развития моих фондов, но для того, чтобы исправить ее и в теории, понадобилась эта книга.

На этот момент следует обратить внимание потому, что он напрямую связан с политикой. Широко известна точка зрения, что переход от тоталитарного к плюралистическому обществу должен производиться заинтересованными в этом людьми и любое вмешательство извне не только неуместно, но и может привести к обратным результатам. Эта точка зрения неверна. Люди, прожившие в тоталитарной системе всю свою жизнь, могут хотеть создать открытое общество, но у них нет знаний и опыта, необходимых для его построения. Им нужна помощь со стороны для того, чтобы претворить их желания в действительность.

Идея помощи противоречит принципу свободной конкуренции, который так широко распространен сегодня в англоговорящем мире. Надо показать, что с принципом свободной конкуренции не все так хорошо. Свободная конкуренция не ведет к оптимальному размещению ресурсов, если не созданы подходящие условия. Это так, хотя отсутствие свободной конкуренции ведет к ужасающе неправильному помещению средств. Рынки — это иституты: их нужно сначала создать. Более того, являясь творениями человеческого разума, они обречены на несовершенство.

Я уже обосновывал эту точку зрения, правда, в другом контексте, в «Алхимии финансов». Там я показал, что нестабильность изначально заложена в финансовых рынках, а за политическую цель общества надо принять стабильность. Здесь я осмелюсь утверждать, что само по себе преследование частного интереса не приведет к созданию жизнеспособной системы. Только самозабвенная преданность принципам открытого общества может дать ему жизнь, и внешняя помощь должна хотя бы частично мотивироваться искренним стремлением заставить систему работать — иначе ничего не выйдет. Если обратиться к истории, можно обнаружить, что такая бескорыстная энергия вырабатывается именно в критические моменты. Хорошим примером здесь является американская революция.

Я обратил особое внимание на этот пункт в моей статической схеме, когда говорил об отсутствии цели как о пороке открытого общества. А теперь мы можем посмотреть на этот порок с другой стороны. Есть Советский Союз, стремящийся стать открытым обществом, но ему не хватает времени и энергии, которые требуются для создания необходимых структур; хотят ли и в состоянии ли открытые общества Запада помочь тем, кто находится по другую сторону? Ответ на такой вопрос определит судьбу не только Советского Союза, но и открытых обществ Запада.

В самом деле, мы переживаем переломный момент. Нужно принимать какое-то решение. Мы увидели, что нас ждет впереди, если идти по линии наименьшего сопротивления. Давайте посмотрим, что можно сделать, если предпринять необходимые усилия. Я должен следить за тем, чтобы не уклониться от темы потому, что я имею дело с особым материалом: практически все политические надежды человечества могут наконец реализоваться. И можно не только закончить холодную войну между двумя противоположными социальными системами, но и раздражающий недостаток открытого общества — отсутствие цели — может быть преодолен по крайней мере для нашего поколения. Концепция Европы как открытого общества, в котором преобладает множественность связей и прежние границы теряют свое значение, даст западному обществу то, чего ему так не хватает: идеал, который может зажечь воображение народа и направить его энергию в созидательное русло. Он заполнит собой ту пустоту, которая сегодня находится над сферой личных, эгоистических интересов его членов. Он также позволит человечеству в духе сотрудничества подойти к решению экологических проблем, которые начинают угрожать самому его существованию.

Теперь я спущусь с заоблачных вершин риторики и обстоятельно объясню, что можно было бы предпринять. Нам

следует провести различие между Восточной Европой и Советским Союзом, точно так же, как это сделал Горбачев. Он дал свободу действий Восточной Европе и пожелал ей счастливого пути в демократию, но он изо всех сил старается предохранить Советский Союз от распада.

Существует только один путь придания Советскому Союзу жизнеспособности — преобразование в конфедерацию. Приходит на ум пример Британского Содружества, потому что оно возникло из Британской империи и предоставило еще большую автономию своим составным частям. Конечно, Британское Содружество не смогло остаться единым целым до самого конца, и то же самое может произойти с Советским Союзом. Но есть надежда, что Советский Союз покажет большую степень единения потому, что он состоит из географически смежных частей, находящихся в тесной экономической взаимозависимости. Это еще одна причина, почему его регионы, граничащие между собой, должны научиться жить вместе.

Превращение Советского Союза в конфедерацию было бы очень выгодно для Запада. Это в значительной степени уменьшило бы военную угрозу, которую Советский Союз как монолитная держава потенциально представляет из себя; еще важнее то, что гражданский конфликт внутри самого Советского Союза будет представлять собой опасность для всего региона. Такое решение стоит много, и Запад должен быть готов заплатить за него. Принимая во внимание экономию средств на военные расходы, сделка выглядела бы чрезвычайно привлекательной.

Могут спросить: что может сделать Запад для содействия принятию решения о конфедерации? Какая может быть польза от экономической помощи, когда советская экономика находится в таком ужасающе запущенном состоянии? Общий ответ есть, хотя будет чрезвычайно трудно определить детали. Как мы уже видели, Советскому Союзу не хватает настоящей валюты, той, которую можно обратить в товар внутри страны, не говоря уже о конвертируемости по отношению к другим валютам. Надежд на то, что Советский Союз сможет сам создать такую валюту, мало, но он мог бы сделать это с помощью Запада.

Я уже объяснил в своей статье, опубликованной в «Уолл стрит джорнал», что хватило бы всего 25 миллиардов долларов. Годовой дефицит бюджета составляет более 100 миллиардов рублей, и так называемый «избыток денег» — деньги, которые находятся на руках у населения и которые оно не может истратить потому, что нет нужных товаров,— оценивают примерно в 200—250 миллиардов рублей. Это огромная сумма, если сравнивать ее с валовым национальным продуктом Советского Союза (учитывая низкую отдачу от государственных капитальных вложений), но при переводе в западную валюту она выглядит довольно скромно. При обменном курсе 15 рублей за 1 доллар (тогда как на черном рынке это соотношение еще выше) 25 миллиардов покроют всю недостачу. Могут возразить, что курс черного рынка — это максимальный курс и курс упадет, если страна, получит 25 миллиардов долларов. Это правда, но максимальный курс можно легко закрепить для всей денежной массы, так как люди были бы счастливы обменять избыток своих «деревянных рублей» по любому курсу, если бы у них была такая возможность.

Конечно, недостаточно просто убрать излишек рублей; постоянный приток дополнительных рублей также должен быть остановлен. В настоящее время рублевый запас предельно эластичен: их можно напечатать по чьей-либо воле, если есть что на них купить. Для начала потребовалась бы всеобъемлющая реформа организационных структур, но принять такое решение и провести его в жизнь смогут только власти. Как я уже сказал, разработать детали будет чрезвычайно трудно, но будет полезно хотя бы исследовать предмет. В настоящее время советские власти парализованы, перспектива получения 25 миллиардов в качестве помощи может подтолкнуть их к действию. Как только Советский Союз получит настоящую валюту, экономическая автономия для республик не будет представлять такую угрозу, как в настоящий момент, для существования Союза.

Я хорошо понимаю, что мое предложение далеко от политической реальности сегодняшнего дня; Западу достаточно трудно было осознать необходимость экономической помощи Польше. Но сейчас уже давно пора задуматься над этим. События стали разворачиваться гораздо быстрее, а революционные события, к сожалению, обычно не ждут, пока люди поспеют за ними: вот почему лидеры один за другим отстают и остаются в прошлом.

Надо было, конечно, начать обсуждение этой темы во время встреч на Мальте в декабре 1989 г. Это был тот самый момент, когда Горбачев достиг на Западе вершины своей популярности благодаря тому, что он сделал в Восточной Европе, и в то же самое время, проблемы, с которыми он столкнулся в своей стране, стали очевидными. Но президент Буш был еще не готов к такому обсуждению. Если бы Запад предоставил Польше помощь раньше и она уже начала бы приносить свои плоды, можно было бы по крайней мере рассмотреть возможность аналогичной инициативы по отношению к Советскому Союзу. Сейчас же, в нынешней ситуации, есть опасность навсегда упустить предоставленный историей счастливый шанс. До сноса Берлинской стены противники перемен могли позволить себе подождать и понаблюдать за реакцией; после недавних событий в республиках Прибалтики и в Закавказье они могут привести убедительные доводы, что уже слишком поздно бросаться на помощь Горбачеву.

Если быть полностью откровенным, я не вижу возможности в столь короткое время перестроить советскую экономику. Для создания отношений, привычек, навыков и институтов, необходимых для хорошо функционирующей экономической системы, потребуются десятилетия. Это еще раз доказывает, что необходимо затормозить процесс дезинтеграции.

В условиях Советского Союза введение настоящей валюты не может сразу дать ощутимые результаты. Обязательно возникнут многочисленные бреши, требующие вмешательства так же, как и восполнение ликвидности. Это обычное дело для Международного валютного фонда. Ему не хватает специалистов по централизованной экономике, и он пытается применить здесь те же самые методы, что и для других стран мира. Это — ошибка, и, чтобы избежать ее, можно было бы посоветовать создать специальное международное агентство для контактов с Советским Союзом. Но возможно также, что МВФ получит необходимые знания и навыки в результате своего опыта работы с Польшей и Венгрией,— в таком случае он получит достаточную квалификацию для работы с Советским Союзом. Во всяком случае, задачей Международного финансового агентства будет стабилизация рубля. Создание настоящей валюты, даже если она не совсем стабильна, является, вероятно, единственным способом для прекращения процесса дезинтеграции; это создаст жизненное пространство для того, чтобы начать медленный процесс перестройки.

Совсем другая ситуация сложилась в Восточной Европе: страны Восточной Европы готовы к радикальной трансформации. Каждая страна представляет собой особую картину. Польша, Венгрия и Югославия составляют одну большую группу; Чехословакия и Восточная Германия — другую; тогда как в Болгарии и Румынии особые ситуации. Первую группу можно сравнить с гнилыми яблоками в том смысле, что у них огромный долг, и наблюдается обострение инфляции в большей или меньшей степени. Чехословакия упала с дерева коммунистической системы, как спелое яблоко: ее валюта до сих пор достаточно стабильна. Восточная Германия была в таком же, как и Чехословакия, положении до открытия границ, а массовое бегство дестабилизировало ее положение. Болгария сочетает в себе худшие черты обеих групп: высокую задолженность и недостаток структурных реформ. Инфляция пока еще умеренная, но скорее всего в ближайшие несколько месяцев джинн вырвется из бутылки. Хуже всех дела с экономикой обстоят у Румынии, но зато у нее нет никакой задолженности.

Хотя у каждой страны свои особенности, одно является общим для всех: эти страны недавно воссоединились с Европой. Изменения в облике Европы кардинальны. Разделение на Восток и Запад, которое строго определяло все отношения, вдруг исчезло, и Европа снова появилась в почти таком же обличье, как и до второй мировой войны.

Легко видеть, как можно переиграть сценарий межвоенной эпохи. Объединенная Германия становится сильнейшей державой в экономическом отношении и развивает Восточную Европу как свое жизненное пространство; Франция возобновит свой былой альянс с Польшей, Чехословакией и Румынией; Великобритания постарается (безрезультатно, конечно) выйти еще дальше в Атлантику; национальные вопросы отравляют атмосферу между — и внутри — различных европейских стран и, конечно, Балканы останутся Балканами. Прибавьте к этому новый спор о границах между Германией и Польшей и между Польшей и Украиной, не говоря уже о Калининграде и прибалтийских республиках, и у вас получится адское зелье. Как тут можно избежать конфликта?

Здесь есть только один путь. Надо уважать существующие границы, но границы должны утратить свое значение. Что отличает сегодняшнюю Европу от Европы межвоенной эпохи — это существование Европейского сообщества.

Надо признать, что будущее Восточной Европы представляется далеко небезопасным. Выход стран Восточной Европы из Советской империи необратим, и вряд ли в обозримом будущем они снова попадут под советское влияние. Но о переходе к демократии и рыночной экономике можно говорить с гораздо меньшей уверенностью. В настоящее время взгляды всех стран Восточной Европы прикованы к Западу. Если их надежды примут во внимание, они смогут начать готовиться к вступлению в Европейское сообщество, развивая структуры регионального кооперации, что является необходимой составной частью этой подготовки. Но если перспективы не ясны, они скорее вступят в соревнование за развитие связей с Западом, чем будут развивать сотрудничество друг с другом. Некоторые спорные вопросы межвоенной эпохи встанут снова.

Внутриполитическая и экономическая ситуация также является причиной для беспокойства. Номенклатура пустила глубокие корни, и заставить ее отступить будет нелегко. Введение частной собственности может просто превратить ее в новый капиталистический правящий класс. Возьмите пример Чехословакии. Партийный аппарат примерно в 300 000 человек просто передал власть нескольким сотням диссидентов в ряде крупных городов. Пока «бархатная революция» была в разгаре, они затаились, будто их нет, но сейчас (в феврале 1990 г.), когда положение возвращается к норме, они начинают снова заявлять о себе. Когда вновь назначенные министры ста-

раются избавиться от функционеров, последние отказываются выходить из игры. Даже Гавелу, первому человеку в Чехословакии, непросто выдворять секретную полицию из президентского дворца. В настоящее время новое руководство может попросить поддержки народа, хотя бы в больших городах. Но кто знает, как долго это все продлится, особенно если Запад останется в стороне. Старая гвардия может также попробовать подогреть шовинистические страсти. Здесь особенно восприимчива будет Словакия, потому что коммунистический режим давно следовал политике поощрения национальной автономии в качестве антипода надеждам на демократию.

Опаснее всего ситуация в Румынии. Почти каждый, кто занимал какой-либо ответственный пост, сейчас скомпрометирован, потому что режим Чаушеску строго следовал хорошо известному правилу подпольного коммунистического движения, что доверять можно только тем, у кого на совести преступление. Поэтому чрезвычайно трудно выявить главных преступников и покарать их. Но народ жаждет мести, особенно в Тимишоаре, где органы безопасности запятнали себя не только массовыми убийствами, но и широким применением пыток. Изуродованные трупы погибших требуют возмездия. Армия не может здесь вмешаться, так как она тоже запятнала себя преступлениями. Фронт национального спасения правит с помощью армии, но она теряет поддержку народа. В то же время только что образованные политические партии далеко не внушают доверия. Экономика деформирована больше, чем в какой-либо другой стране, включая Советский Союз, а это не является многообещающей базой для демократии.

Политический климат намного здоровее в Польше и Венгрии, потому что существует старая традиция сопротивления и руководство меняется чаще, чем в других странах. Опасность таится в экономической ситуации. Если экономическая ситуация будет и дальше ухудшаться, руководство потеряет доверие народа и его место могут занять более радикальные и менее опытные люди, которые могут проводить более демагогическую политику. Интеграция с Европой могла бы уменьшить опасность.

Такое решение по душе Западу. Оно предоставляет возможность для воссоединения Германии без нарушения европейского равновесия. Что более важно, оно делает Европу воплощением открытого общества и, так как открытое общество является идеалом, превращает Европу в этот идеал. Именно этого не хватало и Общему рынку. Восточная Европа дает Западу то, чего обычно не хватает открытому обществу: чувство задачи, цели, которая стоит выше узких личностных интересов.

К счастью, я не одинок в своем ощущении важности момента. Немцы, помимо всего прочего, хорошо понимают, что нельзя рассматривать ситуацию только через призму государственных границ; вопрос заключается в создании открытого общества. Они ужасно напуганы успехом революции в Восточной Германии — уникальным событием в немецкой истории — и понимают, что надо сделать выбор между открытой и закрытой системами организации общества. Народы западноевропейских стран в большей или меньшей степени разделяют эту точку зрения, но понятно, что они больше озабочены воссоединением Германии, чем сами немцы. Французское и итальянское правительства дали пример настоящего руководства, только Маргарет Тэтчер не смогла соответствовать духу времени. Разве не удивительно, что самые преданные сторонники системы свободного рынка — британское и американское правительства — менее всего хотят помочь установить в Восточной Европе рыночную систему экономики. В этом проявляется коренной недостаток их представления о свободной рыночной системе. Они полагают, что если системе не мешать, то она и сама прекрасно справится.

Настоящие борцы за европейский идеал находятся в Восточной Европе. Их привлекает не только богатство Европейского сообщества; идеал открытого общества подогревает их воображение. Такие люди, как Владислав Геремек и Адам Михник в Польше, Вацлав Гавел в Чехословакии и мои друзья в Венгрии, считают создание Европейского сообщества, включающего в себя и Восточную Европу, своей конечной целью.

Каким же образом превратить в действительность благие намерения и существующее понимание необходимых мер? Как я уже сказал выше, членство в Европейском сообществе должно быть признано в принципе; но на ближайшее будущее участие должно быть неполным, ограничиваясь доступом к Общему рынку, экономической помощью Запада и различными культурными и межорганизационными связями, свойственными плюралистическому обществу. Равно важно и налаживание связей между странами Восточной Европы. Существует скрытое соперничество между европейским идеалом и националистическими устремлениями, которое может легко перейти в открытую вражду. В единственной восточноевропейской стране, где партия уже имеет четко разработанную политику, Венгрии, водораздел проходит по этой линии. Избежать вражды между общеевропейскими и узконациональными идеалами так же важно, как избежать вражды между различными национальностями. Это означает, что время для Центральноевропейской конфедерации еще не пришло. В настоящий момент это возможно только как переходный этап к членству в Европейском сообществе. Без западной поддержки такое предло-

жение больше создаст проблем, чем решит. Например, словаки могут захотеть войти в конфедерацию самостоятельно, независимо от чехов. Почву для этой конфедерации надо готовить постепенно, увеличивая контакты и создавая общие институты. Сейчас Запад должен сделать первый шаг и контактировать с Восточной Европой как с регионом, а не с отдельными странами.

Важный шаг был уже сделан. При содействии президента Миттерана в настоящее время находится в процессе становления Восточноевропейский банк развития и реконструкции с начальным капиталом от 5 до 10 миллиардов экю. Этот банк должен работать по принципу региональных банков развития, но он будет обладать приличным капиталом.

Есть еще одна сфера, кроме финансирования развития, которая также требует срочных мер. Этой сферой является финансирование внутрирегиональной торговли. Коммунистическая система торговли, система СЭВ, доживает свои последние дни: однако она играет важнейшую роль в экономике стран Восточной Европы. Процесс разрыва торговых отношений с Советским Союзом уже начался и грозит подорвать экономические системы стран Восточной Европы. На совещании стран — членов СЭВ в Софии в феврале 1990 г. было вынесено решение о скорейшем создании новой системы торговли, но следует заметить, что страны — члены СЭВ не смогут этого сделать самостоятельно. В лучшем случае последует ряд двусторонних соглашений, как это случилось в Западной Европе после второй мировой войны. В то время Соединенные Штаты оказали поддержку Восточной Европе, предоставив финансовую помощь для создания Европейского платежного союза. Это был фонд экономического возрождения Европы и дальнейшего развития Европейского экономического сообщества. Существует настоятельная потребность в оказании подобной помощи при замещении СЭВ какой-то рыночной организацией, которая бы способствовала развитию торговли в регионе. Это стало бы новым, соответствующим нынешней ситуации, вариантом плана Маршалла и Европейского платежного союза.

После второй мировой войны проблема состояла в том, что у европейских стран был огромный спрос на импорт из Америки, но платежеспособность была низкой; Соединенные Штаты предоставили кредит. Теперь проблема состоит в том, что страны Восточной Европы зависят от импорта энергии и сырья из Советского Союза; а у Советского Союза огромная потребность в экспортных товарах этих стран, но так как производство и торговля организованы на совершенно неэкономических принципах, Советский Союз получает низкосортные товары, а промышленность стран Восточной Европы продолжает оставаться неконкурентоспособной на мировом рынке.

Существующий план состоит в том, чтобы переключить страны — члены СЭВ на торговлю в твердой валюте. Это приведет к настоящему развалу торговли. Советский Союз сократит импорт из Восточной Европы, так как у него почти нет твердой валюты, а на то, что есть, он предпочитает покупать западные товары. Страны Восточной Европы будут продолжать покупать нефть и прочее сырье, если не у Советского Союза, то у других стран за валюту, что приведет к значительному ухудшению их торгового баланса. Восточная Европа лишится своих экспортных рынков, а Советский Союз лишится товаров, поставляемых странами Восточной Европы, пусть они и низкосортные, но без них будет еще хуже. Это путь экономической дезинтеграции.

Есть и другой вариант, но он предполагает помощь Запада. Восточноевропейский платежный союз, поддерживаемый Западом, мог бы обеспечить механизм перехода от неэкономической к рыночной торговле между странами — членами СЭВ. Торговать можно в местной валюте, только дисбалансы можно было бы погашать в долларах. Это означает, что каждая страна должна бы была открыть свои рынки для импорта, и это приведет к расширению торговли, а не к сворачиванию, как при прямом переходе на расчеты в твердой валюте. Отдельные дисбалансы стране с отрицательным сальдо придется погашать наличными; другие — возьмут на себя страны с положительным сальдо. Страны Запада в рамках этой программы будут выступать и как банкиры, и как гаранты. Для стран с отрицательным сальдо должны устанавливаться лимиты по предоставляемому кредиту, и задолго до того, как эти лимиты будут достигнуты, уже будут приниматься меры по оздоровлению. Эти меры будут включать в себя и девальвацию, и введение «дорогих» денег. Страны-участницы будут, таким образом, подвергнуты двойному давлению: конкуренции по импорту и ограничению денежной массы,— и они уже не смогут избежать широкомасштабного преобразования в рыночную экономическую систему. Чтобы эта программа вызывала доверие, необходимо участие в ней Запада.

Сначала у стран Восточной Европы возникнет отрицательное сальдо в торговле с Советским Союзом, потому что даже если бы Советский Союз продолжал получать низкосортные товары, он в твердой валюте платил бы за них меньше, чем при бартерных сделках со странами — членами СЭВ. Но постепенно страны Восточной Европы увеличили бы свой экспорт и в количественном, и в качественном отношении, потому что Советский Союз представляет собой естественный рынок для их продукции. Экспорт в Советский Союз приносил бы меньше вреда промышленности стран Восточной Европы, чем сейчас, потому что они были бы должны вступить в конку-

рентную борьбу по ценам, если не по качеству, и зарабатывали бы твердую валюту. Опасность состоит в том, что у Восточной Европы развилось бы хроническое активное сальдо в торговле с Советским Союзом. Именно здесь и встал бы вопрос контроля за денежной массой внутри Советского Союза. Нельзя ожидать, что Запад вечно будет субсидировать экспорт восточноевропейских стран в Советский Союз, а если торговля будет вестись в помощью местных валют, тогда надо превратить рубль в настоящую валюту.

Концепция Восточноевропейского платежного союза может включать и прибалтийские государства. Это позволит им торговать с остальными районами Советского Союза, пользуясь правами местной автономии. В этом смысле западные кредиты могут напрямую способствовать переходу Советского Союза к конфедеративному устройству.

Начинает в общих чертах оформляться экономическая политика в отношении бывшего Советского блока. Вот этапы этой политики, расположенные по степени их трудности и стоимости:

1) Оказание экономической помощи странам Восточной Европы с целью способствовать их торговле между собой.

2) Создание вместо СЭВ Восточноевропейского платежного союза, включающего Советский Союз.

3) Включение прибалтийских республик в Восточноевропейский платежный союз.

4) Создание и финансирование в Советском Союзе нормальной денежной системы.

Начинать надо со второго этапа. Ни Запад, ни Советский Союз еще не подготовлены должным образом к тому, чтобы начать работу с более продвинутого этапа; но начинать с первого этапа и таким образом сразу же исключить Советский Союз из предложенного ранее Восточноевропейского платежного союза было бы не только недружественным жестом по отношению к Советскому Союзу, это бы также означало признание возможности скорой экономической катастрофы в Восточной Европе.

Если переговоры по второму этапу увенчаются успехом, они быстро приблизят третий и четвертый этапы потому, что в течение двух-трех лет активное сальдо стран Восточной Европы в торговле с Советским Союзом стало бы расти, а работающая денежная система тут же понадобилась бы для того, чтобы Советский Союз не превратился в бездонную бочку для экспорта товаров из стран Восточной Европы. Урегулирование отношений между республиками и Союзом является, в свою очередь, предварительным условием для работающей денежной системы. Если же переговоры с Советским Союзом не продвинутся вперед, первый этап будет удобен для отступления.

Польша, Венгрия и Чехословакия смогут почти сразу же принять систему Восточноевропейского платежного союза, и Восточная Германия после выборов тоже сможет это сделать. Этим странам нужны лишь финансовые ресурсы, чтобы конвертировать свою валюту для ведения торговли. Это, конечно же, будет шоком для системы, особенно в Чехословакии, где еще не были проведены необходимые структурные изменения, но экономика должна справиться. Это ведь необходимое условие преобразования системы. Одним из основных препятствий для нормального функционирования рыночного механизма является монопольное положение большинства предприятий: конкуренция со стороны стран Запада несколько ограничит эту монополию. Экспорт также может помочь открыть клапан и выпустить лишний пар, когда спрос на внутреннем рынке упадает, подобно тому как это сейчас происходит в Польше. Здесь, конечно, будет большая путаница, структурная и промежуточная безработица, притирка, часто болезненная. Но поддержка этого плана Западом даст некоторую уверенность в завтрашнем дне и гарантирует политическое обеспечение этих планов.

Советский Союз здесь подготовлен хуже. Можно, конечно, открыть внутренние рынки, которые поглотят практически любой объем импортных товаров. Но как предотвратить их превращение в бездонную бочку? Вот в чем состоит проблема. Нужны далеко идущие реформы, а у Советского Союза нет ни специалистов, ни организаций для проведения их в жизнь, не говоря уже о необходимой для этого политической воле. Обеспечить политический консенсус, когда рынки наводнены импортными товарами, может быть, будет даже легче, чем сейчас; но невозможно заставить функционировать денежную систему без технической помощи Запада, и даже в этом случае большое количество пробуксовок сделает этот план дорогим для Запада. Я считаю, что политические выгоды воздадут сторицей за потраченные усилия и средства. К сожалению, это станет очевидно, только если Запад не сделает этого. Только если дезинтеграция Советского Союза выльется в гражданскую войну, миллионы людей погибнут и случится несколько ядерных катастроф, станет ясно, что лучше было бы все это предотвратить.

Отдельно от экономических вопросов Запад должен оказывать помощь в большем масштабе, чем это делается моими фондами, в вопросах культуры, образования, науки. Многие из таких инициатив находятся сейчас на различных этапах реализации, и существует огромный неиспользованный потенциал и в Западной Европе, и в Соединенных Штатах, не говоря уже о Японии. Потребуется время, пока эти усилия не принесут ощутимые результаты, и, если мой анализ является правильным, времени осталось очень мало. Но руки опускать нельзя; напротив, именно поэтому надо работать еще более энергично. Интеллектуальный капитал, вложенный этими странами, не будет потерян, даже если дело примет плохой оборот; на самом деле он станет еще более важным и ценным, потому что его нельзя сразу же восполнить. Возьмем, например, Китай: время нельзя повернуть вспять потому, что люди узнали об окружающем мире. Или посмотрите на Румынию: Чаушеску создал пустырь в области культуры, на котором трудно будет взрастить ростки демократии. Приведу только один пример из опыта Венгрии: недавней реформе университета им. Карла Маркса способствовали несколько человек, которые посетили Соединенные Штаты в 60-х годах на стипендии Форда.

Я, например, решил обанкротиться с помощью своих фондов в 90-х годах главным образом потому, что я пессимист в своих прогнозах на будущее. Если я прав в своем анализе, в будущем мне может не представиться возможность потратить на Советский Союз столько денег; и если бы все последовали моему примеру, мои рассуждения оказались бы неверными.

Послесловие

Я начал писать эту книгу несколько месяцев назад. Это был один из наиболее богатых событиями периодов в истории Европы и, несомненно, самый напряженный период моей жизни. Первое и второе тесно связано. Я не только отдаю все больше и больше сил и времени Восточной Европе, но мне также начинает казаться, что скоро придется где-то остановиться, потому что моих сил, похоже, не хватает для того огромного количества дел, которые требуется сделать. То же самое можно отнести и к Восточной Европе. Есть также сходство и на более абстрактном уровне: я пытаюсь воплотить в жизнь фантазию. Однажды меня предупреждал психиатр, что очень опасно играть в фантазии, и, похоже, я начинаю понимать, что он имел в виду. Я не слишком беспокоюсь о себе самом: за годы работы со своими фондами я научился борьбе за выживание. Но вот что будет с Восточной Европой, меня очень волнует.

Перечитал текст и поразился, как мало требуется вносить изменений, несмотря на те огромные перемены, которые произошли за последнее время. Многое случилось совершенно неожиданно. Например, я думал, что живой диктатор Чаушеску может бесконечно держать своих подданных в страхе, если он готов поддерживать этот страх соответствующими кровавыми расправами. Он тоже так думал. Преподобный Ласло Текеш рассказывал мне, что власти позволили толпе собраться перед его домом в Тимишоаре, задумав ее расстрелять с целью устрашения остальных. Ночью тайно его увезли из дома и держали в изоляции, в то время как шла подготовка показательного суда, который должен был доказать, что беспорядки были организованы империалистическими агентами из-за границы. Но Чаушеску допустил некоторые ошибки. Он опрометчиво организовал массовую демонстрацию в свою поддержку и таким образом дал возможность людям выступить против него. Позднее, когда толпа и солдаты стояли друг против друга на главной улице Бухареста, по радио объявили, что министр обороны оказался предателем и что он совершил самоубийство, чтобы избежать наказания. Это стало поворотным моментом. После этого объявления солдаты присоединились к толпе, и теперь Чаушеску — уже не живой, а мертвый диктатор.

Точно так же я никак не ожидал, что Горбачев в ответ на кризис в Прибалтике и Азербайджане блестящим маневром отменит монополию Коммунистической партии. Также я не мог предположить, как резко усилится тенденция к объединению двух Германий. Я не думаю, что мне надо пересматривать все, что я написал, в связи с этими событиями. Напротив, они еще отчетливее высвечивают некоторые вопросы, которые я пытался поставить в этой книге, и делают более очевидными некоторые выводы.

Самым важным вопросом является неразрешенный конфликт между разрушением и созиданием. С одной стороны, необходимо размонтировать структуры закрытого общества, а с другой стороны, требуется построить структуры открытого общества. Каким же образом перестроить дезинтеграцию в интеграцию — на этот вопрос еще нет ответа. Чтобы решить этот вопрос, необходимо пересмотреть наши взгляды и представления, что нелегко. Люди привыкли приветствовать все, что приводит к ослаблению власти центра,— теперь же, напротив, необходимо создать законное правительство и дать ему достаточную власть для осуществления радикальной и во многом болезненной перестройки экономической и социальной системы.

Самое ужасное, что не только плановая экономика, но также и едва вылупившийся рыночный механизм не работают. В отсутствие нормального рынка предприниматели превращаются в спекулянтов, а процесс приватизации вырождается в обыкновенный грабеж — тащи, что можно, пока нет хозяина. Переход должен быть должным образом организован; вот почему требуется сильное правительство. И даже в этом случае невозможно будет переломить ситуацию без помощи Запада.

Я бы выделил Польшу как наиболее вероятное место, где мог бы произойти подобный перелом. Экономическая ситуация ухудшилась до такой степени, что достаточно минимальных ресурсов, чтобы осуществить поворот. К власти пришло законное правительство, и, кро-

ме того, наличествуют благоприятные условия, позволяющие рассчитывать на помощь Запада. Польское правительство действительно начало выполнять программу по радикальной стабилизации ситуации, и это обеспечило ей значительную поддержку Запада. В то же время, я думаю, что неизбежен тяжелый экономический кризис. Программа стабилизации непременно вызовет безработицу, а откуда взять новые рабочие места? Польше необходимо привлечь западные управленческие кадры, продав с аукциона отрасли промышленности, способные производить продукцию для экспорта на Запад. Но по этому вопросу нет политического консенсуса и не будет, пока безработица не достигнет катастрофических размеров.

Страна, у которой есть самые реальные шансы успешно осуществить переход,— это Восточная Германия, где структуры власти больше нет, зато есть западный партнер, который готов и жаждет принять на себя ответственность. Интересно заметить, что осуществить трансформацию предполагается путем введения западногерманской марки в качестве валюты. Это подтверждает мое утверждение, что первоочередным условием для успешной трансформации являются здоровые финансы.

С такой ли готовностью придут западные державы на помощь Советскому Союзу, как Западная Германия Восточной Германии? И готов ли Советский Союз принять те условия, которые непременно будут сопровождать западную помощь, чтобы она была эффективной? Ответ на оба вопроса — нет. Да и вообще участие Западной Германии в трансформации Восточной невыгодно для остальной Восточной Европы. Ресурсы ведущей экономики Европы направляются только туда и, кроме того, внимание остального мира отвлекается от распада советской системы на проблему воссоединения двух Германий.

У меня укрепляется чувство, что прошел тот момент, когда еще можно было остановить процесс дезинтеграции. Понятно, это требовало бы все больших и больших усилий, а шансы на успех делались бы все меньше и меньше. В любом случае желания этим заниматься я не вижу.

Единственный лучик надежды для меня в том, что Советским Союзом до сих пор руководит человек, который уже не раз демонстрировал свою способность обуздывать ситуацию в тот самый момент, когда она, кажется, вот-вот его сметет. Горбачеву, может быть, удастся отделить институт президента от Политбюро и партийного аппарата. Если народ его поддержит в этом, он, возможно, сможет построить президентство как эффективный исполнительный орган, который соберет вокруг себя конструктивные силы *, в то время как партийный аппарат останется этаким жупелом. Процесс созидания и разрушения в этом случае может проходить параллельно, полной дезинтеграции тогда можно будет избежать. И, еще раз подчеркиваю, понадобится значительная помощь с Запада, чтобы президентство принесло положительные экономические результаты. В интересах Запада эту помощь оказать, так как в противном случае неминуема гражданская война, за которой скорее всего последует русское национал-социалистское возрождение.

Перевод с английского

* (15 марта 1990). Тот факт, что Горбачев не решился устраивать всенародное голосование при выборе президента, заставляет усомниться в силе президентской власти.

В. АРСЛАНОВ

Трудные вопросы Кенгира

Глава «Восхождение» из четвертой части «Архипелага ГУЛАГ» заканчивается словами, ставшими почти хрестоматийными. «С тех пор,— пишет о своем лагерном опыте Александр Солженицын,— я понял правду всех религий мира: они борются со злом в человеке (в каждом человеке). Нельзя изгнать вовсе зло из мира, но можно в каждом человеке его потеснить. С тех пор я понял ложь всех революций истории: они уничтожают только современных им носителей зла (а не разбирая впопыхах — и носителей добра),— само же зло, еще увеличенным, берут себе в наследство».

Но уже в следующей, пятой, части своего повествования Солженицын рассказывает именно о лагерной революции — восстании заключенных в Кенгире в 1954 году. И, по словам Р. Медведева, «оправдывает право рабов на революцию во имя свободы и справедливости», как бы забывая о своей «реакционно-утопической концепции» («Правда», 26 августа 1990 г.).

Кто же Солженицын? Революционер в душе или принципиальный противник «всех революций истории»? Бесспорно, все-таки принципиальный противник. Противник, защитивший кенгирскую революцию и опровергнувший ложь о ней с такой силой художественной правды, какую трудно найти в современной литературе. Если это парадокс, то он принадлежит самой жизни.

В журнале «Звезда Востока» (1989, № 4) были опубликованы мемуары бывшего охранника Кенгирского лагеря Д. Яковенко. Они содержат другой взгляд на события, о которых рассказывает Солженицын в главе «40 дней Кенгира». Между строк повествования Д. Яковенко о мятеже читается вопрос: ну чего вы добились своим бунтом? Вас раздавили гусеницами танков, а палачам — награды и повышения по службе. Сила солому ломит. Все зависит от того, у кого власть: «Положили в грязь лицом народного артиста, профессора медицины, и пусть лежит до полного повиновения и прояснения сознания своей вины перед государством! Вот откуда,— продолжает Д. Яковенко,— испуганные взгляды, потухшие глаза, сломленные характеры и опустошенные души у тех, кто все это пережил и кому посчастливилось вернуться домой после 1956 года».

«Посчастливилось» тому, кто выжил — любой ценой. Однако есть цена, заплатив которую люди «свинеют», «уходят из человечества вниз». Вот как об этом сказано в «Архипелаге»: «Если только ты однажды отказался от этой цели — «выжить любой ценой», и пошел, куда идут спокойные и простые,— удивительно начинает преображать неволя твой прежний характер. Преображать в направлении, самом для тебя неожиданном».

Лагеря и тюрьмы созданы для того, чтобы сломать человека, превратить его в покорное животное. Но бывало и так, доказывает Солженицын (в споре с В. Шаламовым), что лагерь преображал и духовно освобождал. «Архипелаг ГУЛАГ» — страстное обличение тюрем и лагерей. И в этом же произведении читаем странно на первый взгляд звучащие слова писателя: «Благословение тебе, тюрьма, что ты была в моей жизни!»

Эти слова — обвинение тому чудовищному миру, в котором тюрьма, лагерь, ссылка — уголки относительной духовной свободы. И царствуют в этом мире не свобода и ум, а насилие, развращающее души людей.

«За кои веки, один раз в три года, привезли в лагерь кино. Фильм, оказывается,— дешевейшая «спортивная» комедия «Первая перчатка». Скучно. Но с экрана настойчиво вбивают зрителям мораль: «Важен результат, а результат не в вашу пользу». Смеются на экране. В зале тоже смеются. Щурясь, при выходе на освещенный солнцем двор, ты обдумываешь эту фразу (...). И медленная ясность опускается в твою голову. Это — не шутка. Это заразная мысль. Она давно уже прививалась нашему отечеству, а ее — еще и еще подпускают

(...). Вот и для нас, арестантов, если важен результат, то верна и истина: выжить любой ценой. Значит, стать стукачом, предавать товарищей — за это устроиться тепло, а может быть и досрочку получить. В свете Непогрешимого Учения тут, очевидно, нет ничего дурного. Ведь если делать так, то результат будет в нашу пользу, а важен — результат».

Заключенные Кенгира отвергли эту мораль. А каков результат? Он самоубийствен, и не только на взгляд Д. Яковенко. Но Солженицын не сторонник и не проповедник самоубийств, тем более коллективных. Самоубийца, по его мнению, всегда банкрот. Иное — в случае с Кенгиром. «Даже гибель наша не будет бесплодной!» — говорит руководитель восставших Капитон Кузнецов. «В этом он был, — замечает Солженицын, — совершенно прав».

Лагерная революция, подавленная с тупой жестокостью, имела результат, которого боятся, не хотят видеть и скрывают охранники с помощью своих платных — и добровольно лгущих — идеологов. Она оказалась тем моментом истины, когда практическая мораль хозяев предстала в своем подлинном свете. «Создалось с какого-то времени иное поле: процесс растления был сильно затруднен, а процесс восхождения стал привлекателен даже для лагерных шкур».

Новое «поле» человеческих отношений предвосхитило и подготовило взрыв. Оно созидалось коллективным сопротивлением зэков, их упорной борьбой с начальством и стукачами. Лагерный мир стал преображаться не благодаря смягчению хозяев, которые пытались приспособиться к новым веяниям времени после смерти Сталина, а вопреки этому «либерализму». Своим шестым, классовым чувством «голубые мундиры» (так называет Солженицын охранников) понимали, что главная их задача в новых условиях — ловким маневром, хитрой политикой устранить «процесс восхождения» и снова направить людей вниз, нравственно разлагая их и уничтожая возникшую способность к противостоянию.

Казалось на первых порах, эта политика имела успех. И как все просто! Для снятия напряжения в лагере достаточно было понастроить ларьков, продавать заключенным кое-какие продукты, дать им возможность немного зарабатывать. Вводился хозрасчет, «как некий лагерный НЭП», замечает писатель. Много ли человеку надо, особенно зэку? И «засленели надежды на скорые перемены — и отпала у каторжан охота гоняться за стукачами, садиться за них в тюрьму, бастовать, бунтовать. Злость прошла. Все и без того, кажется, шло к лучшему, надо было только подождать».

Вот именно — подождать. Сколько ждали, так разве не подождем еще? Но эти надежды были иллюзией. События неотвратимо вели к мятежу И подталкивали к нему не «экстремисты» из числа нетерпеливых зэков. «Революционная» агитация не могла иметь успеха, если бы не сами хозяева. Вернее, их «гуманная» и «миролюбивая», а на самом деле провокационная политика.

Хозрасчет предполагает честность в ведении дел. Это его непременное условие. А начальство уже давно было связано круговой порукой, эксплуатируя труд заключенных, и, конечно, не могло и не хотело менять сложившихся отношения. «Хорошо понятно было хозяевам, с чего нужно порядок начинать: чтоб воровали, чтоб жили за счет других, и так бы поселялась всеобщая разрозненность. И улыбались начальники дружески, как они умеют улыбаться только ворам, когда те, услышав, что есть рядом и женский лагпункт, уже канючили в развязной своей манере: «Покажи нам баб, начальничек!»

Конечно, в лагере так уж прямо и открыто не поощряли воровство, конечно, и блатных наказывали, и тем не менее воры были для начальства «социально близкими», в них оно видело родственные себе души, естественную опору против поднимающих голову «политических».

Связь сталинского режима с люмпенством — одна из важнейших тем «Архипелага». У Солженицына нет и намека на заигрывание с блатной романтикой. В отличие от многих писателей, поэтов, бардов он очень хорошо понимает, что неправедный режим держится именно на блатаре, включая блатаря-министра, блатаря — партийного сановника или члена творческого союза. И все это жулье объединяет с самым последним уголовником характерное люмпенское свойство: единственный действенный для него аргумент — это аргумент силы.

Кстати, опора на люмпенство не была изобретением Сталина или его наследников, неоднократно пытавшихся реформировать режим. Читаем у Маркса: «Бонапарт (имеется в виду Наполеон III. — **В. А.**), становящийся во главе люмпен-пролетариата, находящий только в нем массовое отражение своих личных интересов, видящий в этом отребье, в этих отбросах, в этой накипи всех классов единственный класс, на который он, безусловно, мог опереться, — таков подлинный Бонапарт, Бонапарт sans phrase». Вся нация, которую Маркс уподобил женщине, готовой отдаться первому же попавшемуся ей авантюристу, приветствовала «сильную руку», и пошлый ворюга, хитрец и интриган был вначале избран в президенты, а затем объявил себя императором.

Диктатура «голубых», заключивших союз с блатными, была, конечно, несравнима с бонапартизмом прошлого века, она напоминала более современную его разновидность — фашизм. Эта диктатура определяла собой все отношения и далеко за пределами лагеря. «Совокупная жизнь общества, — пишет Солженицын, — состояла в том, что выдвигались предатели, торжествовали бездарности, а все лучшее и честное шло крошевом из-под ножа. Кто укажет мне с 30-х годов по 50-е **один случай** на страну, чтобы благородный человек поверг, разгромил, изгнал низменного склочника? Я утверждаю, что такой случай невозможен, как невозможно ни одному водопаду в виде исключения падать вверх. Благородный человек ведь не обратится в ГБ, а у подлеца оно всегда под рукой».

Что происходило в Кенгире в период «потепления» режима? Смягчение некоторых строгостей сопровождалось ростом связей хозяев с блатными. Методы власти менялись, но суть ее, социальная опора оставались прежними. Противоречие между надеждами и обещаниями, с одной стороны, и реальными результатами реформ становится устойчивой чертой перестраивающейся системы. Независимо от намерений реформаторов проводимая ими политика, не способная изменить самой сути старой власти, провокационна.

Не исключено, что в Кенгире провокация была запланирована «голубыми». Например, участник кенгирского мятежа Ю. Грунин убежден, что в основе ее было стремление органов доказать новому руководству страны «необходимость всех этих особлагов, показать свою верность и преданность» («Знамя», 1990, № 3). Характерно, что те же мотивы прослеживает и Д. Яковенко в замысле Берии: выпустив на волю после смерти Сталина уголовников, тот, возможно, «предвидел последствия такой массовой амнистии, желал их — для достижения своих целей: вновь проявить себя при наведении порядка в стране».

Как бы то ни было, параллельно с введением «хозрасчета» в Кенгире хозяева, отмечает Солженицын, «потянулись за своей главной дубинкой против Пятьдесят Восьмой — за блатными». В лагерь привезли и разместили «здоровый контингент» — более шестисот воров. Начальство не скрывало своих намерений: «Теперь вы не шелохнетесь», — предупреждало оно политических.

Трезвые политики в голубых мундирах рассчитывали на естественный протест людей, в которых проснулось чувство собственного достоинства, и готовились раздавить самые ростки его.

И, казалось бы, план удался. «В течение 2—3 лет во всех частях и подразделениях ВОХР Степлага и других лагерей ГУЛАГа, — свидетельствует Д. Яковенко, — эта штурмовая операция разбиралась в деталях как образец искусства усмирения заключенных, выдавалась как пример для подражания». Но на маленьком клочке бытия, в никому тогда не известном, Богом забытом Кенгире, их безошибочная «философия результата» давала осечку.

Здесь мне кажется необходимым сделать небольшое отступление. А. Латынина пишет о Солженицыне: «Идея, результат, цель для него не существуют сами по себе, они проверяются средствами. И если для осуществления идеи потребовались дурные средства, значит, сама идея дурна» (Новый мир, 1990, № 1). Но какие средства применяли кенгирцы? Они объявили блатарям: «Если будете нас давить — мы вас перережем». И Солженицын восклицает: «Вот этот-то шаг и был мудр и нужен был давно! — повернуться против блатных всем острием! увидеть в них — главных врагов!».

Счастье кенгирцев, что на их стороне был абсолютный численный перевес силы. Но могло быть и по-другому. И тогда не избежать гражданской войны между политическими и блатными. Это тоже нужно было принимать в расчет тем, кто всерьез решил сопротивляться режиму.

Одержав нравственную победу над блатными, политические нашли в них неожиданных союзников. Такого результата своей провокации никак не могли предполагать хозяева. Их рассудок не мог поверить в возможность пробуждения чувства человеческой солидарности у воров, урок, паханов. Но — «вот он, непредсказуемый ход человеческих чувств и общественных движений». Совершенно стихийно, как и всякий подлинный народный подъем, в стенах лагеря возникло могучее «поле» бескорыстного и самоотверженного братства.

И вместе с тем этот непредсказуемый ход событий был подготовлен — процессом «восхождения», сопротивления «голубым».

Но союз с блатарями против хозяев — это что, «чистое» средство? Ведь не могли же совершенно перевоспитаться «странные гориллоиды» и «маленькие хорьки» (так именует блатных писатель) даже в обстановке общего подъема. И привычки блатных, их представления о справедливости и наказании виновных, их методы расправы сказались бы на второй день после победы кенгирцев. Что могли натворить эти герои лагерной революции, уголовники и их главари (один из которых входил в Комиссию — орган самоуправления восставших), доведись им наводить порядок даже не в масштабах страны, а только области, района, села!..

Однако все эти и многие другие сложные, а нередко и просто неразрешимые проблемы возникают, как правило, уже после победы революции. Кенгир же переживал ее медовый месяц: «И мы любим блатных! И блатные любят нас! (да куда денешься, кровью скрепили. Да ведь они от своего **закона** отошли!) И еще больше, конечно, мы любим женщин, которые вот опять рядом с нами, как полагается в человечестве, и сестры наши по судьбе». Вот что ненавистно было хозяевам, вот что хотели они раздавить и опорочить — ради спасения порядков, взрастивших их. «По внешнему радио то чернили все движение, уверяя, что начато оно с единственной целью на-

силовать женщин и грабить (...ни до какого другого объяснения рабовладельцы не могли и подняться — недостижимой высотой для них было бы признать, что эта чернь способна искать справедливости). То старались рассказать какую-нибудь гадость о членах Комиссии (даже об одном пахане: будто, этапируясь на Колыму на барже, он открыл в трюме отверстие и потопил баржу и триста зэка...)». Чему же тут удивляться? Контрреволюция и клевета — понятия, неотделимые одно от другого.

Средства революции, к которым она по необходимости прибегала (как, например, убийства стукачей), могли быть кровавыми. Но можно ли их назвать низкими, подлыми и грязными — по крайней мере до тех пор, пока они действительно способствовали, как доказывает Солженицын, нравственному возвышению людей? Разумеется, при этом нельзя забывать, что насилие — это зло и в конечном счете оно всегда развращает. Но средства хозяев были низкими и подлыми даже тогда, когда они не прибегали к откровенному насилию. Ведь они имели своей целью нравственный распад, натравливание людей друг на друга, превращение их в рабов, озабоченных исключительно спасением собственной шкуры.

Один из зэков, продолжает Солженицын, «рассказывал, что получил от хозяев тайное предложение — спровоцировать в лагере национальную резню (очень на нее золотопогонники рассчитывали, и удивительно, что она не случилась! добрый прообраз к нашему будущему.)». Но и это испытанное средство удержания «советской» власти в Кенгире не сработало, и снова хозяева остались в дураках, обнаружив свои действительные цели и средства их достижения.

«Восемь тысяч человек вдруг из рабов стали свободными, и предоставилось им жить! Привычно ожесточенные лица смягчались до улыбок. Это отметил,— пишет Солженицын,— недоброжелатель Макеев». Кто такой Макеев? Один из лагерных интеллигентов-гуманистов, захваченных поначалу общим подъемом и даже избранный членом Комиссии. И один из тех, что совсем по-плехановски «с самого начала упрекали, что не надо было начинать», не надо было браться за оружие.

Но Макееву не удалось переубедить взбунтовавшихся солагерников. Тогда он стал (через подставных лиц) распространять слух, будто надо бежать через проломы, сделанные в стенах лагеря подтянутыми к нему танками. И снова Макеева не послушались. «Законы бытия и разума диктовали людям сдаться вместе или бежать порознь, а они не сдавались и не бежали! Они поднялись на ту духовную ступень, откуда говорится палачам: — Да пропадите вы пропадом! Травите! Грызите! И операция, так хорошо задуманная, что заключенные разбегутся через проломы, как крысы, и останутся самые упорные, которых и раздавить,— операция эта провалилась потому, что изобрели ее шкуры».

Через пролом бежал сам Макеев. И, надо думать, вынужден был оказывать хозяевам помощь: информацией о планах восставших, построенных ими укреплениях и т. д. Но этого ему было мало. Позже в своих записках он, по мнению Солженицына, оболгал восстание, представив его потомству «кровавой игрой» безответственных экстремистов и уголовников.

Макеев, если судить по образу, созданному Солженицыным, конечно, негодяй. Но ради справедливости давайте прислушаемся и к Макееву. Тем более что Солженицын и ему предоставляет право голоса на страницах «Архипелага». Разве заключенные на следующий день лагерной революции не завели у себя тюрьму, чтобы сажать в нее, например, тех, кто уговаривал восставших сдаться на милость победителей? Как бы повторяя действия большевиков, засадивших во время гражданской войны в тюрьмы тех своих бывших товарищей, эсдеков, которые призывали к миру с белыми. Разве не кричал руководитель службы безопасности мятежников Глеб Слученков, размахивая финкой: «Кто не выйдет на оборону — тот получит ножа»? Прибегла эта «странная азиатская революция» и к практике захвата заложников: офицера охраны, рассказывает участник восстания Ю. Грунин, привязали к щиту и под прикрытием такого распятия передвигались по лагерю. Правда, намеренной жестокости и мстительности в поведении восставших, как правило, не было. И офицера охраны отпустили, и верующих, отказавшихся браться за оружие, не преследовали.

Но как это, в сущности, знакомо! И большевики вначале под честное слово царских генералов выпускали на волю, а в разгар гражданской войны, в январе 1919 года, издали Декрет об освобождении от воинской повинности лиц, не могущих «по своим религиозным убеждениям принимать участие в военной службе» (см. об этом «Век XX и мир», 1989, № 1).

Тюрьмы, служба безопасности с безграничными полномочиями, Комиссия, гораздо больше напоминающая Советы 1905, 1917 гг., чем парламент, заложники, всеобщий энтузиазм самопожертвования, уклоняющимся от которого угрожают финкой... И пусть не оправдывает эту лагерную революцию Солженицын, уверяя, что такова «неизбежная логика военной власти и военного положения». Если неизбежная, так зачем же надо было начинать? Ведь вот какой парадокс: подвиг самопожертвования и бескорыстия, нравственная высота и братство восставших действительно связаны с виной, пусть не уголовной, а трагической. Еще Гегелем сказано, что герои трагедии «оказываются виновными именно благодаря своей нравственности». Ни ум, ни сердце не принимают этого противоречия. Но оно есть, оно присутствует в каждой безвыходной, трагической ситуации мировой истории.

Не об этой ли вине восставших говорит Макеев? Отнюдь нет. Он приписывает им вину уголовную, вытекающую из экстремизма, нетерпения, жажды власти и крови. Макеев клевещет на загнанных в мятеж зэков для того, чтобы снять вину с подлинных преступников и провокаторов — хозяев. Осуждая мятежников с точки зрения общих норм морали, он оправдывает тем самым свое негласное сотрудничество с палачами.

Ложь идеологов, подобных Макееву, заключается в том, что они оставляют за скобками самую суть трагической ситуации. В нее попадают люди, целые народы, когда жизнь ставит их перед неумолимым выбором. Или почти безнадежная, почти самоубийственная революция, открывающая хоть какие-то шансы на более человеческую жизнь, или разложение и предательство.

Можем ли мы, например, осудить майора Пугачева из рассказа В. Шаламова, который предпочел для себя и своих товарищей самоубийственный побег из лагеря годам покорности, унижений, превращающим человека в скот? Другого пути к свободе — часам свободы — он не нашел и, наверное, найти не мог. Его побег тоже связан с трагической виной, ибо повлек за собой немало невинных жертв. Но попробуйте встать по отношению к выбору майора Пугачева в позу нравственного осуждения — и вы опуститесь до уровня его палачей.

И дело не только в нравственности. Что ждет тех, кто перед лицом наглой власти (в союзе с люмпенством) отказывается от всякого сопротивления? История ответила на этот вопрос. Покорность фашизму или сталинизму — это такой «порядок», который представляет собой введенные в законную систему ложь, погромы, провокации и насилие, осуществляемые ежедневно и ежечасно бандитами в полицейской, армейской, милицейской формах или более благообразным жульем в роли писателя и журналиста, «рассказывающего какую-нибудь гадость о Комиссии...»

За смирение перед фашизмом, за сотрудничество с ним пришлось расплатиться и «элите», и одураченному ею народу. Уже не трагической, а уголовной виной. За сталинизм наша страна заплатила ГУЛАГом. Расплата за известные и неизвестные Кенгиры, за смирение перед «голубыми» и блатарями уже в наши времена, за сотрудничество с ними, за вольную или невольную помощь в организуемых провокациях, за вновь вытащенную на свет Божий идею необходимости «сильной руки» — за все это и многое другое расплата еще впереди.

Расплата неизбежна. Но если мы будем слепы, если будем знать только одно средство — насилие, не считаясь с ценой и последствиями восстания, мы тоже попадем в роковой круг событий. И даже можем оказаться пешками в игре провокаторов. К тому же Немезида, то есть стихийное развитие событий, подобна урагану, землетрясению. Не забудем, что кенгирцы устояли перед ловушками, которые готовили им хозяева, только благодаря организации, возникшей в лагерном подполье, благодаря верной тактике, избранной Комиссией. И «если кенгирскому мятежу можно приписать в чем-то силу, то сила была в единстве».

Солженицын полагает, что руководитель восстания Капитон Кузнецов в конце концов предал движение, положил его к ногам палачей. Прав писатель или нет — ответ на это могут дать только факты. Факты же, приводимые Солженицыным, свидетельствуют о том, что бывший полковник Советской Армии мешал хозяевам превратить революцию в погром и мятеж. «...Полковник Кузнецов, встречая настроения крайние и озлобленность жизней, настолько растоптанных, что им, кажется, уже нечего было терять, повторял и повторял, не уставая: — Антисоветчина — была бы наша смерть... Далеко не все хотели бы так, но разумность такой линии была сразу понятна и победила». Напротив, как раз хозяева подбрасывали антисоветские листовки, чтобы узаконить подавление «мятежа против советской власти».

Но не забудем и то, что, по свидетельству Ю. Грунина, в лагере до конца сражались как раз те, кому «с двадцатипятилетними сроками, с ненавистью к Советской власти нечего было терять». И кто прибился бы к этому движению в первую очередь, если бы оно распространялось по стране? Те, кому нечего было терять и кто испытывал к советской власти только одно чувство — ненависть. Преобладало ли это чувство у большинства народа, у тех, кто жил своим трудом, в 50-е годы? Сомневаюсь. Вот почему, на мой взгляд, революция в те времена не могла выйти за пределы лагерей: противоречие между хозяевами и народом еще не достигло крайней степени остроты и зрелости. Вот почему лозунги кенгирской революции были такими умеренными... Если бы вожди восстания стали форсировать его, то не исключено, что оно вышло бы из-под их контроля, разлившись русским бунтом, «бессмысленным и беспощадным».

Солженицын — безусловно, на стороне тех, кому совершенно нечего терять. Что же это за новый «пролетариат»? Люмпенство, деклассированные элементы? Не только. Все общество наше в той или иной мере деклассированное. И где проходит линия между примкнувшими к хозяевам и теми, кто им объективно противостоял? Даже в лагере эту линию было провести не просто, а на воле — тем более. Не в этой ли размытости конфликта причина прочности сталинского режима, надолго пережившего своего создателя?

И вот вам объективное противоречие

времени. Упорное нежелание примкнуть к откровенным врагам советской власти мешало даже таким оппозиционерам, как Твардовский, рвать все связи с режимом, идти в открытый бунт против него. Тот же, кто протестовал неукротимо, как Солженицын, выражал, с одной стороны, самые глубокие, самые демократические и справедливые импульсы загнанного в угол народа, а с другой — как бы «сближался» с теми, кто с оружием в руках воевал на стороне Гитлера. Несостоявшейся пугачевщиной видится Солженицыну власовская армия, и писателя не покидает мысль о естественности «повторить прием самого большевизма: как он сам вгрызся в тело России, ослабленное Первой мировой войной, так и бить его в подобный же момент во Второй».

Так почему же Солженицын — принципиальный противник всех революций истории, в которых он видит одну только ложь? Может быть, потому, что до революции мы пока еще не дозрели? Во всяком случае, в 50—70-х годах. И непримиримое, рвущее все цепи восстание против режима в этих условиях по необходимости было бы бунтом с трагическим исходом.

Призыв Солженицына немедленно порвать с режимом — это призыв к мятежу. Но вместе с тем всякое насилие писатель ненавидит страстно, убежденно. Отсюда его совет: не подчиняться режиму, но протестовать мирно, не прибегая к насилию. Жить не по лжи. Как будто бы такое мирное, но бескомпромиссное сопротивление не влечет неудержимо в мятеж, как и кенгирцев!

Писатель поражает откровенностью самокритики, он меньше, чем кто-либо другой, лукавит с читателем, он весь перед ним, во всех своих достоинствах и недостатках. Он способен понять правду другого даже в преступлениях этого другого, его роковых ошибках, сломавших жизнь. «Ты никому ничего не прощал прежде, ты беспощадно осуждал и так же невоздержанно превозносил — теперь всепонимающая мягкость стала основой твоих некатегорических суждений. Ты слабым узнал себя — можешь понять чужую слабость. И поразиться силе другого. И пожелать перенять».

И вместе с тем Солженицын, на что верно указывает Р. Медведев, бывает предельно категоричен и несправедлив. В «Архипелаге» он не раз высказывает мысль, что уголовников перевоспитать нельзя, они неисправимы. А вот примечательный диалог из романа «В круге первом»:

«Нержин: И в тот же день, наслушавшись твоих евангельских откровений, я закинул тебе вопросик...

Сологдин: ...Карамазовский.

Нержин: Да, ты помнишь! — Что делать с урками? И ты сказал? — перестрелять! А?

Нержин и сейчас смотрел, как бы проверяя: может, Сологдин откажется? Но невозмутимая была голубизна глаз Дмитрия Сологдина. Картинно скрестив руки на груди — ему очень шло это положение — он произнес приподнято: — Друг мой! Только те, кто хочет погубить христианство, только те понуждают его стать верованием кастратов. Но христианство — это вера сильных духом. Мы должны иметь мужество видеть зло мира и искоренить его».

Конечно, нельзя отождествлять позицию писателя с мнением одного из его героев. Тем более что сам Солженицын нарисовал впечатляющую картину нравственного возрождения уголовных в условиях кенгирского мятежа. Но и сологдинские непримиримые интонации различимы в патетике Солженицына. Вот он рассказывает об узнице царской каторги, покончившей самоубийством в знак протеста против телесных наказаний заключенных. Как же непереносимо было для этой арестантки ущемление человеческого достоинства, если самой жизнью она дорожила меньше! Писатель понимает это и признается: «Вот с какой арестантской высоты скатились мы». Но почему же в его рассказе так отчетливо сквозит раздражение поступком женщины? Почему он употребляет по отношению к ней пренебрежительное — «оплевала офицера»? И даже, кажется, сочувствует не погибшей во имя соблюдения человеческих прав каторжанке, а офицеру, испытавшему неприятности по службе.

Подчеркивая многократно относительную мягкость царской тюрьмы — по сравнению со сталинской,— Солженицын как бы забывает свою собственную мысль о том, что эта мягкость вовсе не следствие гуманности режима или добродушия тюремщиков, а результат неустанного сопротивления режиму всего образованного общества, многих поколений революционеров — дворян, разночинцев, пролетариев.

В историческом повествовании «Красное колесо» лица рабочих, доведенных до отчаяния бессмысленной войной, благодаря обретенной Солженицыным исторической оптике превращаются в какие-то почти зверские, бессмысленные морды, жены их — в толпу тварей, бунтующих по нелепому капризу из желания иметь сегодня именно черный хлеб, а не белый. Зато все более благообразное обличье приобретают государственные деятели, чья философия и практика нередко напоминают макеевскую, а государственная мудрость сводится к тому, чтобы противопоставить «кровавой игре» революционеров любые средства, вплоть до погромов. И человек, с такой прозорливостью раскрывший читателю провокационную политику «голубых», как бы совершенно не замечает провокаций, которыми держался, отсрочивая свое падение, царский бюрократический режим в последние годы. Он, этот режим, тоже заключил союз с люмпенством — против революции. «Жиды царскую корону сбросили,— кричал в Киеве 1905 года, по свидетельству В. Шульгина, какой-то тип, взобравшись на столб.— Какое они имеют право? Что же, так им и позволим? Так и оставим? Нет, братцы, врешь!» Он слез со столба, выхватил у первого попавшегося человека палку, перекрестился и, размахнувшись, со всей силы бахнул в ближайшую зеркальную витрину. Стекла посыпались, толпа заулюлюкала и бросилась сквозь разбитое стекло в магазин. И пошло...»

Солженицын доказывает, что судить надо не людей, а идею. Злую революционную идею нужно осудить так же, как была в свое время осуждена идея фашистская. Предложение Солженицына выглядит гуманно: «К чести XX века надо отнести Нюрнбергский процесс: он убивал саму идею зла, очень мало — зараженных ею людей». Что же, и нам надо начать духовное обновление с запрета на марксизм?

Вроде бы нет. Солженицын в своем знаменитом «Письме к вождям» допускает право марксистов исповедовать свою веру, но — отделив ее от государства. Как же тогда «убивать злую идею»?

Есть серьезные основания предполагать, что предложение — судить идею, а не людей — негласно поощряют сегодня как раз те, у кого рыльце в пушку и кто надеется уйти от своей персональной ответственности, спровоцировав большую свалку, из которой они, быстро перекрасившись в идейном отношении, надеются выйти сухими, погубив при этом своих потенциальных противников. Иезуитская, но, увы, нередко повторявшаяся в истории политика! Так неужели провокаторам удастся взять себе в союзники Солженицына?

У автора «Красного колеса» вызывает чувство сожаления то, что царское правительство под напором снизу «сразу сдало, сразу размякло и ослабло... как будто никогда не имело никакой самодвижущей программы (да и вправду не имело), а лишь рассчитывало силы: пока держишься — дави, а рука расслабиет — улыбайся и уступай». Может быть, нынешние «золотопогонники» учтут урок истории, может быть, они будут лавировать, дурача людей обманными уступками, но при этом и давить протест беспощадно, раз есть еще сила стрелять, вешать, убивать. Может быть. Но только странно слышать процитированные выше слова из уст человека, по принципиальным соображениям отрицающего классовую борьбу, убежденного, что не насилие, а «моральная солидарность» способна дать права и свободу. Как согласуется одно с другим?

Подобные вопросы можно было бы множить. Но, задавая их, нельзя уйти от факта: каждая строчка Солженицына дышит силой и энергией непримиримого протеста против власти «золотопогонников» и блатарей. И что не менее важно — в этом протесте ожил голос снизу, голоса задавленных в Кенгире, голоса ушедших в небытие, но сохранивших, подобно Ивану Денисовичу, душу в немыслимых условиях. Вот что сообщает писателю пафос беспощадной истины. В его лучших произведениях перед нами встает не бессмысленно-злобная, а трагическая, возвышающая душу картина бытия. Об этих произведениях можно сказать словами Б. Бернсона, имевшего в виду живопись Возрождения: они повышают наше чувство жизни. И справедливости, добавим от себя.

Так как же примиряются все эти и многие другие противоречия у Солженицына? Никак не примиряются. И тут мне хочется возразить Р. Медведеву. Указать на противоречия Солженицына, вскрыть утопичность его общей исторической концепции — дело важное. Но Солженицын не сводится к этой концепции, что, конечно, понимает Р. Медведев. Гораздо труднее понять другое: в том, что кажется Медведеву только слабостью Солженицына, до известной степени и сила писателя. Вспоминая «крамольную» литературоведческую формулу 30-х годов, можно сказать, что Солженицын велик не только вопреки своей утопии, но в определенной мере и благодаря ей.

Хотите вы того или нет, но этот принципиальный и убежденный противник всех революций истории гораздо более бесстрашный и непримиримый мятежник, отвергающий ложь и насилие существующего порядка вещей, чем кто-либо из современных писателей и публицистов. В том числе и тех, кто, считая себя марксистом, тем самым как бы обязан быть самым последовательным революционером. Однако не случайно, как подчеркивает Солженицын, именно ортодоксы революционной идеи в лагерях нередко были среди тех, кто юлил, колебался, вступая в компромиссы, и шел на поводу у провокаций власти.

А в Солженицыне обрела голос именно та народная масса, которая сопротивляется и готова идти в своем сопротивлении до конца. Народное сопротивление поднимает на поверхность не только разум, но и неразумие. И до известной степени само это неразумие, иллюзии бескомпромиссно протестующих, их предрассудки побуждают к немедленному сопротивлению, устраняя вопросы, заставляющие подождать, перетерпеть, смириться. Самая массовая, самая «низовая», стремившаяся искоренить всякую несправедливость революция в истории привела к ГУЛАГу? Значит, надо порвать с этой революцией, порвать с самой идеей революции, судить ее! Узел не развязывается — разрубить его. Это логика мятежника, это логика бескомпромиссного отрицания, презирающая уклончивость, справедливо видящая в нем источник предательства.

Наше общество, по всей вероятности, все еще не готово для революции, но, увы, может быть, уже созрело до мятежа? Сколько всего перемешивается в поднимающемся протесте! И глубоко

справедливый гнев против действительных виновников наших бед — и размашистые удары, когда горе и тем, кто подвернется под руку. Антикоммунизм — тоже существенная черта этого протеста. Революция, тесно переплетенная с контрреволюцией: в ней оживают и монархизм, и религия, и черносотенство, и умиление раба перед аристократией. Все это идет из самих низов, и все это постараются использовать в своих интересах те, кто провоцирует, кто возбуждает темные страсти, кто жаждет бунта, чтобы его раздавить.

Прочен ли этот странный союз революции с контрреволюцией? В сумасшедшем, перепутанном мире устойчивыми и долговременными нередко оказываются самые невероятные, причудливые союзы и браки. Если сталинский режим, физически уничтоживший остатки большевистской партии (уже разложившейся к 37-му году), созревал под крылом марксизма, то стоит ли удивляться тому, что протест против этой псевдонародной власти приведет к идейному союзу с Победоносцевым?

В критической для себя ситуации подобные режимы могут удержаться, организовав охоту на ведьм, разумеется, под новым идейным флагом. В Кенгире ставка на провокацию оказалась битой потому, что реальные отношения были предельно обнажены: враги — «голубые», враги — те, кто, как Макеев, поет под их дудку, кто пытается расколоть людей не по «классовому» (за хозяев или против), а по иным признакам: национальному, религиозному, идейному и т. д. В нашем обществе противоречия, вероятно, не столь обнажены, и потому провокационная политика имеет больше шансов на успех. Но ведь и уроки Кенгира должны чему-нибудь научить!

Какую альтернативу предложить стихийному развитию событий? Очевидно, наступает такой период истории, когда ее пробуждающийся разум по необходимости, говоря словами Маркса, принимает неразумную форму. Истины бледнеют и не убеждают перед лицом рокового заблуждения, исполненного мощью справедливого негодования. Такими заблуждениями, в которых больше правды, чем в жалких доводах здравого смысла, движется вперед цивилизация, развивается высокий человеческий смысл. Но тем не менее этот смысл тускнеет, если человечество не справляется со своими заблуждениями.

Рано или поздно все же придется выбирать: двигаться ли к разуму, порвав с неразумием, или же скатиться в пучину бессмысленного и жестокого мятежа?

Быть или не быть массовому открытому сопротивлению диктатуре, прячущейся под личиной советской власти,— от нас, отдельных и разрозненных индивидов, не зависит. Но от нас может зависеть, каким быть этому сопротивлению. А если мы не сумеем сделать правильный выбор (по всей вероятности, интеллигенция в целом пока не сумела его сделать), то он будет сделан за нас. Нам же останется роль, которую мы, может быть, меньше всего хотели бы сыграть.

В этом тоже убеждает Александр Солженицын. Создав «Архипелаг ГУЛАГ» — противоречивое единство взаимоисключающих точек зрения,— он перешел Рубикон и двинулся, повинуясь неумолимой судьбе, от «Ивана Денисовича...» к «Красному колесу».

Вл. НОВИКОВ

Гренобльские грезы

ВСТРЕЧИ С ЛИТЕРАТУРОВЕДАМИ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ ВО ФРАНЦИИ

1

Люблю литературный разговор. Не окололитературный — тут, как говорится, дьявольская разница, а тот, свободный, скачущий и непредсказуемый обмен суждениями и оценками, что имеет в нашей словесности давнюю традицию и объединяет на равных писателей, критиков и читателей. В наших дисциплинированных статьях и обзорах как-то печально мало остается от живых бесед, от литературного table-talk'а (слово, любимое Пушкиным).

Листая свои записи, сделанные во время одной поездки, я подумал, что кое-что из зафиксированного мною может оказаться небезынтересным и для других.

2

В городской библиотеке Гренобля под председательством Е. Г. Эткинда открылись дни русской поэзии. Их проводят КРЕАРК (Центр творчества, научных изысканий и культуры) и АДЕК (ассоциация «Диалог между культурами»). За аббревиатурами стоят живые люди. Это прежде всего чуткие, внимательные Николь Поншарра и Фернан Гарнье. Активно помогают им гренобльские русские: Ксения и Борис Климовы, пианист Валерий Федоров с женой Анной, певица Галина Козакевич.

Дебаты о поэзии начинаются уже за завтраком в гостинице. Не без робости вступаю в разговор с Ефимом Григорьевичем Эткиндом, чьи книги «Русские поэты-переводчики от Тредиаковского до Пушкина» и «Разговор о стихах» перечитывал по многу раз. А из библиотек всей нашей страны эти книги были после отъезда автора изъяты — вот варварство-то! Лишили молодежь таких образцов филологического анализа! По-своему неповторима и книга «Записки незаговорщика» — мужественный рассказ ученого об истории своего изгнания, урок духовной независимости. Ефим Григорьевич неизменно весел, о стихотворных текстах всегда готов говорить как о чем-то насущном и реальном, а о житейских передрягах, о здешней «групповщине» он рассказывает иронически-отстраненно — как о чем-то призрачном.

Обмениваемся книгами. Получаю от автора «Симметрические композиции у Пушкина» и «Материю стиха». Кстати, в «Вопросах литературы» в конце 1988 года появилась статья Е. Г. Эткинда о русской поэзии XX века как единой системе, так там в сведениях об авторе его главную книгу «переименовали» в «Мистерию стиха». Опечатка знаменательная: дескать, раз эмигрант — то уж непременно мистик. А в книге всюду речь о живой, пульсирующей материи поэзии, и разница между стихом живым и мертвым важнее всяких привходящих идеологических соображений. Чуждый снобизма Е. Г. Эткинд в главе о военной лирике «Тринадцать сражений» в одном ряду с Херасковым, Полежаевым, Гумилевым анализирует и стихотворение Алексея Суркова: наука не должна уступать ни той, ни другой конъюнктуре.

И еще один подарок получил я от Ефима Григорьевича. Уверен, что от такой книжечки не отказался бы ни один читатель поэзии: сборник «323 эпиграммы», составленный и прокомментированный Е. Г. Эткиндом и изданный в «Синтаксисе». Вот мы все говорим о «белых пятнах», радуясь освобождению опальных романов и поэм, а эпиграмма советского периода до выхода этой книжечки оставалась самым что ни на есть «белым пятном». В сборнике столько интересного и остроумного, распространявшегося устно, но, конечно же, нуждающегося в письменном закреплении. Тут беспощадные характеристики функционеров и доносчиков, отклики на борьбу с «космополитами», эпиграммы-частушки вроде такой:

У мово у милово
Характер Ермилова.
Ночку всю целуется
Утром отмежуется.

Я выбрал пример попристойнее, а вообще-то острое слово часто бывает весьма крепким и для типографского шрифта непривычным. Но этот жанр не

склонен считаться с приличиями, по правде ведь сказать, и классики мировой эпиграммы нередко «выражались». Скажем, Бернс у нас Маршаком в этом отношении сильно причесан, в оригинале там хватает экстремальной лексики. Так что надо как-то решать эту проблему — и в «Библиотеке поэта», и в других наших изданиях.

3

Жан-Клод Ланн, известный специалист по Хлебникову, открывает заседание, тема которого в программе определена так: «La naissance de la modernité». На русский ие так-то просто перевести, поскольку в нашем языке все слова с корнем «модерн» почему-то носят ругательный оттенок. В общем: «Рождение современности». И мы начинаем говорить о том, что наша поэтическая современность рождена «серебряным веком». Созидательной энергии мощного поэтического взрыва десятых — начала двадцатых годов хватило надолго, ее не смогли нейтрализовать никакие социальные факторы. В стихотворении Вознесенского «Монолог века» есть слова: «На дворе двадцатые годы — не с начала, так от конца. Историческая симметрия...» Так вот эта симметрия прослеживается во многих датах. Год Чернобыля восемьдесят шестой — четырнадцатый от конца — перекликается с началом первой мировой войны. Воспетый в великой поэме Ахматовой девятьсот тринадцатый год — огромная творческая активность поэтов, острая и плодотворная борьба разных творческих школ — этот год отозвался в «симметричном» ему 1987 году публикаторским «бумом», возвращением к читателю многих ахматовских современников — рыцарей русского стиха. Рифмы истории...

Большое видится на расстоянии — и именно теперь приспело время понять «серебряный век» не как «отклонение» от классики XIX века, а как закономерное ее развитие и продолжение. Пришло время увидеть в символизме, акмеизме, футуризме не эстетический «изыск», а глубокую художественную правду о мире и человеке. И такой взгляд на вещи объединил всех собравшихся в Гренобле поэтов и исследователей поэзии. Думаю, что это очень важный результат встречи. Ибо роль «серебряного века» все еще страшно принижена на родине Блока и Хлебникова, Ахматовой и Цветаевой. Свидетельство тому — и вузовские учебники, и официально-академические труды, и система воспитания творческой молодежи, плохо осведомленной о художественной традиции, обладающей насильно укороченной культурной памятью и почитающей за недосягаемый образец стихи Рубцова или Передреева.

(Замечу для справедливости, что и в эмигрантских изданиях на русском языке встречаются стихи самодеятельного уровня, претендующие на «традиционность», но выполненные в духе той простоты, которая хуже воровства.)

4

С. С. Аверинцев писал о том, что у нас недостает «культуры несогласия». Это очень верно, но рискну утверждать, что в Гренобле ощущение такой культуры присутствовало. Ведь там собрались ученые, исповедующие самые разные методологические веры. Скажем, Клод Фриу, известный «маяковед», тяготеет к социологическому подходу. Элен Анри-Сафье, учившаяся в Ленинграде, напротив, «филологична». Александр Бурмейстер — представитель структурно-семиотической школы. А Никита Струве — сторонник религиозно-философской интерпретации поэтических произведений, считающий литературоведческий подход недостаточным, а само понятие «поэтики» — слишком узким. Надписывая мне свою книгу «Осип Мандельштам», он назвал ее «антиэстетической», но думаю, что в данном случае автор неточен. Ведь Мандельштам-поэт не сводится им к иллюстрации какой-то одной идеи, пусть самой высокой. Наоборот, выявлены все образующие его мир антитезы: «Еврей и христианин, по существу, иудеохристианин, русский и западник, по существу, истинный европеец, природно неуклюжий, но преодолевающий эту неуклюжесть врожденным ритмом... боязливый в обыденном, малом, но во многом «ненужно отважный», любивший современный комфорт, но осужденный на нищету... поэт города и чернозема, мешающий без зазрения совести конкретное с абстрактным, современник всего исторического прошлого и влюбленный в новейшие времена... пассеист и пророк, архаист, последователь Державина и новатор, соревнующийся с Хлебниковым... метафорический донельзя, как Рембо, и предельно ясный, как Расин, неудобопонятный для многих, но «слишком хорошо понятый всеми» (настолько, что остался под запретом полвека после смерти)... всегда помнящий о двойственности времени, одновременно разрушающего и созидающего, стремящийся... спасти время, историю и человека через чудотворство поэзии, но знающий, что подлинное спасение находится по ту сторону литературы, и даже поэзии, в подражание Христу вплоть до мученичества».

Привожу с сокращениями эту выразительную характеристику, поскольку она, как мне кажется, формулирует своеобразный эталон духовной широты — и поэтической, и исследовательской. Вера в Бога и вера в искусство все-таки в чем-то сходны. И душа человеческая — это уже мое собственное убеждение — способна вместить сразу и абсолют эстетический, и абсолют, находящийся «по ту сторону литературы». Или я не прав, Никита Алексеевич?

5

Резкий, категоричный в суждениях русский парижский поэт Вадим Козовой похож на свои загадочные книги: «Грозовая отсрочка», «Прочь от холма», «Поименное». Он экспериментирует на самой границе стиха и прозы, стремясь сплавить традиции Ремизова, Хлебникова, Хармса, вновь пробует возможности заумного слова; ему, отбывшему лагерный срок на родине, не страшен тот полицейский запрет на заумь как таковую, который надолго отбил у нашей поэзии охоту к изобретению несуществующих слов.

Новеллы (или стихотворения в прозе) Козового полны апокалипсических гипербол: «Посрамленное солнце рыло себе яму». И под этим солнцем — уроды, монстры, побивающие и убивающие друг друга. Автор говорит как бы от лица самой жестокой жизни, в которой больше бессмыслицы, чем смысла:

Какое счастье поэты
что у меня вырвали молоток
которым дробить вам зубы.

Метрику и пунктуацию Козовой решительно отвергает, более того — он убежден, что русскую классическую поэзию нельзя переводить на французский метрическим стихом с рифмами. Поскольку современный французский поэтический язык совершенно сросся с верлибром, то и переводить с русского можно только свободным стихом. На иной позиции стоит школа Е. Г. Эткинда, и талантливый ее представитель Андрей Маркович поражал нас своими блицпереводами из стихов приехавших в Гренобль поэтов, выполняя их прямо накануне выступлений. Что ж, по-видимому, этот спор потребует еще времени и реальных творческих аргументов с обеих сторон.

6

Наша «сборная поэтов» раскрылась в Гренобле как своеобразный веер несхожих индивидуальностей, спектр поэтических стилей: от предельной простоты жигулинского стиха до заколдованных ждановских метафор. При этом Жигулина и Жданова от начала поездки до конца нередко можно было видеть вместе: разница и стилей, и поколений не помеха человеческому общению.

И все же, находясь в зоне действия стольких творчески-энергетических полей, чувствуешь, что импульсы отталкивания здесь сильнее, чем импульсы притяжения: каждый ощущает свою отдельность.

И бремя славы, и не менее весомый груз забот и неприятностей каждый несет сам. Булат Окуджава с лукавством, незаметным, быть может, для него самого, жалуется на то, что у него ничего не придумывается. Конечно же, это старинная уловка художников, подстерегающих добычу своего вдохновения. Окуджава сдержан, сосредоточен, всю энергию, поступающую извне, тут же вкладывает в новую работу.

Андрей Вознесенский упорно стремится вдохнуть в нашу литературную жизнь нерастраченный кислород шестидесятых годов. Его активность то и дело натыкается на недовольство или озлобленность сонливой писательской публики. Ничего, поняли читатели — поймут и коллеги, и критики. Лучше быть живым и нелюбимым, чем всеми одобряемым, но дохлым в поэтическом, стиховом смысле (а что греха таить: наша литературная среда весьма снисходительна к добропорядочной бесцветности).

«Певчая скорость» Вознесенского не падает, а это, воля ваша, для поэзии фактор существенный.

Александр Кушнер когда-то искренне и всерьез отрекался от мечты о громком успехе: «Нас больше не мучит желание славы, Другие у нас представленья и нравы...». Но не тут-то было: еще в семидесятые годы слава взяла его на мушку.

В Гренобле Кушнер читал свои стихи о «рюмочке пузатой» — символе того простого человеческого уюта и покоя, которых наш жестокий век лишил немало людей во имя каких-то мнимовысоких и призрачных целей:

И нельзя сказать, что я любитель,
Проводящий время в столбняке,
А скорее слушатель, и зритель,
И вращатель рюмочки в руке.
Убыстритель рюмочки, качатель,
Рассмотритель блещущей — на свет,
Замедлитель гибели, пытатель,
Упредитель, сдерживатель бед.

«Замедлитель гибели», «сдерживатель бед» — вроде бы небольшой масштаб, это не то, что привычные для нашей поэзии «повышенные обязательства» решить все мировые проблемы. Но зато без обмана: лучше ведь обещать мало, а сделать много. Это путь Кушнера, но замечу: именно его путь — с той же самой рюмочкой другой уже ничего подобного сделать не сможет.

Прочитав несколько стихотворений, Анатолий Жигулин вдруг запел:

Я поеду туда
Не в тюремном вагоне
И не в трюме глухом,
Не в стальных кандалах,
Я туда прилечу,
Словно лебедь в алмазной короне,
На серебряном «Ту»
В золотых облаках.

Эти стихи стали песней на Колыме. Лебедь в алмазной короне не стилистический выкрутас, а герб предков поэта Раевских. Аудитория глубоко взволнована. Жигулин читал еще стихи о побеге из лагеря: «Обложили, как волка флажками...»

Что мне пули?
Обычные пули.
Эти пули меня не убьют.

Я моментально вспомнил эти строки, когда сразу по нашем возвращении из Франции прочел в одной газете порцию каких-то гнусных измышлений по адресу Жигулина и его повести «Черные камни». Обычные пули сегодня отливает га-

зета, доверие к которой было раз и навсегда подорвано печально известной публикацией за подписью Н. Андреевой. И все-таки...

Между прочим, поклонники Окуджавы и Высоцкого до сих пор бережно хранят и передают друг другу ксерокопии очень старых разгромных статей о знаменитых бардах. Так что имена сочинителей самого низкого жанра тоже переходят от поколения к поколению. Подумайте хотя бы о детях своих... И вообще, как сказано у Жигулина: «Пишите честно — как перед расстрелом». Надежный способ.

«Герметизм — это уважение поэзии к себе самой»,— говорит Геннадий Айги.

Небольшого роста, с маленькой бородкой, одетый, как большинство наших соотечественников, он, наверное, незаметен в московской толпе. В Париже его знают хорошо. Листаю одну французскую монографию о лирике, названия ее глав: Кольридж, Бодлер, Айги. У Айги, как говорится, трудная судьба, зато очень легкое поэтическое дыхание, не искаженное суетной акустикой. Находясь в стороне от «литературной жизни», он сохранил живой интимный контакт и с литературой, и с жизнью. Свободный человек — и стих у него такой же:

я силой был средь сил
я знаю то что знаю
я отдавал себя как высший дар
свобода
бывает лишь свободой

Айги не принимает присущие русскому авангарду десятых — двадцатых годов чрезмерную увлеченность научно-техническим прогрессом, социальный утопизм и религиозный эклектизм, но все же полагает доминантой авангарда созидательное, строительное начало, и к нему он считает себя причастным. Добавлю от себя: современный авангард (Айги, Соснора, Жданов) не нуждается в эпатаже, в «пощечинах общественному вкусу». Его главное свойство — внутренняя серьезность и сосредоточенность.

7

В университете Гренобля ведутся исследования по «советской речи», включая сюда и литературу, и средства массовой информации, и политическую фразеологию. Здесь с семиотических позиций тщательно изучался «дубовый язык» застойного времени — и это не ругательство, а термин (Langue-de-bois). Между прочим, стоило бы и советским филологам таким делом заняться, а то мы все больше норовим вмешиваться по-дилетантски в чисто политические и исторические диспуты. Ведь чем меньше знаешь о предмете, тем легче рождаются концепции. Не у каждого критика сегодня есть свой взгляд на роль метафоры в поэзии или фабулы в прозе — зато насчет Ленина, Сталина, Троцкого и Бухарина высказаться готов каждый. Между тем у нас и в этой области есть свой специфический участок — слово.

Пока же на нем работают французские коллеги, чутко и оперативно реагирующие на перемены в нашей жизни. Профессор Александр Бурмейстер написал статью: «Горбачев, сказ, перестройка и новое мышление». Между прочим, «сказ» — термин, введенный нашими филологами в двадцатые годы. В статье пристально анализируется переход советского политического языка от мертвого слова к живому, «сказовому». А у нас никто до сих пор не удосужился написать, к примеру, историю слова «гласность» — чрезвычайно поучительную, один спор Герцена с Добролюбовым чего стоит! Анализируя слово, можно многое уловить в сути вещей. Ведь вот, скажем, что такое «перестройка» с точки зрения филолога? Прежде всего — метафора. И все зависит от того, какой ей будет обеспечен контекст...

8

Из программы дней поэзии: «В схватке с веком. Ахматова, Мандельштам, Маяковский, Заболоцкий, Цветаева, Пастернак». «Поэтические движения 50—60-х годов. Мартынов, Слуцкий, Соснора, Евтушенко, Ахмадулина, Окуджава, Галич и Высоцкий». «Иосиф Бродский». «80-е годы».

Все эти «круглые столы» проходили живо, хотя мысль поэтическая и мысль научная развиваются по разным законам. Леон Робель и Бенедикт Сарнов анализировали поэзию шестидесятых годов и в социально-историческом, и в историко-литературном контексте. А Олжас Сулейменов с гиперболической страстностью защищал престиж шестидесятников, считая, что в годы «оттепели» все значительное в поэзии получило «зеленый свет». Другие участники тут же привели немало печальных фактов из хрущевской эпохи. В целом же, думается, литературоведам и поэтам полезно соединить усилия, тем более что новая поэтическая волна тяготеет к филологической рефлексии, о чем интересно говорил, например, Виктор Кривулин.

И не надо этого бояться. Подозрительное отношение к «филологизму» в поэзии культивировалось в годы культурного одичания. А вообще-то ведь филологами были Ломоносов, Пушкин, Блок, Ахматова, Мандельштам, Твардовский... Оно, конечно, сейчас при вступлении в поэтическую секцию Союза писателей культуру лучше оставить в гардеробе или совсем потерять. Но вступление в русскую поэзию — это совсем другое дело.

Кривулин хорошо сказал о судьбе своего поэтического поколения:

где мы? пока еще в книге манилова
наши фамилии там на странице 14
каждая с крестиком —
то ли помилован
то ли напротив отчаялся вырваться
из-под пыли типографской
нечитанной
к родине целостной к цели
мучительной

А Иван Жданов с предельной краткостью определил разницу между своим поколением и шестидесятниками. Он показал на плакат с эмблемой нашей конференции, выполненный Наташей Поншарра: человек идет куда-то, а над головою у него большая буква «Я». У шестидесятников это «Я» — корона,— сказал Жданов.— А чтобы понять нас, надо представить, что это «Я» — вдали, в перспективе, и мы к нему еще идем».

9

...Листаю огромные тома коллективной «Истории русской литературы», написанной западными русистами. Вышло по тому о «серебряном веке» и о двадцатых годах нашего столетия. И все это силами маленькой редколлегии: Е. Г. Эткинд, Жорж Нива, Витторио Страда, Илья Серман. Среди авторов — и иностранцы, и наши, живущие за границей: Игорь Смирнов написал об обэриутах, И. Серман — о Тынянове. Может быть, стоит этот труд издать в СССР? А то ведь наши академические институты просто не осилят такую работу в пределах жизни одного поколения ученых. Обсуждение плана-проспекта, рецензирование, да редактирование, да споры о том, надо ли поступаться принципами и как теперь трактовать социалистический реализм — словом, лет на сто одной «подготовки»...

Улица Бориса Вильде, 8. Это адрес журнала «Синтаксис». Здесь, в старинном домике, живут Мария Васильевна Розанова и Андрей Донатович Синявский.

За столом разговор идет о современной русской прозе. Синявский — писатель гиперболического склада. Он и сам говорит языком преувеличений и ценит прежде всего тех, кто умеет выдумать. К сожалению, унылое жизнеподобие слишком властно воцарилось в нашей прозе, сделало ее незаметной на фоне «задержанных» произведений и оперативной публицистики. Гоголевской «смелости изобретения» не хватает, поэтому Синявский горячо приветствует новых «изобретателей». С восторгом говорит о «Капитане Дикштейне» Михаила Кураева и удивляется, что не все восторг его разделяют. Петрушевская, Толстая, Пьецух, кто еще есть такой в России?

Я называю Валерия Попова, осторожно замечая, что он в своих гиперболах, быть может, даже смелее и изобретательнее вышеупомянутых писателей. «Не читал»,— признается Андрей Донатович, а Мария Васильевна рекомендует ему внимательнее следить за журналом «Синтаксис», где была серьезная статья о В. Попове, написанная П. Вайлем и А. Генисом (кстати, это авторы толковой книги «Современная русская проза», вышедшей в 1982 году и содержащей единую панораму прозы «союзной» и эмигрантской).

Синявский в своих статьях и книгах сломал те ведомственные перегородки, которые существуют у нас между прозой, критикой и философией. Можно поразному оценивать его конкретные произведения, можно спорить с его суждениями и оценками, но ясно, что сам тип его литературной работы глубоко плодотворен, что Синявский реально продолжил ту традицию эссеистического философствования на литературном материале (Мережковский, Розанов, Бердяев, Бахтин), которая была некогда искусственно прервана. Для объективности замечу, что сам я отнюдь не энтузиаст этой традиции, мне гораздо ближе родившийся в начале двадцатых годов и тут же задушенный тип аналитико-эстетической критики Тынянова, Эйхенбаума, Шкловского, но если мы хотим воскресить утерянную духовность, то нужно восстанавливать весь ее ансамбль.

«Синтаксис» — это не только журнал, это еще и книжное издательство. Вот «Новейший, самый полный и подробный письмовник, или Всеобщий секретарь», подписанный к печати в 1822 году цензором Тимковским. Сверх текста, утвержденного этим цензором, только одно добавление: «Сия книга восстановлена из праха тщанием издательства «Синтаксис» и напечатана с соблюдением внешнего вида количеством 525 экземпляров в 1986 году». Воскрешена книга — и сделано это без волокиты, без всяких там согласований и темпланов, без лишних разговоров о русской книжности и с уважением к преданию. Невольно начинаешь думать о наших редакциях и издательствах, где многочисленные сотрудники активно мешают друг другу работать, а авторам и текстам нормально, без искажений печататься. Совершенно не хочу обидеть советских редакторов, среди которых так много моих друзей и знакомых. В своих грезах я вижу их вовсе не выброшенными на улицу безработными — нет, я мечтаю, чтобы у каждого из них был свой журнал. Ну, или хотя бы по журналу на троих-четверых. Можно ведь помечтать, что когда-нибудь число литературных периодических изданий на душу населения у нас снова приблизится к уровню 1913 года?

Ясно, что, публикуя «наследие» или «задержанные» вещи, наши журналы выступают заменой книжных издательств, малооперативных и малотиражных (тут и сто, и двести тысяч — мизер). Но, столь же крупно тиражируя иных современных авторов, журналы невольно становятся поставщиками «принудительного ассортимента». Выход один — множество небольших и совсем маленьких журналов. Нужна журнальная полифония. Страшновато, когда журнал слишком монументален. Хочется, чтобы он был соразмерен отдельному человеку.

А вот «Синтаксис» именно таков, «пропорция человека» в нем хорошо ощущается, и весь комплект журнала, начиная с основания, осознается как обозримое целое. «Синтаксис» в этом отношении похож на два моих любимых журнала де-

сятых — двадцатых годов: мейерхольдовский «Любовь к трем апельсинам» и «Книжный угол» Виктора Ховина, которые читаются каждый как единый текст. В нем нет материалов, помещенных только для заполнения объема. В «Синтаксисе» сталкиваются позиции — и в то же время могут появляться совершенно неполемические, внеполитичные статьи. Серьезность здесь сочетается с духом остроумия — и в самом способе ведения журнала, и в статьях таких авторов, как Ю. Вишневская, И. Ефимов. Без «Синтаксиса» сегодня просто не обойтись литературоведу и критику, занимающемуся русской литературой двадцатого столетия.

Кстати, тут вообще встает вопрос о полноте культурного контекста. Мы стали свободно говорить обо всем — и это прекрасно. Но человеку, не только пишущему, но и мыслящему, свойственны самоконтроль и рефлексия по поводу приоритетности своих суждений: не говорил ли того же самого кто-то до меня? Вот пришла мне в голову мысль — но не зафиксирована ли она уже на страницах «Нового мира» или парижской «Русской мысли»? И тут важно располагать необходимой информацией. Знакомясь с периодикой зарубежья, сразу замечаешь, что многие наши журнальные споры и перепалки явно вторичны по отношению к полемике Солженицына и Синявского о «плюрализме» и «единомыслии». Эта полемика, пожалуй, явила собой нервный узел, смысловой центр эмигрантских диспутов. Прежде чем ее оценивать и присоединяться к одной из ее сторон, ее надо знать.

И вообще надо знать. У этой культурной позиции не может быть альтернативы. Разве что за пределами культуры. А ведь если в корень посмотреть: будет культура — будет и столь желанная «культура полемики».

Анатолий НАЙМАН

Пространство Урании

50 ЛЕТ ИОСИФУ БРОДСКОМУ

Время от времени в мир посылается поэт. Или проще: появляется в городе странное существо, на которое люди смотрят с недоумением, раздражением и восхищением. Поэт может быть также пророком, святым, мудрецом. Может оказаться вором, простофилей, министром. Но всякий сталкивающийся с ним знает, что он поэт; потому что то, что он поэт, действует на окружающих сильнее, чем его провидчество или преступные наклонности, или ум, или глупость.

Поэт — юрод, в нем всегда есть что-то от городского сумасшедшего. Об элементарном деле, которое обыватель формулирует в нескольких словах, он говорит косноязычно, вкривь и вкось. Ища нужного слова, он нагромождает одну на другую приблизительные фразы. Когда же он выражается ослепительно точно и всем понятно, это все равно звучит не по-людски, дико или по крайней мере диковинно. Даже в случае, если он Гете, к нему относятся с легкой опаской, как к человеку, который на придворном балу может без всякой видимой связи заговорить о минералогии или об Ифигении. Как всякая экзотика, он, помимо любопытства, вызывает еще и пренебрежение, и внутреннюю насмешку. Вместе с тем его независимость, отчужденность и непоказное равнодушие к вещам, которые все и каждый считают безусловно важными, внушают к нему почтение. Иногда ему дают Нобелевскую премию, чтобы свести на нет пренебрежение и сделать безмерным почтение в тех, кто еще накануне говорил, что он исписался. Словом, фигура поэта, несмотря на нелогичность и расплывчатость, может быть описана достаточно убедительно; несмотря на неподдельность и уникальность, пробуждает желание подражать; несмотря на дикарство, неуместность и угрозу, которая от нее исходит, необъяснимо притягательна.

Такая фигура появилась в Ленинграде в конце 50-х. Юношу звали Иосиф, он сочинял очень много очень и не очень длинных стихотворений, он обожал стихи, чужие и собственные, и ненавидел их за то, что чуть не каждое их слово несовершенно. Он желал декламировать их везде, всегда и всем: в пивной, в три часа ночи по телефону, народу в электричке. С первых строчек он переходил на крик и, сколько бы стихотворение ни продолжалось, отыскивал способ этот крик еще усиливать. В процессе чтения он хватался за голову, захлопывал ладонью рот, бил себя по лбу, отворачивался от публики. Череп его был устроен так, что вылетавшие из гортани «н», «м», «л», «р», «б», «г» начинали петь, как задетые струны. Что еще? Спорить начинал сразу, просто чтобы забить возможную паузу ритмом звучащих слов и, конечно, потому, что не соглашаться всегда интереснее, чем соглашаться. Бросался говорить людям правду, то есть очень неприятные, бестактные вещи... И при всем при этом никто вокруг не восклицал: «Вот он! Он пришел!» Молоденьких поэтов тогда в Ленинграде было десятка два-три, и они сочиняли много стихов и, как маньяки, читали их громким голосом. У каждого из них были талант, яркость, обаяние, а главное, была молодость и, значит, было будущее. Кто-то тоже картавил, у кого-то тоже была рыжая шевелюра, кого-то, если не двоих, тоже звали Иосиф. У Бродского был узкий кружок преданных почитателей и более широкий друзей и знакомых: как у всех. Он — появился, да; но ощущения, что он послан, ни у кого не было. Кажется, только у него самого.

В Иосифа Бродского, которого мы знаем сейчас, он превратился стремительно, за несколько лет. Книга «Остановка в пустыне», кончающаяся на стихах 1968 года, не только включает в себя десяток вещей, которые попадают в самое избранное его «Избранное», но и содержит все дальнейшее: немногое — в виде завязей, а основное — в виде уже цветущих ветвей и созревших плодов. Стихи 60-х годов отличаются от последовавших за ними тем, что они производили впечатление той неожиданности, смелости и свежести, которые бывают только у начинающего или становящегося, а были, как оказалось, стихами поэта, окончательно сложившегося: в следующие два десятилетия все уже знали,

что это Бродский, ждали от него стихов, соответствующих имени, и получали желаемое. «Ты поскачешь во мраке по бескрайним холодным холмам» — это написано в 22 года, еще безоглядно, еще отдаваясь бешеному напору хлынувших слов; но ни разу на протяжении 48 строчек не меняют ритма и в том же порядке касаются земли четыре копыта трехсложных стоп и взмахивает, завершая каждый стих, хвост анапеста. И уже тут, в юном возрасте, поэт отчетливо противопоставляет отношению к традиции, которое выработали старшие (Ахматова, Мандельштам), свое собственное: «Кто там скачет, кто мчится под хладною мглой, говорю», то есть их «тоска по мировой культуре» из двигателя поэзии превращается в ретро и пускается в дело наравне со всем остальным, что есть мировая культура: демонстративно, по естественному праву и потому как бы небрежно. Тоскуют, когда лишаются того, что имели, а что мы имели? чего мы не были лишены ко времени рождения?

С середины 60-х годов читатели и слушатели Бродского стали выказывать первое восхищение (отношение, для поэта непродуктивное) стихами и самой фигурой — и неизвестно, чем в первую очередь,— замешанное на нежности и признательности (в чем у поэта бывает нужда). Этому предшествовали его арест, знаменитый судебный процесс и ссылка. То был, однако, уже второй арест: первый, за год до этого, почти не был замечен. Тогда его арестовали по делу Шахматова — Уманского, и он провел трое суток в тюрьме КГБ. По-видимому, его ответы на допросах превращали примитивную схему, выработанную следователями, в хаос со множеством непредсказуемых ответвлений, и они справедливо сочли за лучшее выбросить его из дела. Но если в деле что-то было н е т а к — а в политических делах, как известно, все н е т а к,— то этот говорящий налево и направо то, что ему приходит в голову, мальчишка на воле был им не нужен. К тому же глотнувший воздуха в коридорах Большого Дома должен, по логике Большого Дома, этим воздухом в конце концов задохнуться. Что прихлопнуть какого-то поэта капканом Указа о тунеядстве не великий труд, у них сомнений не возникало, ибо сочинение стихов, строго говоря, и есть тунеядство. Они только не учли калибр поэта, точнее, его подлинность, и это нельзя поставить им в вину: те, с кем они были знакомы по Союзу писателей, вроде бы обладали качествами, перечисленными в начале очерка, независимостью, непохожестью на обыкновенных людей, а пугни их — и куда что девалось! А этот вел себя на суде ровно так же, как на вечере поэзии, и говорил ровно то же, что в стихах. Процесс политический он превратил в поэтический, стенограмма суда читалась и читается, как сцена из Шекспира.

Четверть века назад я записал несколько наблюдений над поэзией Бродского, которые волею обстоятельств стали предисловием к его книге «Остановка в пустыне», вышедшей в Нью-Йорке. Я назвал их впопыхах «Заметки для памяти», оказалось, что так оно и есть: перечитывая их, я вспоминаю, зачем и по какому конкретному поводу написан тот или другой абзац. От некоторых фраз охотно бы сейчас отказался (в частности, выпада, сделанного против трех имен, два из них не заслуживают). Запальчивость и декларативность некоторых мест предисловия объясняется тем, что оно было писано о, в общем, неизвестных стихах, в общем, неизвестного поэта, к тому же попавшего в нешуточный переплет, из которого неизвестно было, как он выйдет. Кроме того, это был еще своеобразный манифест, потому что ни о нем, ни о ком из поэтов, с которыми его объединяли общие взгляды, тогда не писалось, не говорилось, не упоминалось вовсе. И в первую очередь из литературных, а не из политических соображений.

Кое-что удалось тогда сказать и по существу, например, о новой функции стиха у Бродского, когда строчка из замкнутого и цельного элемента поэзии, теряя в самодостаточности, начинает грамматически служить строчкам предыдущим и последующим так же, как они ей. Первичным элементом становится уже строфа или даже несколько строф: «Тебе, когда мой голос отзвучит настолько, что ни отклика, ни эха, а в памяти — улыбку заключит затянутая воздухом прореха, и жизнь моя за скобки век, бровей навеки отодвинется, пространство зрачку расчистив так, что он, ей-ей, уже простит (не верность, а упрямство),— случайный, сонный взгляд на циферблат напомнит нечто, тикавшее в лад невесть чему, сбивавшее тебя с привычных мыслей, с хитрости, с печали, куда-то торопясь и торопя настолько, что порой ночами хотелось вдруг его остановить и тут же — переполненное кровью, спешившее, по-твоему, любить, сравнить — его любовь с твоей любовью».

В этом выдохе — 18 самостоятельных несамостоятельных стихов, и каждый из них, отзвучав, продолжает снабжать всей полнотой своего звука любой из последующих. В этом сложноподчиненном, как учили нас в школе, предложении придаточные превращаются в сложносочиненные и заставляют забыть, где главное; деепричастия оказываются трамплином для новых придаточных; глагол, уже заряженный прямым дополнением, готовит роскошный плацдарм для деепричастия; и причастия выстреливают инфинитивом. Работает механизм грамматики словно бы независимо от поэта, собравшего его и запустившего, как те часы, о которых он упоминает и которые он сравнивает со своим сердцем так сдержанно и так целомудренно, чтобы никому в голову не пришло вообразить,

что это сердцебиение дало первый толчок стихам и задало ритм.

Когда заводят разговор об отношении поэта к языку, то исходят из того, что язык — это мешок со словами, в который поэт запускает руку и прилаживает их друг к другу по цвету и конфигурации, как осколки головоломки, при правильном подборе складывающиеся в осмысленную картину. Под таким или подобным углом зрения рассуждают о том, что «поэт обрабатывает язык», интерпретируют строчки Элиота: «Коль наше дело — речь, и нас толкнула она очистить диалект толпы, а разум наш вперед и вспять провидеть...» В подтверждение могут привести стихи древних или кансону Арнаута Даниэля: «Гну я слово и строгаю ради звучности и лада, вдоль скоблю и поперек прежде, чем ему стать песней». Для понимания существа творчества эта строфа и в самом деле полезна. Однако честнее и плодотворнее говорить не о том, как поэт обращается с языком, а как язык обращается с поэтом, и это основа поэтического мировоззрения Бродского.

Словцо Цветаевой о внешности Пастернака, который «похож одновременно на араба и его коня», выходит за рамки именно этого портрета. Язык — дикое, могучее животное, поэт — всадник, пускающий бежать его в нужном направлении. Кто, конь или наездник, выигрывает дистанцию, то бишь, кто пишет стихотворение: язык или поэт? Поэт имеет право обуздывать свободу языка, но не имеет права его калечить. Так что скорее это кентавр, мощь которого — язык, а мозг — поэт. Одно без другого не может обойтись и, более того, не существует. Только поэт знает, на что способен его язык, ему дано открыть возможности языка, до него не существовавшие: догадаться, например, как Бродский, что частям речи не чужды метаморфозы, что глагол, существительное и местоимение могут короткий миг жить по одним законам:

«И он сказал».
«А он сказал в ответ».
«Сказал исчез».
«Сказал пришел к перрону».
«И он сказал».
«Но раз сказал — предмет,
то также должно относиться к он'у».

Это было написано в России, в стихии родного языка, ежесекундно вмешивающейся, поправляющей и обогащающей поэтическую речь речью уличной, и казенной, и невнятной. Через пять лет Бродский-поэт остался с языком один на один, с тем, который он вывез с собой за границу, который был заключен в нем самом и тонким слоем окутывал его, как воздух в легких космонавта и в его скафандре. Который, судя по всему, поддерживался странной, глухонемой русской и вступал в запутанное, химическое взаимодействие с английской речью Бродского-человека. Становясь собой, поэт все больше и больше становится собственно языком, но поэт в иноязычной среде — это почти идеальный случай его тождества с языком, языка с ним. При желании он может отказаться от всякой ответственности за обращение со словом, за результат сочинительства. Моя земля: хочу — топчу, хочу — сею, не хочу — не жну. Он может отдаться зауми, небрежности, произволу, как — в некоторой степени — Цветаева периода «Попытки комнаты», «Поэмы Лестницы», «Поэмы Воздуха». Звук уходит в пространство и не возвращается эхом, разве что от отражения поэта в зеркале.

Эхо же необходимо для проверки и коррекции звука. Стихи требуют чтения вслух кому-то не затем, чтобы получить чье-то признание, а затем, чтобы вернуться эхом оценки — профессиональной ли, эмоциональной или даже бессловесной. Московский писатель, гостивший в Америке и встретившийся с Бродским в середине 70-х, рассказывал, как тот читал ему новые стихи, хотел читать еще и еще, а кончив, спросил: «Ну, как?». И писатель произнес веско: «Ну что!.. Хорошо работаешь». Но Бродский знал, как он работает: уважаемый писатель играл для него ту же роль, что в прежней жизни случайный сосед по столику в пивной или по лавке в электричке. Потому что хотя «жизнь, которой, как дареной вещи, не смотрят в пасть, обнажает зубы при каждой встрече», но

От всего человека вам остается часть
речи. Часть речи вообще. Часть речи.

Осознав и приняв абсолютное, ни от кого и ни от чего не зависящее метафизическое одиночество, тем сплоченнее зажил он с языком, тем витальнее — в языке, тем полнее — на языке, заботясь в первую очередь о нем, о его здоровье и благе. Поэзия не ушла в герметичность, язык получил свободу, которая сама по себе уже поэзия:

И, глаза закатывая к потолку,
я не слово о номер забыл
говорю полку,
но кайсацкое имя язык во рту
шевелит в ночи, как ярлык в Орду.

Мы — а может быть, и автор — намеренно соединяем понятия языка-слова и языка-плоти; у всякого поэта, но у Бродского — подчеркнуто: язык — это еще и предмет стихотворения. Плоть двигается словом; плоть двигается — и рождает слово. Те, кем воспеты «Лесбия, Юлия, Цинтия, Ливия, Микелина», «сами стали катуллом, статуями, траяном, августом и другими». То есть те, кого обессмертили поэты, обессмертили поэтов, и осуществилось это в момент произнесения имени, имени существительного. В глубине сердца не возлюбленная, а именно произнесение слова и есть для поэта подлинный, любимый персонаж и несомненный герой его поэзии.

Пишущий стихотворение «обрабатывает язык» в том смысле, в каком флейта обрабатывает вдуваемый в нее флейтистом воздух. Цель поэтического творчества — звук, своей чистотой, верностью придающий слову, с которым он

вырывается, единственно точное, выбранное из груды приблизительных смыслов значение. Пишущий стихотворение «гнет, строгает и скоблит слово» не как ему заблагорассудится, не выпиливая из цельного дерева понадобившуюся ему в ту минуту зубочистку, а «вонзаешь нож (надрез едва ль глубок) и чувствуешь, что он уж в чьей-то власти». Он подготавливает и составляет звук тысячью созвучий, которые в совокупности воспринимаются слушающим, как песня. «В этих стихах есть песня»,— было самой редкой похвалой в устах Ахматовой, и однажды она произнесла ее по поводу стихов Бродского. Поиски созвучий приводят поэта к открытиям, которые не могут быть сделаны никаким другим образом, кроме сочинения стихов, и, как он заметил в стокгольмской речи, «порой с помощью одного слова, одной рифмы пишущему стихотворение удается оказаться там, где до него никто не бывал,— и дальше, может быть, чем он сам желал бы». Это и есть объяснение того, почему наша речь толкает «разум наш вперед и вспять провидеть».

Так что неумеренным ревнителям языка не следует чересчур тревожиться за его судьбу и негодовать по поводу страданий, которые он терпит от поэта. Колодки на ногах японских женщин не испортили походку японского народа. Язык как стихия постоит за себя с той же сокрушительной мощью, с какой на это способна всякая стихия. Дерево, ставшее на пути ветра, не может его ни обидеть, ни ослабить — оно может только шуметь листвой. И когда ястреб Бродского, залетевший слишком высоко, чтобы вернуться, гибнет,

мы слышим: что-то вверху звенит,
как разбивающаяся посуда,
как фамильный хрусталь,
чьи осколки, однако, не ранят, но
тают в ладони,—

а между тем на Земле

ловя их пальцами, детвора
выбегает на улицу в пестрых
куртках
и кричит по-английски
«Зима, зима!» —

переводя тот нездешний, поднебесный звук в членораздельное, простое, понятное.

Четверть века назад Ахматова писала мне в больницу: «Главное — это величие замысла, как говорит Иосиф». Через несколько месяцев я вез ему в ссылку продукты, вещи и письма, среди которых было и ахматовское — с той же формулой: «И снова всплыли спасительные слова: «Главное — это величие замысла». И в том, и в другом случае она использовала их для ободрения, для поднятия духа. Сам Бродский рассказывает, что произнесены они были им по ходу разговора, когда Ахматова спросила более или менее риторически, что остается поэту делать, когда он уже знает все свои приемы, ритмы, рифмы, и Бродский, внутренне подмигнув ей, ответил: «А величие замысла?»

Замысел проверяется его осуществлением, и пятидесятилетие поэта вполне пригодный повод, чтобы подвести итоги. Шесть книг стихотворений, из которых, кроме первой, каждая меняла картину русской поэзии подобно новым книгам Державина, Баратынского, Фета, Мандельштама. Среди них — «Новые стансы к Августе», восемь десятков стихотворений, адресованных на протяжении двадцати лет одной и той же женщине. Книга эссе «Меньше единицы». Если таков был замысел, это был крупный замысел, очень крупный. Но не великий.

Величие замысла заключается и в том, чего не сделано. Что и не могло быть сделано. В намерении сделать, которое выше всякого осуществления и которое присутствует в осуществлении, как мечта, поднимающаяся над ним. Величие замысла — в его неисполнимости и одновременно в непобедимом желании исполнить, столь же сильном в 50 лет, что и в 25.

Бродский родился в тот год, когда Ахматова начала «Поэму без героя», а Элиот писал «Четыре квартета»: тогда им было столько, сколько ему теперь. Оба умерли, когда он уже стал тем поэтом, которого мы знаем сейчас, он похоронил обоих, венок живых цветов и венок стихотворений положив на их могилы. Он родился через два месяца после того, как его государство победило в финской кампании: победа в венгерской случилась в год, когда он получил паспорт; в чехословацкой — когда позади была уже ссылка. В этих координатах он вырос, сложился и прожил большую часть своей жизни.

Он воспитывался на поэзии, которая была гибридом Пастернака и Лебедева-Кумача, и выковырять одно из другого было невозможно: они проникали друг в друга, как молекулы, а не перемешивались, как семечки. Невозможно и, вероятно, не нужно: искусственный воздух кислородной палатки не годится для повседневного дыхания. Поэзия на что-то «откликалась», что-то «отражала», учила, вдохновляла... Ему предстояло пройти путь от суконной лжи к первичной, физической правде — это заняло немного времени: в конце 50-х в нем уже не было почти ничего ни от «советского», ни от «антисоветского» поэта, и от правды физической он двинулся к метафизической. И здесь, в овладении метафизикой, величие замысла заключалось не в том, чтобы чего-то достигнуть, а в том, чтобы постоянно превосходить все реально и мыслимо достигаемое. Или, как он сам не уставал повторять, «брать нотой выше».

Метод, которым он действовал в этом направлении, был методом протеста. Он не соглашался: до размышления — ни с чем, после — почти ни с чем. Люди, прошедшие тюрьму, утверждают, что выжить там можно, только протестуя:

против отмены ежедневных прогулок; против прогулок, если они разрешены. Но и не в общественно-государственном плане, а в поэзии он сопротивлялся так же, сопротивлялся любому диктату подобно Гамлету, не желавшему, чтобы на нем играли, как на флейте.

Результатом установки на величие замысла и следствием такой непримиримости стало освобождение от провинциальности, выход за ее границы. Провинциальности сопутствуют предсказуемость, схема. Провинциальность без тени сомнений определяет критерии не только достигнутого, но и нового. К своим успехам, знаниям, вообще качествам она относится непросто, нервно... Совсем недавно Бродский раздал при мне своим американским студентам список обязательной литературы. Те беззвучно взвыли: список начинался «Гильгамешем» и «Махабхаратой» и кончался Музилем и Платоновым. Он стал объяснять, какой смысл видит в чтении той или другой книги для человека сложившейся западной ментальности. Он предполагал расшатать ее и укрепить ее. Я заметил, что в списке нет Средних веков; он мгновенно парировал: «Потому что они Темные». Студенты слушали его доводы увлеченно, и я впервые подумал: то, что он кончил лишь семь классов, косвенно тоже способствовало свершению именно такой судьбы, потому что не забитый школьной премудростью его мозг оказался способен непредвзято отнестись, вместить и усвоить несравненно больше несравненно более важных вещей. Он чувствовал себя совершенно естественно среди писцов фараона и на афинской площади, он был там своим — как на автовокзале в Вологде и в китайском ресторане Нью-Йорка.

Упрощенно говоря, метафизика Бродского преломляется в его поэзии взглядом, который с той же внимательностью и чувством обращается на вещь, попадающую в поле его зрения, что и на него самого, об этой вещи говорящего; причем взглядом, постоянно встречающим ответный «взгляд» вещи. Таким образом, оказывается, что он не только видит себя со стороны, но и видит себя самыми разными глазами: собственными; обнимаемой им возлюбленной; сидящей на ветке птицы; червя, извивающегося в ее клюве; проглатываемого чая; пустоты в пространстве, которое только что занимало его тело. И все эти взгляды равноценны. Самое сильное сочувствие он вызывает тем, что на себя, объективно вызывающего самое сильное сочувствие, он смотрит без всякого сочувствия: «И ежели я ночью отыскивал звезду на потолке, она, согласно правилу сгоранья, сбегала на подушку по щеке быстрей, чем я загадывал желанье». В духе любимого им Джона Донна, изучавшего во время болезни анатомию собственного тела, как географическую карту, он наблюдает душной ночью при свете лампы за своим мозгом: «Понемногу африка мозга, его европа, азия мозга, а также другие капли в обитаемом море, осью скрипя сухой, обращаются мятой своей щекой к электрической цапле». Лишь при таком подходе

можно, глядя в газету, столкнуться со
статьей о прохожем,
попавшем под колесо;
и только найдя абзац о том,
как скорбит родня,
с облегченьем подумать:
это не про меня.

Метафизика Бродского живет наблюдением над болью, которую он испытывает, и сама возможность такого наблюдения свидетельствует о том достоинстве, с которым он боль переносит. О нем можно сказать то, что он сказал о Цветаевой, с не меньшим основанием: это поэт, у которого нет Рая. Праздник в его стихах — только Рождество, но это в той же степени праздник Конца, что и Начала, это — единственный Праздник, который он регулярно встречает новыми стихами и таким образом накопил уже с десяток Праздников. Судя по стихотворению «Сретенье», его как поэта религиозное место — в ветхозаветном храме, куда только что внёсли Новый Завет, младенца Христа; что означает — «ни там, ни там». Его «Верую» заключается в повторяемом им с юности признании Акутагавы: у меня нет принципов, у меня есть нервы. У него нет «своего» излюбленного и пережитого мифа, он пользуется ими опять-таки как всеми прочими достижениями доставшейся ему мировой культуры, по мере надобности и с той привычностью, о которой мы уже говорили; словно бы выбирая по каталогу.

Можно сказать еще решительней: у него нет ничего «своего», потому что его — все. Из ахматовского определения поэзии: «одна великолепная цитата» — он убрал великолепие и на его место ввел обыденность. Сравнения, образы в его стихах — это сравнения, образы из обыденной беседы с его участием: «вдали буфетчик, стискивая руки, дает круги, как молодой дельфин вокруг хамсой наполненной фелюки». Это реплика в живом разговоре, может быть, только с более упорядоченной расстановкой слов. В предисловии к «Остановке в пустыне» фразу: «он добился почти всего, чего можно было добиться, и потерял почти все, что можно было потерять»,— я взял в кавычки, потому что это была его фраза, к месту сказанная им во время одной из рядовых наших встреч. Через пять лет я услышал ее в его стихотворении:

Все, что я мог потерять, утрачено
начисто. Но и достиг я начерно
все, чего было достичь назначено.

Его стихи — рассказ, повествование. Он — говорит. Он так говорит: вообще — и в стихах. Он так шутит, острит, спорит, болтает. Витийствует, обличает, пророчествует. Говорит.

И слушающие начинают замечать, что язык, на котором он говорит,— это их общий, с детства понятный язык, но пере-

веденный им в другую смысловую систему, как из десятиричной в двоичную, и, когда он произносит «десять», это значит «два», когда «все-таки» — значит «помни», когда «и т. д., и т. п.» — значит «больно». А когда он говорит «я» — это значит «один», «абсолютно один», «никто — нигде — никогда».

За десятилетия террора и пропаганды человеческий язык изолгался, деформировался:

Там говорят «свои» в дверях
с усмешкой скверной.

И, приравнивая существительное и глагол к предлогу, союзу, междометию, а то и звукоподражанию, поэт топит слово в массе слов, но утопляемое слово при этом не смешивается с массой, продолжает выделяться из нее. Парадокс состоит в том, что оно нужно поэту в таком виде именно для того, чтобы продемонстрировать и доказать, что его слова, отдельность, «индивидуальность» равноценны «безличности» слов из массы. Смысловую нагрузку начинают демонстративно нести выделяемые в тексте аббревиатуры, инициалы, сокращения. Цифры, числа идут на замену словам, становятся предпочтительнее слов. Лакуна в стихе оказывается равновыразительна избытку слов*. Это последовательная и сознательная аннигиляция языка, ибо если поэт — это звучащий язык, то, когда поэт умолкает, наступает не тишина, а минус-речь:

...Мой голос глух, но, думаю, не назойлив.
Это — чтоб лучше слышать
кукареку, тик-так,
в сердце пластинки шаркающую иголку.
Это — чтоб ты не заметил, когда
я умолкну, как
Красная Шапочка не сказала волку.

И единственной, но вполне удовлетворительной компенсацией за это самоуничтожение служит произносимый его голосом звук — «я»: когда он раздается, он означает «человек», «мы все», «вы все», «я есть — есть все — всегда».

От года к году этот язык становится все менее двусмысленным, все более ясным и беспощадным. В начале 70-х Бродский написал стихотворение «Бабочка» — вереницу строф, каждая из которых сама — очертанием, легкостью, мимолетностью — бабочка:

Не сокрушайся ж, если
твой век, твой вес
достойны немоты:
звук — тоже бремя.
Бесплотнее, чем бремя,
беззвучней ты.

В книгу «Урания», вышедшую в 1987 году, он включил стихотворение «Муха», построенное по тому же принципу, но настолько же более безжалостное, насколько противнее бабочки муха, ради которой тем не менее он охотно расстается с ему отпущенной

секундой. Выражаясь сухо,
я, цокотуха,

пожертвовать своей согласен.
Но вроде этот жест напрасен:
сдает твоя шестерка, Шива.
Тебе паршиво.

Новые стихи поэта — это, как правило, переписанные им старые. «Новая жизнь» (1988) — версия «Einem altem Architekten in Rom» (1965). Стихи освобождаются от иллюзий, но не становятся мрачнее. В них нет Рая, но нет и беспросветности. Утверждая, что эстетика первичней этики, Бродский, похоже, не упускает из виду и ту самую «красоту, которая спасет мир». То, что ни экономика, ни политика, ни религия этот мир не спасут, для него аксиома. Красота же, у которой всегда найдутся неожиданные возможности, может быть страшной, жестокой, но в ней есть свет, избыточность, щедрость, праздничность — все качества его стихов.

Он завершает историю русской поэзии в том виде, как она сложилась к сегодняшнему дню. Он делает это так, как если бы он был ее последним поэтом и по его стихам потомку предстояло судить о русской поэзии в целом. При этом и судьба его вобрала в себя судьбы других поэтов, переболела прививкой их судеб: ссылки Мандельштама, славы Пастернака, эмиграции Цветаевой. Он родился через полтора года после безвестной гибели Мандельштама в дальневосточном лагере, и, сам названный Иосифом, понес это имя, словно бы держа в уме, что оно значит — «умножающий». Его версия египетско-горациево-пушкинского «Памятника» проста:

Я не воздвиг уходящей к тучам
каменной вещи для их острастки.
О своем — и о любом — грядущем
я узнал у буквы, у черной краски.

Четверть века назад, в день своего 25-летия, он вышел мне навстречу из деревянной коношской тюрьмы с двумя белыми пустыми ведрами: на одном была надпись «хлеб», на другом «вода». Через четверть века он подкладывал поленья в камин в деревянном доме в Саут Хэдли, штат Массачусетс, и убеждал меня, что это место больше похоже на Комарово, чем на Переделкино. Обе картины стоят перед моими глазами с одинаковой отчетливостью, как будто их разделяет неделя. Если такое же впечатление было и у него, может быть, именно по этой причине все происходящее он отбирает у катастрофически убегающего времени музы Клио и отдает неизменному пространству музы Урании.

* Конкретные приемы, с помощью которых Бродский достигает такого эффекта, подробно анализируются мной в докладе «Принцип равенства слов и его развитие», прочитанном на IV Всемирном конгрессе советских и восточноевропейских исследований в Харрогейте.

Чичибабин: очищение свободой[1]

Борис **Чичибабин. Колокол.** Книга стихов. М., «Известия», 1989. **Стихи.** «Юность», 1990. № 1.

Стихи рождаются дважды — под пером стихотворца и, если посчастливится, в сознании читателя. Именно так они обретают свою реальную жизнь.

Но, увы, стихов теперь не читают, а критику про стихи тем паче. Это объяснимо, но все равно ущербно для состояния наших душ. Глохнет что-то важное...

Однако если стихи и критику не читают в р о з ь, может, кто-нибудь прочтет их в м е с т е. Мой дневник, возникший из пометок на полях книги, — это приглашение к совместному чтению.

Как являются поэты? Иногда мгновенно. Но перед этим порой долго ждут своего часа. Негаданно является исторический час, и с ним является поэт этого часа, но не как мгновенный отклик, а как его историческое накопление.

Именно в таком ключе прежде всего и был воспринят Чичибабин. Хотя сейчас можно сказать, что прежде всего мы восприняли его «родовые» черты и меньше личностные свойства. Родовые свойства «лагерной» поэзии» в резком свете правды, в черно-белой графике поэтического рисунка. Здесь не до лирической оттеночности, благословенной в иной ситуации. Вот его жесткий ригоризм, энергия голого смысла:

И все-таки я был поэтом.
Я был одно с народом русским.
Я с ним ютился по баракам,
леса валил, подсолнух лускал,
каналы рыл и правду брякал...

Все это оставалось бы правдой по сути, но риторикой по чисто назывной форме выражения, не будь здесь словосочетания — «правду брякал». За ним живой характер угадывается. Неуживчивость правды... Не от этого ли загремит, в сущности, еще мальчишка прямо на лагерные нары — «Школьные коридоры, тихие, не звенят... Красные помидоры кушайте без меня». Это очень личностные оттенки лагерного мотива, повторяю, не сразу замеченные.

Мертвой хваткой взяла его лагерная закалка. Поэт ищет аналогию своему состоянию и выбирает «угрюмую живучесть верблюда». Слово повторяется еще и еще: «свое угрюмое сиротство», «угрюмые строки кладу»... Что это — угрюмый характер? Но ведь есть какой-то свет в стихах Чичибабина. «И в нас не меркнет горний свет!» — утверждает он. Так что же — угрюмый характер? Или угрюмый свет? Ощущается в этом что-то аввакумовское. А вот и следом авторское подтверждение: «судьба аввакумова в лоб мне стучит».

Но при этом неистовый Аввакум вдруг признается в грехе излишней чувствительности — «наверно, я сентиментален». Да он и впрямь нередко сентиментален — «несбывшийся философ, забытый враль и нищий нелюдим». Ему по душе наивный юный мир Грина или Паустовского, к которому мы быстро охладеваем. В нем это остается фатально — «порою сам того стыдясь, никак не выберусь из детства, не постарею отродясь».

Стыдясь или гордясь? Ведь в этом простодушии, столь уязвимом в глазах толпы, — бесценный дар поэта.

Под прицелом лагерной угрюмости мы лишь про ад прочитали первоначально в его фразе — «и ад, и рай — все было наяву».

И лишь позднее расслышали:

Молюсь небесности земной
за то, что так щедра,
а кто помолится со мной,
те — брат мне и сестра.

И в жизни не было разлук,
и в мире смерти нет,
и серебреет в слове звук,
преображенный в свет.

Это молитва и приглашение к молитве. Слово это скажет то и дело в стихах Чичибабина. Он и пишет их как молитвы, а иным дал имя псалмов. Но если вы слишком вознеслись в молитве, поэт тотчас вернет вас на землю: «Всему земному друг и брат». Вот в каком житейском обрамлении он представит свой рай и свои молитвы:

Чердак поэта — чем не рай?
Монтень да тюлька.
Еще, пожалуйста, сыграй,
моя свистулька.

Вас смутило, может, даже покоробило такое смешение алтаря и застолья? «Куда мне бежать от бурлацких замашек?» — восклицает сам поэт. Бежать некуда. Книжники и бродяги, философы

[1] Когда рецензия была уже в наборе, стало известно, что за книгу стихов «Колокол» В. А. Чичибабин удостоен Государственной премии СССР 1990 г. Редакция «Октября» поздравляет поэта с высокой наградой.

и бражники. И все в одном лице. Очень русская концовка у этого «бурлацкого» мотива — «Не дяди и тети, а Данте и Гете со мной в непробудном родстве». Есть вещи немыслимо далекие друг от друга в «реестрах» культуры, но естественно совмещенные в душе.

Мотив бражничества — это исконный образ дружества в поэзии и с пушкинской руки зазвучавший так по-русски и так задушевно. Мотив, теряемый поэзией и вновь обретаемый. Без ощущения дружества стихи Чичибабина представить просто невозможно. Не зря сказано им: «...боится сих небратского прочтенья».

Конечно, это братство выходит за буквально житейский и дневниковый круг. Оно, в сущности, есть родство по духу и душе, по жизненному поведению.

Ни горечью сиротства,
ни бунтом, ни гульбой
свобода не берется,
а носится с собой.

Очень к месту нам сейчас этот урок Чичибабина. Для него свобода не догма. Она тоже меняет обличья. Сегодня она дух вызова и вольницы, дружество и «Вакхическая песнь», и это очищение свободой. Но завтра уже: «Обрыдли анекдоты с похмельем наравне». И почти судорожный прорыв к какой-то иной свободе:

Покамест есть охота,
покуда есть друзья,
давайте делать что-то,
иначе жить нельзя.

Настойчивость заклинания — «Давайте ж делать то, что Господь душе велел...» Воистину эта работа души не прерывается ни на миг:

Пока я вслепую болтаю и пью,
игруч и отыгрист,
в душе моей спорят за душу мою
Христос и Антихрист.

Невидимый окружающим спор. Поэт обличает врагов, поэт скликает друзей. Но сокровенное непроницаемо: «...с каждым годом все больней, что я друзьям своим неведом...», «Моей спасительной свободы никто не хочет разделить». Если это и противоречие, то замечательное, питательное. Живой сплав веры и разуверения, людского братства и извечного одиночества.

Среди молитв и заклинаний поэта есть и такое страшное по своей прямоте и мощи: «Сними с меня усталость, матерь Смерть...» Есть и такая тяжкая минута:

Я причинял беду и боль,
и от меня отпрянул Бог
и раздавил меня, как моль,
чтоб я взывать к нему не мог.

Я бы это назвал интенсивностью тонов религиозного чувства. Той его непрекращающейся пульсации, которую мы имеем возможность проследить и в случае встречной потребности к ней причаститься:

Не созерцатель, не злодей,
не нехристь все же,
я не могу любить людей,
прости мне, Боже.

Не сквозит ли и здесь угрюмый свет признания, подмеченный нами прежде всего прочего?

Есть у Чичибабина молитвы исключительно за себя: «Господи, прими мои грехи, отпусти на волю». Но есть молитвы с большим гражданским пафосом:

Я вою в потемках, как пес на луну,
зову над зарытой могилой...
Помилуй, о Боже, родную страну,
Россию спаси и помилуй.

И где тогда предел христианскому всепрощению?

Земля простила всех иуд,
и пир любви не скуп,
и в небе ангелы поют,
не разжимая губ.

Не разжимая губ? Да коснется вас незримое и неслышимое, ибо в глубине душ ваших должно родиться подобное ангельское пенье. И в то же время есть для меня в стиснутых губах волевой обертон зажатой обиды. Но одолеваемой. Ибо именно эта молитва созывает братьев и сестер на «пир любви». К молитве сообща.

Недавно появилась книга Николая Крыщука, написанная в важном для нас ракурсе,— «Искусство как поведение». Есть этика, но есть и эстетика самой жизни, опережающая тексты. В разные эпохи и в разных обстоятельствах независимость человеческого духа утверждается по-разному. Так, Волошин, например, «свил гнездо в трагическом Крыму», а уже ближайшие к нам времена породили целую плеяду поэтов кочегарок. Вольный дух Чичибабина ковался в лагерной неволе, и вот, говорим мы, он дождался своего часа, а ведь предуготованность поведения во многом гнездится в нас изначально. Это семя, брошенное в будущее:

Но я с мальчишества наметил
прожить не в прибыльную прыть
и не слова бросать на ветер,
а дело людям говорить.

Чичибабин с самого начала обошел стороной путь социального развращения и приспособленчества, но как-то забывается невольно, что лагерь опалил лишь молодость поэта, стало быть, ему предстояло еще выбрать свой вариант независимого поведения на долгую жизнь.

Я был простой конторской крысой,
знакомой всем грехам и бедам,
водяру дул, с вождями грызся,
тишком за девочками бегал.

Да, в житейском поведении Чичибабин выбрал именно эту нелицемерную долю маленького человека. Выбрал как способ духовной независимости. Как

способ откупаться этим частичным, «отхронометрированным» рабством во имя часов подлинной свободы наедине с чистым листом бумаги.

Ну, хорошо, возразят мне. Есть предварительное равенство каждого перед этим листом. Профессионала и бухгалтера. А рассудит — лист исписанный, мера таланта. Так это, но и не так. Любитель выключен из литературного социума. Он отверженнее и свободнее одновременно. Чичибабин не просто вырастает из поэтического любительства. Он полемичен в своем выборе — «Нехорошо быть профессионалом». Житейский выбор поведения — во многом суть творческий выбор.

Поэты вымерли, как туры,—
и больше нет литературы.

Вот ключевой вопрос нынешнего глубочайшего поэтического кризиса, полемически сформулированный Чичибабиным. И сам он на этот момент фигура ключевая в этом вопросе. Каков счет Чичибабина профессионалу? Последний доволен малым. Его мир тесен вольному духу. «Кромешная боль» души ему не по зубам. Голгофа — не ремесло. Мотив знакомый. Вспомним пастернаковское — «Талантов много — духу нет».

Конечно, это и наивно. В поэте благословенно равновесие мастера и духовидца. Миг такого равновесия — вещь вообще редкая, но потому-то в наивной тяжбе с мастерством есть своя правота. Тупик мастерства — вот суть кризиса. Тупик поэтического алгоритма, когда-то удачно найденного. Можно бесконечно изощряться и совершенствоваться, но в плену этого алгоритма.

Вот чего нет у любителя. Вспоминаю журнальный самотек. Тысячи рукописей. Но вынесем это за скобки. Я про другое. Сколько при этом людей одаренных! Поэзия растет, как трава. Везде и непреднамеренно. В этой стихийной одаренности много наивного, но можно встретиться и с той непреднамеренностью поэтического жеста, которая мастеру и не снилась. Я в свое время для себя и определение придумал — «гениальная графомания». Вот такую пометку я и сделал на одной из страниц книги Чичибабина и вздрогнул, прочитав через десяток-другой дословно:

Пребываю безымянным.
Час явленья не настал.
Гениальным графоманом
Межиров меня назвал.

Называй, кем хочешь, Мастер...

Стоп! Будем ли вслед за Чичибабиным играть в эту лукавую игру? Лучше послушаем:

Под следящим волчьим оком,
под недобрую молву
на ковчеге колченогом
сквозь гражданственность плыву.

Бьется крыльями Европа —
наша немочь и родня —
из всемирного потопа
и небесного огня.

Сядь мне на сердце, бедняжка...

Это к Европе? Вот чудо непреднамеренного жеста (превращающее Европу в бабочку порхающую, что ли), и однако же оно создано с отменной мастерской выучкой.

Но как с этой поступью архаики сочетается безумная привязанность к составным рифмам? «Не буйствуй — путь свой». «Под стражей — с утра уже». «Душа не безуста ль? — ах, девочка, Суздаль». «Под небо — дождя Господнего»...

Что такое составная рифма? Это элексир взбадривания: «год от года расти нашей бодрости». Пафос этот, понятно, сейчас оттеснен, но смотрите, как эта рифма работает на пафос противоположный:

Стою за правду в меру сил,
да не падет пред ложью ниц она.
Как одиноко на Руси
без Галича и Солженицына.

Органична ли, усомнятся многие, игровая интонация в таком неигровом, суровом контексте? Но, может, так и нужно Чичибабину? Такой оксюморонный сплав угрюмости и веселости, подмеченный в начале, а теперь подтвержденный и на капиллярном, рифменном уровне. Ведь в пристрастии к составной рифме есть намеренность мастера.

Так кто же он — духовидец или мастер? Мастер или любитель? И в чем тогда его спор с профессионализмом? Тогда вспомним, что Тютчев предпочитал любительское отношение к стихам. Как к сокровенному домашнему занятию. Очевидно, само любительство и само мастерство многолики, как и спутанные нити, их связующие.

Если мэтр нередко оказывается рабом своего алгоритма, то любительская свобода таковым не связана. Спектр выражения раздвинут. Чичибабин легко переключает стилистические регистры — из высокого в житейское. Из одного лирического плана в другой. Нет ли в этом эклектики? Но если возникает все-таки единый образ поэта, спасибо и ей. Она оказывается живее монотонии иного мэтра. И на зависть ему зазвучат строки высочайшей духовной пробы:

Ты знаешь, как сердцу погромно и душно,
какая в нем ночь запеклась...

Чичибабин удивительно совпал с историческим часом. С тем, что носится в воздухе. Русь и еврейство, Литва и Армения, диссиденты и изгнанники, без конца поминаемый Галич. Но совпасть с тем, что носится в воздухе, тоже можно двояко. Есть неугомонная армия репетиловых, ловко подхватывающих свежий мотив и каждое свежее словечко. Они тиражируют его до невыносимой бессмыслицы.

Чичибабин не подхватывал, а привносил. И если снова приглядеться внима-

тельнее, то как раз в расхожих уже мотивах нагляднее обнаруживается его собственный крой. Именно в глубинах собственной судьбы, в императиве своего поведения выношена близость к Платонову, оболганному свысока литературными «льстецами и краснобаями». Вот почему у него так — слишком наотмашь:

Я грех свячу тоской.
Мне жалко негодяев —
как Алексей Толстой
и Валентин Катаев.

При этом нравственный крах приспособленчества осознается в смешанном чувстве брезгливости и трагедии поведения такого образца: «Я слезы лью о двух, но всем им нет предела...» Это уже чичибабинское — неумолимость приговора и жалость.

Или вот еще мотив на острие момента. О Надсоне: «Не родись я Русью... я б хотел быть сыном матери-еврейки», «и все мне снится сон, что я еврейский мальчик, и в этом русском сне я прожил жизнь мою». А тут еще признание о близких людях — и, как назло, все из еврейства...

Тут уж чаша терпения у наших ревнителей отечества, должно быть, через край пролилась: «Мы — город Глупов»?! В шумном гневе «патриотизма» не расслышать им потаенную нежность и горечь:

Обугленной палкой
в костре вороша,
мне родины жалко
и жаль мураша.

В самом сердце чичибабинских стихов согрета родина. И вот какая тончайшая поправка к блоковской любви к России, какой целомудренный оттенок: «ты девочкой будь, ты женою не стань, пресветлая Суздаль».

Как же быть с Чичибабиным? Не укладывается он в ничьи раскладки. Уже не только в поэтике, но и в идеологической маршировке... У него даже «скачет Медный задом наперед». Допетровской Русью тешит душу. Той, что «ушла с земли в тайнохранительные срубы». И шлет Петру проклятье за проклятьем.

Да что там допетровская, когда еще домосковская Русь. И та, любимая, в «охвостье Москвы», «Москвы-ворюги». Но где она тишайшая, русалочья, скоморошья? А еще разинская... А еще еврейство...

Нет, всем спутал карты Чичибабин — и молящимся на Русь, и одарившим ее презрением: «Тебе, моя Русь, не Богу, не зверю — молиться молюсь, а верить — не верю». И как остро — по сердцу — звучит предостережение, обращенное поэтом к Солженицыну:

Лишь об одном тебя молю
в пылу, боюсь, что запоздалом:
не поддавайся русохвалам,
на лесть гораздым во хмелю..

Насколько богаче иных исторических схем и тем более лозунгов идеологических турниров такой спутанный клубок лирического своемыслия. Насколько нужней душе и уму. И не лучше ли углубиться в это драгоценное свое — свободомыслие?

Всем, кто и без него содрогнулся знанием, «как страшен грех российского развала», и кто с потухшим взором бродит среди этого развала, поэт дарит свое озарение:

Один меж погребенных, с фонариком Басё
я плачу, как ребенок, не знающий про все.

Могут спросить: неужели озарение от фонарика великого японца? От лирической искры — почему бы нет?

Существует аберрация зрения, особенно во времена, подобные нынешнему. Мы вычитываем в поэте себя, а никак не весь его душевный объем, который уникален. Если подобное произвели с Пастернаком и главное в нем — его ошеломление перед «чудом жизни» — мы потеснили «на задворки», то что же говорить о Чичибабине? Поэтому я думаю, что только опыт совместного чтения позволит нам освободиться от шор сиюминутного, преходящего и увидеть талант таким, каков он есть.

Анатолий ПИКАЧ

г. Ленинград.

Пятая сущность большевизма

•

Юрий Борев. Сталиниада. М., Советский писатель, 1990.

•

«Политический самодержец,— тонко заметил Б. Пастернак,— занимается политикой лишь в тех редких случаях, когда он Петр».

Политикой Сталина были политические убийства, провокации и террор.

Советская фантасмагорическая реальность, в которой кровавые преступления Сталина выдавались за героические деяния, породила особый тип «тайного» фольклора — легенды о «кремлевском горце». Юрий Борев собирал такие легенды более полувека, теперь они изданы. «В одних случаях,— пишет собиратель,— эти устные рассказы приходили ко мне от людей, непосредственно со Сталиным встречавшихся или участвовавших в событиях, связанных с ним. В других случаях такие истории отрывались от героя-рассказчика и попадали ко мне в обработанном коллективным сознанием виде, пройдя через многие опосредствующие звенья».

Впрочем, во всех случаях легенды говорят не столько о Сталине, сколько о восприятии его людьми, скованными страхом и так или иначе, но обязательно «обработанными» мощной пропагандистской машиной. То есть раскрывают социальную психологию периода сталинщины. Принимать все, что собрал и издал Ю. Борев, за исторические факты наивно: с легендами надо работать, их надо фильтровать. Непосредственную пользу от богатого материала получат лишь штукари-конъюнктурщики, которые кинутся превращать анекдоты в «историческую» прозу.

В математике существует прием разложения функции в ряд — сумму других, более простых функций. В книге Ю. Борева в такой «ряд» разложен Сталин — явление достаточно сложное и многослойное, в немалой степени основанное на удовлетворении народных ожиданий и представлений об образе ВОЖДЯ. Первый член ряда — ничем не ограниченный, беспредельный произвол, опирающийся на нечеловеческую жестокость «кремлевского горца»,— то, что этот монстр, кажется, более всего ценил в своем характере.

«По словам Зинаиды Гавриловны Орджоникидзе, Сталин любил поиздеваться над ближними. Объектом таких издевательств нередко был его секретарь Поскребышев. Однажды под Новый год Сталин развлекался таким образом: сидя за столом, он сворачивал бумажки в маленькие трубочки и надевал их на пальцы Поскребышева. Потом зажигал бумажки, подобно новогодним свечам. Поскребышев весь извивался и корчился от боли, но не смел сбросить эти трубочки».

Кто-то воспринимает эту книгу как собрание анекдотов — иногда жутких, чаще забавных. Но книга напоминает о проблеме исключительной остроты: о комплексе неполноценности разгромленного «усатым соколом» народа, не знающего ныне, что делать со своим позорным прошлым, своим поражением и мечтающего о восстановлении чести. Ибо извивался и корчился от боли, но не смел сбросить «трубочки» не один ничтожный Поскребышев, но едва ли не целый народ, добровольно отдавший себя Сталину в рабство на поругание. Отсюда сложные отношения со Сталиным сегодня: это не просто символ злодея, преступника на троне, а еще и народная трагедия, ПОЗОР, который нельзя «отменить» постановлениями, разоблачениями, славословиями или бранью.

Сталин уже успел стать персонажем **смеховой культуры** (и это хорошо и естественно): Самин . в «Демонтаже» А. Злобина, Са Лин в «Рос и я» Ф. Эрскина... Однако смехом Сталина не избыть, проблема, связанная со сталинщиной и сталинизмом,— это проблема социально-психологическая. По природе своей и по значимости она равносильна комплексу поражения в войне (ср. с концепцией В. Топорова в его статье «После поражения»,— «Нева», 1990, № 6), ибо связана с коллективным обесчеловечением самого «творца истории» (то есть народа) под руководством Палача, кого многие так до сих пор и почитают Заступником. И это, конечно, не случайно, ибо правление Сталина пришлось на XX век, когда стремление «поднять массы, обучить их, донести до них науку, образованность, искусство, достояния культуры» (Манн Т. Внимание, Европа! — Манн Т. Художник и общество: Статьи и письма. М., 1986) сменилось убеждением, что массами важнее и легче управлять, манипулировать их бедным сознанием, «все более совершенствуясь в пошлом искусстве играть на их психологии, то есть заменяя воспитание пропагандой» (там же). А в тотальной пропаганде Сталин не знал себе равных и даже превзошел своего учителя и предшественника, Ленина. Не случайно Гитлер заметил, что «никто лучше Сталина не умеет обращаться с русским народом»...

Вернусь к предмету анализа. Истории, собранные Ю. Боревым, сгруппированы в книге по хронологическому принципу: от версий о том, что отцом Сталина был путешественник Пржевальский, а сам «отец народов» — тайным агентом охранки — до предсмертных планов тирана об «окончательном решении» еврейского вопроса (интерес к которому явно подогрел Гитлер) и версий об убийстве Сталина Берией, рвавшимся к власти.

И начало, и конец жизни тирана окутаны неизвестностью, и даже дата рождения, как недавно выяснилось (см.: Спири Л. Когда родился Сталин.— «Известия», 1990, 25 июня), «на всякий случай» была вымышленной: 21 декабря 1879 года вместо 18 декабря 1878-го. Не случайно же молодой Г. Маркес заметил («Из путешествия по странам социализма»), что лучшим биографом Сталина мог бы стать Франц Кафка. С этим, кстати, связан один из эффектов «Сталиниады» — граница между реальностью и вымыслом, слухами становится неощутимой, словно речь идет о доисторических временах. Впрочем, времена сталинщины именно доисторичны в том смысле, что история в привычном понимании кончилась. Как и персонаж романа Аугусто Роа Бастоса «Я, Верховный», Сталин мог сказать: «Я не пишу историю. Я ее делаю. Я могу по своей воле переделывать ее, уточняя, подчеркивая, обогащая ее истинный смысл». (Роа Бастос А. Я, Верховный. М. 1980). Теперь за этим «истинным смыслом» мы пытаемся разглядеть исчезнувшую реальность; понять, переводя в доступные разуму категории, что такое 60 или 100 миллионов жертв, что такое систе-

ма ГУЛАГа... С этим пониманием связан введенный в книгу голос самого собирателя, одновременно и раскаивающегося в своей былой слепоте, и повествующего о прозрении, об освобождении от власти мифологических архетипов.

Система имела пирамидальную структуру, на вершине ее находился Сталин, от него исходили импульсы преступной воли. Изображение этой вершины глазами тех, кто служил ступеньками трона, и дает «Сталиниада». Если одни легенды и мифы снижают образ Сталина, то другие (а их большинство), наоборот, повествуют о «мудром, родном и любимом». Впрочем, сталинское Министерство правды само и занималось распространением банальных мистификаций.

«В начале 30-х годов в городе Нежине жила дочка уборщицы, проявлявшая музыкальные способности, однако у нее не было рояля, и она написала об этом Сталину. Через некоторое время девочке прислали рояль. Весь город и все его дальние и ближние окрестности немедленно узнали об этом и бурно обсуждали это событие, что способствовало популярности Сталина».

Нетрудно увидеть в этой истории типичный сказочный сюжет. Сталин и хотел предстать в глазах «простого» народа одновременно и как всевидящий, жестокий Демиург, и как добрый волшебник, скрывшийся в своем Кремле и оттуда, из вынужденного своего уединения, помогающий людям.

Но, конечно, прав Борис Гройс, остроумно заметивший, что «Сталин был единственным художником сталинской эпохи — и в этом смысле наследником Малевича или Татлина в гораздо большей степени, нежели более поздние музейные стилизации авангарда» (Гройс Б. Сталинизм как эстетический феномен.— «Синтаксис». Париж, 1987. № 17).

«Сталин — единственный художник» — и есть главный герой «Сталиниады», создававший и историю в целом, и отдельные фигуры, то изображенные яркими красками в лучезаре, то замазанные черным квадратом на белом фоне.

«Станиславский был педантичным и импульсивным человеком. Однажды во время репетиции ему понадобилась веревка, а в реквизите театра ее не оказалось. Станиславский вспылил:

— Невозможно работать в такой неорганизованной обстановке...

В приливе чувств он бросился к телефону.

— Товарищ Сталин, нет никакой возможности вести работу: нужна веревка — в театре нет веревки.

Сталин спокойно и терпеливо выслушал его и спросил:

— Сколько вам нужно веревки?

— Метра три,— ответил растерявшийся от конкретности вопроса Станиславский.

— Хорошо, товарищ Станиславский, работайте спокойно.

Через два часа к театру подъехал грузовик с трехтонной бухтой веревки».

Все здесь характерно: и полная неправдоподобность[1], и то, что Сталин ведает в стране даже веревкой (хотя именно это и должно входить в компетенцию палача), и, наконец, возвышение Сталина за счет снижения окружающих его людей: чтобы банальность могла быть выдана за нечеловеческую мудрость вождя народов, окружающие должны были оглупляться до неузнаваемости. Особенно часто эта операция проделывалась над деятелями сталинских литературы и искусства (Храпченко, Фадеев...), как бы и окружавшими вождя именно для того, чтобы удачно подвернуться в момент произнесения очередной банальности. В антологии Ю. Борева очень четко показано, как все, кто соприкасался со Сталиным, должны были по капле выдавливать из себя всякий намек на интеллигентность, чтобы соответствовать требованиям придирчивого Хозяина, для которого ловкий, вышколенный раб составляет предмет гордости.

«За пышным столом сидели Сталин и высшие командиры Красной Армии, а перед ними на ковре вспотевший и уставший, в одной рубахе стоял Тухачевский. На протяжении нескольких часов он по прихоти Сталина боролся и положил на лопатки всех командующих и маршалов. Эти победы привели Сталина в негодование. Тут-то и призвали Тимошенко. Сталин сказал ему, что сын трудящегося должен победить помещичьего сына... С большим трудом Тимошенко удалось победить уставшего Тухачевского. Сталин радовался, а Тимошенко огорчился тому, что Тухачевский ударился головой и лежит оглушенный».

Апокриф иллюстрирует мысль, красной нитью проходящую через книгу: унижение одних было столь же естественным и необходимым, как и самая ужасная, самая унизительная смерть, адские муки других — тех, кто когда-либо перед Сталиным провинился («Говорят, Вознесенский был подвергнут средневековой казни: в его живот была зашита крыса, которая, проголодавшись, пожирала внутренности несчастного»). В неукоснительности этой смерти заключалась какая-то страшная **священность**, собственно и делавшая Сталина божеством: неотвратимые наказания и убийства были оборотной стороной неограниченной власти и почестей, для самого тирана являясь источником физиологического наслаждения: «Самое большое удовольствие,— это его подлинные слова,— заклеймить врага, все подготовить, отомстить, как положено, и затем лечь спать». Месть оказывается в одном ря-

[1] Впрочем, это слишком смелое утверждение. На Булгаковских чтениях в мае 1990 г. (Ленинград) А. Смелянский читал письма Станиславского Сталину, написанные в тридцатые годы. Любое из них могло бы стать украшением книги Ю. Борева: сознание **Сталин-славского** было уже деформировано комплексом патернализма.

ду со сном как некое приготовление к нему, наподобие чистки зубов или мытья ног.

Однако касалась месть не только конкретных людей, но и целых народов, сплавленных для вождя в нечто нерасчлененное. «Декада» С. Липкина рассказала об ужасах выселения чеченского народа. В «Сталиниаде» впервые собраны легенды (факты надежно скрыты в партийных архивах) о подготовке к выселению и частичному уничтожению евреев.

«Согласно сталинскому сценарию, должен был состояться суд над «врачами-убийцами», который приговорил бы их к смерти. Казнь должна была состояться на Лобном месте на Красной площади. Некоторых «преступников» следовало казнить, других позволить разъяренной толпе отбить у охраны и растерзать на месте. Затем толпа должна была устроить в Москве и других городах еврейские погромы. Спасая евреев от справедливого гнева народов СССР, их предстояло собрать в пунктах концентрации и эшелонами выслать в Сибирь».

Хрущев пересказывал Эренбургу свою беседу со Сталиным. Вождь наставлял: «Нужно, чтобы при их выселении в подворотнях происходили расправы. Нужно дать излиться народному гневу». Играя в Иванушку-дурачка, Хрущев спросил: «Кого их?»,— «Евреев»,— ответил Сталин, наслаждаясь своим интеллектуальным превосходством»[1].

Монтаж текстов: «Сталиниада» и «Гороскоп Сталина», глава из романа грузинского символиста Григола Робакидзе «Убиенная душа» («Дружба народов», 1990, № 4), написанного в конце 1920-х годов. «Гороскоп» сочинен героем романа, Тамазом, редактором с киностудии. Тамаз мифологизирует феномен Сталина, объясняя его в своем эссе как воплощение «демонической силы», как «мистически поврежденное» существо, лишенное «дара жизни». «В немифологическую эпоху в бывшей Русской империи вдруг появляется человек, обладающий неслыханной тотемистской силой».

Описания банальных жестокостей (раздавил цыпленка) есть и в сочинении Тамаза. Но в целом оно проникнуто в о с х и щ е н и е м надчеловеческой силой, проявившей себя в Сталине. Не случайно текст насыщен всеми стереотипами мифоидеологии, которые к началу тридцатых годов уже окружали имя «Сталин». Тамаз оглушен этой всепобеждающей волей, этим наводящим ужас

[1] Впрочем, Троцкий не зря называл Сталина «выдающейся посредственностью». Ничего нового усач не придумал. Ибо «дело врачей» было одним из звеньев возрождения предреволюционной культуры, к чему с середины 1930-х годов тяготел Сталин. В начале 1910-х гг. русская антисемитская печать много писала о евреях-врачах, убивавших, отравлявших, неверно лечивших своих пациентов (см., например: Все то же.— «Русское знамя» 1911, 16 янв.; Fides. Мародеры рекламы.— «Колокол», 1912, 14 окт.).

неостановимым движением вверх по социальной лестнице. Более того, для Тамаза объяснение феномена кроется в том, что в «большевистской душе Сталина неиссякаемый звериный инстинкт питал рассудок», что Сталин подобен стихии — слепой, разрушительной и невиновной в последствиях своих действий. Объяснения Тамаза становятся оправданием Сталина — медиума вселенских сил, избравших его для своей страшной игры. «Он воплощал собою революцию. Он уже не был человеком, а существом, непостижимым и страшным».

Вот эту «непостижимость» «Сталиниада» и рушит: она как раз срывает со «страшного существа» маску и мантию облагораживающей таинственности и предельно обытовляя фигуру главного героя, демифологизирует преступника Иосифа Джугашвили. Собранные вместе описания тоталитарного паноптикума лишаются мистической силы. Очевидно, это происходит в результате многократного повторения в общем-то одного и того же сюжета, приобретающего в конце концов трагикомический характер: Сталин вмешивается в некую ситуацию и, как бы играя с человеком, **обязательно играя**, выносит приговор, обычно смертельный[2]. Из «неприступного колосса», ведущего скрытую от народа жизнь, из «биологической тайны», из «великого революционера» он становится «братцем Сталиным», позорным и неприятным братцем, который рожден, однако, не космической бурей, ровным счетом никакого отношения к людям не имеющий, а страхом, любовью и восторгом людей, их стремлением из пустяков и грязи слепить себе КУМИРА.

Книга разоблачает и одновременно задает вопрос: разрушено ли сегодня это страшное порождение народной души или просто изменился строительный материал? Колосс, который теперь сделан из народной ненависти и стыда, не возвышается ли над нами по-прежнему?

ПОСТСКРИПТУМ. О названии. В переводе на вышедший из моды язык «пятая сущность» — это «квинтэссенция». Квинтэссенция большевизма — это Сталин.

Михаил ЗОЛОТОНОСОВ

г. Ленинград.

[2] Эта **игра** и есть реализация **власти**, ее овеществление. «Пространство, которым распоряжается кошка, мгновения надежды, которые она дает мыши, но под строжайшим надзором, не теряя интереса к ней и к ее умертвлению, все это вместе: пространство, надежда, надзор и заинтересованность в умерщвлении — можно назвать сущностью власти или просто самой властью» (Канетти Э. Из книги «Масса и власть».— Канетти Э. Человек нашего столетия. М., 1990). **Игра в легендах о Сталине** имеет точно такую же функцию, тиран именно играл со своими жертвами.

Содержание журнала «Октябрь» за 1990 год

ПРОЗА

ПОЭЗИЯ

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

В ГОСТЯХ У «ОКТЯБРЯ»

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

ПО СТРАНИЦАМ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

ОТКЛИК

К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ АВТОРОВ:

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Рукописи менее двух печатных листов редакция не возвращает.